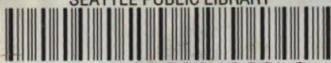


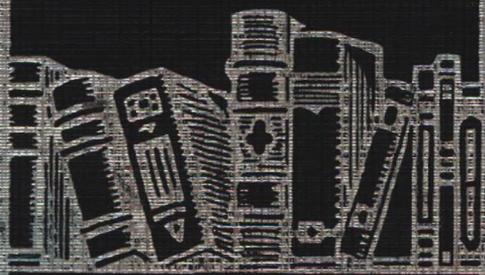
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 3904806 0

ЗАЛ ПРИЛЕТА



ВАГРИУС

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

ЗАЛ ПРИЛЕТА

ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ

МОСКВА «ВАГРИУС» 1999

УДК 882-312.1
ББК 84Р7-4
К 12

ДИЗАЙН ЕВГЕНИЯ ВЕЛЬЧИНСКОГО

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

ISBN 5-264-00069-7

© Издательство «ВАГРИУС», 1999

© А. Кабаков, автор, 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 7
НЕВОЗВРАЩЕНОЦ 243
БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН 289

РАССКАЗЫ

День из жизни глупца 349
Зал прилета 395

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

*Одержимым любовью
посвящает эту книгу
растерянный автор*

Пролог

Он, еще голый, сразу шел к стоящей в нише у самой двери маленькой плите, зажигал газ под кофеваркой, с вечера заправленной кофе и залитой водой, — будучи педантично аккуратным и бессмысленно рациональным смолоду, с возрастом приобрел к распорядку и мелким обычаям страсть непреодолимую. Огонь тихо шипел, а он шел в душ, открывал воду несильно — чтобы не будить ее, туго свернувшуюся, спрятавшую в подушке лицо от холодного утреннего солнца, лезущего в комнату сквозь щели старых, перекошенных жалюзи.

Она, как всегда, просыпалась тяжело, капризничала. Ну, еще две минутки, просила она, по-детски показывая два указательных пальца, две минутки, ляг со мной, согрейся и меня согрей, пожалуйста, две минуточки.

Кофе остынет, говорил он, ложась, прижимаясь, согревая и согреваясь. Она уже не спала, двигалась, тихо постанывала.

Под окном скреб по тротуару, расставляя маленькие плетеные стулья и тяжелые мраморные столики, знакомый вьетнамец — кафе было слишком дорогое, но в конце недели они иногда ужинали здесь, если заработок был приличный и можно было позволить лишние полсотни, чтобы сразу после еды подняться к себе, лечь, включить вечерние новости, взять в постель бутылочку хорошего белого, обняться, дремать, просыпаться, снова дремать.

Потом, подняв жалюзи, они пили кофе. В окне справа мутно сверкали кони на мосту Александра Третьего, слева заслонял все небо купол Инвалидов.

Он отправлялся на работу. Бобур кипел. Накалялся под беру-

щим дневную силу солнцем корабельный дизель дэка имени товарища Помпиду (старая Володькина шутка, вроде названия Парижск). Независимо от того, щедрой или нет казалась публика, к вечеру у каждого из площадных артистов набиралось примерно одинаково — сотни две-три. Ну, за исключением звезд... Избранная им как объект страстного, но бессловного объяснения в любви, немецкая или голландская туристка, как правило, тоже очень немолодая, в седой стрижке, охотно подыгрывала, ее товарищи по групповому туру охотно смеялись и клали деньги.

Она отвозила в издательство очередную порцию корректуры, брала новую. Иногда удавалось сразу выудить из старой Оболенской сотню-другую за прошлый месяц.

Ночью он думал о том, что было, о том, что едва не отняло у него такой финал. Она уже спала, счастливая, а он все вспоминал, вспоминал... Но наконец засыпал и он, уже перед самым провалом, беспмятством радуясь: а все же всплыл, поднялся. Это она, уже во сне думал он, пока любишь — плывешь... И он плыл, как не плавал никогда в прежней жизни, и спал крепко, как прежде не спал.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПАСПОРТ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

1

В то лето я почувствовал, что наконец начинаю пропадать.

Мысль о неизбежности падения, точнее, ощущение этой неизбежности, или, еще точнее, навязчивая идея социального падения возникла очень давно, и отнюдь не только под сюжетным влиянием многих романов, пьес, очерков и рассказов, но — и, возможно, прежде всего — как нечто, уравнивающее реальную основу моей жизни: с детства проявившуюся склонность к упорядоченности, устроенности, некоторой степени усредненности. Так довольно часто агрессивная мужественность связана с тайной склонностью к половой перверсии, и здоровые мужики щеголяют, запершись, в дамских трусиках и туфельках сорок четвертого размера на каблуках. Кстати, где они их берут? Женская обувь, как правило, заканчивается на сорок первом даже в англосаксонских странах.

Я родился в самый разгар века и его главной войны. Появление мое на свет оказалось побочным результатом некоторых стратегических решений главного командования инженерных войск, в которых в чине лейтенанта и в должности командира роты служил мой отец. Часть, довольно потрепанная авиационными налетами на строившийся ею укрепрайон, была отправлена в глубокий тыл, за Урал, на переформирование. Мой отец, Иона Ильич Шорников, послал телеграмму моей будущей матери, жившей со своею матерью, сестрами и братьями в Омске, куда они все были эвакуированы из Москвы. Мать выпросила отпуск на заводе, где работала счетоводом, и, втискиваясь на пересадках в скользкие от заледеневшей мочи вагонные тамбуры, поехала куда-то под Челябинск, показывая станционным комендантам

телеграмму примерно такого содержания: «До марта нахожусь отдыхе срочно выезжай помощью комендантов Иона». Адреса, по которому матери следовало срочно выехать, в тексте не было, и она поехала просто по указанному на телеграфном бланке в графе «пункт отправления», надеясь, что в маленьком поселке часть отца разыскать будет нетрудно. Коменданты, — возможно, польщенные тем, что все свои надежды на встречу с молодой и, видимо, любимой женой какой-то офицер связывает только с ними и с их добрым могуществом, — действительно иногда помогали матери, но чаще всего она попадала в нужный ей поезд собственными силами...

Забегая вперед, скажу, что вообще историю своей семьи я знаю очень плохо, поверхностно, без деталей. Причин тому несколько, первая из которых — почти полное отсутствие во мне любопытства к собственному происхождению. Вероятно, тут и есть начало процесса, сделавшего меня полнейшим в семействе вырождаком уже годам к двадцати, вырождаком в строгом, без оценки, смысле этого слова: профессия, интимные и бытовые склонности и, как итог, судьба — все в моей жизни было и остается абсолютно не похожим и даже противоположным обычным профессиям, устройству душ, быту и судьбам других членов довольно большой, особенно со стороны матери, фамилии. Соответственно, и мои родители, и бабушка (по маме) не слишком старались обратить меня к корням, бессознательно, вероятно, принимая мою отдельность. Ну, и, кроме того, не исключено, что в их почти безразличном отношении к моему отпадению от рода сказалось понимание, что рода-то никакого особенного нет и нет причин корнями так уж интересоваться. Никого хотя бы отчасти выдающегося: ни городского сумасшедшего, ни лучшего в деревне печника, ни оголтелого картежника, ни, уж конечно, кого-нибудь более существенно преуспевшего среди людей.

...Итак, мать приехала в этот поселок, назовем его Сретенск, и, начав спрашивать на вокзале, побрела искать часть, в которой служит инженер-лейтенант Шорников И.И. По перечисленным выше обстоятельствам я совершенно не знаю каких-либо подробностей этих ее поисков, как, собственно, и всей поездки, а уже описанные (замерзшая моча в тамбурах и тому подобное) мною, кажется, придуманы или позаимствованы из чьего-нибудь чужо-

го рассказа. Более того — я не вполне убежден, что и сама поездка была. Но, коли я существую и известна дата моего рождения, то выходит, что мать и отец мои обязательно должны были увидеться в конце зимы того года, который в официальной истории называется годом перелома войны. А раз уж они должны были повидаться, то более удобного для этого случая, чем перестроение отведенной в тыл части, не придумаешь, согласишься.

Словом, мать шла по совершенно пустому поселку и искала отца. Было это так. Несло мелкую снежно-ледяную крупу, и несло почти параллельно земле, поскольку ветры в тех краях вообще очень сильные. Ветер вылетал, неся эту ужасную крупу, из переулков на центральную улицу. Было уже темно, часов около шести вечера, но тьма отсвечивала мутновато-белым, снежным светом, хотя, казалось, светиться снегу не под чем: в окнах, почти без исключения, было темно, а звезды и луна, понятное дело, закрылись теми самыми тучами, из которых все сыпал и сыпал снег, вблизи земли встречаемый ветром и менявший полет вертикальный на горизонтальный. Она шла по узкой, в полторы ноги, тропе, прокопанной среди сугробов, уже оледеневавших под новым слоем ледяных кристаллов. Левый сугроб отделял тропинку от дороги, проложенной как раз ротой отца. Правый сугроб служил как бы дополнительной оградой, находясь между тропой и сплошными, переходящими один в другой заборами «частного сектора», домишек и даже изб, которые, в общем, и составляли эту главную улицу. Мама моя шла по тропинке в белесой темноте, почти наугад ставя ноги одну перед другой, стараясь идти по одной линии, как пьяный по доске. И все-таки она уже пару раз оступилась и чувствительно черпанула острого, полусмерзшегося снега ботиками, провалившись в сугроб — раз слева, раз справа.

Тут, я думаю, стоит отвлечься и рассказать, как вообще в то время была одета и, даже шире, как выглядела эта женщина, Инна Григорьевна Шорникова, счетовод бухгалтерии главного производства завода № 47, жена офицера, находящегося в действующей армии, двадцати шести лет от роду, уроженка города Москвы, из служащих.

Лицо Инны Григорьевны было почти скрыто большим клетчатým платком черно-зеленых цветов, которые можно было бы,

конечно, разглядеть только при свете, а в описанной мутной, как сильно снятое молоко в темной бутылке, мгле платок был просто черным.

Такие платки из очень жесткой и тяжелой ткани в крупную черно-зеленую, черно-коричневую или черно-серую клетку по всей стране носили пожилые сельские женщины, хотя были они фабричного дешевого производства и сильно пахли москательной — попросту говоря, керосином, что плохо сочеталось с естественной, казалось бы, для крестьянок природностью и домодельностью жизни. Но на самом деле крестьянки эти назывались колхозницами и никакой природности уже давно в их повседневном обиходе не было. Пушистые платки из бежево-серого и белого козьего пуха, называвшиеся оренбургскими, делались только на продажу, и на станциях их покупали богатые эвакуированные, расплачивавшиеся кто большими пачками денег, сизыми и бурыми крупноформатными бумагами, кто трехпроцентными серыми облигациями, а кто и просто тоненьким золотым колечком с черно-серебристой звездчатой вставочкой, посреди которой сверкал, пускал синие лучики маленький прозрачный не то камень, не то стеклышко...

Впрочем, я еще более отвлекся, так что лучше скажу коротко: платок на Инне Григорьевне был деревенский, но все прочее абсолютно городское и даже очень модное. Под платком скрывалась темно-красная шляпка, имевшая форму как бы растянутой в ширину и немного приплюснутой пилотки, но сделанная не из сукна, не из офицерской диагонали, а из фетра. Впоследствии, примерно через сорок лет, когда такие шляпки опять вошли в моду, их стали называть таблетками и вновь носить сдвинутыми косо вперед, к правой или левой брови, а тогда, ветреной, пуржистой ночью в поселке Сретенск Инна Григорьевна шляпку надела поплотнее, да еще и примотала сверху платком, который покрывал отчасти и плечи, поэтому не было видно небольшого, вокруг шеи обернутого воротника, представлявшего собой мягкое чучелко рыжей лисички, с головой и лапами, причем лапы были с коготками, а голова смотрела стеклянными глазами почти осмысленно, и, если бы не уже столько раз помянутый, скрывавший лису платок, можно было бы сказать, что они вдвоем высматривали дорогу: молодая женщина и мертвая лисица с ее плеча.

Такое чучело в гардеробе дам называлось «горжетка», и это был не совсем воротник, а скорее шарф, поскольку он никак не скреплялся с пальто, а просто лежал, обернутый вокруг шеи, на довольно прямых и широких, сильно поднятых ватой плечах, прикрывая простую, заведомо как бы недоделанную, горловину этого теплого, из темно-серого габардина, пальто, в котором, между габардином и атласной, антрацитового цвета подкладкой, был еще целый слой, а то и два, ватина на специальной, крепко пристроченной основе, а в районе груди еще и бортовка, плетенка из конского волоса, который, когда вещь немного износится, начинает, распрямляясь, вылезать, царапая вдруг чью-нибудь руку, положенную на плечо... Все это вместе, да еще в сочетании с сильной утянутостью пальто в талии, а дальше, вдоль бедер и до середины икр, с узостью, придавало фигуре Инны Григорьевны чрезвычайно модный в сороковые силуэт. И если бы ей снять, черт его дери, надоед, платок, то с темно-красной-то шляпкой на лоб — ну, хоть в Голливуд! А если кто думает, что это все позднейшая выдумка и что никакой моды тогда не было, а были только нищета и страх, то такой реалист сильно ошибается: все было вместе, и мода шла из журналов и кино, из все отделявавшейся тушенкой Америки, из быстренько оккупировавшейся Франции и даже из проклятой Германии.

И Инна Григорьевна от моды не отставала ни в чем, ни в уже описанной одежде, ни в прическе с сильно поднятым надо лбом валиком очень светлых, пергидролью доведенных до такого чудесного цвета от природного темно-русого, волос, ни в почти полностью сбритых и высокими дугами заново нарисованных тоненьких бровях, ни в темно-алой губной помаде, еще из московского магазина ТэЖэ в Охотном, с помощью которой были нарисованы губы, гораздо шире и изогнутее настоящих в центре, если можно так выразиться, зато кончающиеся далеко от натуральных уголков рта, чем он и превращался в желаемое «сердечко»...

Словом, еще долго можно было бы описывать эту молодую даму, Инну Григорьевну Шорникову, прекрасно выглядевшую в середине сороковых, ее короткий, немного широковатый и туповатый, но ровный носик, круглые — немного слишком — темно-голубые, называвшиеся тогда фиалковыми, глаза и — тоже немного слишком, но не очень — выступающие скулы над слегка

подрумяненными не только ветром щеками, но уже хватит. И так я увяз в отступлениях и описаниях, и мой рассказ совершенно не движется.

А между тем, ведь рассказ мой только о том, как одним недавним летом я начал пропадать, в соответствии со старым предчувствием, и как пропал, и что было после этого. Рассказ этот, как нетрудно понять, для меня необыкновенно важен, и я доведу его до конца, чего бы ни стоило и как бы ни сбивали меня с толку отвлечения и описания всякого рода подробностей, которые я очень, признаться, люблю.

Вернемся же в поселок Сретенск (скорее, все же, небольшой город), по которому моя без девяти месяцев мать шла ночью в конце января, прикрывая лицо от снежно-ледяной крупы надвинутым низко старушечьим платком. Молочная муть неслась косо, дома были слепы, сугробы высоко белели по обе стороны тропы, и бедной моей будущей матери вдруг стало страшно. То есть ей стало страшно, как только она поняла, что идти ночью по темному и пустому незнакомому городу очень страшно.

Но когда она это поняла и испугалась, тут же и заметила метрах в пятнадцати впереди, на максимальном расстоянии не то чтобы видимости, но различения в темноте еще более темных силуэтов, фигуру, вероятно, человека, движущуюся, кажется, по тропке ей навстречу. Но поскольку пятнадцать, максимум, метров — расстояние небольшое, то бедная женщина даже не успела толком испугаться, что сейчас с нее могут снять лисью горжетку, а то и целиком пальто. Эту горжетку, честно говоря, она и надела-то в дорогу не столько для того, чтобы предстать перед любимым и пововавшим мужем во всей привлекательности и шикаренности, тем более, что именно он ей перед самой войною эту вещь и купил из своих отличных инженерских зарплат, — кажется, чуть ли не четыреста рублей в месяц, — что, впрочем, могло бы быть такой дополнительной причиной рискованного наряжания в дорогу, как доказательство верности и памяти, — если бы главная причина не была более практической: она допускала обмен меха на билет или еду, если в пути уж совсем туго придется.

И вот теперь горжетку могут просто взять и снять.

Человек же, понятное дело, в это мгновение успел подойти близко и остановиться прямо перед нею, перегородив узкую дорожку.

Человек этот показался ей с мгновенного и испуганного взгляда морским офицером. Сейчас, вроде бы, странно и необъяснимо, почему Инна могла предположить встречу в ночном южно-уральском городке именно с морским офицером, а на самом деле все было логично и просто. Во-первых, любой мужчина в то время с наибольшею вероятностью мог быть и был военным; во-вторых, этот был одет в нечто длинное, черное, узкое в талии, а на голове имел черный же, сильно сдвинутый набок убор, что в белесой тьме больше всего походило на флотские шинель и фуражку; в-третьих, он должен бы быть офицером, а не матросом второй статьи, допустим, или главстаршиной, потому что женщина каким-то образом почувствовала — человек немолод, очень немолод, таких не призывают, они кадровые.

Инна Григорьевна, мама моя, сообразила все это в одно мгновение и в то же мгновение успокоилась, поскольку капитан первого ранга, или даже третьего, не станет, конечно, снимать с нее горжетку, а, напротив, как человек военный, может помочь разыскать ее военного же мужа.

И точно! Так ведь и вышло... Кто ж тогда мог знать, что кончится все горестями, ночными моими слезами на кухне, ужасным этим летом... Кто ж мог знать, а хоть бы даже она и знала, куда ей, в самом деле, было деваться ночью, в чужом месте, если она приехала мужа повидать?

— Вы Инна Шорникова? — спросил человек, близко придвинув к ней лицо, чтобы слышно было сквозь ветер и шуршание острого снега. Голос его был хриповат, по естественной простуде, очевидно, а лицо темновато, так что почти не видимо, но она разглядела довольно большие усы и, кажется, еще какую-то растительность, что окончательно утвердило ее в догадке: да, моряк.

— Шорникова? — повторил встреченный уже с раздражением и почти грубо. И добавил нечто совсем непонятное: — Я же вижу, что Шорникова, чего ж молчать-то? Странно...

Теперь, казалось бы, Инне и окончательно успокоиться, приняв, допустим, встреченного за какого-нибудь мужниного сослуживца, переведенного, предположим, в инженерную сухопутную часть из флотских инженеров, и, опять же, сделаем предположение, сблизившегося с Яном — так она называла своего мужа, Иону Ильича — настолько, что мог видеть ее фотографию. Так

что, будучи зорким моряком, опознал ее по фотопортрету в темноте... В общем, понятно.

Но, напротив, Инна не поддалась в мыслях этой несколько условной, но все же логике, а просто ужасно встревожилась, услышав свою фамилию ночью. И, возможно, от обострения чувств вообще, вызванных этой тревогой, она вдруг вспомнила стихи или песню, которых вспомнить не могла, потому что стихов этих, да и песни, конечно, в то время просто не существовало, хотя впоследствии... Но об этом позже. Сейчас лучше привести без объяснений те строки, которые прозвучали зимней ночью сорок третьего года во взбудораженном женском сознании Инны Шорниковой:

Ранним утром на Пушкинскую зарюлю,
а точнее, на Страстную...
Уходя, напоследок, тебя полюблю
и во сне поцелую,
и на улице Горького, то есть Тверской,
не поев, закурю я...

Тут в сознании возник некоторый пробел, несколько строчек были неразборчивы, а в пробел немедленно встрял мужчина в черном:

— Да хватит же вам, дамочка, молчать, честное слово! Ну, Шорникова вы, Инна Григорьевна, муж ваш, Иона Ильич, вас уж заждался, а вы ночью по Сретенску топаете в совершенно, между прочим, обратную от расположения его части сторону, да еще и вырядились, как фифа какая, видать, хотите, чтобы раздел кто-нибудь из местной шпаны или дезертиров, да еще и стихи дрянные вспоминаете, не написанные, кстати, пока...

Но как раз на этих словах пробел закрылся, и в Инниной памяти появились еще какие-то строчки, вроде вот этих:

...и заплачу на Бронной, не слишком Большой,
но непреодолимой,
о себе, и тебе, и, конечно, о той
тишине над долиной...

К изумлению и даже ужасу своему женщина услышала эти слова, произносимые ее собственным голосом, как бы в ответ сверхъестественному, но раздражительному незнакомцу, охнула про себя — «Господи, как неудобно, он же меня за сумасшедшую примет! И чьи ж это стихи? Не Симонова...» — но тут уж ей стало не до стихов.

Потому что черный человек подступил к ней совсем вплотную и поднял.

Сделал он это следующим образом: несколько отклонившись в сторону и даже став одной ногою на откос сугроба, взял Инну Григорьевну под мышку, как берут ставшего в лужу или другим образом напроказившего ребенка, ноги которого при этом болтаются в воздухе почти параллельно земле, само же дитя извивается и орет. Инна, конечно, не заорала и извиваться не стала, напротив, она вся обмякла, голова ее свесилась, так что шляпка и удержалась-то лишь благодаря платку, и ноги свесились тоже, суконные ботинки на резиновых литых подошвах, повторяющих форму вставленных внутрь ботинок туфель на среднем каблучке, косо легли друг на друга, и по всей фигуре молодой дамы, только что обруганной «фифой», вспомнившей неизвестные ей, да и никому еще, стихи и наконец оказавшейся под мышкой у почти незнакомого мужчины — по всей ее фигуре стало понятно, что Инночка Шорникова потеряла сознание.

Причем именно потеряла и именно сознание — только так можно определить то, что с нею произошло, а не «погрузилась в беспамятство», например, или «лишилась чувств». Совершенно напротив: никакого из свойственных человеку чувств она, свисая мягкой куклой с руки высокого в черном, не утратила и память сохранила, и потом долгие годы помнила этот удивительный случай, хотя вспоминать вслух не любила, более того — честно говоря, никогда и никому не рассказывала, даже мужу своему Ионе Ильичу Шорникову и, конечно, мне, своему сыну, Михаилу Яновичу Шорникову. Поэтому, как обычно бывает с тайными эпизодами жизни, с течением времени все стало искажаться, утрачивая одни и приобретая другие детали, меняя очертания и даже последовательности. Тем не менее, случай был, она знала точно. А что сознание потеряла, так это ничего не значит, просто Инна перестала сознавать, насколько странно, необъяснимо и,

может, даже опасно то, что с нею происходит, это сознание как бы выпало из нее, как могли бы сейчас выпасть из карманов и потеряться в снегу монеты или ключи — но у нее в пальто не было карманов, а сознание именно потерялось, раз — и нету, исчезло, и ничего уже не странно и не страшно, просто висишь себе в воздухе, под мышкой какого-то мужчины в черной, кажется, шинели, возможно, флотского офицера и, кажется, он говорит хриповатым своим простуженным голосом:

— К мужу, к мужу, Инночка! И немедленно делом займитесь... Заодно, хе-хе, и согреетесь...

Поскольку сознание Иннино уже было потеряно, то единственное, что заметила она в этих словах, была их явная скабрёзность, или, как она это определила, «сальность». Так она, как ей показалось, и ответила, немного косо продолжая висеть в воздухе:

— Перестаньте сальности говорить, а еще офицер! А если действительно знаете, то проводите меня, пожалуйста, к Яну... то есть, конечно, к лейтенанту Шорникову Ионе Ильичу, моему мужу, который... где-то здесь...

Тут Инна, как ей послышалось, наконец расплакалась, хотя имела все основания сделать это гораздо раньше. Всклипывания черного мужчину, как и любого другого, заставили засуетиться, то есть: переступив с ноги на ногу, слегка Инну встряхнуть, как если бы он хотел привести ее в сознание, которое она потеряла, затем откашляться, а затем начать быстро расти в высоту за счет удлинения исключительно ног или чего там было под достающими до земли полами шинели, причем замечу, что и полы эти одновременно и соответственно удлинялись, так что продолжали доставать до земли, хотя Инна уже оказалась на высоте не то четырех, не то шести метров, сам же растущий товарищ, прокашлявшись, но, все равно хрипло, сказал:

— И никакие это не сальности, Инночка, а совершенно серьезная вещь. Вы ж на врача не обидитесь? Ну вот, а я тоже... в каком-то, конечно, смысле, но доктор, и совершенно ответственно вам говорю: если вы не хотите, чтобы какая-нибудь ерунда вышла, а именно в октябре и именно его, то тянуть нечего... Да и Ян тоже... вы ж больше полутора лет не видались, вы соображаете?! Все, хватит с вами болтать, пошел я...

И пока уж не висящая, а как бы парящая высоко над землей Инна пыталась — без сознания — понять смысл жуткой чепухи, которую нес черный насчет своего докторства, какого-то октября и прочего, человек действительно пошел. Он сделал шаг, другой, третий, переступил через забор, через проулок, еще немного подрос, перепрыгнул, чуть присев перед прыжком, через какой-то кирпичный барак... в белесой, все убыстряющей полет снежной мути... в сизо-черной тьме... в беззвездной и безлунной ночи... и смерзшийся, ломкий и острый на изломе верхний слой лежавшего на земле снега не скрипел под шагами... и тень идущего ползла по небу среди других теней, среди теней снеговых туч... и женщина косо, раскинув руки, чуть согнув в колене одну ногу, как всегда делают лежащие на боку женщины, летела в небе, на фоне этой черной длинной тени, несомая тенью... и еще шаг.

— Кто там? — взглядываясь в струи крупы и в тьму ночи, спросил лейтенант. Он стоял на крыльце в плохое, без портянок натянутых яловых сапогах, в бриджах с высоким корсажем и в нижней байковой рубашке фасона «гейша». Бриджи и сапоги он натянул, услышав стук в верхний край оконной рамы и чей-то голос за окном, называвший, кажется, его мало кому известное, домашнее имя. Голос был мужской, вроде бы, а лейтенант не припоминал ни одного мужчины, которому было бы можно так звать лейтенанта Шорникова. «Ян!» — еще раз произнесли за окном, и лейтенант, смятая голенища, вбил ноги в сапоги, кинулся в сени, вернулся, сунул руку под подушку, снова кинулся к двери...

Чего он так спешил? И почему так уж взволновался? Неужто, отвоевав полтора года, не испытал много чего куда более волнующего, чем звук в ночи собственного имени, хотя бы и малоизвестного, хотя бы и произнесенного мужским голосом... Кто ж теперь знает, чего так всполошился в ту ночь Иона Ильич. Но выскочил на крыльцо и закричал во мглу: «Кто там?!»

И увидел женщину, лежащую на снегу под тем окном, в которое стучали, и побежал к ней, а дверь тут же хлопнула от ветра, и снова открылась, и снова хлопнула, а Иона уже склонился над женщиной и увидел, что это жена его Инна лежит под окном комнаты, которую он за два дня до того снял у семейства местного военкоматского старшины именно для свидания с Инной, те-

леграмму о выезде от нее он ждал на адрес части, а комнату снял, честно и просто говоря, чтобы спать в ней с женой, ужасно по ней соскучившись, но телеграммы все не было, а жена вот лежала на снегу, и он поднял ее, и внес в комнату, положил на кровать, вернулся запереть дверь, зажег свет и стал при свете раздевать жену, развешивая по стульям ее одежду для просушки и согревания, уложил жену под одеяло, разжег прогоревшую уже и начавшую остывать печь-голландку, а когда вернулся к постели, размышляя, как же приводить Инночку в чувство — успев убедиться, что она просто в обмороке и никак не повреждена, и даже дышит довольно ровно — когда вернулся к кровати, он увидел, что жена уже пришла в чувство.

Ей стало жарко, она откинула одеяло, посмотрела на него темно-голубыми глазами, в свете десятилинейной лампы казавшимися не фиалковыми даже, а лиловыми, она села на постели в одной сорочке, собственноручно сшитой из старого куска белого батиста и собственноручно же украшенной тонкой розовой лентой и пробивками, она протянула к мужу руки — как в каком-то, еще немом, фильме, она видела в детстве, протягивала к мужу руки героиня — и что-то сказала, не важно, что именно.

Было это в конце января сорок третьего года. В октябре Инна Шорникова родила сына и назвала его Мишей — в честь своего покойного брата. Иона Шорников, к октябрю уже старший лейтенант и начпотех строительного батальона, в это время рыл со своими пленными и охранявшими их сержантами раскисшую глину где-то на Украине. Письма от него приходили довольно регулярно, по аттестату Инна получала неплохо, а всякие распашонки и прочее умудрилась добыть из американских посылок — заранее покупала на толкучке.

2

Почему, начав свой рассказ о том, как прошлым летом я стал пропадать, я тут же отвлекся и так подробно изложил историю своего рождения, или, если быть точным, зачатия? А Бог его знает, почему... Во всяком случае, история эта мне кажется очень существенной, и не только из-за того, что мистическая ее

фабула мне льстит, демонстрируя заинтересованность неких высших — возможно, дурных, но высших — сил именно в моем появлении на свет, но и в связи с кое-какими событиями в моей жизни, с которыми это доисторическое по отношению ко мне происшествие представляется связанным.

Но не буду торопиться.

Продолжу лучше описание своего летнего пути на дно, в ничтожество, своей наконец удавшейся попытки пропасть.

Главной, не подберу другого слова, предпосылкой моей гибели стало пьянство.

Рассказывать, как люди спиваются, смешно и глупо. По-русски про это написаны сотни рассказов, романов, пьес, очерков, статей и монографий. Но, с другой стороны, и про любовь написано не меньше, а все пишут и пишут...

Однажды — дело было летом, в конце июля — я ехал в поезде. Ехал я из одного южного города в другой южный город, дороги там было часа на четыре-пять, а жара стояла ужасная, под сорок, так что никакой еды я с собою не взял, а купил зато на вокзале почему-то вполне свободно продававшегося чешского пива «Праздрой», две бутылки... нет, три, и к тому маленький кулечек соленых сухешек, бараночек таких очень твердых, обсыпанных крупными кристаллами соли, которая по их внутренней поверхности налипла погуще, а с внешней, особенно с узких закруглений — сухки имели форму овальную — осыпалась, и эти поверхности блестели коричневым как бы лаком, в то время как в остальном сухки были просто желтенькие с белыми солевыми крапинками. Вот с этими сухками и пивом в портфеле, — тоже, между прочим, чешском, наполненном, кроме того, электробритвой «Харків», зубной пастой «Колинос», двумя рубашками «Дружба» и прочей бытовой мелочью различного происхождения, — с таким багажом я и вошел в купе, поскольку билет, даже и на короткую дорогу, мама мне велела брать в купейный вагон, чтобы ехать прилично, а не в запахах и грязи плацкартного или, тем более, общего.

Происходило все это, кстати, в шестьдесят первом, и, следовательно, мне тогда было около восемнадцати лет, еще не исполнилось.

В купе два места уже были заняты, но чисто условно, потому

что мои попутчики, как я сразу почему-то понял, тоже ехали не-далеко, и никто не собирался размещаться по собственным, ук-азанным в билетах, верхним и нижним полкам, а просто сидели за маленьким, укрепленным металлическим подкосом столиком и разговаривали.

Слева я увидел женщину — или даму, поскольку дело проис-ходило на юге — средних лет, как я оценил, а на самом деле вполне еще молодую, полную... а больше ничего не помню. Спра-ва же сидел морской офицер в полной летней форме, как из муз-комедии «Севастопольский вальс», то есть в белом кителе со стоячим воротничком и серебряными инженерскими погонами, в бе-лых брюках и даже в белых ботинках. Фуражка его в белом по-лотняном чехле лежала рядом с ним, и там же стоял маленький чемоданчик.

Чемоданчик этот я запомнил очень хорошо потому, что он был точно такой, какой мне самому хотелось иметь еще с дет-ства, когда родители ездили отдыхать в военные санатории в Сочи или Юрмалу и брали меня с собой, снимали для меня койку у какой-нибудь санаторской горничной или сестры. У нас таких чемоданов не было, а были самые обычные, фибровые, со сталь-ными уголками и ручками, но на пересадке в Москве или Харь-кове — мы ехали с пересадками из какого-нибудь военного го-родка — я иногда видел молодых людей с такими чемоданами, пижонов, как их называл отец. Молодые люди быстро шли по перрону, мимо носильщиков с лямками, милиционеров со шнура-ми вокруг мундирных воротников, мимо перронных открытых столовых с длинными столами, за которыми пассажиры дальних поездов ели борщ и котлеты с вермишелью во время долгих сто-янок, а молодые пижоны, в кремовых пиджаках с короткими рукавами, в серых летних туфлях, в голубоватых брюках шли мимо и несли эти чемоданчики — черные, лакированные, обшитые по ребрам желтой кожей.

Вот и рядом с капитаном третьего ранга стоял такой чемо-дан, из самых небольших. Тогда, в шестьдесят первом, он уже не был для меня так притягателен, поскольку в моду вошли чеш-ские пузатые портфели и чемоданы из толстой красноватой кожи, а черный лакированный как раз и остался провинциальным ще-голям, вроде флотского, наверняка добирающегося до столиц из

Севастополя, фасоня по дороге белым кителем и лакированной балеткой (так тогда назывались маленькие чемоданы) — но все же я отметил про себя эту блестящую, хотя и старомодную роскошь.

Войдя в купе, я поздоровался, поставил портфель на вторую полку и сел рядом с моряком, ближе к двери, по другую сторону проклятого чемодана. Тут же поезд тронулся, сразу после станционных стрелок въехал на мост, прогрохотал по нему, и за окном начало темнеть, день будто остался в том городе, который я на время покидал.

Офицер вздохнул почему-то довольно горестно, но тут же и засмеялся, извинился перед соседкой, — которая ничего не ответила, глядя в темнеющее все быстрее окно, — расстегнул белый китель, под которым обнаружилась глубоко вырезанная майкательняшка, и произнес следующее:

— Люблю на паровозе ездить, не потонешь! Шучу. Поздравляю вас, дорогие товарищи, с нашим праздником! И предлагаю всем налить.

При этом он только улыбался и не сделал никакого движения, чтобы, допустим, действительно что-нибудь налить, да и нечего было наливать: на столике, кроме хорошо постиранной и накрахмаленной, слегка съехавшей под локтем нашей попутчицы салфетки, не было ничего.

Соседка, продолжая смотреть в окно (ну, не помню я ее лица, и вообще не помню, хоть убейте, полная — и все), спросила:

— А какой же у вас праздник, извиняюсь, конечно?

Но не успел моряк ответить, как я, будучи довольно сообразительным юношей, вспомнил и воскликнул:

— Ну, как же, конечно. С Днем Военно-Морского флота вас, товарищ капитан третьего ранга! С праздником!

Затем я вскочил, причем, хотя вагон как раз в это время слегка качнуло, ловко, как мне показалось, избежал удара лбом о верхнюю полку, стащил с нее портфель и немедленно вынул оттуда сушки и три... нет, все же две бутылки «Праздроя». Моряк молча и строго установил пиво на столик, поближе к окну, так же молча развернул кулечек, чтобы удобнее было брать сушки и, повернувшись, щелкнул замками чемодана. Я успел увидеть мыльницу из перламутровой пластмассы, никелированную

коробку с кисточкой для бритья и какую-то незначительную одежду, но чемодан уже закрылся, а на столике, посередине, оказалась поллитровая зеленоватая бутылка, налитая до верху горлышка прозрачной жидкостью, заткнутая свернутым газетным обрывком и обмотанная поверх него синей пластиковой изолен-той, тогда еще только в военной промышленности появившейся — прочие пользовались черной матерчатой. Дама тоже почему-то вздохнула, не вставая низко наклонилась, вытащила из-под сиденья сумку, развязала носовой платок, которым были стянуты ручки и, не разгибаясь, стала выкладывать на стол помидоры, огурцы, кусок жареной рыбы в газете, соль в спичечном коробке и половину высокого круглого белого хлеба, который в тех краях называется паляницей. Моряк, все так же молча, глянул на меня, но я уже и сам все понял: как младший, я встал и отправился к проводнице за стаканами, которые она, вынув из стальных подстаканников (с выдавленными на них буквами «МПС» и изображениями локомотивов, здания МГУ на Ленинских горах и главного входа ВДНХ), без возражений мне и вручила.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, я иногда размышляю о том, как повернулась бы моя жизнь, не случись тогда в купе праздничного капитана третьего ранга со спиртом, сэкономлен-ным его морячками на протирке приборов, наверное, или заар-тачься, как иногда бывает, проводница и не дай мне стаканов, или хотя бы соседка скажи: «А вам не много будет, я извиняюсь, конечно...» — когда морячок вбухал мне в стакан почти под край неразведенного, столько же, сколько и себе, предваритель-но, разумеется, со всей галантностью налив на палец — «Ой, мне ж хватит, хватит!» — даме... Или закашляйся я после первого глотка, опозорься, не допей... и все пошло бы по-другому, и не было бы ни бессонниц горестных, когда ни с того ни с сего вдруг взвоешь тихо, вожмешься мокрым лицом в подушку, понимая, что все идет к концу, и эта проклятая жизнь катится под уклон, и скоро уже исчерпается — хорошо, если инфарктом — отпу-щенное мне, а еще не все, не все было, и встаешь, тихо достаешь недопитое, тихо откручиваешь пробку, стакан искать лень, да и звякнешь еще нечаянно, так что прямо... Боже мой, Боже мой, за что Ты, Милосердный, послал мне все это — горький этот

спирт спирта, сладкий этот спирт любви, огненный этот спирт жизни, и почему от пьянства болит печень, и почему от любви страдают те, кто не любит, а что же делать, что делать...

Вы, может, и сами замечали, что о чем бы ни начали думать — о самых, казалось бы, отвлеченных вещах, — но если думаете ночью, то уже через минут десять от всей мысли остается только «Что делать? Что делать?», которое твердит внутри вас какой-то идиот.

Ну-с, а что касается той истории в поезде, то развивалась она вполне естественным образом. Я резко выдохнул, как и полагалось по имеющимся у меня откуда-то сведениям, в два глотка проглотил спирт, услужливый моряк отколупнул — специальной штукой, имеющейся под столешницей — крышку с одной из бутылок пива и дал мне, задохнувшемуся, запить, потом я съел половинку помидора, подернувшегося как бы инеем на разломе, потом угостил моряка сигаретой «Шипка» и вышел с ним в коридор покурить, а потом упал.

В свои почти восемнадцать лет я уже давно и курил, и водку пил вполне исправно, но тонкий стакан спирта, залитый пивом, действие оказал серьезное.

Моряк, как впоследствии выяснилось, не посрамил ни офицерского звания, ни флота, в честь праздника которого едва не отправил меня на тот свет. Как только поезд прибыл на место, он, не стесняясь погон и не жалея своей белизны, будучи совершенно трезвым, дотащил меня до вокзального медпункта, откуда сначала меня было хотели отправить, понятное дело, в вытрезвитель, но потом передумали. Роль тут сыграли три вещи: обаяние и настойчивость элегантного морского офицера, доброта фельдшерницы и то, что она не обнаружила у меня пульса. Тут милая девушка засуетилась, вкатила мне в предплечье камфару, влила, едва я задышал, в меня пять литров теплой воды с марганцовкой, сделала еще один укол и спасла мне жизнь.

Моряк, увидав, что я открыл глаза, попрощался с фельдшерницей и пошел добывать место на Ленинград. Я же остался лежать на клеенчатой кушетке, портфель мой стоял рядом на полу, и рядом же, на стуле, была сложена вся одежда, а я лежал в одних трусах из синего сатина, чувствовал спиной сквозь довольно ветхую медпунктовскую простынку липкий холод клеенчатой

обивки и смотрел в потолок, то надвигающийся на меня, то взлетающий в отчаянную высоту, сердце стучало так, что мне было самому слышно, несмотря на звон в ушах, и наступила ночь, фельдшерица выключила свет и что-то сказала, кажется, насчет того, что до утра, так уж и быть, отлежись, а утром, если что, надо перевозку вызывать и в больницу, я за вас таких отвечать не буду...

Или что-то в этом роде.

Потом она ушла в другую, отгороженную матово-стеклянной ширмой, половину комнаты, где были умывальная раковина, стол для заполнения документов и еще одна кушетка, на которую, судя по звукам, она, немного повозившись, и легла.

А я заснул.

И во сне она пришла ко мне, и все сделала, что должна была бы сделать добрая девушка с симпатичным молодым человеком наяву, но не сделала, и только во сне, в несчастном одиноком сне едва не отравившегося спиртом насмерть юноши произошло то, что потом происходило бесчисленное количество раз между мною и другими женщинами, после выпивки и без нее, с наслаждением или почти без, в разных комнатах и под открытым небом, но потом, потом! А в ту ночь она не пришла, хотя, засыпая, я почему-то был уверен, что придет, и так с этой уверенностью и заснул, и во сне эта женщина и явилась.

Ее-то лицо, в отличие от лица соседки по купе (интересно, куда она-то делась, когда пришлось со мною возиться? в медпункт меня притащил моряк в одиночку), лицо этой фельдшерицы, спасшей мое тело, с того времени требующее отравы, но погубившей душу, возжаждавшую навсегда любви и никак не могущую утолить эту жажду, — это лицо я запомнил.

Собственно, теория, которой я объясняю почти все, случившееся со мною после той ночи, не лучше и не хуже любой другой теории, то есть полна натяжек, ничем не обоснованных предположений, произвольных допущений и нарушений логики. Хороша же она тем, чем и другие верные теории: она легко и прочно связывает то, что произошло и не произошло в ту ночь в вокзальном медпункте, с тем, что происходило и не происходило со мною всю последующую жизнь. Побывав в смерти и вернувшись из нее, я навсегда приобрел страсть к средству, которое позволи-

ло проделать мне это самое увлекательное из всех путешествий. И хотя я люблю порассуждать о предпочтительных напитках и их сортах, о нюансах опьянения, о его технологии и психологии, на самом деле, если быть честным, надо говорить об одном: я пытаюсь, все время пытаюсь пройти этот путь в обе стороны, и, думаю, многие мои товарищи по страсти пытаются проделать то же самое, испытав, может быть, однажды — не обязательно с камфарой — но ничего не выходит, только все любезнее предлагает кондуктор one way ticket... Что же до женщины, то и она укладывается в эту теорию. Она обманула ожидания наяву и оправдала полностью в сновидении, став первой и навек оставив этот отпечаток — всегда уклоняться и всегда соглашаться, уклоняться в трезвой жизни и приходить во сне, который по-английски то же самое, что мечта, поить теплой и розовой от марганцовки водкою, спасая, и поить свою кровью, губя...

Она пришла во сне.

Я должен описать ее, потому что не было и не будет в мире женщины красивей, и, согласитесь, несправедливо было бы унести с собою это описание.

В тот раз она была темноволоса.

Конечно, никакая стрижка или прическа не могла бы стать подходящей для первой — и последней тоже — любви, поэтому волосы ее просто лежали по плечам, не слишком длинные, но и не короткие, едва заметно вьющиеся, скорее даже просто растрепанные, и когда она склонилась надо мной, в свете высоко висящей лампы пряди сверкнули красноватым, а их распущенные концы засветились даже темно-оранжевым, и все это вместе напомнило мне старые, вытертые шубы «под котик», которые во времена моего детства были у многих окружающих меня женщин, а потом из этих шуб выкраивались воротнички, но даже и наименее вытертые куски, которые для этого использовались, отвечивали сквозь лаково-черное красноватым.

Вероятно, она мыла голову хной для укрепления волос.

Из-под очень темных и очень густых, — кажется, такие прежде называли соболиными, — бровей смотрели на меня большие, чуть-чуть косо прорезанные глаза, светло-коричневые, с почти невидимыми зрачками, очень ярко блестящие, и цвет их,

темно-золотой, в то время я бы затруднился описать более точно, чтобы можно было представить этот блеск, и сияние, и игру, но теперь, тридцать с лишним лет спустя, жизнь помогает писателям, и я просто скажу: глаза женщины были цвета «коричневый металлик».

Тонкий и ровный ее нос, может, чуть длинноватый, на самом кончике был как бы усечен, и получилась едва заметная площадка, ежиный пяточок. Именно эта, пожалуй, единственная как бы некрасота в ее лице сразу притянула мой взгляд, и я уж не мог его отвести, и сейчас, когда вспоминаю это лицо, чтобы и вы могли представить себе прекраснейшую в мире, я вижу смешной пяточок, и, конечно, слезы мешают мне разглядеть остальное, и я вынужден прерваться и выпить какой-нибудь дряни, к примеру, болгарского бренди, дешевлешего «Slantschew brjag», чтобы успокоиться.

Рот ее я описать не могу, скажу только, что губы были абсолютно правильной формы, и нижняя, более полная, изгибом и розовым перламутровым блеском напоминала чуть вывернутый наружу край большой морской раковины.

Тонкая шея, тонкие, даже слишком, запястья и очень маленькие ладони, тонкие щиколотки и несколько по-детски расширяющиеся к пальцам ступни — и при этом очень полные плечи и руки до локтя, мощные бедра, талия, которую, казалось, можно обхватить кольцом пальцев — и тяжелый круп, именно круп, поскольку во всей ее фигуре, в тонкокости, сочетающейся с большими округлостями, было очень много от лошади, из тех тонконогих и сильно прогнутых под седлом лошадей, которые скачут или стоят, слегка приподняв переднюю ногу, на старых изображениях.

Грудь лежала низко, темные соски были окружены как бы маленькими сосочками, и в губах моих скользила и распрямлялась ее плоть, тонкая и смуглая кожа, и очень мелко вьющиеся волоски, и сейчас еще чувствую я их своим языком, они прилипли к небу, я задыхаюсь, но уже тридцать с лишним лет не могу вздохнуть, и все глубже погружаюсь в эту смуглость, в эту тьму, так что не обращайте внимания на мои слова — это просто хрип удушья и счастья. Темная тонкая кожа, темные тонкие пальцы, темные тонкие волосы.

Розовокожие северные блондинки или темноволосые, с зеленовато-желтым оттенком кожи южанки, крупные или маленькие, полнотелые или тонкие — можно ли говорить, что мы любим их, потому что они такие? Нет, нет, все наоборот — мы любим первую, или последнюю, и она-то и становится образцом, а иные вызывают равнодушие, в крайнем случае любопытство. Не верьте, что кто-нибудь любит блондинок, просто у него светловолосая любовь.

Я обнял ее, и она поцеловала меня под ключицу, и еще раз, точно в середину креста, который уже тогда образовывали на моей груди год от года густевшие волосы, и сердце, еще полное отравы и только приноровившееся снова стучать, опять остановилось, и в эту пустоту, оставшуюся от звука остановившегося сердца, хлынул другой звук, это она что-то шептала, или пела тихо, или просто дышала. Не верьте никому, кто рассказывает о любви. Любовь нельзя рассказать. Можно описать цвета и даже запахи, можно вспомнить слова и стоны, можно назвать все по имени и определить место. Но нельзя передать другому ту пустоту, которая появляется на месте сердца и заполняется иным существом, и рот заполняется иной плотью, и жизнь заполняется иной жизнью, и ее кровь заполняет твои жилы. Так и опьянение нельзя пересказать, нужно, чтобы яд проник в твою кровь.

Я проснулся и сразу же посмотрел на часы. Было около шести утра. Чувствовал я себя прекрасно, если не считать того, что был дико голоден, пустой желудок жестко требовал своего. Одеться удалось почти без звука, потом я заглянул за ширму. На столе лежала крупным почерком заполненная бумага. «Шорников М. Острое алкогольное отравление. Ослабление сердечной деятельности, пульс слабого наполнения...» Фельдшерница спала на кушетке, укрывшись серым байковым одеялом с казенным штампом. *Светлые, туго завитые волосы сохраняли круглую, одуванчиком, прическу. Во сне ее дыхание присвистывало, тонкие губы слегка открылись, ноздри вздернутого, немного картофельной носа вздрагивали. Руки она выложила поверх одеяла, крупные, почти мужские, но довольно красивые кисти лежали мертво. Под моим взглядом она перекатила голову по подушке и несколько раз часто вздохнула во сне.*

Я сунул бумажку с историей своей первой — или последней — любви в карман, взял портфель и вышел, постаравшись прикрыть за собой дверь без стука.

Теперь, когда я начинаю новую работу, меня все чаще преследует безумная идея: а может, плюнуть на все и написать просто обнаженную, смуглую, с тонкой и нежной кожей, с отливающими красноватым мехом «под котик» прядями вокруг лица, с тонкими запястьями и щиколотками, похожую на изысканную лошадь со старой гравюры... Вот она стоит, прямо обращенная к зрителю, ноги ее ниже коленей перечеркнуты, закрыты белой больничной кушеткой, на которой, запрокинув голову, выставив юношеский кадык, лежит не то мертвый, не то спящий мальчик, бледнотелый, блестящий остывающей испариной, и утреннее напряжение натягивает синюю ткань... Или написать светлые, туго завитые волосы, словно одуванчик на подушке, большие кисти на сером одеяле, розовую, немного воспаленную кожу и спину юноши, стоящего над спящей... Или...

Ничего этого я писать не стану. Для кого? Лучше, как обычно, заполню холст блекло-голубым, ровным светом, или бежево-серым, или пересеку его багровой косой полосой — на это уже есть заказ.

Возможно, я бы плюнул на заказ и решил бы, но любовь не напишешь, не стоит и пытаться, да еще и деньги терять. Идея все же время от времени вновь возникает, я как бы созреваю для нее, но каждое следующее созревание все бесплоднее, все яснее видны последствия решительных поступков, цены глупостей, все очевиднее, что неудача похищает время удачи, и уже не можешь себе позволить плюнуть на все просто потому, что этого всего остается все меньше. Каждое созревание — это кризис, но кризис пятидесятилетнего совсем другой, чем воспаленный подростковый переход, беспутный занос в двадцать пять, отчаянный перелом в тридцать три... Прожившийся тратит совсем по-другому, чем просто бедный, к концу игры ставки скупее.

В общем-то, не слишком все это интересно, и не стоило бы говорить, но пришлось к слову, вспомнил старый и все возвращающийся сон. Ведь главное всегда возвращается, жизнь обязательно замыкает круг.

Лжец будет обманут.

Будет побежден победитель.

У грабителей все отнимут.

И первая любовь вернется последней, и отомстит за вину, которой не было.

3

Я открыл глаза и сразу вспомнил, что с вечера на двери подъезда был приклеен листок: «Уважаемые жильцы! Горячее водоснабжение будет отключено с 10.00 11.VI до 10.00 2.VII. Приносим наши извинения. РЭУ-14». Принесение извинений у дверей подъезда, загаженного по колено, с омерзительно вонючим лифтом, обклеенным засохшей жевательной резинкой с воткнутыми в нее окурками, не могло не вызвать умиления. Эта проклятая жвачка с раздавленными окурками была наиболее отвратительна, даже бродяги, спавшие на каждой площадке, и лужи, вытекавшие из-под них, не возбуждали такой тошноты.

И примите уверения в совершеннейшем нашем почтении, сударь... Искренне ваш, ответственный квартироръёмщик, эсквайр... Остаюсь вашим покорным слугой, техник-смотритель и кавалер...

Вытащив из-под подушки руку, — как обычно, я спал, уткнувшись в наволочку лицом и обняв этот измятый подголовник, из которого время от времени вылезали маленькие, острые, скрученные полукольцом белые перышки, — я посмотрел на часы. Прежде всего в сотый или в тысячный раз порадовался их виду: купленная за гроши на одной из многих нынешних толкучек, «омега» пятидесятих годов утешила чистыми очертаниями, черным, не выцветшим циферблатом, фосфорно-зелеными цифрами и громким, не сбивчивым тиканьем... Затем я сообразился со временем. До страшного мига оставалось еще около двух часов. Я осторожно откинул сбившееся внутри пододеяльника одеяло и сел на кровати, тут же сам заметив, что даже утром поза моя обнаруживает усталость: склонившись вперед, упервшись локтями в ляжки и свесив кисти меж колен, я с бессмысленной сосредоточенностью рассматривал свои ступни с уже явно проявляющимися косточками и покорежившимися ногтями на некото-

рых пальцах, узловатые икры, почему-то обезволосившиеся на внешних сторонах, колени в пупырышках, отвисшие мышцы, на которых от локтей останутся красноватые вмятины, и длинные штанины любимых, но уже сильно застиранных клетчатых трусов «боксерс». У самой границы поля зрения болтался крест на тонкой серебряной цепочке, серебряный крест с распятием, и буквами ИИЦІ поверху и ІС и ХС — по бокам.

Иисус Назаретянин Царь Иудейский, Иисус Христос.

Там, где во сне крест был прижат к груди, под волосами остался его багровый отпечаток.

Посидев таким образом минут пять, я решил, что в оставшееся время я использую горячее водоснабжение только для душа и первоочередной стирки, а побреюсь потом, электрическим «брауном», — несмотря на нелюбовь к нему надо опять привыкать, впереди по крайней мере три недели мучений.

Я встал с дивана, и тут же проснулась кошка.

Сначала она сильно вытянулась на подушке во всю длину, выпрямив напряженные задние лапы, так что они оказались похожи на куриные, торчащие из хозяйственной сумки, ноги, а передними загребая воздух перед собой. Потом она резко скрутилась в кольцо, вывернув голову, и ясно посмотрела на меня одним, уже широко раскрывшимся глазом. Лапы ее при этом соединились все в точке, и она начала месить — выпускать и поджимать когти, растопыривая и сворачивая короткие пальцы с темно-розовыми подушечками. Синий глаз был серьезен.

— Ну, пошли, — сказал я ей, — пошли мыться и стирать, кошка. А то скоро нам воду отключат.

Она побежала одновременно впереди, позади и рядом со мной, путаясь под ногами, норовя от утреннего счастья цапнуть за голую щиколотку. Миновав ванную, мы пришли на кухню, где в одно блюдо я сыпанул ее американских коржиков, созвучных моему любимому напитку, в другое — откромсал кусок мяса, специально размороженного и лежавшего в блюде на верхней полке холодильника, а в литровой кружке сменил воду для ее питья. Она, естественно, сначала все это зарыла, но увидев, что я не реагирую и направляюсь в ванную, тут же захрустела — ну, характер!..

Горячей воды уже не было, конечно. Приносим извинения, сэр...

Слегка охая и отдергиваясь, я помылся холодной, кое-как смывая мыло из подмышек, грея воду в ладонях, чувствуя, что простуда приближается с каждой каплей — вода была просто ледяная, хотя и в июне.

Потом я влез рукой в пластмассовое ведро с грязным бельем и начал выбирать то, что следует постирать сегодня во что бы то ни стало. Набралось: носки «берлингтон» в черно-красно-зеленый ромб, уже почти протершиеся, что поделаешь, еще с английских гастролей, из Эдинбурга; трусы, опять же клетчатые и тоже сильно не новые — Франкфурт; голубая рубашка «эрроу», сорок долларов, магазин как раз напротив того театрлика, на Сорок четвертой улице... Это что ж, выходит, ей уже пять лет?! Выходит, так... Ну, и платок шейный «ланвэн», рю Фобур-Сент-Оноре, изумительный тот год, когда глож от аплодисментов, а рецензии — не читая, не вырезая, всю газету — совал в чемодан на шкафу в прихожей...

Быстро простирив в холодной воде — руки сводило — трусы и носки (так оно даже «для гигиены полезней», говаривал один помреж), я притащил из кухни вскипевший чайник и, вслух проклиная все искренние извинения, начал намыливать воротник рубашки и тереть его специально для этих целей выделенной махровой рукавицей. Я обжигался, но темная полоска не отходила, да и как ей отойти, если носить рубашку столько лет, да еще стирка такая.

Наконец я одолел полоску, расправил рубашку и, не выжимая, повесил на плечики над ванной. Меньше будет проблем с гладкой... И настало самое трудное — платок, фуляр. Намочив шелк тут же перекоксился, слипся в жгут, расправить его, чтобы потереть — а пачкается он, естественно, не меньше, чем рубашечный воротник, — не было никаких сил, руки под холодной струей совсем ооченели, а при первой же попытке воспользоваться еще не остывшим чайником с тряпки потекла красноватая вода, «ланвэн» стал линять, вот тебе и на, интересно, чего ж это он раньше не линял?

Когда я все развесил и вытер размытые до сморщенной кожи, как положено прачке, руки, было уже около десяти. Жутко захотелось есть, как обычно к этому времени, если накануне пил и ел поздно вечером, если просыпался в пять, растворял соду от изжо-

ги, принимал аллохол и снова задремывал в седьмом часу, чтобы в восемь проснуться уже окончательно... Я надел часы, на время купания и стирки повешенные на крюк, снял с этого же крюка черное, ставшее уже белесым от носки кимоно, натянул его, туго подпоясал и открыл дверь ванной.

Кошка сидела в узком коридоре и внимательно смотрела на меня снизу вверх. У нее не было никаких комплексов маленького существа, она не боялась меня, не завидовала моему росту, обходилась со мной нежно и строго, могла слегка укусить — в основном за то, что я пытался встать или хотя бы сменить позу, когда она сидела у меня на коленях, — а лежа рядом со мной, целовала в губы, по всем правилам, и тут же прижималась к щеке, как это всегда делают давние, привязавшиеся друг к другу партнеры. Она досталась мне стерилизованной, и поэтому теперь наши темпераменты все более совпадали.

— Пошли, кошка, — сказал я, — кофе пить. Ты, рожа, позавтракала, а я стираю целое утро, как золушка...

Но кошка, сделав вялый полупрыжок, повела меня не на кухню, а в клозет, показывая, что прежде всего надо за ней убирать, а потом уж кофе и прочее сибаритство. В этом она была непреклонна. Выбросив намокшие клочья газеты в унитаз и ополоснув используемый ею старый поддон от давно сгинувшего холодильника, я снова помыл руки, снова направился на кухню, взял там чудовищно закопченную итальянскую кофеварку, состоящую из двух граненых металлических конусов, соединенных усеченными вершинами, развинтил ее, вытряхнул из фильтра слежавшийся выпаренный кофе в пластиковый мешок с мусором, приткнутый между холодильником и мойкой, налил в нижний конус воды, наложил фильтр, опять вымыл руки, обнаружил, что молотого кофе в мельнице мало, досыпал зерен, смолот с грохотом и воем, высыпал в фильтр шесть ложек, слишком много, навинтил верхний конус, поставил устройство на плиту. Кто мне его подарил? Не помню уже. Жутко неудобное, но кофе получается отличный, и не ломается оно уже лет десять.

Пока кофе варился — семь минут — я полез в холодильник, достал масло, зацепил кусок ножом, стряхнул, сдвинул об уже нагревавшийся край сковородки, масло растеклось, достал два яйца, надсек ножом одно над сковородкой, разломил, бросил

скорлупу в мусор, надсек второе, разломил, бросил, долго отряхивал над сковородкой соль, прилипшую к пальцам, бросил в уже начавшую подергиваться пленочкой яичницу оставшуюся со вчера в холодильнике сморщенную вареную сосиску — предвзвешенно разрезав ее вдоль.

Снова помыл руки.

Поставил сковородку на керамическую подставку с деревянной рамой, с синим охотничьим рисунком, — Дания? Голландия? не помню, — взял вилку, нож, поставил кофеварку на другую подставку, толстое стекло в металлической рамке с завитушками, — Германия? кажется, — взял кружку с надписью «Home, sweet home», — Лондон, это точно, — взял старую синего стекла пепельницу с выдавленной с нижней стороны дна головой оленя, взял сигареты, зажигалку, сел, отковырнул сразу четверть яичницы и кусок сосиски, прожевал, налил кофе...

«Разрешите же мне, Экселенц, откровенно, насколько позволит мне природная, свойственная моему сословию и цеху, лживость, изложить соображения, которыми я руководствовался, с одобрения Вашей Милости решаясь на известные Вам действия.

Итак, во имя Святейшего, да продлит Создатель его дни.

Мы отправились в экспедицию, отплыв от вполне безлюдного берега в среднем течении этой ужасной реки. Противоположный, высокий берег, постоянно подмываемый мощным и быстрым потоком, краем сполз в воду. Местная растительность, представленная по преимуществу невысокими и тонкоствольными деревьями с белой, в темных разломах корой, называемыми на туземном наречии «биериоза», оказалась, таким образом, в реке, и светлые ее листья колебались в струях, создавая дополнительную подвижность и рябь на поверхности воды, просвечивающей под солнцем вплоть до близкого илистого дна, по которому, если всмотреться, скользили тени от этих странных крон, волнуемых не ветром, а несущейся жидкостью... Само собою, вместе с названными деревьями сдвинулись в русло и низкорослые, обсыпанные красными — отвратительного, к слову, вкуса — ягодами кусты, именуемые на том же варварском диалекте «каллиномаллино» и давшие название дикой аборигенской пляске; сползли в воду и прочие мелкие растения. Обнажившийся глинистый

срез, багрово-коричневый, с вылезавшими наружу корнями, представлял собою зрелище безобразное и удручающее.

Длинные наши суда, движение которым придавали нанятые из местных обитателей гребцы, достаточно быстро неслись вперед — не столько даже усилиями этих гребцов, тощих и ленивых (сведения о физических и душевных чертах туземцев изложу Вашей Милости позже), сколько самим течением, легко влекущим эти сравнительно небольшие, узкие при значительной длине лодки с плоскими днищами. Насколько я понял, эта их особенность отражена и в оригинальном названии «плосзь-кодон-ка», хотя, возможно, я и ошибаюсь, так как тем же словом один из наших гребцов и проводников называл женщину, о которой говорил, как о жене...

...Итак, берега неслись мимо, наши кирасы и шлемы сияли и накалялись под солнцем. Природа была дика, первобытна, и нигде не замечалось и следа пребывания цивилизованного европейца и христианина. Лишь уродливые храмы туземного культа — высокие тонкие цилиндры из кирпича, наподобие турецких минаретов, только выше, исторгающие отвратительный дым, да железные строения, вроде виселиц для великанов, соединенные между собою железными же нитями, — мелькали то справа, то слева. Лес местами был вырублен, местами выжжен, и там можно было видеть могильники, оставленные, видимо, предками дикарей: странные железные коробки с колесами, большею частью ржавые; тяжелые каменные плиты с ровными поверхностями, обработанными какими-то титанами, и металлическими прутьями, торчащими из камня. Когда мы проплывали мимо одной из таких гекатомб, гребец, сидевший недалеко от меня, произнес следующую фразу на своем языке (записываю сейчас по памяти): «Зплошчнайа пом-ой-кха, иоб твайу мадь!» — и плюнул за борт лодки.

Я давно присматривался к этому человеку и пришел к выводу, что его роль в дикарском сообществе примерно та же, что моя — в нашем...

— ...Что ж, — с изумлением продолжил я свои расспросы, — вы всерьез убеждены в том, что можете противиться воле Божьей и Святейшего?

Он оглянулся на своих соплеменников, среди которых и сам

еще недавно набивал кровавые мозоли веслом, и повторил своим громким, визгливым голосом:

— У нас своя жизнь, и свой путь в этой жизни, и то, что вы называете Божьей волей и цивилизацией, нам не подходит и никогда не приживется на этой земле. Вы считаете нас дикарями, а мы дикарями считаем вас, отправляющихся за золотом в чужие страны, на муки и гибель, проводящих всю жизнь в тяжком труде, в добычании богатства, в украшении своего существования ценою самого существования. Вам кажется, что жизнь — это есть жизнь, что действительность видима и что поступки — это есть человек. А мы верим, что действительность — это то, чего нет, что истина скрыта и что человек проявляет свою сущность не в том, кто он есть, а в том, кем он хотел бы и мог бы стать. Вы поверх одежды носите металл, чтобы отделить себя от мира, выделиться в нем. А мы нашу одежду носим наизнанку, чтобы слиться с подкладкой жизни.

— Но тогда вас необходимо силой привести в человеческую жизнь, — вскричал я, не переставая одновременно удивляться их способности к нашему языку, позволяющей произносить даже такие речи. — Вас надо сначала заставить, чтобы вы потом...

— Повесить всех, кого не перестреляете, и таким образом цивилизовать? — усмехнулся он.

Но тут показался плывущий нам навстречу левиафан, из тех, что мы уже довольно повстречали на этой проклятой реке: гигантский белый корабль, движущийся необъяснимой силой. С его палубы доносилась варварская музыка. Он приближался с невероятной скоростью, и наши суда стало подтягивать к его бортам. Выстрелы мушкетов потонули в грохоте, издаваемом чудовищным судном, и в визге дикарских свирелей. За кораблем шла волна...»

Я представил себе, как болела бы голова от раскаленного шлема, как тек и высыхал бы пот под кирасой и камзолom и как минимум два дубля пришлось бы барахтаться у бортов теплохода «Владимир Семенов», с риском быть действительно затянутым под его брюхо, лихорадочно нащупывая шнурок автоматически надувающегося спасательного жилета, по-дурацки надетого под доспехи и потому не надувающегося, как выныривал бы с выпу-

ченными глазами, почти задохшийся, а идиоты на режиссерском плоту хохотали бы, не понимая риска, и только каскадеры, изображавшие гребцов и моих рядовых солдат, смотрели бы сочувственно, и один из них, плывя рядом, булькнул бы: «Дурацкий сценарий, дурацкая постановка...»

За дверью никого не оказалось. На площадке было абсолютно пусто и даже относительно чисто — то ли каплявший здесь всю ночь бомж прибрал за собой, то ли несчастная уборщица вернулась в наш чертов подъезд... Только две старые лебедки, как всегда, украшали площадку, оставленные у чердачной лестницы механиками еще в прошлом году, когда наконец починили лифт...

Звонок раздался снова. Теперь он слышался явно — от телефона. Споткнувшись и едва не свалившись из-за кошки, которая, естественно, крутилась под ногами, норовя и выйти на лестницу, и не удалиться от квартиры, обругав ее и подхватив, извивающуюся, поперек живота, захлопнув пяткой дверь, я бросился в комнату, нащупал на полу у дивана, под краем сползшей простыни, телефон и снял трубку.

В трубке, понятное дело, молчали.

— Говорите, — орал я целую минуту, как безумный, — говорите же!

В трубке слышались дыхание, шум сети, ветер пространств.

— Ну, как угодно, — сказал я с внезапной аристократической холодностью и, положив трубку, отправился на кухню заканчивать завтрак. Кофе быстренько подогрел в эмалированной кружке, яичницу доел холодной, закурил за кофе, как всегда... День ожидался не самый худший, можно сказать, даже неплохой. В театре дел у меня фактически не было никаких, и даже если Дед, как обещает, займет меня в следующей его затее, то это будет нескоро, хорошо, если начнем читать осенью, а до тех пор шататься по коридорам, сидеть в буфете, мерить костюм очередного гостя, ходить на склочные собрания, стараясь не принимать участия в бесконечной сваре из-за здания и каких-то сомнительных акций, снова сидеть в буфете, и худсовет, худсовет, худсовет... Вечером же, конечно, очередная тусовка, тосковать в разговорах до начала банкета, ловить автоматически все еще возника-

ющий шепот: «Шорников... тот самый... да, вон тот, седые усы... ну, конечно, в «Изгое», помнишь, как он дрался... да, постарел... кто сейчас молодеет?..»

Кретины.

Как будто раньше люди со временем молодели.

В общем, пора одеваться. И, учитывая вечерние планы, кое-что придется подглядить.

Я разложил на столе одеяло, включил утюг, сходил в ванную и принес воды в специальном пластиковом стаканчике, влил в этот чудесный — каждый раз радуюсь, глядя — утюг, в «ровенту», купленную, кажется, во время немецких гастролей из экономии, отдавать рубашки в прачечную и глажку там было совсем не по деньгам, выставил регулятор на «хлопок» и принялся за рубашку, извлеченную из кучи неглаженных в шкафу...

Снова позвонили, когда я уже был почти готов уходить — в бежевых замшевых, неизносимых ботинках «кларк'с», в каких ребята фельдмаршала Монтгомери шли по пустыне навстречу солдатам Роммеля; в вельветовых коричневых штанах с сильно вытянутыми уже коленями, оттого приобретших особо «художественный вид»; в пиджаке «в елочку» из «харрис-твида», который можно носить десять лет, не снимая, только подкладка в ключья; в голубой рубашечке «ван хойзен» с мелкой, «оксфордской» белой пестринкой... Я стоял в прихожей перед зеркалом, поправлял в нагрудном кармане шелковый платок «пэйсли», повязывал вокруг шеи фуляр соответствующего же рисунка — и тут позвонили уже точно в дверь.

Я глянул в глазок. Что-то мне после всех этих звонков не хотелось открывать дверь, не глядя.

Искаженная линзой глазка, как бы слегка скрученная, была видна вся площадка, и даже лестница просматривалась до поворота к предыдущему этажу. Никого там не было — только перед самой моей дверью, чуть отступив, очевидно, чтобы ее лучше мне было видно, стояла женщина, уже отпустившая кнопку звонка, но держащая руку высоко, чтобы позвонить снова.

Женщина мне была абсолютно незнакома, но поскольку я вообще очень быстро и точно замечаю детали, за те несколько секунд, что рассматривал, я успел увидеть многое.

Ей можно было дать от тридцати до сорока лет — если смотреть на не слишком светлую лестничную площадку, да еще через линзу и одним глазом. Фигуру при этом тем более не рассмотришь, однако, если сделать скидку на искажение, фигура была нормальная, не выдающаяся, но и не уродливая. Волосы были светлые, крашенные, конечно; глаза, кажется, голубые, а черты лица такие, о которых говорят «отвернулся — и забыл»: так называемый «русский» нос, довольно скуластая, рот небольшой, лоб прикрыт челкой... Тот тип, который уже давно выработался в Москве благодаря мощному татарскому присутствию, довольно приличному, по сравнению с остальной страной, питанию, влиянию европейских и, особенно, американских фильмов и журналов и внимательному изучению частых в столичной толпе иностранок.

Выражение лица я не совсем рассмотрел, но оно показалось мне безразлично-спокойным, как и вся ее поза.

Одета она тоже была так, что на улице тут же потерялась бы: черные плоские туфли без каблуков, черные тонкие рейтузы, черный свитерок-водолазка, широкий черный пиджак... Позапрошлогодня парижская униформа, уже и в Москве ставшая заурядной.

Она сделала движение, чтобы снова позвонить, и тут я распахнул дверь.

В ту секунду, когда женщина вытащила руку из кармана пиджака, точнее, на полсекунды раньше, я почему-то все понял, сделал короткий шаг в сторону, за стену, и дверь захлопнул.

«Пуля, вывернув ключья обивки и цепки, прошла сантиметрах в пяти под глазком и вмялась в противоположную стену, рядом с забытым с весны на вешалке плащом. Из рваной дырки в обоях тонкой струйкой высыпались штукатурка и кирпичная пыль». Допустимо и такое развитие...

4

И только присмотревшись, я понял, что вижу через глазок свою вторую жену — из женщин, с которыми я был относительно подолгу связан, встречаемую в последние годы реже всех,

практически не звонившую и, уж конечно, никогда не приходившую ко мне домой. Так что ее появление на лестничной площадке было в своем роде не менее страшно, чем если бы она действительно открыла огонь по двери. Я же, будучи склонен к жанру приключенческому, довольно часто и более простые и привычные ситуации, — например, небольшую прогулку по центру города с намерением в конце ее посетить своего издателя, — продлеваю и развиваю мысленно именно таким образом: стрельбой, стычками и погонями.

Собственно, можно было бы долго размышлять на эту тему, и даже припомнить те считанные случаи из моей жизни, когда авантюра реализовывалась не в фантазии, а в действительности. Но я уже твердо решил не отвлекаться больше от основного сюжета, который следовало бы, как школьное сочинение, назвать: «Как я пропал этим летом».

Итак, я открыл дверь, и Галя вошла.

В моей жизни было довольно много женщин, вероятно, больше, чем в жизни среднего пятидесятилетнего мужчины, я был несколько раз женат, но так и не смог привыкнуть, как к рутине, к тем отношениям, которые возникают между женщиной и женщиной через несколько минут, или дней, или лет после знакомства. Я не до конца понимаю, как могут люди, еще помнящие время, когда они даже не подозревали о существовании друг друга, и не уверенные в том, что они уже не расстанутся до смерти — вместе, иногда даже не отворачиваясь, а то и помогая взаимно, раздеваться, снимать белье, распространяя на какие-то минуты смешивающийся запах тел, трогать чужую кожу, проникать в рот, сливаясь слюной, сплетаться ногами и, наконец соединяться, подобно деталям какого-то механизма или сооружения, и обливать друг друга секретией, а языками, пальцами рук и ног, и сосками, и животами, прижиматься, гладить, и говорить все, что приходит в голову в этот миг, и рассказывать о себе то, что никогда не рассказывают родственникам и даже друзьям, а потом расцепляться, надевать одежду, и через некоторое время, иногда даже не очень большое, проделывать все то же самое с другими. И бывает, что немного спустя — месяцы или годы — они, встретившись, смотрят друг на друга, как совершенно посто-

ронные, чужие, будто скрытые под одеждой тела никогда не соединялись, не вкладывались одно в другое; а бывает, что они даже начинают вредить друг другу, намеренно причиняя зло, словно это не они когда-то были открыты, и незащищены, и близки так, как можно быть близким только с тем, кто никогда и ни за что не сделает тебе больно. Эти связи, самые, на мой взгляд, прочные и тесные из тех, которые бывают между людьми, рвутся, словно перетянутые струны, разбивая в кровь, хлестко прорезая искаженные — то ли еще любовной, то ли уже враждебной страстью — лица, но и увечья эти заживают, и уже совсем отдельные люди сходятся, сцепляются с другими отдельными людьми, и все это длится, расплзается, и цепочка, растянутая во времени и человечестве, обвязывает группы, города, страну, всю землю и всех людей.

Любой знает, что через праотца, по крайней мере, каждый каждому родственник по крови. Но родство это все же очень дальнее и, главное, давнее, через много поколений, колен. Родство же — а я чувствую это родство, воля ваша, не могу не чувствовать! — по иным человеческим жидкостям, если задуматься, прослеживается едва ли не всего мира со всем миром за какие-нибудь десять, двадцать, ну, тридцать лет. Мужья любовниц становятся любовниками жен, жены уходят от мужей к встреченным случайно чужеземцам, а оставленных мужей утешают подруги, а другие мужья ищут утешения в другом городе, и находят, и звенья множатся, цепь запутывается, длится, снова складывается и затягивается узлами, конца ей нет, и даже когда кто-то умирает, ничто не прерывается, потому что звено это осталось во времени, сквозь которое из поселка в деревню, из деревни в столицу, через океаны и пустыни тянется цепь сплетенных, сплетающихся, сплетавшихся когда-то тел.

Не причиняйте же зла никакому человеку, потому что вы не только братья, но и любовники.

А индест... Об индесте не думайте, было что-то такое ведь и с самого начала, когда нечто произошло с ребром. С другой же стороны... Все это лишь ничего не значащая мысль, игра неопушимого ветра на чуть рябщей поверхности сознания, под которой тишина, покой, темные неподвижные воды. Но при этом...

Однажды, находясь в небольшом, но весьма приличном и

даже изысканном собрании, в публичном месте, скажу точнее — в одном из тех клубов, которые в Москве называются творческими домами, и где в последние годы уже не только водку пили вхожие, но и довольно часто спорили и ссорились откровенно, как прежде только по кухням решались — так вот, находясь в таком дискуссионном собрании, я обнаружил, что из четырех присутствовавших там женщин был я с тремя близок, причем с двумя в одно и то же время, правда, недолгое. А ведь я не дон жуан вовсе, обычный человек, а в молодости и вообще был робок и неуверен с девушками.

— Входи, что же ты в прихожей-то... — сказал я Гале. Она было попыталась сбросить туфли, но я решительно и бурно запротестовал, что за азиатская манера, и слегка подтолкнул ее положенной на плечо рукой, ввел в комнату, усадил в кресло, изодранное кошкой, которая, кстати, немедленно прыгнула госте на колени — устанавливать отношения.

— Скинь ее, будешь вся в волосах, на черное цепляется... Я кофе поставлю? — молол я нечто довольно бойко, хотя, надо признаться, чувствовал себя странно. Не виделись мы давно, она постарела, но почти не изменилась, так бывает. Смотреть на нее было любопытно, но главное — я не мог понять, зачем и почему она пришла.

— Ну и пусть волосы, — засюсюкала она, обнимаясь и целуясь носами с кошкой, что мне, конечно, понравилось, — ну и пусть волосы — волосы — волосы... ах ты красавица — красавица — красавица... кофе не хочу, спасибо... ну, значит, так ты теперь живешь, красиво, всегда ты из помойки музей устраивал... а я на днях посмотрела по второй программе, был какой-то ваш вечер, что-то со стихами, мне не понравилось, если честно... но на тебя посмотрела и думаю вдруг, надо повидаться, обязательно... а тут рядом была, но из автомата не прозванивается... но, слышу, ты трубку снимаешь, значит, дома, а меня не слышно... думаю, зайду нагло, пока рано, по делам не убежал... постарела я сильно?.. нет, кофе не хочу, а вот, извини, у тебя выпить ничего нет?.. нервничаю почему-то, хотя неприлично с утра, да?

— Неприлично не выпить, когда хочется, — коротко как бы бросил я, автоматически начиная партию сурового мужчины,

крутого (между прочим, как попала эта калька с английско-американского *tough guy* в наш полуворовской язык?), воображая про себя то, что уже привык за все последние годы. — Водка есть, виски есть приличный, «Passport», коньяк есть, правда, паршивый, из ларька...

— А чего-нибудь не такого... вина какого-нибудь у тебя нет? Крепкое все...

— Насчет вина извини. Ты уж забыла... Я же вина почти не пью, только если обед какой-нибудь парадный, отказываться неудобно... Так что выбор у тебя только мужской.

— Ну, водки, что ли... Немного...

Я вынул бутылки из старого, с кое-где отклеившейся красного дерева облицовкой буфета, достал любимые свои небольшие, но тяжелые хрустальные стаканчики, быстренько выскочил на кухню, выложил на хлебную хохломскую доску каким-то чудом оказавшийся в холодильнике кусок сыру, обнаружил еще большее чудо — маленькую банку испанских оливок с анчоусами, притащил виски...

— Да не хлопочи так... Хватит, хватит... Ну, будь здоров.

Она выпила, хорошо, залпом, выловила оливку, отрезала сыру. Я налил себе виски сразу на три пальца, глотнул. Похоже, что день пойдет не по плану. Она подняла сумку с полу, порылась, достала сигареты, я порылся в карманах, поднес зажигалку.

— В мыльной опере играем, Галочка, — сказал я, — сейчас начнем вспоминать, ты скажешь: «А знаешь? Я ни о чем не жалею. Я была счастлива с тобой...» А я, сдержав горькое мужское рыдание, отвечаю: «И я никогда не был счастлив после того, как мы расстались...» И, на два голоса проплакав «Прости меня!», мы бросимся в объятия друг друга. Конец. Роли исполняли... Вы смотрели двести сорок шесть серию...

— Ты как всегда, а мне правда грустно, — она сунула сигарету в пепельницу и, как обычно, недодавила, тонкий противный дымок зазмеился. Я придавил окурочок, достал свою, закурил. Галя посмотрела на голубую пачку, вздохнула: — И куришь, конечно, эту дрянь французскую, махорку...

— Что ж делать, если кубинских теперь нет. — Я ответил автоматически все в том же ерническо-суперменском тоне, хотя

вдруг понял, что она действительно расстроена, а приход ее просто странен, и объясняется чем-то вполне серьезным, и что сейчас может начаться нечто тягостное, сложное, способное не то что сегодняшний день сломать, но и еще на долгое время испортить жизнь, разрушить уже, кажется, установившийся относительный покой.

— Расскажи, как живешь, — попросила она.

— Ну, как я живу... — налил себе еще немного, посмотрел на нее, она кивнула, налил и ей. — Живу я обычно, как многие в моем возрасте живут. Слава была, книжки были, концерты вот до сих пор по телеку хоть два раза за год, а покажут... Была слава, да почти сплыла. Пишу, и даже издаю, — не скажу, чтобы мало, а кто это видит? И песни поют даже... С тем же результатом: спроси сейчас любого на улице, когда он последний раз о поэте Шорникове слышал. Уверяю тебя, половина в ответ поинтересуется, а жив ли этот прекрасный поэт, а другая половина, помоложе, и вовсе фамилию не вспомнит... Деньги — соответственно. Те, что тогда посыпались, прожиты. Вот кое-какое барахлишко осталось, «шестерка» во дворе ржавеет понемногу, но еще ездит, а денежки — ушли. Они со мной быть не хотят, им уважение нужно, а я их просто люблю. Нынешние же заработки... ну, на еду, ботинки купить, когда старые совсем развалятся, — все. Вот хорошие люди из этих... из богатых, им спасибо. Посоветуются с кем-нибудь, кто еще наши имена помнит, да и пригласят куда-нибудь, на корабле сплавать в такие места, о которых раньше только у Хемингуэя читали, в Барселону какую-нибудь или на Канарские, извини, острова... Крузиз. Кормят, напоить желающих полно: «Я извиняюсь, конечно, можно с вами будет выпить?» И после стакана «на ты», обнимать, про жизнь расспрашивать... Цепь золотая на шее, наколка «Буду помнить не забуду а забуду пусть умру», костюм спортивный шелковый... И — давай, поэт! «А сам спеть можешь? А Высоцкого знал?» Бывает, и пою, говорю, что знал...

Тут я замолчал, потому что она заплакала. Плакала она точно так же, как пятнадцать лет назад плакала, сидя на скамейке на Тверском бульваре, когда все уже стало ясно, но тогда я, помню, почти ничего не чувствовал, глядя на ее совершенно неподвижное, только заливающееся слезами, намокающее лицо, в не-

много выпуклые голубые глаза под водяной пленкой — только неловкость, которую испытываешь, глядя на любого плачущего человека. Теперь же я ощутил вдруг острое сочувствие и какую-то странную тревогу — не за нее, а, с некоторым стыдом, за себя, будто это меня она оплакивала, сидя в глубоком, старом, в лапшу изодранном кресле, сама наливая себе, звеня горлышком, осыпая пеплом черную свою одежду. Будто траур.

— Что с тобой? — спросил я тихо и, перегибаясь через давно уже перешедшую на мои колени и заснувшую кошку, через столлик между нашими креслами, взял ее ладонь в свою. Кожа на тыльной стороне ладони была сухая, в мелких морщинках, следах порезов и ожогов — я как-то уже и забыл, чем она занимается, эту ее постоянную возню с ножницами, булавками, утюгом... — Что с тобой, Галочка? Ну, успокойся...

— Так я и знала, знала, что ты ужасно живешь... не в телеке дело... еще два месяца назад увидела тебя на улице, ты шел, а я ехала... по Чехова... такое ужасное у тебя было лицо... горькое, знаешь... хотела приехать, но как-то неудобно, а тут по телеку... ты ужасно живешь, ужасно!

Она выпила, закурила уже третью или четвертую сигарету, достала из сумочки бумажную салфетку и осторожно промокнула глаза, которые уже успели слегка потечь, всхлипнула, успокаиваясь.

— Успокойся, — повторил я и убрал руку. — Лучше о себе расскажи. Чего ты так разжалобилась? Да так, как я живу, другие только мечтают. Нашла, кого жалеть... У тебя-то как? Муж... как его... Игорь? А мальчик как? Ему... девять, наверное?

Она уже встала, вышла в прихожую, что-то быстро делала с лицом, стоя перед зеркалом.

— Двенадцать. Двенадцать мальчику. Зовут его Слава. А мужа, кстати, не Игорь, а Олег. И у меня все в полном порядке. Свое ателье. Все отлично. Только что из Китая приехала. Все хорошо...

Она оторвалась от зеркала, повернулась ко мне, заново накрашенные ее глаза опять влажно заблестели, но на этот раз слезы уже не пролились. Она сделала шаг вперед, обняла меня за шею, приподнявшись на цыпочки, и поцеловала.

— Не болей. Не расстраивайся. Не ешь себя.

Я открыл перед нею дверь, успев подхватить на руки попытавшуюся просочиться на лестницу кошку.

— Как ее зовут? — спросила Галя.

— Нана.

Она усмехнулась.

— В честь группы?

— Какой группы? — не понял я. — Это Золя...

— А-а, — она почему-то вздохнула, погладив кошку.

И, уже закрывая за нею дверь, я услышал:

— Держись, слышишь? Не позволяй себя губить.

За дверью грохнул и пошел лифт. Я вернулся в комнату, снял и бросил на диван пиджак, снова сел в кресло, вылил себе в стакан остатки виски. В конце концов, дело у меня более или менее обязательное только вечером...

На полу, возле того кресла, в котором сидела Галя, я увидел сложенный листок бумаги. Выпал из сумки.

Я поставил уже пустой стакан, дотянулся, поднял — это был обычный белый лист формата «под машинку», сложенный вчетверо. Я развернул его, кошка на коленях заворочалась, протянула лапу, норовя отобрать бумажку. Я тихонько спихнул ее, продолжая читать короткую записку. Дочитал. Посмотрел на пустую темную квадратную бутылку с пестрой вертикальной наклейкой. Вылил в свой стакан всю оставшуюся водку. Выпил, съел две оливки, потом еще одну — вкус водки после виски был отвратителен. Закурил.

И стал перечитывать короткий текст.

«Мишенька! Вчера на улице ко мне подошел мужчина. В белом костюме, итальянском, высокий, пожилой. Назвал меня по имени, сказал, что твой старый друг, знает тебя очень давно. Сказал пойти к тебе и предупредить, чтобы ты был осторожнее. Он говорит, что это лето для тебя очень тяжелое и чтобы ты не знакомился ни с кем близко, а он тебя предупредить не может, потому что в Москве только один день. Мишенька, я боюсь, что это мафия или кавказ. Он с усами, лицо темное. Я так и знала, что побуюсь тебе сказать такую глупость, ты будешь смеяться, поэтому написала письмо и оставляю его. Пожалуйста, Мишенька, дорогой мой мальчик, будь осторожней! Я за тебя боюсь. Я тебя

не разлюбила и не разлюблю, зря ты меня тогда бросил. Целую тебя, будь осторожней, не знаю, что он имел в виду, целую, твоя Галя».

Я открыл коньяк. Такой гадости я не пил давно.

В моей жизни бывали странности и прежде, но никогда до этой записки не долетал ко мне такой внятный голос оттуда, из зимнего Сретенска, такой разборчивый привет опекуна. Летом он носит белое, но почтальоншу все же надоумил в черном явиться... Какая, с другой стороны, дешевка, если задуматься, попса, как теперь говорят... Но что же, однако, он имеет в виду, что страшного сулят мне близкие знакомства в это лето?

Вероятно, что-нибудь с женщиной. Хотя каких уж только бед и хлопот не пережил я из-за горестной своей слабости, склонности, бессмысленной и непрерывной тяги, и чем особенным можно меня еще потрясти... Я был трижды женат с участием государства, фиксировавшего в паспорте не только где, но и с кем должен жить человек. Фактически же я был женат никак не менее восьми раз, браки эти длились по году, а то и больше, нелезая друг на друга, однажды я расхотелся с двумя женами одновременно, уже сойдясь с третьей, причем, повторю, я не безумный бабник, а вполне средний в отношениях с женщинами экземпляр, и было их у меня если и больше, чем у какого-нибудь идеального отца семейства, то ненамного. Да и, согласитесь, профессия такая, что без хотя бы некоторого чувственного излишества не обходится. Просто отличаюсь я тем, что чаще, чем нормальный мужчина, ощущаю себя женатым. «Ты через пять минут уже женат», — сказала мне однажды какая-то из жен, подразумевая, что любая моя измена более опасна для существования нашей семьи, чем обычные приключения не так устроенных мужчин. Она оказалась права впоследствии. Я не умел и не научился радоваться просто близости, просто наслаждаться, хотя к собственно наслаждению очень даже склонен, чтобы не сказать — к сладострастию. Но это не мешает мне — стоит лишь побыть с женщиной хоть сколько-нибудь достаточное для минимального сверх физиологического сближения время, а это может быть и неделя, и одна ночь — начать думать о будущем больше, чем о настоящем, строить планы общей жизни, решать общие проблемы и чувствовать себя по уши в обязательствах...

Однажды я ужасно тяжело переживал разрыв, состоявшийся по моей инициативе. Мне было безумно жалко ее, я представлял, как, разбитая и несчастная, она забросила все свои дела, отказывается от ролей, — была она вполне заметной в своем актерском цехе, — ревет ночами, портя лицо и тем еще больше вреда своим делам... Я даже вполне серьезно опасался сердечных приступов и суицидных припадков. Но через две недели мой приятель рассказал, что на капустнике в их театре (кажется, юбилей режиссера) она была, как всегда, прелестна, оживлена, пела, пила и уехала — приятель глянул мне в глаза и улыбнулся — с молодым парнем, красавцем и быстро взошедшей звездой, гордостью их труппы. «Я выходил, они как раз отъехали к нему», — сказал добрый друг и еще раз мне улыбнулся. Я жестоко разочаровал его своей искренней радостью и необъяснимым жаром, с которым я его вдруг поблагодарил, неизвестно за что, и даже обнял. Тогда я понял, что большая часть моих терзаний объясняется явным завышением ценности собственной персоны для женщин. Я вдруг задал себе вопрос: ну, хорошо, допустим, Лена (я тогда был влюблен как раз в некую Лену, из-за чего и порвал с быстро утешившейся любительницей капустников), Лена меня бросит — что со мною-то будет? Вот придет, как я пришел к ее предшественнице, и так же скажет: «Извини. Мне было с тобой очень хорошо. Но теперь я не могу... Я не хочу объяснять, почему, но не могу. Давай разойдемся по-человечески». Ну, и еще какие-нибудь пошлости, обозначающие тот простой факт, что увлечение прошло, или, скорей всего, вытеснено новым. Что же я сделаю? Покончу с собой, запью больше обычного, опущусь, перестану бриться и принимать душ, брошу съемки? Да ничего подобного! — ответил я себе честно. Я буду жить, как жил, и даже необходимость терпеть в связи с новым разрывом довольно существенные практически неудобства, поскольку мы с Леной уже съехались, устроили квартиру, из которой мне пришлось бы уйти, не привели бы меня в смертельное отчаяние, как-нибудь устроился бы, потерпел... Главное — продолжал бы жить, и смеялся бы, и с какого-нибудь спектакля, а то и капустника, через пару недель, уехал бы с кем-нибудь. Тогда же, если не ошибаюсь, я впервые и представил себе ту цепь связей, любовей, длительных или мгновенных сцеплений между мужчинами и женщина-

ми, цепь, опутавшую весь мир, которая, в конце концов, и должна объединить мир и миръ, world and peace, и когда-нибудь будет написана, наконец, не «Война и мир», а «Мир и миръ», и это и будет конец света, а отнюдь не какой-то идиотский гриб. Затрубят трубы, и поднимутся мертвые, чтобы занять свои места в цепи, и мы все двинемся держать ответ за любовь.

Сумерки мало меняют мою квартиру, потому что я почти никогда полностью не отодвигаю темные и плотные шторы. В сумерках я допил коньяк, умылся, крепко вытер лицо свежим, жестким после прачечной полотенцем, снова старательно оделся, взял с вешалки твидовую панаму — в последнее время даже редкие узнавания на улице стали почему-то раздражать, а любая шапка сильно меняет внешность — и отправился по намеченным вечерним делам. Какой-то прием, названный, естественно, презентацией... Одни и те же, большей частью знакомые люди, выпивка, закуска стоя, разговоры об абсолютно неинтересном... Но жить без этого было уже нельзя, потому что и роли, и прочие все необходимые для жизни вещи можно было получить только в таких местах. Тусовка, только тусовка, ничего, кроме тусовки.

К тому же я не выношу вечернего одиночества дома.

Я пошел пешком, цель была недалеко, в пределах получасовой прогулки, да и садиться за руль после выпивки я все-таки избегаю. И поэтому все чаще простаивает моя бедная «шестерочка», догнивает под едкими московскими дождями... Я шел дворами и переулками, механически отмечая про себя их новые старые названия, косясь на вездесущие «мерседесы», взвехавшие тяжелыми своими задами на тротуары, на бесчисленные вывески меняльных контор, обходя приткнувшиеся друг к другу стеклянные коробочки ларьков, набитые большими пластиковыми бутылками с жидкостями химических цветов — когда-то в витринах аптек стояли стеклянные шары с таким ярким содержимым, которое изображало, вероятно, яды... Я шел, поглядывая на всю эту новую жизнь, которая для меня и тех, кто постарше, так навсегда и останется новой, а для тех, кто моложе — просто жизнь, я шел от Пресни в сторону Смоленской и вдруг ясно понял, что предупреждение мне сделано, и предупреждение серьезное, а теперь уж все зависит от меня, и, если не остерегусь...

Пошел дождь, я развернул зонт, захваченный и из предусмотрительности, и для завершения английского стиля. За последние два дня сильно похолодало, будто не разгар лета, а середина осени. После чудовищно липкой жары порадоваться бы, но унылый рассеянный свет сразу заставил забыть потные муки и одновременно испортил настроение, и никакой радости от прохлады не было, вместо нее пришла обычная осенняя тоска, предчувствие ноябрьского отчаяния, хотя до ноября еще было чуть ли не полгода...

— Скажите, а вы аид или нет? — услышал я и, конечно, вздрогнул, как вздрогнул бы, неожиданно услышав такое в пустом переулке, любой из вас.

Непонятно откуда взявшийся, передо мною стоял человек. Весь в белом.

5

Собственно, путь мой на дно в то страшное лето и начался с появления этого человека. Потому что записка, брошенная Галей на ковер у кресла, была, если говорить всерьез, скорее попыткой остановить меня в самом начале этого пути, не дать даже тронуться в опасном направлении. Человек же, возникший передо мной в Девятинском переулке, стал как бы привратником или, точнее, указчиком ложной дороги, ведущей в ад, в Ад. В Ад.

Как я уже сказал, он был весь в белом, а именно: в белых парусиновых ботинках с квадратными носами, на красноватой резиновой подошве; в белых (или, скорее, светло-серых) брюках (пожалуй, штанах) из сурового полотна, что шло на дачные шторы и мебельные чехлы, с застегивающимися на белые пуговицы хлястиками-стяжками по бокам; в слегка кремового оттенка пиджаке из настоящей китайской чесучи (или чесунчи?), с большими накладными карманами и опущенными, как бы немного оплывшими (как раз свечного, воскового цвета) лацканами; а под пиджаком синевато-белая, после стирки с синькой, поплиновая рубашка (точнее, наверное, сорочка) с узкими, длинными углами воротничка, наглухо застегнутая, так что воротник завернулся углами вперед; без галстука. Все грязное, с черными полосками

по воротникам и манжетам, а штаны еще и в недвусмысленных рыжих пятнах.

Это был очень старый — весь в пигментных пятнах по лысому черепу и тыльным сторонам кистей, с густыми седыми волосами, лезущими из носа, ушей и прорехи расходящейся на груди описанной выше рубашки, косолапый, из-за чего были сбиты, смяты задники упомянутых туфель, с пропотевшими подмышками и лопатками — еврей. С приплюснутым, немного звериным носом и широким лягушачьим ртом, коротконогий, с непропорционально маленькими ступнями и ладонями.

Откуда он здесь взялся, эта мерзкая антисемитская карикатура на моего inferнального хранителя, под вечер в Девятинском переулке? И почему я его раньше не заметил? И что он от меня хочет?

— Так вы айд или нет, я вас спрашиваю? — раздраженно повторил он, и только со второго раза я понял вполне, в общем, простой вопрос. Ответил же слишком серьезно и точно:

— Ну, допустим... Что из этого следует?

— Так вы ж должны помочь айду! — вскричал безумный старик. — А вы в бизнесе или что? Я сам с Украины, вы ж знаете, какой там антисемитизм, так я уехал в Германию как обязанный ими чтобы принять еврей, ну, даже подженился там, она, знаете, с Австрии, но очень хорошая женщина и совершенно молодая, у ней свой бизнес, стайлинг и вообще, по-нашему, портниха дамская, так бабки у нас есть, но я хочу же делать деньги, как положено еврею, и хочу вас спросить, как интеллигентного человека, а можно, допустим, если еврей с Украины или с Германии, все равно, открыть в вашей Москве, например, взять кафе или просто кнайпу, потому что ж мне положена льгота, как участнику вова, но вашей москальской прописки, конечно, нет, так я хочу написать вашему Ельцин, или пусть Лушкин, бургомайстер, чтобы как ветерану помогли, и скажите мне, я же вижу, что вы интеллигентный человек, знаете все, у вас наверняка есть бизнес, они допоможут еврею, мне шестьдесят восемь лет, жена молодая еще, так не думайте, ей сорок шесть лет, а я с ней имею каждую ночь, и пусть будет свой бизнес, а?

Все время, пока он нес эту околесицу, я стоял молча, разглядывая его последовательно сверху вниз и как бы кивая, как бы

без слов одобряя все, что он бормотал, как бы обещая ему, что аид аиду поможет. Почему у меня возникла эта ужасная привычка поддакивать, соглашаться, уступать? Причем это же совсем не значит, что я действительно соглашусь или уступлю — ничего подобного, стоит напиравшему на меня отвернуться, пропасть из поля зрения, выйти из контакта, как я тут же обзову его, хорошо если идиотом, никаких уступок и не подумаю делать и вообще укреплюсь в своем мнении, но уже останется нечто — ведь своим согласием я как бы пообещал...

Я отвлекся этой, увы, привычной мыслью и не заметил, как старик вдруг перешел к совершенно новой теме, причем излагать ее начал столь же новым языком и даже интонации южно-еврейские утратил.

— Видите ли, вам кажется, что жизнь ваша устоялась, — он вздохнул, но и вздох был не местечковый «э-хе-хе-хе-хе, вейз мир, почему несчастье всегда найдет голову еврея, и этот еврей как раз таки я», нет, вздох был сдержанный, едва слышный, и он продолжал свою новую речь: — Вам кажется, что уже ничего существенно нового с вами не произойдет, что так и доживете, в большем или меньшем комфорте, приличном достатке, в не влияющих на судьбу связях, фактически без близких отношений с кем бы то ни было, поскольку можно не считать близкими отношения, не меняющие жизнь...

Потрясенный совпадением того, что говорил этот странный, как бы из двух персон состоящий старик, с тем, о чем я думал в последние дни неотступно, я перебил его:

— Да как раз теперь я уже так не думаю, наоборот, вы знаете, у меня возникло чувство, что я вот-вот вступлю в полосу таких перемен, о которых уж с молодости забыл и думать, и что Бог снова обратил на меня взгляд и начинает посылать мне то, что наполняет дни жизнью... Но, простите, как вы угадали, что именно мысли об этом мучают меня последнее время? Вы так странно говорите...

— Ему странно!.. — раздраженно пожал плечами еврей. — Вы, случайно, не юрист будете? Мне нужен юрист, я сам сейчас с Германии, а вообще с Украины, так я хотел узнать у юриста по льготам для ветеранов, или их нет? Я так скажу вам, как аиду, у

вас умное лицо, так вам я скажу, как в Германии даже такой пожилой, как я, может поджениться, и у бабы есть гельд...

Он продолжал еще что-то нести про бизнес и бабки, но оцепенение уже сошло с меня, я обогнул его, успевшего в последний момент сунуть мне какую-то мятую бумажку, и быстро пошел к перекрестку, вон из переулка.

На ходу я взглянул на бумажку. Это была рекламная листовка какой-то из новых этих бесчисленных контор, торгующих жильем. Текст начинался так: «Ваша недвижимость ждет вас...» Апокалиптический оттенок этого сообщения окончательно расстроил меня, и весь остаток пути до веселого ужина я прошел уже не просто огорченный, а убитый, и чувствовал, что лицо у меня искажено неприятной гримасой, как от физической боли, и встречные поглядывают, но поделать ничего не мог. В словах старого сумасшедшего прозвучало то, что я не только сам чувствовал, но и говорил себе вполне внятно, однако, произнесенное вслух, это стало совсем невыносимым.

Я понял именно тогда, выходя из Девятинского к Смоленке, что поделать ничего нельзя и в это лето мне предстоит пропасть. Можно было произнести то же самое и с другим ударением — пропасть, и об этом я думал тоже вполне всерьез.

В конце концов, не слова этого мыслителя, так удачно жевившегося, а просто его появление, безумие, сам вид безусловно свидетельствовали: нечто началось, первый указатель пройден.

Большой, полусвещенный зал. На стенах плохая живопись, расставлена дешевая, «под роскошь» мебель, несколько длинных столов, накрытых для фуршета, — оливки, рыба, ветчина, виски, джин, водка, апельсиновый сок в кувшинах и все, что бывает на такого рода фуршетах. Публика частью выстроилась в очереди у столов, за которыми молодые люди, не глядя ни на кого, раздают еду, частью уже с тарелками и бокалами сбилась в небольшие беседующие группы.

Входит поэт в летнем костюме и с женой. Быстро наполнив тарелки, они присоединяются к той группе, где стою и я, Михаил Шорников.

• П о э т (выпив и закусывая): — Здравьете, здрастье... А кто, господа, сегодня «Беспредельную» читал?

Политик, певец, еще один политик, политикесса-актриса, просто актриса, писатель, другой писатель (эмигрант) и М. Шорников: — Я, читал, читала! А как же! «Беспредел» обязательно! Надо их читать... Противно, а надо, ничего не поделаешь. Только их теперь и читаем, да, пожалуй, «Надысь», хоть и негодяи, конечно, а надо читать...

Еще один политик (выпив и закусывая): — А я бы тем, кто «Надысь» читает, руки бы не подавал. Вы их своими деньгами поддерживаете, а они вас потом и повесят!

Политик (благодушно выпивая): — Авось не повесят... Никто никого не повесит... Я вот, например, с удовольствием «Жлоба» читаю. Название остроумное...

Писатель (раздраженно выпивая): — Это не остроумие, это стеб! (Политикесса-актриса заметно вздрагивает и как бы краснеет.)

Политик (благодушно выпивая): — Очень остроумное название, и бумага, и полиграфия... Просто эстетическое удовольствие получаю...

Политикесса-актриса (горько, перестав закусывать): — Вот мы здесь выпиваем, закусываем, светские разговоры ведем, а в Сретенске театр закрылся, денег нет... Я запрос внесла, а вы (показывает в еще одного политика вилкой с куском осетрины холодного копчения) этот запрос похоронили! Я теперь, как представляю себе Сретенск без театра, спать не могу...

Просто актриса (с удовольствием закусывая): — Кстати, у тебя вид усталый. Хочешь, позвоню одной даме, она тебе биоэнергетику наладит? И похудеешь заодно... (Политикесса-актриса с ненавистью в лице отходит к другой группе.)

Другой писатель (эмигрант) (без тарелки, курит): — Я помню, два года назад заехали ко мне ребята в Эл-Эй... Ну, Коля Пяткин, Зураб, Валечка Прихожая, Витька Полоумов... В общем, вся наша компания пицундская... Пошли в ресторанчик малайский, посидели... А сегодня я иду по Тверской, смотрю — представительство открылось малайской авиакомпания... Вот такое совпадение, господи, вот так...

Писатель (лицо искривлено раздражением, закусывая): — Какое тут, к черту, совпадение! Ты, Володя, просто жизни

нашей теперешней не понимаешь, извини... А Витька Полоумов просто сволочь и в «Надысь» печатается! А-а, не знал? Вот так. В малайском-то ресторане... (Роняет вилку, наклоняется, роняет бокал и тарелку.)

М. Шорников (допив): — А пойдете-ка, ребята, к столу да нальем себе выпить, пока есть чего...

Поэт (идя рядом с Шорниковым): — Миш, а ты не знаешь, случайно, по какому поводу сама тусовка?.. И чего-то народ вяло подтягивается, ждут, что ли, кого-то попозже?..

М. Шорников (наливая себе): — А черт его знает... Тебе виски?

Поэт (наливая себе): — Нет, джину.

Сидя ночью на кухне, наливая и наливая купленной в ларьке по дороге с тусовки какой-то фальсифицированной дряни, я плакал о своей жизни. Принято считать, что брошенные женщины плачут в одиночестве и бедная девичья подушка намокает горькими слезами, а утром опухшие веки, и проявившиеся морщины, а надо жить, прилично выглядеть, ловить новую возможность, которая всегда может быть, — все это так, но, увы, не только, не только дамы, поверьте мне! По-другому плачут мужчины, но плачут, и еще как... Вот, например, сидя на кухне с бутылкой, добывая многотерпеливую печень, не брошенные, а бросившие, да в том ли дело, кто кого бросил? Не в самолюбии дело, ей-Богу.

Как и положено пьющему в одиночестве мужчине, я думал о собственной жизни, о жизни вообще, о женщинах брошенных и еще нет, о профессии и своем в ней месте, о безусловно скорой смерти, о пьянстве, о поражении как итоге всего и о прочей ремарковско-хемингуэвско-аксеновской чепухе, давно вышедшей из моды вместе с пьянством, женолюбием и прочей романтикой.

Когда все они начинали, думал я, у них была большая фора. Папа писатель, академик, посол, зэк, дворянский осколок, сталинский сатрап, гэбэшный генерал, газетная номенклатура... Квартира на Восстания, на Кутузовском, в левом крыле «Украины», на Горького, в Лаврушинском... Дача в Серебряном Бору, в Архангельском, на Пахре, в Переделкине, в Краскове... Машина от рождения. Знакомые. Университет. Знакомые. ВГИК. Знакомые. МИМО... Коктебель, Дубулты, Пярну, Гагры...

У меня тоже все было.

Деревенская школа.

Дядя Юра, дядя Сережа, дядя Гена и дядя Яша.

Случайное поступление.

Случайный успех.

До сих пор не могу понять, как все это удалось — цепь слу-чаев, удач, везений, прорывов, до сих пор не верю, что это я был в Париже, и там обо мне писали, и я стоял рано утром на Одеон, только что отпустив такси после круглосуточного празднования с нудными и подобострастными рецензентами сенсации по имени Михаил Шорников, в новеньком, но хорошо сидящем вечернем костюме, вы совсем не похожи на русского, месяе Шорникофф, я стоял на Одеон, на островке у входа в метро, напротив кинотеатр и маленькая пиццерия, на углу банк, и я никак не мог найти улочку, где жил в небольшой, но вполне стильной гостинице, и спросил на тогда еще никуда не годном английском дорогу у мужичка в газетном киоске, и он стал объяснять руками и по-французски, но вдруг запнулся, полез в журнальные кипы, вытащил свежий «Экспресс» и, тыкая в обложку, с которой смотрел я, и даже в том же галстуке, стал восторженно объяснять уже подходящим покупателям, что вот же, вот этот знаменитый русский, вот он стоит, он только что спрашивал у меня, как пройти в гостиницу «Аббатство», вот он! Я же улыбался вполне безразличным утренним французам и слегка плыл от чудовищной ночной, в поддержание патриотической репутации, выпивки и, главное, от того, что я стою на Одеон, знаменитый среди парижан.

И портрет, огромное, в человеческий рост, мое лицо в Эдинбурге.

И полный, битком, с сидящими на ступеньках в проходе, зал в Сиднее.

Преувеличенно радостные знакомства — а, ну, наконец-то! звезда нового времени! — в Берлине.

Полный зал, камеры, свет, робкие учительницы в очереди за автографами и снисходительные признания правительственных поклонников в еще не сгоревшем ВТО.

Контрастно бурные после других участников аплодисменты на благотворительных концертах.

Разговоры «на ты» со знаменитыми, вошедшими в знамени-

тость, когда я был на первом курсе. Ваш поклонник, Миша... Спасибо, Леонид Степаныч... Да какой там Степаныч, Леня... Ленечка, привет, целую... Миша, привет, зашел бы в мастерскую...

Надо было получить все это вовремя. В тридцать или даже до, когда все они — Коляша, Витька, Ленечка — уже получили, уже пили в ВТО, ЦДЛ, ЦДРИ, ДЖ, обнимались, целовались, сходились и расходились со своими женщинами, сдержанно воевали с властями, уезжали, внедрялись в ту жизнь, давали пресс-конференции... Был бы нормален, не чувствовал бы так явственно мистики и незаслуженности в любом успехе, не ждал бы конца еще до начала, не предвидел бы последствий раньше причин, был бы счастлив в день счастья.

В старости нельзя пережить молодость, и никакое здоровье, никакие силы не помогут — старость есть знание последствий, и уж если ты их знаешь, от них не отвернешься, не сделаешь вид, что невинен, решителен и глуп, а даже если и притворишься, и бросишься как бы очертя голову в как бы авантюру, то обязательно попробуешь подстелить соломки, и тем все испортишь: разбиться-то все равно разобьешься, а в полете свободы не будет.

Я налил еще, глянул на бутылку сбоку, вылил остатки и, перед тем, как выпить и, проверив старательно, все ли выключил, поползти к постели, с удовольствием принял обязательную перед сном мысль: а все же я их всех достал, и встал рядом, и постоял там, на обдуваемой этим сладким ветром тесной площадочке, на которой совсем немного места, и куда многие либо сверху спустились, спланировали, либо сбоку десантировались, либо встали еще до тектонического сдвига, вынесшего площадку в высоты, а я вскарабкался, влез, и даже почти не сорвался, и утвердился, а что теперь до площадочки этой никому дела нет, и другие вершины озарены новым светом — что ж, не я первый и не один оказался в тени. Выпьем, Миша, сказал я себе, черт с нею, с печенью, выпьем — мы побывали, где хотели, стоит отметить успех экспедиции, мы дошли до полюса, капитан Гаттерас, и лучше спиться на обратном пути, в низких широтах, чем сбредить по пути к цели. За обратный путь, Миша, пусть он будет короток — укоротим же его, чем сможем, хотя бы и этой гадостью, если на скотч денег нету. Выпьем, дружок, за то, чтобы в

нижних широтах приветливые аборигены и их женщины оказывали гостеприимство усталому путешественнику, и чтобы одна из них, ясноглазая и солнцезолосая...

Тут-то и зазвонил телефон в первый раз.

Зная, что я в этот вечер один, проверяла мое одиночество Таня, бесконечно длинного романа героиня, наваждение проклятой моей натуры, телесный мой тиран. Проверяла молча.

— Говорите! — зарычал я в трубку, с сожалением, но и с удовольствием — последний же — отставив стакан. — Говорите же!

— Это я, — детским, лживым голосом пропел телефон. — Ты один?

— Да, милая, я один, — еще более лживо проворковал я. — А ты?

— Я тоже. Я люблю тебя...

— Я тоже тебя люблю...

Так мы поговорили несколько минут. Боже, как можно так лгать?! Ведь я — не знаю, как она, но, думаю, что и она тоже — хотели только одного: быстро, по-деловому, договориться, кто к кому придет, скорее всего, все же я к ней, во-первых, я в практических вещах джентльмен, во-вторых, у нее район страшноватый и безнадежный в смысле ловли машины; быстро съехаться, выпить, для порядка, по рюмке (хотя мне уже и так много, есть вероятность неудачи из-за алкоголя); лечь в постель и сосредоточенно, с опытом, приобретенным в совместных многолетних трудах, заняться сначала ею, общими стараниями, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я... вот... вот... остановись... вот, а потом и мною, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я... вот... вот... остановись... вот; и сразу заснуть, повторить на рассвете, и разъехаться, и больше ничего до следующего вечера, а там желания могут и разойтись, потому что ее опять потянуло бы на полный повтор, у меня же могли возникнуть обстоятельства — но ни о чем таком мы говорить не стали. Мы говорили о любви, а раздражение от невысказанного нарастало, и в конце концов мы поссорились.

Я положил трубку. Тут же раздался междугородный.

Это звонила Женья, с которой я прожил даже не годы, а десятилетия, да как бы и сейчас жил, хотя уже давно она работала в

Питере, где, как оказалось, ее жаждала концертная общественность, а я оставался в Москве. Ситуация стала удобней, но оставалась такой же фальшивой.

— У тебя было занято, — сказала она, и я сразу расстроился от этих простых и выразительных интонаций, от того, что с такими возможностями она не смогла по-настоящему выбиться, все ее чертовы безразличие и высокомерие. — Я тебе звоню с того времени, как кончился концерт, а у тебя все занято...

— С Колькой трепались, — сказал я. — Ну как ты там? Здорова?

— Ты опять пьешь, — вздохнула она. — Я всегда слышу, когда ты выпил...

— Ну, немного совсем, на презентации, — я врал без энтузиазма, да и почти не врал. — Так что насчет здоровья? Ты не простудилась?

И опять было минут десять лжи. Между тем, честный разговор мог состояться, но мы были неспособны решиться на него, да и не знаю, кто был бы способен. Сказать же следовало мне: да, я говорил с одной женщиной, но не в ней дело, а в нас, я очень рад, что ты сейчас в Питере, и было бы неплохо что-нибудь сделать, чтобы так все и оставалось, например, мою квартиру можно поменять на роскошную, хоть на Невском, для тебя, а я тут устроюсь, не волнуйся, и в любом случае это будет лучше для меня, чем снова каждый вечер чувствовать, что жизнь кончается... И сказать следовало ей: да, я давно поняла, что ты только и счастлив, когда я в отъезде, что давно уже хочешь ты оторвать свою жизнь от моей, но у меня нет моей жизни, и даже здесь я остаюсь твоей, и все это знают, и если этого не будет, мне не нужна квартира ни на Невском, ни на Тверской, я смогу жить и в деревне, и никто не вспомнит об этом, и потому я не отпускаю тебя, пусть кончится твоя жизнь, но продлится наша...

— Ну, целую, — сказала она.

— Целую, — ответил я, повесил трубку, и телефон немедленно зазвонил снова.

— Слушай, я жутко соскучилась, — сказала Валя, с которой я расстался вчера утром. — Приезжай, а? А хочешь, я приеду...

Это были первые честные слова, которые я услышал за весь вечер, включая светские беседы, хотя и тут была не вся прав-

да — Валюша опустила продолжение: «А там, может, останешься, или я останусь, и будем жить вместе, и вместе появляться на людях, и регистрируемся в интересах экономии на гостиницах, и тогда я буду стареть без страха, и не стану бояться ночей без мужика...» Но все же хотя бы сказанное было искренне и просто.

Поэтому я сказал: «Подожди минуту, моя хорошая, ладно?», допил стакан, договорился с ВалеЙ, что приеду к ней утром и побуду часок, перезвонил Тане и сказал, что сейчас выезжаю и буду, если не возражает, до утра, а потом набрал восьмерку... гудок... восемьсот двенадцать... номер в гостинице.

— Женечка? Это я. Да нет, я совершенно трезвый. Просто пожелать спокойной ночи и попросить, чтобы ты не расстраивалась...

— Ты разбудил меня, — сказала она, и я понял, что даже в самых запущенных случаях человек иногда бывает искренен — только в ответ на искреннее чувство.

— Не сердись, — сказал я смиренно, положил трубку, оставил кошке еды на сутки и вышел в ночной подъезд, заселенный бродягами.

Машину я поймал сразу же.

Это был очень фасонистый белый «жигуль — восьмерка», за рулем которого сидел человек в черном плаще и черных автомобильных перчатках — без пальцев и с дырками. Он повернул ко мне лицо, и я увидел, что его левый глаз вертикально растянут, а через лоб тянется глубокий шрам-вмятина. Такой след мог бы остаться от удара саблей по лицу слева.

6

С детства, будучи полным и типичным маминым сыночком (да еще и бабушкиным предметом круглосуточного попечения), впечатлительным читателем и рано созревшим чувственником (соски на груди набухли, ни черта не могу понять, прижимаю их с естествоиспытательскими целями, замирая, жду, смотрю вниз, а, вот, вот, на черном сатине уже проступает... и, высыхая, превращается в проклятое, белое) — с детства я не переносил вида разрушенной или разрушаемой плоти. Шрам на животе отца, обезг-

лавливаемая на чурке курица, продырявленная оставшимся в доске гвоздем ладонь друга, кровь, текущая по лицу пьяного, вызывали одинаковое содрогание, быструю тошноту. Впрочем, тошнило от многого: от угольного смрада паровозов, от качки в «Ли-2» между Сталинградом и Адлером, от пыли, влетающей под брезентовый полог «виллиса», от комков в каше, от запаха, собственного Генке Качаеву, — но сильнее всего и почти сразу до рвоты от вида живого тела, цельность которого была нарушена.

Бог миловал меня самого от травм, хотя, конечно, Всевышнему в четыре руки помогали и две женщины. В городке, где преступности не было как таковой — если не считать повторявшегося ежегодно сюжета: солдат бежит из части с оружием, комендантская рота его ловит в степи, соседка говорит матери «изнасиловал», мать замечает меня и уводит соседку в прихожую, плотно прикрыв дверь, занимайся, занимайся, арпеджио, потом Гедике — в нашем тишайшем городке мать провожала меня и в школу, и в музыкальную лет до одиннадцати, гулять позволялось до восьми, в лагерь не отправляли ни разу, что будет, если раскроется тайный поход в степь (а уж тем более на реку), я даже старался не думать. Драки в классе и на школьном дворе всего раз или два кончались кровью, но из носа, то есть как бы не совсем кровью, без видимых разрывов, разломов, без открывания внутренностей! Вот чего я боялся — внутренностей, вторжения в тайное, скрытое, в жизнь под кожей, под покровом. А потом я очень быстро вырос, перерос весь класс, и длинными руками не то чтобы повергал противников, а просто удерживал их на расстоянии, чаще всего схватив за запястья. И с велосипеда почти не падал, а если падал, то не обдирался так, как другие, — чуть не до кости свозя локти и колени. Первую ерундовую операцию сделали мне уже семнадцатилетнему, нарыв под мышкой, известный в народе под названием «сучье вымя», результат первой студенческой поездки в колхоз, спанья не раздеваясь, холодной грязи вокруг. Я хорохорился под местной анестезией, шутил с врачихой, потом скосил глаза, увидел входящий в меня синеватый скальпель, услышал хруст — и потерял сознание. Тогда еще говорили «отключился», а не «вырубился»...

Все прошло. Уже не тошнит меня ни от чего, и рвало в последний раз лет двадцать пять назад, не знаю уж, сколько мне те-

перь надо для этого выпить, во всяком случае, засыпаю раньше. И когда слегка поддатый в тяжелую праздничную ночь доктор в 20-й, специализированной по «скорой» больнице вытаскивал упершийся в мою грудинную кость и отломившийся конец старенького, сильно сточенного ножа, вполне спокойно наблюдал я его работу, надрезы, стягиванье, шитье, только шипел тихим матом, потому что все дело шло без всякой заморозки — был я куда пьянее хирурга моего, и он совершенно резонно решил добро на меня не переводить... И лежавший у автобусной остановки на въезде в тот город почти пополам перерезанный очередью армянин... И живая корова с аккуратно отрубленными ногами... И двадцатилетняя снайперша с выколотыми глазами... И вдавленная в распаханный гусеницами асфальт голова, и туловище, от которого она была оторвана, — в метре, совершенно не поврежденное... Сгоревшие, скрюченные, сломанные, порванные. Все. Не тошнит.

Ночью, наливаясь на кухне, не вспоминаю. И не снятся уже. Плачу не о них, — о себе плачу, о мелких своих бедах, о будущих горестях, о пьянстве своем кухонном, о невыносимости любви, о горьких обидах. А о растерзанной плоти человеческой уже не плачу.

Но с тех пор, как стала она переносимой, все чаще вспоминаю то, что и помнить-то не должен.

Мне было три года. Мы жили в бараке, в одной комнате — мать, отец и я. Я сидел за столом, на обычном стуле, как бы венском, но с сиденьем, забитым крашеной фанерой. Я повернулся лицом к гнутой спинке, вцепился в нее руками и начал рулить, рычать, как мотор «доджа 3/4», на котором мы недавно ездили в город. Мать тоже сидела за столом, на который перед тем поставила ручную машинку «зингер» и быстро-быстро крутила ручку, и сшиваемая ею в простыню портяночная, желтоватая, в узелках бязь ползла на стол. Было скучно, может, поэтому я умудрился сквозь свое рычанье и стук машинки услышать шаги отца по длинному коридору. Спрыгнув со стула, я побежал на еще кривых ногах к двери, распахнул ее изо всех сил — она открывалась наружу — и шагнул через порог.

Двое солдатиков, которых утром привел с гауптвахты конвойный для рытья общего погребка в офицерском бараке, за день

работу почти закончили, а именно: они вскрыли пол в коридоре, выпилив в нем квадратную дыру и под этой дырой вырыли яму метра в полтора или чуть больше глубиной. Им еще предстояло яму эту углубить, подровнять ее стены и укрепить их брусками, сколотить из разного подручного материала (включая и выпиленные куски половых досок) крышку, выстрогать и прибить к этой крышке деревянную же ручку в виде низкой буквы «П» — и уж тогда сдать работу жене старшины, который с огромным своим семейством тоже жил в офицерском бараке и чьими стараниями погреб, собственно, и возникал. Но завершить дело губари — производное от губа, гауптвахта, слово, употребляемое в гарнизоне всеми, в том числе и образованными женами офицеров — не успели, поскольку конвойный их увел на прием горячей пищи, которая, как известно, положена им раз в день.

А яма в темном коридоре осталась. И осталась на дне ямы воткнутая «гребнем» в землю и торчащая «штыком» вверх кирка. И я полетел в эту яму.

Когда отец спрыгнул за мной, я сидел на дне, а кирка торчала прямо у меня за спиной и ее штыковидный конец возвышался над моей головой. Отец попытался меня поднять, но что-то ему мешало, он потянул, раздался треск, и моя бязевая рубашка — считая матерью, естественно, из того же портяночного полотна, думаю, приворываемого старшиной и продаваемого его женою офицершам — разодралась на спине полностью, обнаружив, что кирка прошила ее сзади насквозь. На спине у меня были две небольшие царапины, никакого другого увечья не обнаружилось. Когда мать заглянула, посветив фонариком, в яму, у нее началась истерика...

Что же касается меня, то я почти не плакал, не стал заикаться, чего очень боялась мать, но непрерывно и очень оживленно рассказывал всем желающим — соседкам, в основном — о случившемся. Я говорил нечто о яме, о папе, о лопате (так я называл кирку), о рубашке, и женщины слушали, пугались, хвалили маме мою речь (ну прямо как взрослый, такой он у тебя, Инночка, развитый, да ты ж и сама начитанная) и снова пугались (ведь проткнула бы, насквозь проткнула бы, один миллиметр всего). Но я продолжал рассказ, и дамы начинали удивляться.

Там был дядя, черный, говорил я, он стоял в яме, он меня

поймал, потом толкнул и улетел вверх, как аэростат, черный дядя, настаивал я, весь черный, он меня поймал, прицепил к лопате и улетел, это дядя меня прицепил к лопате, я упал прямо попой на лопату, а дядя поймал, прицепил за рубашку и улетел. Испугался он у тебя, Инна, говорили женщины, придумывает чего-то, испугался сильно. Какой дядя, маленький? Мишенька, где дядя-то был? В погребе? Чего он черный, Мишенька? Не в погребе, злился я, не в погребе! Черный дядя там стоял, он меня поймал и прицепил к лопате (это он кирку лопатой называет, да, Ивночка?), он меня взял, когда я упал.

Все думали, что я просто очень испугался. И только мать мне поверила. Он был весь черный, спросила она — весь, весь, мамочка, мамулечка, быстро-быстро заговорил я, на нем была черная шинель — или пальто, спросила мама — пальто, спешил я, и черная шапка, черные волосы и здесь, вот здесь — усы, сказала мама, это был большой дядя, спросила она — большой, как ты, бормотал я, засыпая, большой дядя, черный...

Отец уже спал, и я засыпал, а мать сидела рядом со мной, рядом с моей кроватью, детской настоящей кроватью, привезенной среди трофеев в эшелоне из Кенигсберга. Боже, чужая детская кровать, я засыпал и бормотал о черном дяде, который спас мне жизнь.

Сидя же на кухне, и наливаясь водкой, или коньяком, или виски, я теперь не плачу об убитых и растерзанных — я поминую их по-другому: я укоряю черного дядю за то, что он свел ночью сорок третьего мужа с женою, за то, что поймал мальчишку в сорок шестом, летевшего задницей на кирку. Я думаю, что если я не плачу сейчас о всех убитых, то, может быть, лучше было бы не быть мне рожденным или быть растерзанным тогда, в три года, прошедшим насквозь металлом... Боже, ну почему же не плачу я по ним?

Бормочет, как во сне, приемник. В Нью-Йорке тридцать шесть, в Лондоне двадцать один, в Париже тридцать, в Риме... в Дели... в Буэнос-Айресе... Ночной прогноз мировой погоды. О чем же я плачу, если не о растерзанной плоти?

Но звонит телефон, и одна только жизнь остается во мне, мучительная жизнь, пересиливающая муку смерти. Быстро, быстро, мой маленький дружок, нас ждут, душ быстренько, рубашеч-

ку, носочки, плавочки итальянские, туалетную воду «One man show», переводимую на русский веселыми продавщицами как «Один мужик показал», сейчас начнется этот не кончающийся, в общем-то, театр одного актера, быстро, ботинки протереть и бегом, бегом, зубную щетку в один карман, верный «браун» в другой, смешной одеколон в третий, сигареты, зажигалка, ножичек красный со швейцарским крестом и наконец сзади, за пояс, как Ив Монтан, Царствие ему Небесное, стволом на копчик... И — вперед!

Изуродованный шофер в черном был страшен не только шрамом. Весь его вид, и вид его машины изнутри, и манеры его были не то чтобы странны, но просто необъяснимы, безумны.

Повертевшись в тесном и засыпанном, как у нас водится, всякой дрянью нутре этой маленькой машинки, я с удивлением понял, что это даже не «восьмерка», как показалось мне в темноте снаружи, а «таврия», примодненный «запорожец». Удивление было вызвано тем, что люди, как этот водитель, на «запорожцах» не ездят, и не возят на приборной доске «запорожца» небрежно брошенный радиотелефон, «cellular phone Motorola», и не носят на правом запястье несколько уже не актуальный, но аутентичный американский солдатский браслет с группой крови, а на мизинце Йельский университетский перстень, а на другом запястье тяжеленные часы «seico» типа «подшипник», фетиш семидесятых, и чикагского стиля черный плащ не так запахнут, и черная рубашка под ним с черным же похоронным галстуком не так распушена в ворота, и не так косится изуродованный левый глаз через приплюснутую и кривую переносицу на пассажира...

Но — главное! — не так едет нормальный «запорожец», да хоть бы и «таврия». Не несется по осевой даже ночью, не взлетает правыми колесами на тротуарные бордюры, не перепрыгивает открытые канализационные люки, не выскакивает на пустую иногда по ночному времени встречную полосу, не протирается у светофоров в первый ряд и даже перед ним, не зашкаливает стрелку какой бы то ни было «таврии» за двадцатикилометровым лимитом. И мотор, ох, не так мотор шумит...

— Гараж? — спросил в «селлулар фон» перерубленный водила, одной рукой прижимая к уху дьявольский аппарат (стран-

но все-таки, согласитесь, из маленькой машинки на всем скаку по телефону звонить?), а другой, всем предплечьем, налегая на небольшую баранку и выворачивая ее на сотке так точно, что, слегка подпрыгнув, машинка въезжает на трамвайную линию, идущую вдоль низкой чугунной ограды бульвара, мчится, дрожа, по рельсам, обгоняет подтягивающийся к перекрестку поток и успевает просквозить на зеленый. — Гараж? Привет, это седьмой говорит. Я задерживаюсь немного, тут нужно товарищу помочь. Через тридцать две минуты буду. Отбой.

— Интересная у вас машина, — робко сказал я, косясь на шофера, как бы приплывшего из молодости моей, из дивной и удивительно жизненной в деталях песни «Мы идем по Уругваю», из фильма «Плата за страх», из еще чего-то столь же ушедшего в прах времени. — Странная такая машина, и ведете вы...

— Веду, как положено, — сказал водила, закладываясь в левый поворот там, где и правого-то не могло быть, — спецправила по спецвождению для спецмашины, седьмая часть: «Калым, подкалымливание и другие нештатные использования спецавтотранспорта». А аппарат, действительно, хорошо ребята подготовили: стойки укрепили, подвеску перебрали, двигатель Ванкеля, электрика вся с «мицубиси» взята, только кузов с «таврии», но наварной. Машина, действительно, что называется...

— А я тут спешил, — начал я, — поздно уже, народ ехать не хочет, как будто им деньги не нужны...

— А я вижу, что интеллигентный человек спешит. — Шофер вытащил из бардачка не столь уж популярный сегодня «Kent», положительно, он задержался в семидесятых, прикурил «гопсон'ом» реактивных форм. — Ну, вижу ведь, что интеллигентному человеку нужно...

С этими словами он въехал на тротуар, обгоняя троллейбус, и спрыгнул на мостовую точно в объятия пыльного (видно было даже в темноте) инспектора-капитана, в центре мегаполиса почему-то стоявшего в грязных сапогах.

Я сидел в машине, а он пошел объясняться.

— Может, вы дадите ему десять тысяч, — сказал он, вернувшись и роясь в сумке, вытащенной с заднего сиденья, — может, вы покажетесь ему вместе с документом, может, отпустит? Что же я, пистолет ему буду показывать, что ли...

Он, продолжая рыться в сумке, как бы что-то ища, как бы нечаянно, немного распахнул плащ и обнаружил слева подмышечную кобуру, светлой кожи итальянское изделие ширпотреба, в которое был не очень ловко упакован один из величайших пистолетов — довоенного выпуска, с крупным рифлением на затворе — «ТТ», калибра 7,62 (подходит и «маузер-7,63»).

— Может, стоило бы показать? — робко предположил я.

— Не рекомендуется, — твердо сообщил водитель. — Лучше я этому козлу две кассеты дам с Брюсом Ли, он согласен...

Я промолчал, поскольку на Брюса Ли возразить было нечего. И мы поехали.

Мы поехали, черт бы нас побрал, въехать бы нам по дороге в ставший поперек асфальтовый укладчик, в его тяжкий крутой зад, в неподъемный его, памятникобразный задний каток, да расшибиться бы в кашу, в слизь, в уничтожение, да кончить бы все это дело. Мы поехали в самоубийство, сто тридцать в городе, поперек сплошных линий, прямо на ментов, через газоны и разделительные полосы.

— Так я понимаю, вы спешите к даме, — сказал спецводитель. — Все ясно, дело знакомое каждому. Единственно, что хотел бы посоветовать, если позволите: с дамою этой вы к концу свидания сегодня же и порвите. Сколько можно тянуть? Запутываетесь вы в отношениях все ужаснее, прежде, бывало, в именах лишь ошибались, а сейчас вам ваши блондинки уже все не только на одно лицо, но, пардон, и прочие детали организмов сливаются...

— Позвольте, — от неожиданности этой интонации и оттого, что кривой наглец был совершенно прав, я даже забыл про его аргумент под мышкой и перебил довольно резко, — а какое, собственно, ваше дело? Моя личная...

— Есть дело! — рявкнул дьявол. — Вы по званию кто?! Старший лейтенант запаса. А я Полковник! Специальных! Внутренних! Воздушно! Десантных! Войск! Особого! Назначения!

И замолчал. Провизжав по асфальту резиной, его взбесившаяся консервная банка стала задом точно к тому подъезду, где меня, вроде бы, должны были ждать.

— Счастливенько вам, — как ни в чем не бывало сказал

шофер голосом обычного калымщика, принимая десяти тысячную бумажку.

Был этот страннейший человек весь в черном и знал то, что никак случайно остановленный водитель знать про меня не может, будь он хоть маршалом спецназа всея НАТО, СЕАТО и остальных некогда агрессивных, а теперь глубоко дружественных блоков. Человек в черном, дающий мне совет, как облегчить, сделать выносимой мою жизнь. Конечно, если уж он ее спас, эту задницу, от кирки, то смотреть, как на нее ищут приключений, ему неприятно. Опекун. Его, что ли, почерком и записочка была накарябана? Интересно, Галка у них в штате или разовое поручение?

— Здравствуй, — сказала Таня, открывая дверь, установленную в сотрудничестве с соседями на входе с лестничной площадки в отсек, общий тамбур для четырех квартир, — я видела, как ты подъехал на каком-то драндулете. Так спешил, что взял машину, а приехал только через два часа. Что-нибудь случилось?

Не помню уж, что я ответил, но нечто раздраженное. Боже мой, ну почему ей надо проникнуть в каждую секунду моей жизни?! Неужели это навсегда — ее расчеты моей средней скорости, расстояний и времени, сопоставление, анализ, вопросы?

В комнате уже была раздвинута во всю ширину, накрыта свежим бельем тахта, горела небольшая лампа в углу, маленький стол был придвинут к ложу и, в соответствии с классическими рекомендациями, стояла на нем большая тарелка с яблоками. Для завершения картины я достал из сумки бутылку шампанского.

И лишь следующие полчаса дали отдых от пошлости.

Потому что любить в постели она умела так, как никто до нее не мог и после не сможет. Во всяком случае, она сама была в этом уверена, а самоуверенность передается окружающим в виде почтения. И как только она ложилась — или вставала, или садилась, или выгибалась, или повисала, или взмывала, или падала — я проникался полнейшей серьезностью и в течение некоторого времени, от пятнадцати минут до часа, бывал старателен, упорен, сосредоточен и делал порученное мне дело достойно и честно.

Если же не ерничать, то с огромным наслаждением, которое

не мог уменьшить даже ее характер, — она была столь же невыносима в жизни, сколько неотразима в постели.

А через полчаса, уже одевшись, уже выпив нелюбимого шампанского, вдруг я открыл рот и сказал вот что:

— Ну, будем считать, что мы попрощались. Я не могу больше продолжать наши отношения. Извини...

Я произносил эту небольшую речь и удивлялся каждому слову все больше и больше. Я чувствовал, что открывается мой рот, но слышал его голос, ах, проклятый водила, да кто тебя уполномочил рвать за меня с моей многолетней любовью, лезть в мои действительно запутанные амуры — но в мои?! Впрочем, незаданный этот вопрос был чисто риторическим, потому что как раз полномочия-то у него были, не могли не быть.

Она плакала, слезы ползли по весьма уже глубоким, увы, носогубным складкам, рано отмечающим наших женщин. Закаленные столичные жительницы, выкуривающие по две пачки, перепивающие мужскую компанию, не спящие по три ночи подряд, не последние в выбранных профессиях, навсегда застрявшие между тридцатью пятью и сорока — они сохраняют в недоступности для времени и усталости все: небольшие скромные груди, вполне пригодные для самостоятельной жизни в достойных руках, а не в белье «Triumph»; тонкую и чистую кожу повсюду, не темную даже там, где у ровесников иного пола она уж давно стала сизо-коричневой, а лишь чуть розоватую; ясность глаз, создаваемую сочетанием хорошо проявленного (карандаш «Lancome») цвета радужки с голубизной, без единого кровоизлияньица, белка; свежесть всех слизистых и волосяных, тайных и явных... Но две... нет, три вещи подводят бедных наших прекрасных товарищей. Немного, чуть-чуть разносившиеся ступни: едва заметно изменившие заданному направлению — хотя ухоженные, ухоженные! — пальцы, и косточки, косточки, черт бы их взял! Взгляд, когда отвлекутся и сосредоточатся, твердый, даже суровый, мужской совсем, ох, мужской, а жизнь какая, девки, какая у нас жизнь? И, наконец, the third one: складки, соединяющие иногда (от слез, в основном) красноватые крылья носа, носика даже, с уголками рта (о, рот, особый разговор!), все глубже они с каждым прозрением, откровением, открыванием жизни, старая уж ты дура, чего ж ты ждала, чего можно дожидаться от этих

истериков, алкоголиков, боящихся всего на свете, — смерти, жены, безденежья, неудачи, жизни, бедная девочка, чего ж ты ждала, неужто счастья и верности? Все глубже складки на чистеньком, без морщинок лице. Все больше сходства придают они кокетливому личику первой красавицы сезона с твердым фэйсом землепроходца, авантюрного одиночки, тихо раскуривающего сигарету перед форсированием водопада...

— Ты все придумал, — сказала она, продолжая плакать, халат распахнулся, и я видел небольшие скромные груди, тонкую и чистую кожу, свежесть всех тайных и явных... Я видел также ступни, косточки, залитые слезами складки и все остальное — но все это меня почему-то уже совершенно не касалось, чертов спец, чтоб ему провалиться туда, откуда вышел! — Ты придумал себе какую-нибудь очередную любовь, как ты придумал в свое время любовь ко мне. Но у нас уже годы, все стало давним, я привыкла, понимаешь?! Ты понимаешь, сука ты бесстыжая, что я к тебе привыкла? Ну, пожалуйста, пожалуйста, милый мой, мальчик мой любимый, не бросай меня, и мы еще долго, долго, и все пройдет...

— Не кричи, — сказал мною Полковник. — И если ругаешь меня, то почему же в женском роде? Не кричи, пожалуйста, все равно ничего не сделаешь уже...

После чего я разделся, она кинула назад халатик, и мы проделали весь путь с самого начала. После чего я ушел, попытавшись ее поцеловать на прощанье, но она отвернулась.

«Таврия» стояла у подъезда, и как только я вышел, он включил зажигание.

— Теперь к которой? — спросил он, выезжая на шоссе, на тысячу раз езженное шоссе, все, прощай, шоссе, прощай! — На Дмитровку, на Шереметьевскую или сразу домой?

— На Шереметьевскую, — ответил я, не то что не удивившись, но даже начиная задремывать, что нередко бывает со мною, стоит мне занять в машине пассажирское место, — на Шереметьевскую, шеф, по дороге на полчаса на Делегатскую, ну, шеф, сам понимаешь, Пролетарку надо проехать, ну, там буквально пятнадцать минут, а уж оттуда на Дмитровку, конечно, командир, на Дмитровку обязательно, ну, и домой, куда ж еще, время позднее, домой пора, в гавань, в крепость...

Когда, открывая в четверть восьмого утра свою дверь, я обнаружил, что изнутри накинута цепочка, я даже не удивился. Как еще могли закончиться поездки на «таврии», вслед которой я посмотрел минуту назад?

Она была вполне одета, в прихожей стоял чемодан, с которым она уезжала.

— Ты вернулась? — задал я единственно возможный вопрос. — Что там в Питере? Между спектаклями перерыв?

— Ты дурак, — и она нашла единственно возможный ответ. — Ты предатель. Я была тебе хорошей женой, я старалась...

— Женой... хорошей... — осторожно, но с двусмысленной интонацией перебил я.

— Ты просто тварь, — отреагировала она, и была больше права, чем ей казалось. — Я приведу себя в порядок, возьму, что необходимо, и вернусь в Питер сегодня же. Через месяц, когда гастроли кончатся, я буду решать...

— При чем здесь ты? — опять перебил я, уже злобно, откуда злоба-то взялась, где ж у меня совесть-то... — Ты здесь ни при чем, у тебя, как всегда, все в порядке... Я могу уйти хоть сегодня, а уж к твоему приезду, блуждающая звезда, примадонна, общенародная и всеми заслуженная...

Тут-то она и въехала мне по роже и ушла в ванную. Я подошел к зеркалу — оценить количество жертв и размеры разрушений.

За правым плечом и за левым плечом стояли они, в черном и белом, меняясь местами, доброжелательно подмигивая и строго кривя губы. Взяли они меня в наблюдение и разработку.

Вы чего, ребята? За мною, что ли? Пара, что ли? Срок?

Не болтай чепухи, старый. Просто присматриваем, а то ты не знал, присматриваем просто, чтобы совсем уж в разнос не пошел, девушек твоих, старый ты козел, регулируем и утешаем, присматриваем, понял?

А чего за мною присматривать, мужики? Ну, бабник умеренный, ну, сильный до умеренного, ну, пишу свои картины, снимаюсь в своем кино, песенки свои пою, стишки свои сочиняю, статейки свои публикую. Чего присматривать-то? я бы и сам от тех ушел, я бы и сам эту достал бы до края, я бы и сам...

То-то и оно, что сам. Думаешь, не слышали, как ты с другом беседовал? Мол, лучший способ — к каждой щиколотке по кирпичику тяжелому проволокой примотать, да на перила старого метромоста, да в височек из пистолетика, в срок приобретенного — чтобы без хлопот для оставшихся... А говоришь, присматривать не надо.

Вздор это все, ребята. Какой пистолет, какая проволока? Мечты детские... Дайте вы мне жить, как получается, а? Оставьте вы меня.

Сегодня до вечера свободен, у нас собрание. Но не вздумай чудить, понял? Все равно найдем, ты ж нас знаешь...

Знаю, знаю...

Я лег на диван и уснул. Засыпая, я слушал, как в ванной моется женщина, как гудит ближняя улица за окном, как звенит в ушах давление.

7

Москва, сентября 19

Г-ну Кабакову
Александру Абрамовичу,
автору

Милостивый государь!

Обратиться с этим письмом к Вам меня вынудили обстоятельства, известные Вам столь же, если не более, как мне. Речь идет, нетрудно понять, о сочиняемом Вами сейчас романе, с первыми главами которого я, увы, познакомился в течение нескольких недель минувшего лета самым непосредственным образом. Вполне отдавая себе отчет в двусмысленности и даже некоторой противоестественности моего поступка, решаюсь, тем не менее, беспокоить Вас нижеследующим исключительно по причине окончательной невозможности дальнейшего существования в предложенных Вами обстоятельствах. Более того, не только моя жизнь

вследствие помянутого сочинения осложнилась до почти совершенной невыносимости, но и судьбы иных лиц, преимущественно дам, созданий слабых и уязвимых, оказались ущерблены. Вам, верно, они представляются лишь персонажами более или менее второстепенными, а мельком появившаяся главная — по Вашему разумению — героиня уж в любом случае не больше заслуживающей деликатного обращения, чем Ваш покорный слуга.

Позвольте же заметить, сударь, что отношение такое я считаю не христианским, не благородным и даже вовсе бессовестным, и за слова эти готов отвечать не только перед Вами, как порядочный человек, но и перед Господом.

Перейду, однако, к сути.

Что, собственно, есть предмет прожитых мною и моими близкими к сегодняшнему дню глав? Постоянно отвлекаясь пересказами историй из моего раннего (и даже неначавшегося) детства и из юности моей, как у многих, бессмысленно проведенной, Вы повестуете о нескольких летних днях и ночах, в продолжении которых я прощался со своей прежней жизнью, — по преимуществу, с близкими приятельницами, — намереваясь начать жизнь новую, не то в чистой и единственной любви, не то, напротив, окончательно гибельную, опустившись на дно общества. При этом Вы утверждаете, что некое предчувствие того и другого возникло в моей душе давно, будто бы я даже был уверен, что рано или поздно опущусь, погибну как приличный человек, «пропаду», как Вы изволили выражаться. Таков не то что бы сюжетец, сюжета здесь давно никакого нет, но словно мотив Ваш.

Что ж, скажу я, и это может быть предметом литературы. Вот хотя бы «Живой труп» гр.Толстого, или некогда виденный мною французский кинофильм «Столь долгое отсутствие» с Бурвилем, ежели не ошибаюсь, в главной роли, или роман некоего Стоуна (не Ирвинга, а другого, имя изгладилось из памяти) «В зеркалах», лет двадцать назад читанный мною в журнале «Иностранная литература»... Словом, Вы могли бы, как это Вам, уж простите, вообще свойственно, пойти по давно и успешно пройденному другими пути и написать доброкачественную психологическую вещь. Дескать, жил себе человек, вел принятый в его кругу умеренно светский образ жизни, трудился по мере сил и Божьего дара на избранном поприще (а-проpos: о профессии моей поз-

же специально скажу), имел романтические приключения, но устал от всего этого, смысла стал искать, оправдания — да в висок себе и пальни. Или, можно предположить, начал пить, с непотребными людьми проводить ночи и докатился до золотой роты. Или сначала второе, а после первое. Одним словом — грустный роман, русский, да хоть бы и не только русский, в чем-то и поучительный. И, смею Вас уверить, ровно никаких претензий у меня бы не появилось, и уж конечно, письма бы герой автору не стал бы писать. Оно в таком-то романе и невозможно.

Но Вы, почтенный Александр Абрамович, избрали иное.

Прежде всего, выше всякой меры увлеклись мистикой, сверхъестественным в немецком духе, всяческим суеверием, годным разве что для детских сказок и интересным лишь навечно оставшимся в недорослях читателям довольно известного романа драматурга Булгакова. Да коли бы получилось хотя как у него! А то ведь просто смех читать — какие-то мужчины в черном и в белом, спасители, хранители, искусители, за правым плечом, за левым, говорят, как филеры, а по сути-то ангелы якобы... Полноте, господин автор, ведь просто чепуха вышла! И любой, хотя бы критик той же «Беспредельной газеты», вам скажет, что вся эта чертовщина — от бессилия, оттого, что сюжеты иссякли, что эпигонство в крови, что сели писать роман, а романа-то нету-с.

Однако пойдем далее, благо не одними ангелами населили Вы сочинение Ваше.

Вот герой, Михаил Ионыч Шорников, я, то есть. Первое: чего это Вам в голову вошло, что у меня отчество Янович, от переделанного по-домашнему батюшкиного имени? Никогда такого не бывало, и в бумагах я записан Ионычем, и зовусь так, а ежели Вас, сударь, смутило совпадение с известным персонажем, то, смею уверить, мне это в самой высокой степени безразлично. Мы, должен признаться, персонажи, то есть вообще к литературе интереса не питаем. А уж коли Вам Ионыч не нравится, чего ж об этом загодя не подумали? Или подумали, но ради какого-нибудь мерзкого, простите, фокуса Вашего, сочинительского, оставили как есть.

Но это, относительно отчества, — мелочь, к слову пришлось. Есть у меня к Вам, господин хороший, счетец и покрупнее. Скажите, как на духу, для какой цели понадобилось Вам меня на

части делить? Для чего у Вас один Шорников как бы живописец, другой — не то поэт-импровизатор, не то певец романсов, третий актер (и в какой-то даже дурацкой фильме должен участвовать, конкистадора изображать, плывущего по Волге!), четвертый якобы Ваш брат-беллетрист... У одного кошка живет, у других ее в помине нет... Зачем? Не потому ли, что одну, да положительную какую-нибудь профессию герою дать в руки — это ж вещь серьезная, тут дело знать надо, а целкопера-то, фигляра или модного маляра изобразить Вы из себя можете. Занимались когда-то ведь по технической части, могли бы хотя эту область деятельности знать, да позабыли все в пустой жизни, к тому ж неинтересны Вам кажутся инженеры, жены их, мирное филистерство. Как же, Вы романтик-с, Вас от простого человека, ходящего в службу, любящего жену и детей, за всю жизнь свою ни в какой авантуре не побывавшего — воротит, простите за грубость.

Впрочем, воля Ваша, но и все эти резоны для такого расщепления человеческой личности (между прочим, мыслящей личности и вовсе этой вивисекции не заслужившей!) мне кажутся второстепенными. А главное все то же эпигонство Ваше, и уж тут-то оно проявилось вполне в обычном для Вас направлении. Роман «Ожог» небось читали, сударь? Писателя такого, Аксенова, знаете? Вот то-то и оно. Все оттуда! И герой в разных профессиях один и тот же мечется, и дамские приключения бесконечные — все позаимствовали. Стыдно-с. Реалистам-то подражать не можете, так нашли достойный образец, ничего не скажешь.

А чего стоят Ваши описания туалетов, конфекции мужской, перечни имен портняжных и торговых, заграничной галантереи! Это уж, батенька, вовсе того... попахивает.

Теперь перейду к тому, что Вы без зазрения совести называете «любовью». Сколько смог я понять, Вы утверждаете, что некая смуглокожая и темноволосая девица, явившись в моей молодости в образе фельдшерицы, навсегда очаровала душу мою, впоследствии же была вытеснена многими (кстати, откуда многих-то взяли? нескромно, милостивый государь, сплетни собирать), ну, пускай многими светловолосыми моими любовницами, женами и случайных встреч соучастницами, но под старость первая любовь вернулась ко мне в том же смуглом южном виде,

вновь возгла в усталом моем сердце огонь и, словно мстя за предательство своей масти, спалила сердце дотла...

Верно ли такое изложение Вашего повествования? Думаю, что верно. И, заметьте, насколько оно короче и притом выразительнее оригинала.

Тем не менее, и в таком пересказе очевидна глупость и пошлость самой идеи.

С уверенностью одержимого Вы выстраиваете все на совершеннейшем вздоре: якобы светлые и темные волосы составляют главный для мужчины любовный выбор. К тому добавляете изобретенную Вами же классификацию: будто бы существуют некоторые типы, меж которыми и мечется всякий сильного пола, и я в том числе. К примеру, плотного сложения блондинка, почему-то всегда необыкновенно страстная (чтобы не сказать распущенная), и изящной комплекции брюнетка, каким-то сверхъестественным образом обязательно оказывающаяся холодной. Ну, положительная же ведь чепуха! Мало того, что общераспространенному взгляду и опыту человеческому противоречит, так ведь и в существе такого разделения глупость и самоуверенность, больше ничего. Как это Вы по волоску целого человека определяете, хотя бы и даму? Тоже взялся Кювье, прости меня, Господи.

Между нами, уж ежели зашел разговор, я лично имел подтверждения противоположному взгляду. Была, допустим, одна чернявенькая, евреечка, а гророс, так, я Вам, батенька, доложу, до истинных предсмертных судорог... Впрочем, умолчу по благородству. Или, предположим, напротив, светленькая некая, из синих чулков (!), и, хотя имела к недостойному большую склонность, нисколько, никак и никоим образом завершения не достигала, а единственно чем утешалась, так это чисто наружной процедурой, как бы орошением сада ее светлого... Простите, опять увлекся. Словом, нету в этом никаких законов и установлений, а если и есть, то не Вам, уж простите, сударь, их открывать либо устанавливать. Вон г-н Попов из Петербурга, из Ваших тоже, автор, тот и вовсе непотребное выдумал, вот, пожалуйста: «...Тот, кто занимался этим делом всерьез, а не теоретически, знает о неимоверной притягательности большого, белого, рыхлого, даже дряблого женского тела с синеватыми прожилками; особенно в сумерках тусклого петербургского пьяненького рассве-

та — никакого сравнения с загорелыми упругими, накачанными, якобы женскими, телами, что навязывают нам рекламы западных кремов и трусов». Вот, извольте видеть, тоже постулат. Хотя, если уж откровенно, я скорее с этим циничским, но, бесспорно, тонким наблюдением над жизнью соглашусь, чем с Вашими романтическими пошлостями.

И еще к слову: кто это вам, беллетристам, право дал по чужим постелям-то шастать и все интимности афишировать? Что за отвратительный реализм! Неужто если б Вы все Ваши описания да изображения заменили бы только одной фразой, положим: «И они предались страсти...», или: «Огонь желания охватил их, и они отдались чувству...» — неужто взрослый читатель всего последующего сам не домыслил бы? Смею Вас уверить, господин Кабаков, домыслил бы, и лучше Вашего бы домыслил. Но Ваш брат в чужие фантазии не верит, и вот-с, извольте, читаю у некоего г-на Юрьенена, Вашего, насколько знаю, друга, живущего, натурально, за границей: «...он принялся вколачиваться изо всех спортивных сил, и она стала вскрикивать, одновременно пожимая его предплечье в знак того, что не от боли это, а наоборот. Чтобы не так пронзительно вскрикивать, она укусила подушку. Она очень чутко при этом следила за ним, так что когда он остановился и — на самом краю оргазма — попытлся из нее...» Фу, не буду продолжать. И для чего это, позвольте Вас спросить? Не стану спорить, описано точно и выразительно, так и видишь (дело, замечу, идет о потере юношей невинности) всю картину, но зачем?! Какие цели преследуете, господа? Да вспомните вы хотя б великих наших, Пушкина: «...Я помню чудное мгновенье...» И, *entre nous*, мгновение-то, как выяснилось, действительно было чудное, другу сообщил, а читателю — умолчал. Не Вам чета.

Только расстроил совершенно нервы, цитируя Вас, так что и продолжать не могу. Скажу лишь в добавление, что помимо глупой таинственности и «любви» в той части романчика Вашего, которую я уже испытал, вовсе ничего нет. Будто живу я в пустыне, без друзей, без общественных веяний и сотрясений, без идей и вопросов. Единственное исключение: вписали водевильный пасквиль на современное культурное общество, «тусовку» (!) Ну-с, это-то Вам известно... А ведь прежде, уважаемый, Вы совсем

иным путем шли, достойным, и снискали даже некоторое уважение в отечественном обществе именно что гражданским духом, вниманием и чуткостью к событиям времени, включая и грядущее. Для чего ж Вы оставили это — для скабрзности и суеве-рий. Хорош, нечего сказать, русского-то писателя выбор.

Пока еще не поздно, одумайтесь, не тратьте втуне способнос-ти свои, пусть и скромные. Дайте герою достойную судьбу, дайте читателю сюжет поучительный, критику, наконец, дайте хоть малый повод для упражнения мысли. Не загубите нашего общего с Вами дела.

А за резкость — простите. Мы с Вами люди не чужие.

С совершеннейшим почтением,
преданный Вам
Михаил Шорников.

Шорникову М.Я.
Москва, Главпочтамт,
до востребования

Дорогой Миша!

Получил я твое письмо, прочитал, даже перечитал — и кры-ша у меня поехала. Сначала думал тебе просто позвонить, дого-вориться посидеть где-нибудь, в цэдээле, например, там, между прочим, до сих пор и вкусно, и недорого сравнительно. Но потом одумался, слава Богу. Во-первых, знакомые потешались бы, что за глупость — автору с героем выпивать, а, во-вторых, какой бы от этого был толк: в текст ведь беседу в Дубовом зале не вста-вишь. Так что решил тебе написать — между прочим, за всю жизнь я личные письма считанные отправил, но тут уж не отвер-тисься.

Пойду по пунктам.

Первое: какого хрена ты выбрал такую стилизацию? Весьма приблизительно имитируя стиль не знаю уж какого точно време-ни, во всяком случае досоветский, что ты хотел этим мне пока-зать? Указать место полуграмотному, темному совку, возмнив-шему себя русским литератором, но катающему дешевую литпоп-

су в утешение женскому полу с высшим образованием да гуманитарным переросткам — так я это свое место и так знаю. И уж в любом случае писал бы с ятями и твердыми знаками, если ты такой умный, а то грамоты-то настоящей не знаешь, а обороты передразнивать любая обезьяна с хорошим слухом может.

Второе: по существу, насчет мистики. С каких это пор ты такой уж материалист? О крестике, о церкви по праздникам, а иногда и просто так, под настроение, по дороге, я не говорю, я это уважаю и в такие вещи не лезу. Но то, что ты постоянно занят выведением дурацких закономерностей и из всего приметы делаешь, — разве неправда? По этой стороне Тверской утром идешь — день будет легким, в метро сумасшедший старик у эскалатора дежурит, объявляющий левитановскими интонациями: «Де-ер-жите за руки мало-лет-них детей! Пропус-кай-те престарелых слева! Вперед, гвардейцы!» — ждешь неприятностей... Не буду перечислять, сам знаешь. Да и вообще жизнь свою в глубине души считаешь predetermined изначально, орудие, мол, в руке Божьей, а чего орудие — и сам не знаешь. Почему ж, в качестве метафоры хотя бы, не могут появиться черный человек и белый человек? Эпигонство... Тоже мне, контролер чистоты литературных патентов. Уперлись все в М.А., вроде до него в литературе никогда чертей не водилось. Да как писались сказочки, так и впредь будут писаться, а если в некоторых текстах напрямую ни дьявола, ни ангелов не упоминается, так и это ничего не значит. Если б ты серьезно задумался, сам бы допер: в любом вымысле всякая нечисть, любое волшебство и тому подобное обязательно присутствуют хотя бы в скрытом виде. Потому что без сверхъестественного вообще не существуют ни отношения персонажей, ни сюжетные события, ни даже самое простое: «Он подумал...» Если без мистики, то возможно только: «Я подумал...» — да и то не совсем. Твоим требованиям удовлетворяют только устав гарнизонной и караульной службы, техническое описание электромясорубки и, отчасти, телефонная книга.

Третье: об эпигонстве вообще. Ты не подумай, что я обиделся. Если человек хотя бы с некоторым читательским опытом усматривает в моем тексте воспроизведение каких-нибудь литературных традиций, даже новейших, меня это только радует, тем более к В.П. я отношусь, сам знаешь, любовно. Не ты, Миша, пер-

вый, не ты, уверен, и последний, кто меня аксеновщиной шпыняет. Для пушей элегантности отвечу (по твоему примеру) цитатой, причем именно же из названного вашингтонца (впрочем, во время написания цитируемого — еще москвича):

«...Хочется увидеть писателя, свободного от влияний. Какое, должно быть, счастливое круглое существо!

У нас, кстати сказать, в критике складываются забавные правила игры. Свободна от влияний и подражаний одна лишь бытописательская, вялая, вполглаза, из-под опущенного века манера письма, практически стоящая вне литературы. Все вырастающее на почве литературы так или иначе подвержено влияниям. Все, что помнит и любит прежнюю литературу, использует ее достижения для своих собственных, новых, то — подражание «под Толстого», «под Бунина»... любое малейшее смещение реального плана — «булгаковщина»... Один лишь графоман никому не подражает. Но, руку на колено, графоманище-дружище, и ты ведь подражаешь Кириллу и Мефодию, используя нашу азбуку!» Василий Аксенов. «Круглые сутки нон-стоп».

Все. Можно было бы ничего не добавлять, но, из соображений справедливости, скажу, что согласен с тобой относительно выбора профессий для размноженного тебя: все они взяты действительно из ближнего мне круга, и взяты лишь ради одного — чтобы очертить жизнь этого круга тем общим, что в ней главное. Бездельем.

Ведь если бы я оставил тебя единственным и указал бы точно род твоих занятий, то так и надо было бы написать: Михаил Янович Шорников, бездельник. Разве не правда? Будь честен хотя бы со мной, если с собою не можешь. Тусовщицы и понтырщики, понтырщицы и тусовщики — вот кто эти все, как однажды я уже зафиксировал.

И я сам — тоже.

Хоть по двадцать часов в сутки пиши, малюй, снимай, пой — все равно бездельник. Развлекаемся сами, развлекаем, если удастся, людей. Можно ли это считать работой? Потому что большинства из нас и психология бездельников. Прав был Л.Н., которого ты так очаровательно именуешь «гр. Толстой».

Еще одно об эпигонстве забыл. Вот ты меня подражателем обзываешь и разве что не плагиатором. Ладно, я человек не обид-

чивый. Но я тебя хочу спросить: а где ж ты не эпигонов-то нашел? И не в смысле приведенной цитаты, а конкретно — кто вполне оригинален? Эти ли, заменившие только название литературной секты и полностью воспроизводящие и пыл тридцатых, и вялое чиновничье следование последним указаниям семидесятых? Дерущие напропалую кто у Белого, кто у Розанова, кто у Селина, кто у Берроуза и все — друг у друга... Критическая обслуга, фамильярничающая, как всегда было принято у дворни, с господами, — да и господа, мало чем от дворовых отличающиеся, хоть и пыжатыся... Они, что ли, открыватели, революционеры? Если по интервью судить, то конечно, если на тусовках слушать, то аж сердце замирает, до чего смелы и эстетически, и этически, и вообще. А если сочинения почитать, то чистая хренотень, зады американской и прочей «голубой» волны (извини за каламбур), унылое повторение домашних заданий, которые надо предъявить на русистских кафедрах в Глазго, Копенгагене и Урбане (Иллинойс). Сильно остывший суп из завалившихся в холодильник с «серебряного века» ошметков с добавлением популярных между тридцатыми и шестидесятыми специй из ихнего супермаркета. Гурманы повторяют название блюда и едят, демонстрируя наслаждение, а обычный клиент, даже проголодавшись, сплюнет и поспешит подавить тошноту рюмкой под свежую котлету с гречкой.

Ну, это я завелся, не хочу с тобой вступать в литтусовочные дискуссии, извини, не твоего это ума дело, да и не моего.

Между прочим — насчет моих «перечней». Сошлюсь на безусловный и для тебя, надеюсь, авторитет: «широкий боливар», «недремлющий брегет», «лепажи» — это что, не перечень иностранного барахла?

Последнее. Эротика, как теперь изящно выражаются, или, проще, описание твоих блядских походов. Не пойму никак, чего ты хочешь. Вовсе, что ли, это из текста исключить? А что останется? Как и положено нам, бездельникам, постельные дела и переживания составляют главную и острее всего ощущаемую часть твоей жизни, выкинь их — и будешь ты вовсе холоден, как дохлая лягушка, еще более пуст, чем есть, почти ничто. Или ты всерьез считаешь, что можно эту сторону жизни изображать наплывом и затемнением? Что, совсем ты двинулся, бедный мой

друг? Да с какой же стати недописывать самое главное, самое интересное и просто изобразительно привлекательное!.. Другое дело — мне и самому не нравятся медицинские термины и народные слова (за исключением прямой речи, конечно) в описании известных занятий, так я без этого и обхожусь — дополнительный кайф выйти из положения с одними тенями, всхлипываниями, вздохами, бликами, не соскользнув при этом, по возможности, в приторную слюнявость.

Ты другое скажи: где твоя благодарность за то, что из обычных, грязноватых, одними только любопытством и тщеславием стимулируемых ходок я делаю грустно-лирические, наполненные благородным и тонким распутством любовные авантюры? За то, что твои терзания из-за нехватки времени, наезжания randevу друг на друга, претензий каждой партнерши на существование целиком, их попыток контролировать, наконец, из-за того, что можешь облажаться на четвертой, подустав уже на второй (хотя, должен признать, для своих лет ты еще молодец) — все это ничтожество, суету эту трахальную я превращаю в высокое страдание, в терзание духа плотью, в муки из-за их разрыва? Спасибо лучше бы сказал. Хотя, если честно, делаю я это не для тебя, конечно, а для читателей, и особенно для читательниц, дай им Бог здоровья, и счастья, и всего того, что они у меня вычитывают. Где, интересно, набрался ты этого мерзкого снобизма, подлого презрения столичной газетно-журнальной элиты к такого рода потребителю литературы? Я же на них молюсь — на библиотекарь моих, на училок начитанных, на младших научных и старших преподавателей безмужних, зато с почти взрослым сыном, на несдающихся посетительниц литературных вечеров и кинолекториев, на утешающихся в своей нелюбимости, некрасивости (а хоть бы и в красивости), в робости и неумелости (а хоть бы и в изощренности), во фригидности своей проклятой моими сладкими сказочками, обещаниями, обнадеживаниями. Я их люблю, бедных моих баб. Да и ты любишь, а притворяешься крутым интеллектуалом, несентиментальным, имморальным — или наоборот? Черт вас разберет, таких культурных.

Но раз ты так... Хорошо. Сам напросился. Хочешь чего-нибудь «настоящего, серьезного, глубокого»? Получишь. Жаждешь социального, исторического фона? Будешь иметь в полный рост.

Ты у меня напорешься-таки на то, за что борешься, это я тебе обещаю, козел. Отношусь я к тебе хорошо, ты сам знаешь, дружим мы с тех времен, когда ты еще под другими именами у меня появлялся, и, согласишься, за все эти годы ничего по-настоящему плохого я тебе не сделал. И то, что для лирического героя у меня всегда был happy-end заготовлен, уверяю тебя, не из одного суеверия установилось — я тебя берег. Но на хамство я обижаюсь, а еще сильнее — на высокомерие. И недоброжелательность запоминаю надолго.

Так что для начала изволь получить кое-какую «правду» о тебе, причем не от меня, а от твоих же подруг, а потом я тебе обещаю и «социально-исторический фон», а уж как ты на нем будешь смотреться — как сумеешь.

Будь здоров.

Твой автор.

P.S. Между прочим, вот тебе еще для обвинения: эти письма, вставленные в текст, — чистое литературное кокетство. А? Давай, обличай.

8

— Я начну, потому что я вообще была первая, и не перебивайте меня, девки, я хочу быстро рассказать и бежать, мне внука надо в спортшколу везти, а это выезжать за полтора часа, а я еще разревусь, так что и времени не хватает все рассказать, а рассказать, девки, есть что, потому что я действительно была первая, ну, не считая, конечно, самой первой, но это отдельно, видите, она даже не пришла и, вы заметили, она же вообще никогда не приходит ни на один сбор, только в первый раз была, посидела, поулыбалась, как джоконда — и все, и я считаю, что и хорошо, что она не ходит, если здесь собираются те, кто Мишеньку любит, так ей здесь делать нечего, она его только использовала всю жизнь, по первому-то заходу все самоутверждалась, прислугу бессловесную из него делала, а по второму уже и совсем про-

сто — либо женись, либо отвали, а мы, девки, разве когда-нибудь так ставили вопрос, а, девки, хотя вообще-то он меня, конечно, изломал будь здоров, мы когда познакомились, я ж была простая комсомольская подруга, давала понемногу друзьям, сына растила от одного бедного парня, талантливый был такой, так пел, на всех наших активах был с гитарой, ну, пел-пел и спился, уехал в Хабаровск, а я себе жила неплохо, только, помню, все зубы никак вылечить не могла, ну и в потрошилку постоянно залетала, предохраняться ж было нечем, но вообще нормально жила, а тут он, прямо впепился, а я смотрю, у него ж комплекс, его эта... красавица южная, никому не нужная, уже успела во всем убедить, что ничего он не умеет, мол, а на самом деле сама фригидная, как бревно, и на чистоте помешанная, а это дело ей казалось грязным, ну, течет же и все эти дела, вот она и не кончала, а он в меня прямо вцепился, и я ему говорю: да ты ж потрясающий, понимаешь, просто потрясающий мужик, а он мне все время про нее рассказывает, про ее закидоны, чего она придумывает, чтобы кончать, я по сравнению с ней просто пионерка была, и начинает меня на то же самое фаловать, и так, и этак, но главное, напирает на компанию, а я на все соглашаюсь, хоть передом, хоть задом, но в группу не иду, мне обидно, что ему меня мало, с одной стороны, а с другой — делить не желаю, но он все бормочет и бормочет, как в койку, так начинает свою песню, бредит, как будто все это у него и у нее уже было, а я же вижу, что он врет, что он все придумал, потому что, девки, вы же сами знаете, его распирает, ему всего мало, вот он и сочиняет, картинки рисует, ну, и, в конце концов, добился-таки своего, меня завел, и пошло, всех подруг моих оттянул, бывало, что и со мной вместе, и вообще, не могу больше, видите, девки, почти тридцать лет прошло, а я реву, что он со мной сделал, сука, но все равно, был он самый из всех, такой был красивый, правда, морщины рано пошли, выпивали мы с ним сильно, он тогда пиво любил, с вечера наберемся, потом до полночи любовь и вообще безобразия, а утром он спит, бородка кверху, он тогда как раз по моде бороду запустил, хотя не шла ему, а я встану и с бидончиком на угол, к бочке, там мужички с вертолетного по дороге на смену похмеляются, а я бидончик наберу и бегом домой, мясо за сутки замаринованное, в вине и с лимончиком, на сковородоч-

ку — и к нему, вот она я, вот пиво, вот еда, а однажды в Сухуми идем мы с ним по набережной, в «Амре» музыка играет, модная тогда была такая джазовая песенка, «Тень твоей улыбки», старик по набережной ящик деревянный катит на колесиках, в окошечки с четырех сторон можно в ящик смотреть, а там картинки, старый город и тому подобное, а я только на него смотрю, он загорел, бородка выцвела, рубаха черная, по той моде, я ему сшила сама, до пула расстегнута, джинсы белые, там же в порту купил за последние тридцать пять рублей, и идем мы с ним от тира, где он на пари стрелял и десятку выиграл на жизнь, к кофейне «Черноморец», ну вот, посмотрела я на него, и, конечно, поняла, девки, что в конце концов он меня обязательно бросит и что поганец он, врун, бабник, что все его таланты невеликие, а все равно — лучше мне уже никогда не будет, так и вышло, вы не слушайте, что я говорю, я ведь была хороший книжный редактор, а как на пенсию вышла, да внук, да с соседками-старухами по очередям, так я скоро вообще говорить разучусь, но я вам точно говорю, подруги, его стоит любить, никому из нас ни с кем другим так не было и не будет, конечно, и если у нас не то что совесть есть, у баб совести-то немного, но если мы хоть немного его любили и любим, давайте его вытянем, одним этим ангелам его долбаным его не спасти, я вам точно говорю, девки, а недавно я шла, а из модной какой-то обжираловки, там одни бандиты сидят, опять эта песня, как ее по-английски... «The shadow of your smile», вся моя жизнь прошла, а песню все играют, и помру я, а ее все играть будут, тень твоей улыбки, вот мать твою, девки.

— Не знаю, почему вы так говорите... Все было совсем не так... Мы познакомились просто в гостях у общих знакомых... Танцевали, я была без мужа, он уехал куда-то, не помню... Потом пошли вместе пешком, через мост, целовались, стояли... Стоим, смотрим на остров, он что-то сказал... Про то, как хочется пожить чужой жизнью, выйти, например, из проходящего мимо маленькой станции поезда, оказаться там, где светятся окна... Или сейчас уплыть на остров, провести ночь в маленьком домике на причале, где живет сторож, и остаться там, сторожить этот дурацкий причал, прожить там до самой смерти... А потом мы встречались, он выбегал из своей дурацкой конторы в обеденный

перерыв и бежал ко мне через улицу, переминался, пережидая трамвай, длинный, с развевающимися волосами, тогда только стали носить длинные волосы, мне не нравилось, но я ему не говорила... Мы шли на пустой днем заводской стадион и сидели там под ярким солнцем, был очень жаркий июль, и я была вся мокрая, от жары или от него, невозможно было понять... И однажды там нас застала старуха, которая убирала трибуны, и стала кричать, позорить, а он убрал из меня руку, полез в задний карман и дал ей три рубля, а потом еще пять, и она открыла нам чулан с ведрами, метлами и сломанной скамейкой... После мои родители уезжали в отпуск, я привела его в их квартиру, впервые вся разделась при нем, от стеснения закрылась спереди и сзади дурацкими диванными подушками, он засмеялся и сказал, что я самый лучший бутерброд... А зимой он навсегда уехал из нашего города, где мост, остров посреди реки, стадион, жуткая его контора и я, оставшаяся с мужем в хорошей квартире, как раз перед его отъездом родители мужа подарили мне шубу из каракуля, и я пришла в ней его провожать... Теперь я стала ужасно толстая, даже не могу себе представить, что это меня он держал на себе, у меня трое детей, старшему уже двадцать, у нас две машины, иногда мальчик отвозит меня к эндокринологу, мы переезжаем мост, я смотрю на остров, домик сторожа цел... Извините меня, я не верю вам, я не верю, что он был во всей этой грязи, иногда я читаю о нем в газете или журнале, видела однажды фотографию, он совсем старый, но все-таки больше похож на того, который смотрел с моста на остров, чем на того, который был с вами... Но я согласна, если ему нужно помочь, мы все должны... Со мной он совсем не пил, если ему это помогло бы.... Я брошу детей, они уже взрослые, я брошу дом, машины, мужа, его стариков, всех... Я помню это дурацкое солнце, стадион, его руку, выползающую из меня, чтобы достать деньги... Простите... мы тогда, в гостях, танцевали под такую музыку, кажется, она называлась «Килл ми софтли», кажется, «Убей меня нежно», кажется, пела Роберта Флак, кажется, он убил меня нежно, кажется...

— Ну что мне говорить? Меня он вообще из метро привел домой — и все. Какая-то комната, он снимал ее в квартире парализованной хозяйки, ночью, помню, она поехала на своем кресле в

уборную, было слышно. Потом еще раз или два у меня. И еще ходили один раз на какой-то концерт, какой-то клуб, ребята какие-то страшно долго ставили на сцене колонки, барабаны, потом еще была какая-то музыка, не помню точно, все сразу заплодировали. Вот, вспомнила: «День из жизни глупца», он мне перевел. Правда, хорошее название? И потом я, может, еще раз приходила к нему. Не помню. Ничего не помню, представляете? Вы все вспоминаете, какой он необыкновенный, а я ничего не помню. Просто склеил меня в метро. День из жизни глупца, вот это помню.

— Ничего не хочу рассказывать. Не хочу вспоминать. Он просто перестал звонить тогда. Я звоню — да, милая, да, конечно, люблю. И опять не звонит. Просто тварь, быдло, а кажется, что такой то-онкий! Просто член здоровый и совести нет, и слюняй. Лучше бы говорил честно — раздевайся, ложись, получи удовольствие и пока, лучше было бы. Он же ничего не видит, он и бабу не видит, чем он отличается от жлобов, которые женщину станком называют? Да ничем. Просто ему станок говорящий нужен. Сука он сентиментальная, вот кто. Господи, как я жила, это ж в страшном сне не приснится! Двое детей, старший школу кончает, что дальше делать, непонятно, у нас в городе ни в один институт тогда без больших денег нельзя было и сунуться, значит, в армию. Младший вообще больной был, только сейчас выправляться стал. У мужа как раз неприятности, тогда начали все эти кооперативы появляться, он в один такой влез, стали жить просто прекрасно в материальном смысле, а тут их с двух сторон прижимать начали, и милиция, и из Нальчика какие-то, уголовники настоящие. И тут он приезжает, одноклассничек ненаглядный, родные края, видите ли, навестить решил, знаменитость хренова. Вот уж точно, все в говне, а он в белом. Я кручусь, как не знаю кто, школа, репетиторы, адвокаты, больница детская, в магазинах нет ничего. Когда муж стал хорошо в своем кооперативе получать, я работу бросила, а я, между прочим, ведущий технолог была, замначальника бюро, двести восемьдесят по тем деньгам получала, а тут сразу в долги влезли. И он явился. Принц в белом костюме. Слушай, ты так прекрасно выглядишь! Я и не помнил, что ты такая красавица! Слушай, пойдём поужинаем, потанцуем! Заеду за тобой в семь, ладно? Я за ночь платье

шила, у подружки купила в долг тряпку итальянскую, туфли достала — вышла, он просто умер. Я же умею это все, просто всегда не до того было, а тут началось кино, самый лучший в городе ресторан, все на нас смотрят, он в белом, я в белом, черт его знает что. В гостиницу провел, как так и надо, дежурная сунулась, он ей десятку сразу дал, она прямо очумела. И всю ночь, всю ночь, как бешеный, свет не погасил, я открыла глаза, вижу над собой его лицо, улыбается, как черт, я просто испугалась. Это уже потом я поняла, что он играет все время, то дьявола в постели изображает, то джентльмена с дамой, то влюбленного одуревшего, то страдальца совестливого. А сам ничего не чувствует, актер он и есть актер, только на сцене он бездарный и примитивный, я все его видела, а в жизни, для таких дур, сходит за гения. Конечно, актер, что вы мелете, какой художник, какой еще поэт?! Да у меня его афиши до сих пор лежат и фотография из театра. А вечером снова пошли, я даже не представляю теперь, что я дома врала. Оркестр там играл паршивый, а потом лабухи поесть сели, и включили записи. Фрэнк Синатра, «It Happened in Monterey», мы пошли танцевать, и он мне сказал: «Не знаю, что с нами будет, но любить тебя я буду всегда». И знаете, сколько после этого пролюбил? Меньше года. За это время я от него аборт успела сделать, и триппером он меня наградил, когда я к нему в Ленинград приезжала, у них там гастроли были полтора месяца. Вот так он меня любил необыкновенно и вечно. Это случилось в Монтерее, он был весь в белом. Ничтожество. Будь он проклят. Я потом года три с мужем отношения восстанавливала, а стыдно до сих пор, хотя уже вся та жизнь забылась, и расстояние до него — лету четырнадцать часов. Гадина он и мразь, и сдохнуть под забором ему как раз по заслугам. Вот, денег могу дать, вот, две сотни, это теперь сколько по-вашему? Ну, и хватит с него за тот танец. Боже мой, какой же все это ужас!

— Первый и последний раз я здесь. Я в научно-практических конференциях по бывшему общему ебарю не участвую. Что он умеет из бабы всю дрянь, сколько ее в ней есть, вытащить — это точно. А что потом с этим делать, сам не знает, в ужас приходит и, скорей-скорей, в сторону. Вот я слушала вас, милые дамы, и удивлялась — ведь со всеми одно и то же, а действует! Улыбается, как бы смущенно, обязательно насчет тяги непреодо-

лимой бормочет тихонько, как будто радио тише сделали, а выключить забыли, какой-нибудь бунинский рассказ вспомнит — и ведь действительно похоже! Вдруг, шепотом, как будто ему неловко, но распирает, скажет что-нибудь совсем из пододеяльной жизни, ты еще с ним и не спала, а он, например, такое может залепить, в глаза глядя: «Как же вы теперь пойдете? Мокрая... Простудитесь же...» Мне так и сказал, а мы с ним второй раз только виделись, кофе где-то пили... Казалось бы, что мне мешало ответить, чтобы отлетел? Я же умею. Казалось бы... А не ответила. Наоборот. Тут же и вправду намокла, и не то чтобы восхитилась, а удивилась: ловко он умеет. А что за особенная ловкость? Поручик Ржевский из анекдота, вот и все. И вообще по этой части он, на мой взгляд, так себе, и силенок уже не очень... может, когда был помоложе, и не выпил еще столько... Ну, это вам видней, у кого-то же двадцать пять лет стажа, да? А меня в основном шепотами такими привязал и делал, что хотел. Я перед ним на коленях стояла, просила в рабство взять, мужа молодого бросала, дочь к бабке, а сама машину хватаю, несусь... И вижу, что уже достала его, что ему скучно, что ему то выпить с друзьями хочется, то просто где-нибудь на людях покрасоваться, а у меня проблемы, дом, еды надо добыть, приготовить, дочку к офтальмологу везти... Стоим мы с ним перед зеркалом голые, он меня обнял сзади, а я вижу, что разглядывает в зеркале мой живот, каждую складку, и хочет меня, и отвращение испытывает... Точно! Не сумел скрыть, повернул к себе, оскалился — это вы совершенно точно заметили, улыбка отрепетированная — и на ухо: «Жирный мой... жиртрестик...ну, иди сюда, пузатик...» Кстати, не задумывались, девушки, почему он так любит к нам в мужском роде обращаться? Думаю, что латентный «голубой», вот что... А подарки его чего стоят! Поднесет, весь торжественный и надутый, какую-нибудь цацку, иногда и действительно слишком дорогую, а иногда и барахло какое-нибудь, на парижском углу у индуса купленное, а в глазах цифры пляшут, а то и сожаление, вместе с гордостью, еще и переспросит десять раз — нравится, правда нравится? Заметит, что не надела — опять: не носишь? не нравится? не потеряла? Да жлоб он со всей его щедростью, рассчитанной до копейки! Что он мне дал? Вот я хочу понять, что он мне дал, а? По-настоящему хорошо было только

один раз, когда ехали мы с ним куда-то, по каким-то моим делам, кажется, и всю дорогу в машине почему-то старые джазовые хиты слушали. Шофер интеллигентный попался... Армстронг еще пел, не помню, как называется... Вроде нашего «Как прекрасен этот мир». Это еще было в фильме таком, «Доброе утро, Вьетнам», не видели? Симпатичный такой фильм... Ненавижу.

— Значит, так. Во-первых, вы все идиотки. Он безумно талантливый, а вы говорите всякую ерунду. Второе. Он удивительно красивый. Я его люблю, и он меня любит, и любил, и будет любить. В-третьих, у него картины есть просто гениальные, я их все помню, могу по памяти копию написать. Если я говорю, что он художник прекрасный, я разбираюсь, я, между прочим, двадцать лет член союза, он еще в мальчишках ходил, при бульдозерщиках, а у меня в Болгарии персональная выставка была. Теперь так: конечно, в нем дьявол сидит, я не спорю. Но он же мучается, он же сам страдает. Бедный мальчик, он из-за этого пьет. Вот вы... да, вы, говорите — «что он мне дал?». Вам всем нужно, чтобы он что-нибудь дал, а вы ему что дали? Свои проблемы хотели на него повесить, чтоб женился немедленно и авоськи за вами носил. Он правильно и поступал. Будил в вас шлюх, так и управлял вами, а то любая его бы скрутила. Я же ничего от него не хотела, ни денег, ни помощи, я бы еще ему сама помогла. Он ужасно живет, одиноко, ему мать нужна, а он все девок ловит, в такси носится, тысячи свои швыряет. Я хочу у него только спросить, почему он меня бросил. Три дня. Со мной так никогда не было, со мной годами. Хочу лежать с ним рядом, прижиматься. Хочу выставку парную с ним сделать. Он меня бросил, потому что я старая, мы ровесники с ним. В этом все дело. Старая, тощая, жилистая, как кляча. Но ведь я все равно красивая? Не могу понять, почему он меня бросил. Недавно включила радио, там его любимый Рэй Чарльз, «Джорджия» или как там. У него магнитофон был с собой, все ночи под Рэя Чарльза. Почему он меня не разлюбил, а бросил? Не понимаю.

— Я хотела замуж за него выйти. И никаких гадостей он мне не говорил и не делал. Только где бы мы жили? Так было хорошо с ним... Один раз мы с ним танцевали, и он все время тихонько подпевал музыке, так тихо пел мне на ухо, я не знаю, как это называлось. Такая старая мелодия, времен его молодос-

ти, вроде танго. Та-ра, та-ра-ра-та-ра, та-ра-ра-ра-ра, та-ра. Ох, я, кажется, забыла платок...

— Я тогда начала ремонт, а он купил мне холодильник, и еще дал денег на мебель в кухню, и уже все хорошо получалось, квартира была очень красивая, все белое и бежевое, и у меня прямо там студия была, я вожусь со своими листами, джинсы старые все в красках, а он лежит на диване попой кверху, только ноги в шерстяных носках видны в зеркале, и бормочет что-то, первый свой сборник готовил, отбирал стихи. И все время у нас музыка была, он свои кассеты притащил, Гато Барбьери тогда очень любил. Потом он мне еще купил такое маленькое колечко, дешевенькое, с перламутром. А потом эта... извини, пожалуйста, да, ты... в общем, он вернулся домой. Конечно, плакала. Он мне так помогал...

— Все это обсуждение — это то, от чего он пришел бы в восторг. Беседы в гареме... Я не хочу в них участвовать. Он предал меня, я ушла, я устранилась, меня нет, и все. Я люблю его, я сказала ему тогда — все забудем, и я буду любить тебя до самой смерти, он только покачал головой. Он мне мстил за то, что я могла существовать сама, что у меня есть свое дело, свое имя. Но разве он предложил мне взять его имя, участвовать в его деле?! Наверное, я не согласилась бы. Но он не предлагал, он больше всего боялся, что я начну на этом настаивать. И отомстил мне за этот страх и за свою слабость перед моей самостоятельностью. Пусть радуется, месть удалась, меня месяц психиатры вытаскивали. Его месть удалась, я еще люблю его и не знаю, когда разлюблю и разлюблю ли. Я не помню, кто это поет, он мне звонил в самом начале и говорил по-английски название этой песни. «Я звоню, чтобы просто сказать, что я тебя люблю...» I just call to say I love you. Он предал меня, отомстил. Ничего. Я еще буду в полном порядке, его месть в конце концов не удастся. Но пока я люблю его.

— Я не понимаю, о чем вы тут говорите. У меня есть муж, он популярный и талантливый актер, мы с ним люди одной профессии и вообще очень близкие, мы прожили вместе уже почти тридцать лет. Вероятно, за это время у него были увлечения, не могли не быть при его темпераменте и фантазии. Но вся эта грязь к нему отношения не имеет и меня не интересует. Тем бо-

лее, что вы вообще говорите о разных людях, по-моему. У одной был художник, у другой поэт, третий вообще черт его знает кто, музыкант, не музыкант... В общем, давайте-ка по домам. Здесь мы живем, Михаил Янович Шорников, артист театра и кино, и я, его жена. А вас уж мужья заждались, я думаю.

Она, поглядывая в бумажку, нажала одну кнопку, другую, и запись остановилась, и с недостертой кассеты зажурчал Питерсон, «Samba sensitive».

Они, зареванные, светлые, любящие друг друга, потянулись в прихожую, столпились там, прикасаясь одна к другой, разбирая свои вещи.

По очереди протискивались в не полностью открывающуюся дверь, запах которой был ограничен старым шкафом у боковой стены.

Одна, блондинка, постарше и поплотнее других, прямо с площадки по традиции рванула в разбитую бомжами форточку — только свистнула голубенькой пластмассы немецкая швабра, в зажиме которой трепетала кокетливая розовенькая тряпка, а ручка еще была и повязана пунцовым гитарным бантом.

Другая, вся широкая, большегрудая, с недокрашенной неряшливой сединой, одышливо влезла в лифт, спустилась, вышла из подъезда, долго прикуривала, потом достала из клетчатой кошелки гарного такого, с рынка, веника с темными узелочками на густых, не стертых еще ветках, да и полетела себе потихоньку, успевая, видно, еще до поезда скупиться — только искры от сигареты посыпались, искры старого огня.

Третья, сравнительно юная, чернокудрая любительница европейского ремонта, резко стартовала, ловко управляясь с пылесосом «Siemens», по пути втягивая для хозяйственных целей мощной трубой зазевавшиеся звезды. Господи, спаси, пронеси мимо, Господи.

На старых дворницких метлах, щетках со стертой и покосившейся щетиной в сгустках пыли и волосах, на самодельных швабрах с кривоватыми деревянными ручками, вбитыми в потемневшие от мокрых тряпок деревянные же колодки, на советском пылесосе «Ракета» с байконуровским ревом, на элементарном подметальном пучке с изломанными веточками, с перевязанной изолентой ручкой...

Толстые и худые, молодые и не очень, хорошо и отвратительно одетые, красивые вообще и так себе...

Набирая высоту кто кругами, как тяжелый транспортник, а кто и круто вверх, как перехватчик...

Среди бела дня...

Набирая высоту...

Едва все скрылись из глаз, она пошла на кухню, взяла обычный, ничем не примечательный свой веник из-под раковины, с трудом открыла окно и выпустила его на волю.

Веник счастливо взмыл. Она смотрела вслед без сожаления.

Когда он вернулся, в доме было почти прибрано, только все чайные чашки, уже вымытые, но еще не спрятанные в шкаф, стояли на столе. Он был весьма и весьма нетрезв, панاما сползла на нос, фуляр разъехался, открыв уже жилистую, с намевающими «вожжами» шею. Следя ботинками, что-то буркнув, он прошел к себе и увидел стоящий на полу рядом с диваном магнитофон и кассету на его крышке. Сам не зная почему, он все понял, вставил кассету и нажал «воспроизведение»

Тут же он услышал, как хлопнула дверь, с воем кинулся в прихожую — на зеркале была прицеплена записка: «Возвращаюсь в Питер. Когда решу, как быть дальше, позвоню. На плите котлеты и вермишель, еда для кошки в шкафу, в холодильнике для нее рыба, режь ее маленькими кусочками. Я сама позвоню потом. Женья».

Из комнаты доносились знакомые голоса.

Утром, не бреясь, только приняв душ и снова натянув изумительно аккуратно сложенную с вечера одежду, — значит, пьян был в край, — он выполз купить пива. Пару банок. Или бутылку проклятой болгарской дряни. Он еще не решил. По деньгам одинаково. Но после пива может окончательно развезти... Он хлопнул дверь и обнаружил, что ключи остались в прихожей, где он их выложил вечером. Позвонил к соседям — я ключи забыл, извините, а Жени нет, а мне нужно отлучиться, так вы покормите нашу кошку, ладно, извините — и, не дожидаясь ответа, не слушая — так вы ж ключи, Миша, ключи-то у нас запасные возьмите — быстро спустился на один лестничный пролет, на второй.

Он знал, что его там ждет.

Над кучей оставшихся от ночлежников тряпок и кусков картона, на подоконнике, рядом с пустой бутылкой от водки «Petrof», лежал паспорт.

Обычный паспорт в рваном целлофане, со старыми буквами и гербом.

Он раскрыл его. Сапожников Юрий Адамович... Год рождения 1943... Прописан... Все прописки погашены, последняя — город Сретенск... Область не разобрать... На фотографии лысеющий мужик с черной небольшой бородкой... Выдан Сретенским РОМ... Он закрыл документ.

Сунул его в карман и вышел из подъезда.

Дело шло к осени, утро стояло ясное и прохладное, небо уже начинало менять цвет, исчезла летняя линия, желтоватость и холодноватый синий высоко висел над двором, заваленным разлетевшимся из железных ящиков мусором.

Прошла собака, чистая и ухоженная, но без хозяина.

Он — то есть, я, конечно же, я, Миша Шорников! — он подмигнул собаке и пошел от своего дома к дальнему, угловому выходу со двора.

Хорошее, прекрасное было утро.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АД ПО ИМЕНИ РАЙ

1

Электричка летела мимо бесконечных белых бетонных заборов, покрытых цветным граффити, мимо вылизанных коттеджных городков лакированного красного кирпича, мимо остановившихся у переездов машин, ярких, сияющих всеми цветами своих округло-тяжелых тел, мимо жанровых сцен с собаками и детьми на занятых пикниками лужайках, мимо антенн-тарелок, косо сидящих на черепичных и металлических крышах, словно кокетливо сдвинутые шляпки, мимо бирюзовых прудов, на которых винд-серферы боролись со своими разноцветными парусами, и от них в стороны неслись, разводя стрелы маленьких волн, еле видимые утиные выводки... Электричка летела, и вслед ей летел неистребимый железнодорожный мусор, поднятый вихрем скорости: тяжелые, машущие страницами «Московский герольд», «Московские времена» и «Московская почта», смятые банки от «Кола-квась», «Сбитень светлый», «Узварь малоросский традиционный № 7», пакеты от стандартных завтраков из «Быстрых пельменей», рваные пластиковые мешки от «Елисеев-метро» и «Гум-гэллери»... Электричка летела, я начал дремать, положив ноги на бархатный подлокотник пустого сиденья, а напротив, наискосок, через проход, так же дремал усталый приказчик или банковский счетовод, а может, помощник стряпчего из какой-нибудь процветающей конторы в Зарядье-сити, в темном костюме, в безукоризненном, но чуть распушенном галстуке, в не потерявшей свежесть за целый рабочий день белой рубашке. Интересно, подумал я, за кого же меня принимает этот милый парень? Вероятно, за какого-нибудь полусумасшедшего художника, артиста из Арбатского Сохо, весь день рекламировавшего но-

вый суперкассовый боевик о веселых сороковых, да так и не переодевшегося.

Небо за выпуклым, почти до самого пола окном потемнело, под его сливово-сизым колпаком мелькали черные рощи, по государственному шоссе № 51, идущему параллельно железной дороге, ползли две змеи — одна навстречу поезду, желто-огненная, другая, обгоняя его, горящая красными задними фонарями. Время от времени поезд нырял под путепровод или влетал в тоннель, по верхнему краю въезда в который текла обязательная голубая полоса рекламного пламени — «Фон Мекк. Национальные железные дороги. Проверьте ваши часы».

...Когда я открыл глаза, молодой господин, сидевший напротив, снимал с багажной сетки свой алюминиевый чемоданчик для бумаг, а за окном сверкал витриной, как на любом пригородном перроне, «Каренина-Трактиръ», и толклись жены, встречавшие своих измученных в городских конторах письмоводителей, столоначальников, товарищей директоров департаментов, старших приказчиков, владельцев зуболечебных и по женским болезням кабинетов, думских дьяков и лабаз-менеджеров. Женщины, — все как одна, по летнему времени в коротких штанах и широких майках, — некоторые с детьми в специальных рюкзаках или с уже подростками, прыгавшими рядом в таких же штанах и спортивных тапочках, обнимали мужчин в темных костюмах и вели их к машинам, плотно стоявшим на паркинге под огромным светящимся кубом «Одинцово. Починка и уход за экипажами. Иван Ривкин и сыновья. Открыто 24 часа ежедневно». Толпа быстро рассасывалась, машины одна за другой исчезали в уже густой тьме, мигая цветными огнями, и можно было представить лишь по маркам и моделям автомобилей, в какие разные дома отправляются эти одинаково одетые люди — пара на маленьком, но элегантно «москвиче-кабрио» едет наверняка в хорошо стилизованную «избу» с двумя спальнями и детской, с маленькой банькой, а семейство в мощной «волге-спорт» затормозит на въездной аллее поместья, у дома в модном стиле «дикий барин» с десятком комнат и бальной залой, стоящего посреди парка, аккуратно запущенного под наблюдением выписанного из Израиля садовника, и пяток борзых выбегут навстречу, и ночной ветер будет шевелить шелковые занавеси широко от-

крытых в малой гостиной окон, пока усталый хозяин, сбросив пиджак, будет ждать в кресле обеда с тяжелым бокалом шотландского в руке.

Боже, подумал я, мог ли писатель, придумавший когда-то такую Россию на отделившемся полуострове, представить себе, что вся страна станет островом богатства и скуки, островом, плывущим среди ужаса и безнадежности, плывущим мерно и непоколебимо, островом сытости, к которой наконец привыкли, и бессмысленности, к которой уже тоже привыкли, — хотя, может, не все...

На развилке, до которой от станции было ходу минут пятнадцать, у заправки, под пылающим медведем — эмблемой «Тюмень-петро», сбились в кучу тяжелые мотоциклы с высоко задранными крупами. Рядом стояли их хозяева — темные, обтянутые кожей фигуры неразличимого пола, и гигантские черные яйца шлемов лежали на каждом мотоциклетном сиденье.

Из группы мотоциклистов вышел некто, развернул свою машину, включил фару-прожектор и направил ее на меня. Полностью и мгновенно ослепленный, я остановился, представляя себе, как я сейчас выгляжу — человек в светло-сером бостоновом костюме с длинным, широким пиджаком, широкими брюками, в серой летней шляпе из очень тонкого фетра, в серых полуботинках, с черным лакированным чемоданчиком, обшитым по ребрам желтой кожей, в левой руке, и светло-серым же габардиновым макинтошем, перекинутым через правое плечо... «Тарзан в Нью-Йорке».

— Пацаны, — крикнул тот, который поймал меня лучом, растягивая по-старомосковски слова, — пацаны, глядите, какой лох классный, па-а-аны!

Пацаны не пошевелинулись. Прикрыв козырьком ладони глаза, я увидел всю их группу, рисующуюся черными тонкими и угловатыми тенями на багрово-синем небе.

— Па-ацаны, — снова заорал лидер, или шут, или то и другое, — он же прям из видака, он же в «Берия'с ганг» играл! Фраер теплый, ты артист?

— Выключите фару, молодой человек, — крикнул я, делая шаг в сторону, на обочину, пытаюсь выйти из луча. — Будьте любезны, выключите фару!

Дорога была пуста. За то время, что я шел до перекрестка, все приехавшие моим поездом промчались мимо меня, растворились в сизом воздухе над шоссе красные огни, и теперь они уже принимают душ, греют в микровэйвах ужин, смотрят вечерние серии и новости, разговаривают с женщинами и детьми, а на пустой дороге стоит немолодой человек в дурацком маскарадном костюме, под жестоким светом, и напротив — полтора десятка бешено злых неизвестно на что и кого юных гадов, и один из них уже вытаскивает откуда-то, из воздуха, кажется, окованную металлом городошную битую, и делает шаг, и снова кричит...

— Артист, а артист, — крикнул он, — покажи нам, какой ты крутой! Покажи кино, артист! Круче вас только яйца, а, папик?

Я сделал еще шаг в сторону, уже почти сошел с обочины и встал на краю заросшего травой неглубокого кювета, за которым сразу начинался черный лес, и я примерно представлял себе направление, в котором надо было пробиваться через этот лес, чтобы выйти к старой дороге, к брошенной старой дороге с остатками асфальта, и пройти по ней километров пятнадцать, чтобы добраться туда, где меня давно уже ждут.

Парень с битой повернулся к друзьям, махнул им рукой, — давайте, мол, за мной, па-ацаны, словим легкий кайф, я знал, что этот древний сленг был сейчас в большой моде среди таких ребят из богатых пригородов, беспричинных убийц на мотоциклах, — и начал переходить шоссе наискось, двигаясь ко мне.

Он сделал второй шаг, когда я услышал быстро приближающийся тяжелый рев, на дорогу из-за поворота легли две ровные полосы света — и огромный, нескончаемо длинный, сверкающий серебром кузов, прожекторами на крыше кабины, далеко вынесенными на кронштейнах зеркалами и флуоресцирующими рекламными надписями, просвистел, сотрясая землю, между мною и моим увечьем, а может, и смертью, трейлер-рефрижератор «камаз-эlefант» крупнейшей в стране транспортной компании «Извозъ-товарищество», просвистел — и понесся дальше, повез, наверное, мясо куда-нибудь к западной границе и дальше, дальше, в те края, где уже давно привыкли к дешевому мясу, к бройлерным курам, помидорам, яблокам, маслу из России, где без всего этого уже давно немислима была бы жизнь...

И пока он неся, тянулся, пролетал, я перепрыгнул кювет и, низко нагнувшись, но все равно задевая невидимые ветки, помчался в лес, в непроницаемую его черноту, спотыкаясь о корни и сдирая носы шикарных, на заказ сшитых сухумским подпольным сапожником в сорок седьмом полуботинок, цепляясь роскошным макинтошем из мхатовского ателье, колотя о стволы чемоданчиком и разбивая его углами ноги...

Пыль на дороге светилась под луной. Я шел довольно быстро, но не так, чтобы через силу, иногда поворачивая к небесному свету циферблат любимой «омеги». Если дорога та самая и если идти по ней в таком темпе, то часам к двум я смогу выйти к поселку.

Я остановился, вынул портсигар, достал сплюсненную «приму», чиркнул лендлизовской бензинкой, затянулся — и оказался в темноте. Сначала мне показалось, что это просто после того, как вспыхнула зажигалка, но, подняв глаза, я понял, что тучи, быстрое движение которых угадывалось в небе, скрыли и луну, и звезды. «Подари мне все звезды и луну, люби меня одну...» На ощупь, примостив его на колено, я открыл чемодан, на ощупь же порылся в нем — среди зефирowych рубашек и пристежных воротничков, помазков и бритв в стальных пеналах, зубных щеток в круглых ребристых фуглярах с дырочками — и нашел таки! Фонарь-жужжалка, гениальная штука, маленькая ручная электростанция...

Я шел по пыльной дороге, жужжал фонарик, и не было ничего лучше его жужжания, чтобы петь под чудесный этот звук. «В этот час, волшебный час любви, первый раз меня любимой назови... подари мне все звезды и луну... луну... люби меня одну!» Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ра... Та-ра-рим-та-ра-ра-ра-рара...

Боже мой, думал я, шагая по пыльной дороге, неужели же никогда и ничего этого не будет, и они победят, чистенькие «избы», и «дачи», и «жигули-турбо», и лабаз-менеджеры, и национальные шестирядные дороги под номерами, и набитые едой «сверхбазары», и женщины, которых боятся мужчины, и мужчины, умеющие только работать, улыбаться и бегать по утрам, и

дети, либо вырастающие убийцами, либо умирающие от сверхдо-
зы, и тоска, заливающая пространство от Урала до Пскова... Не-
ужели не останется на этой земле ничего, что было на ней все-
гда? «Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая, заря моя
вечерняя, любовь неугасимая... неугасимая... еще не вся черему-
ха к тебе в окошко брошена...» М-м-угу-угу-да-да-да... Та-ри-ри-
ри-рири-рири...

Боже мой, думал я, уже входя в темный, тенями окружаю-
щий меня поселок, неужели никогда не будут здесь плакать от
невозможности счастливой любви, от жажды вечного счастья, не
будут верить в единственное решение раз и навсегда, не будут
бросать все, что есть, ради того, что может быть, а будут лишь
следить за равенством без братства, за свободой без любви, за
тем, чтобы в каждой конторе было поровну блондинов и брюне-
тов, толстых и худых, и чтобы женщины сами носили сумки, и
чтобы голубых не называли голубыми, черных черными и крас-
ных красными, и чтобы все платили налоги, и чтобы эти налоги
шли на армию, и чтобы в армии было не меньше голубых, чем
зеленых, черт бы их взял всех, и чтобы там — на востоке, на
западе, севере и юге — эта электронная, ленивая, мощная и не
умеющая побеждать армия устанавливала такой же порядок...

Темный, старый дачный поселок, брошенный сто лет назад,
лежал по обе стороны. Здесь были не «избы», а просто избы, бре-
венчатые, низкие, с выбитыми стеклами в маленьких окнах, с
косо провисшими к улице щелястыми заборами; не «дачи», а
действительно дачи, построенные еще до той, настоящей Войны,
с пристройками и разномастными пристроечками, с резными из-
ломанными украшениями над крыльцом, с глухо заросшими
участками, над которыми только и были видны самые высокие
пристройки и проржавевшие, провалившиеся желязные крыши;
не дома в стиле «дикий барин», а истинно диким барам принад-
лежавшие хоромы, с тонкими бревнышками колонн и огромны-
ми тёррасами, узкими покосившимися балкончиками без перил
с выходом из мансарды, с рухнувшими круглыми беседками, по-
луразобранными двухметровыми, некогда глухими заборами и
гаражами со снятыми воротами, зияющими мусорной чернотой
прямо на улицу...

В конце этой улицы, снова переходящей в пустую и такую же пыльную, как улица, дорогу, по правой стороне стоял тот дом, к которому я шел. Такой же дырявый забор, такой же гараж — но с воротами, такой же заросший крапивой и лопухами в человеческий рост участок, и такая же ржавая, острым углом, крыша — только не провалившаяся, и кривая калитка на одной петле...

Я перекинул руку над калиткой, надувал крючок, которым она была как бы закрыта изнутри, и сбросил его.

Маленькая, лохматая и уродливая собачонка с жутким лаем бросилась мне под ноги и, тут же завилыв хвостом, побежала впереди меня к крыльцу.

Кошка — кажется, трехцветная, или черная, или белая, или никакая — прошла по краю крыши, прыгнула на перила короткой, ведущей на крыльцо лестнички и улеглась на них, крепко прижавшись животом и повернув ко мне притворно хмурую рожу.

Незаметно вновь вышедшая луна освещала мой мир.

В этом мире заскрипела дверь, и она встала в дверном проеме, едва доставая до двух третей его высоты, и падающий из дому свет зажег ее волосы золотом, очертил детский ее силуэт — кажется, она была в байковых лыжных шароварах, кажется, в них была заправлена ночная рубаша, кажется, она стояла на крыльце в одних шерстяных носках — или, может быть, мне это показалось, и она была рослой, темноволосой, в черном вечернем платье — или, не исключая, что я просто не разглядел против света, и она была полной, немолодой, в сарафане, возможно, в широком сарафане из сурового полотна, вышитом на лямках и по подолу яркими нитками болгарским крестом — или, можно допустить, я просто все перепутал, и она стояла в синем английском костюме, в белой шелковой блузке с отложенным поперх лацканов воротником, в черных лаковых лодочках на высоком каблуке, и в светло-голубых глазах ее отражалась луна — или, все же, я все разглядел совершенно ясно, и волосы просвечивали золотом, и силуэт был детским, и это была она.

— Я очень скучала, — сказала женщина, и мы вошли в дом.

В доме было жарко натоплено, и это было прекрасно, потому что сентябрьская ночь становилась все прохладнее. Синий газовый огонь метался за печной дверцей, оранжевый шелковый абажур висел над круглым столом, в углах, оставшихся в тени, пряталась, смущаясь, старая мебель — шкаф с темным провалом зеркала, кресла с сильно засаленными и изодранными кошкой в бахрому подлокотниками, неровный матрас на невысоких ножках, кое-как перекрытый поверх постели старой, местами протертой до белой основы, клетчатой черно-зеленой шалью... В дальнем углу, за шкафом, можно было угадать открытую дверь, а за ней, я знал, был тесный закоулок, из которого крутая лестница с ненадежными перилами из тонких досточек вела на второй этаж, где были еще две комнатки, набитые таким же старьем — железными кроватями, накрытыми ватными одеялами из лоскутков, с выглядывающими из-под них подзорами; сломанными узкими угловыми горками, забитыми пустыми кривогорлыми пузырьками, цветастыми чашками без ручек, неполными комплектами мраморных слонов; бамбуковыми неустойчивыми этажерками с пыльными старыми журналами и нелепыми книгами; ходиками без гирь, в жестяном корпусе; рогатыми стоячими вешалками с забытой на одном из рогов зеленой велюровой шляпой с затеками по краю ленты...

На столе стоял лиловый резной графин, на три четверти полный, узкие лиловые же стопки, большое фарфоровое блюдо с сильно выщербленным краем, полное круглых, овальных, треугольных пирожков, и несколько разновеликих чашек синего с золотом фарфора...

— Хочешь чаю? — спросила она, я кивнул, она пошла на кухню, загремела чайником, полилась вода, а я бросил макинтош на кресло, туда же, сняв, бросил пиджак, сильно потянув, развязал галстук, отстегнул запонки, подтянул повыше схваченные над локтями круглыми резинками рукава рубашки... Я был дома, оранжевый абажур приветствовал меня.

Она вошла с чайником в одной руке и старой тарелкой, используемой в качестве подставки под горячее, в другой, поставила чайник на пол, пошла было снова на кухню — наверное, за

заваркой, но остановилась, вернулась, приблизилась к стулу, на котором я сидел в неудобной, напряженной позе, как сидит всякий человек, еще не отошедший от долгой усталости. Искры золота, вылетающие из ее волос, вспыхнули и погасли в глазах, оставив там темно-медовый глубокий блеск, она подошла ко мне вплотную, положила на грудь слабую руку и, опустив веки, отчего лицо сразу приобрело выражение отчаянное, томительно-горестное, пробормотала едва слышно: «Притронуться... так хочется трогать тебя...» Я встал, склонился над ней, прижал к себе, так что щека ее — наверное, ей было неудобно — приплась на пропотевшую и высохшую и оттого ставшую жесткой грудь моей рубашки. «Я люблю тебя, — сказал я, — я тебя очень люблю, маленькая моя девочка, мой ребенок...» «Какой же я ребенок, — сказала она, — я взрослая женщина...» «Ты девочка, — сказал я, — ты девочка, и лучше тебе было бы не заниматься всем этим...» «Я взялась за это дело, — сказала она, — я знала, за что берусь...» Она посмотрела на меня снизу вверх, лицо ее показалось мне еще более детским, чем обычно.

— Где ребята, — спросил я, и она высвободилась из моих рук, села к столу, лицо ее снова изменилось и стало серьезным, даже слегка напуганным, как всегда, когда я ее спрашивал о деле, — в каком они состоянии и настроении?

— Оба наверху, давно спят, тебя ведь ждали к десяти, самое позднее к одиннадцати, потом решили, что задержался в городе и приедешь утром. А я не спала просто так, совсем не сплю в последнее время... Может, ждала... Слушай, пока они не услышали и не встали...

— Их надо разбудить, — перебил я ее, — я сейчас поднимусь. У нас времени очень мало, я ничего не успеваю, вечер и так потерян.

— Пожалуйста... — Она заглянула мне в глаза, положила ладонь на мою руку, сжала ее. — Ну пожалуйста, выпьем пока по рюмке без них...

Я кивнул, осторожно высвободил свою руку и сам сжал ее кисть, а другой рукою потянулся к графину, налил в две стопки. Коньяк был не самый лучший, но терпимый, что-то вроде нормального армянского трехзвездочного, а может, и лучше.

— А зачем ты в графин перелила?

— Знаешь, Гриша принес такую грязную бутылку, что на стол было ставить противно. Давай?..

Она потянулась чокнуться, посмотрела мне в глаза. Мед, золото, зеленовато-желтый коньячный свет... Мы выпили, я взял пирожок — круглый оказался с яблоками, я налил еще — и в это время заскрипела лестница.

Гриша, видно, спал не раздеваясь, потому что парусиновые его грязные брюки были измяты еще больше обычного, рубаха из них выбилась, а подтяжки свисали по бокам двумя длинными петлями, хлопая по жирненьким ляжкам.

— Ну правильно, они уже себе выпивают, — сказал Гриша, подвигая стул, ставя на стол оба толстых локтя и сразу же сбрасывая чашку, которую она успела поймать, — они уже себе выпивают-выпивают, а бедный старый аид приказан спать, как у тюрьме. Что я вам скажу, что коньяк таки очень непаршивый, я его брал у одной знакомой в большом гастрономе, так хотел взять прямо ящик, а бабок же нету, что, мне кто-то дал бабок? Так я взял одну бутылку на пробу, а надо было взять больше. Дамы ж его уважают лучше, чем водку, а вы, как интеллигентный человек, тоже можете выпить на праздник, — с этими словами он налил себе коньяку в чашку, выпил мгновенно, выпучил еще сильнее глаза, съел сразу три пирожка и через секунду еще один, причем все это время ни на мгновение не переставал говорить, даваясь и кашляя. — Теперь давай я вам скажу на ваш гешефт, чтоб вы были мне здоровы, говно это большое, а не гешефт, конечно, я извиняюсь у дамы. С вас сделают клоунов, а вы еще даже не скажете свое фамилие, вы думаете, если вы сходили им сделать козу, так они вам не заделают? Они вам так заделают, что мы с Гариком оба вместе не поможем, потому что какая с меня помощь-помощь в таком деле? Я что вам, ваш Иисус или наш Давид? Нет, я не Бог и не богатырь, я уже пожилой человек...

Он сделал полусекундную паузу, чтобы налить себе еще чашку коньяку и выпить, а я, воспользовавшись этим, тихо сказал всего три слова.

— Рэб Гриша, заткнитесь, — сказал я. Эффект был совершенно великолепный. Гриша отставил чашку, убрал руки со стола, выпрямил спину и, изящно положив ногу на ногу, достал из

кармана мятую сиреневую пачку «гвоздиков», «Любительских» папирос, элегантно склонившись ко мне через стол.

— Не найдется ли огня? — Как обычно, стоило на него крикнуть, его комическая местечковость исчезала, и являлся несколько утомленный опытом жизни джентльмен, изъясняющийся легко и немного старомодно, с манерами не только приличными, но и изысканными, увы, лишь штаны в пятнах мочи оставались те же, да шевелился большой палец в дырке бумажного носка: Гриша вышел налегке, чтоб нога дышала. — М-м... Благодарю вас. Так вот понимаете, Миша, я тут, маясь стариковской бессонницей, раскидывал относительно вашего плана мозгами и так, и эдак, но в любом раскладе план остается неоправданно рискованным. И мы с Гариком Мартиросовичем никоим образом гарантировать не только его успех, но и вашу с прелестнейшей вашей подругой (полупоклон в ее сторону) безопасность не можем. При всем нашем — уверяю вас, более кажущемся — могуществе, при всех наших навыках, пусть и немалых. Ну, а за безопасность вашу, мы, как известно, несем личную ответственность...

Он даже не показал куда-либо, а лишь скосил и поднял глаза, не то на абажур, не то еще выше, после чего налил себе полрюмки коньяку и пригубил.

— Я вас прошу, Григорий Исаакович, давайте о делах утром, — сказал я, снова наливая себе и ей, причем Гриша приветственно повел рюмкой в нашу сторону. — Я устал нечеловечески и ничего не понимаю. Еще и хулиганью по дороге, мотоциклистам, чуть не попался... Завтра, Гриша, дорогой, завтра, ладно? А сейчас посидим немного, выпьем, да и поспать бы пару часов надо...

Тут я поднял глаза и увидел Гарика, появившегося совершенно беззвучно, даже лестница не скрипела. Он был в неизменной своей черной рубашке с черным же галстуком, в черных брюках, черные, отлично вычищенные ботинки тускло светились, и лишь желтая подмышечная кобура выделялась аляповатым пятном на этом безукоризненном фоне. Более того, он был даже в шляпе! Черной, естественно, классического стиля «аль капоне», со слегка приподнятыми сзади и опущенными спереди небольшими полями, так что кривое его, перерубленное лицо было почти невидимым.

— Что ж, товарищи, — Гарик присел к столу и бросил шляпу в угол, не глядя, при этом браслет на его запястье звякнул, а шляпа повисла на раме какой-то темной картины. Она в смешном восхищении скривила рот моей любимой девчоночкой гримасой. — Что ж, товарищи, — повторил Гарик, наливая галантно сначала ей, потом мне, потом Грише, а уж потом себе, причем браслет его снова звякнул, перстень на мизинце сверкнул, а кобура закричала. — Перед операцией сам главнокомандующий рекомендовал сто грамм. И ты, Михаил Янович, верно заметил — не надо сейчас о деле, о деле надо на трезвую голову, утром. В соответствии с инструкцией, раздел пятый, «О спецвыпивании в ночное, дневное и другое время перед спецоперацией, после нее, а также во время проведения спецопераций и других действий». Будьте здоровы!

— Можно подумать, что Гриша полный идиот и не понимает в порядке, — обиженно буркнул Гриша и, перелив коньяк в чашку и добавив туда же последние капли из бутылки, оскорбленно выпил. — Между прочего, я участник вою не в Ташкенте, вы же не знаете, так я вам скажу, что из аидов было больше Героев Советского Союза, чем из всех гоев взятых, не обижайтесь на меня, Гарик, я уже пожилой человек и люблю правду...

— Лучше, Григорий Исаакович, вы поднимитесь и возьмите из вашего баула еще бутылочку, — сказал Гарик, вытащил коричневенькую пачку «кэмела» без фильтра, щелкнул черным «ронсоном».

— Выпьем еще по сотке, да людям надо тоже дать отдохнуть, — он деликатно глянул только на меня.

— Очень интересно хочется узнать, — взвился Гриша, — игде я возьму эту вашу «бутылочку»? У каком бауле? Может, у меня уже вообще нет головы, может, я забыл, что мне ктой-то дал в наследство миллион, чтобы я покупал сто бутылочек, тысяча бутылочек...

— Рэб Гирш, — сказал я, — уже хватит.

Немедленно Гриша подхватился и, приговаривая «как же я запямятовал, да-с, склероз, господи, ничего не поделаешь», в мгновение ока слетал наверх, спустился и выставил на стол такую чудовищно грязную, в сале и чуть ли не в машинном масле, бутылку коньяку, что она только охнула, схватила бутылку за

горлышко двумя пальцами, схватила в другую руку графин и, мелко, быстро переступая маленькими шерстяными носками, побежала на кухню переливать. Однако все успели заметить, что коньяк на этот раз уже был не ординарный, а, ни мало ни много, «Ахтамар» с сизой наклейкой...

Потом она прибирала со стола, мыла на кухне стопки и чашки, а мы курили на крыльце, дышали воздухом.

— Три мужика курят, а женщина посуду моет, — усмехнулся Гриша. Говорил он тихо, без малейшего акцента. — Они, — он кивнул в ту сторону, где над горизонтом стояло зарево ночного города и откуда доносился едва слышимый гул губернского шоссе № 3, — они б нас только за это убили...

— И правильно сделали бы, — усмехнулся Гарик, и никакой инструкции не вспомнил, и фразу построил так, словно и не умеет иначе. — Пойду, помогу милой женщине...

Он сунул сигарету в стоявшую на перилах для этой цели плоскую банку от «печени трески в масле» и, слегка пригнувшись, шагнул в дом. Свет на секунду упал на его лицо, и мне показалось, что нет там никакого шрама, и глаза одинаковые, и не перекошено ничего — просто смуглый немолодой красавец.

— Вот такие дела, батенька, — вздохнул Гриша, тоже задал окурочек и пошел следом, и снова мне показалось, что другой человек возвращается в дом, не комически уродливый старый еврей, а средних лет немного приземистый атлет, в коротко стриженных рыжих кудрях шапочкой, чуть горбоносый, чуть прищурившийся от света яркие голубые глаза.

И я пошел в дом следом за ними.

... Мы лежали на провалившемся кочковатом матрасе, она прижималась ко мне всем своим огненно горячим даже сквозь ее рубашку и мою майку телом, она, как всегда, положила ладошку мне на грудь, и в этом месте в грудь шло тепло, она уместила свою голову у меня под подбородком, и волосы щекотали мою шею, и я чувствовал эти довольно жесткие, пружинящие волосы и их немного кислотатый, мыльный запах, я чувствовал ее небольшие груди, легшие, будто спать, набок, и соски, становившиеся все тверже под рубашечным скользким шелком, и немного выпяченный — чтобы чувствовать меня — живот, и холмик под животом, чуть колючий сквозь рубашку, и ноги, пра-

вую она уже закинула на меня, и обняла ею мою левую, и прижималась все теснее, откуда в ней были силы, она почти сдвинула меня с матраса, и где-то внизу ее левая рука поймала пальцы моей правой и сжимала их, гладила, снова сжимала, почти ломала...

Ты же знаешь, сказал я, найдя ее ухо, я не могу сейчас, ты же знаешь, я не могу, пока все это не кончится. Я очень люблю тебя, очень, я больше всего на свете хочу быть с тобой, такого еще не было в моей жизни, все было, но не так, я хочу быть с тобой и дожить с тобой жизнь, я хочу быть с тобой все время, мне ничего не нужно, только смотреть на тебя, говорить с тобой, и чтобы ты вот так прижималась ко мне, и клала сюда руку, но я не могу сейчас, ты же знаешь. И иногда мне кажется, что мне ничего больше не нужно...

Жаль, тихо перебила она, жаль, что не вызываю никаких других желаний, и я почувствовал, представил себе, как она сейчас улыбнулась, уткнувшись лицом мне в шею, улыбнулась хитро и кокетливо в полной темноте, а я просто хочу тебя, я соскучилась, ничего не говори, не хочу, чтобы ты говорил, я не понимаю, что значит очень любишь, просто любишь, молчи, обними меня, давай будем спать, я уже очень хочу спать, я хочу тебя, но сейчас я невыносимо хочу спать...

Она повернулась ко мне спиной и вжалась, вложилась в меня, я перекинул руку через ее плечо и взял в ладонь ее грудь, вместившуюся вполне, маленькие ее полушария втерлись в меня, едва ощутимо двигаясь из стороны в сторону, мы лежали так плотно друг к другу, словно специально были для этого изготовлены, по-английски это называется *spoon like*, как ложки одна в другой, и это очень точное сравнение.

Я люблю тебя, и скоро все это кончится, и тогда все будет можно, и мы будем вместе всегда, всю жизнь, сказал я.

Не говори, я прошу тебя, ты же меня не знаешь, может, я тебе не подхожу, сказала она.

Я люблю тебя, ты мне очень подходишь, когда все кончится, мы вернемся, мне никогда не будет нужен никто другой, кроме тебя, сказал я.

Ты все время говоришь, это ужасно, сказала она.

Что ж делать, я так устроен, может, я бы замолчал, если б

было можно, но пока нельзя, наверное, потому я все время говорю.

Ты всегда будешь говорить, я, наверное, привыкну, может, ты и меня научишь все говорить.

Мы будем счастливы, спросил я.

Нам будет очень хорошо, ответила она.

Люблю тебя.

Люблю тебя.

Я осторожно отодвинулся, потянул руку — она уже спала. Тихо сползши с матраса, я вышел из дому, не одеваясь.

Зарева над городом уже не было, теперь оно пылало с противоположной стороны горизонта — вставало солнце. Небо было уже совсем светлое, стояла полная, абсолютная тишина, даже с дороги не доносился гул, на рассвете угомонились и самые неутомимые шоферы.

Тихо подошла к ногам собака и повалилась на спину, подставив незащитное желтое брюхо. Тут же откуда-то спрыгнула кошка и принялась извиваться, тереться о щиколотки.

Сейчас все спят самым крепким сном, подумал я.

Спит в этом доме та, перед которой я абсолютно незащищен, вот как собака, подставляющая в знак любви и доверия брюхо.

Спят мои не то ангелы, не то демоны, там, наверху, по-солдатски, не раздеваясь, и кобура давит одному из них на ребра, а другой все прикидывает, рассчитывает даже во сне, хранители мои, охранники.

И там, в великом городе, и вокруг него, и во всей этой прекрасной, чистой, благоухающей, цветущей покоем и довольством, мирной стране, все спят.

Я должен разбудить их, я принесу им дальний, пока не слышимый ими, но страшный гром.

Иначе этот сон будет вечным.

3

Работы хватило всем.

Гарик, в допотопном черном комбинезоне на огромных пуговицах и, почему-то, в тонком летном шлеме времен «По-2», весь

обсыпавшись ржавчиной, открыл наконец чудовищный висячий замок и, вспахивая землю, развел ворота гаража. Все были заняты, и никто не обращал внимания, когда он таскал в темное гаражное нутро шланги из подвала, зеленые облупленные канистры с выдавленными надписями «Wandereg», какие-то мелкие фарфоровые обломки из свалки за домом, ведра и мокрые тряпки... И только когда раздалось сначала рычание, а потом ровный низкий ропот, и из гаража выкатилась длинная машина, развернулась и встала на дороге перед калиткой, мы побросали свои занятия и вышли на улицу.

«ЗИМ» стоял перед нами, двухцветный, вишнево-кремовый, сверкающий хромом фар и боковых накладок. Все четыре дверцы его были распахнуты, так что можно было видеть ковровые сиденья, и дорожки на полу, руль и головку рычага трансмиссии из чуть пожелтевшей пластмассы цвета слоновой кости, приборную панель под дерево, фигурный плафон на потолке. Красный, прижатый к капоту флажок из плексигласа просвечивал, словно звезда на башне. В облицовке радиатора играло солнце, на нее было больно смотреть.

— Душевный аппарат, — сказал Гарик, снял шлем и вытер грязной рукой лоб. Затем вылез из комбинезона, зашвырнул его вместе со шлемом в гараж, очистил после себя вынутой откуда-то одежной щеточкой переднее сиденье и вытер носовым платком баранку. — Еще тридцать лет будет ездить, и ничего ему не сделается. И железо настоящее, и эмаль в три слоя...

Он, как уж положено, ткнул носком ботинка в колесо, в черную, будто и не знавшую дороги резину, резко очерчивавшую выкрашенный белым обод, и вздохнул. Вздохнули и мы все.

— За эта машина я не возьму сто таких, — Гриша указал куда-то, где, подразумевалось, катятся современные машины, ни железа, ни эмали. — Но я вам скажу, как своим людям, когда я еще был посланный в Германию первый раз, еще не с евреями, а так, вот как с вами, тоже был один шлимазл, чтоб я присматривал, так мы ездили на такой «мерседес» пятьсот сороковой, тоже была хорошая машина, я вам дам машина...

— Вы еще «хорьх» вспомните, Григорий Исаакович, — сказал Гарик, вытащил ключ из зажигания, захлопнул все дверцы и ушел за дом мыться.

Мы вернулись к своим делам.

Распахнув шкаф, постелив на стол одеяло для глажки, то и дело выбегая на кухню, где в большом баке, в кипящей воде, доводились до сияния воротнички наших сорочек, белье и носовые платки, она готовила нашу одежду. Сегодня, по жаркому дневному времени, она была в тонком крепдешиновом светло-зеленом халате до щиколоток, с низким и узким вырезом, отрывающим белую кожу в ложбинке, и босиком. Пот блестел на маленьком, немного покрасневшем, как всегда, когда она сутилась, носу, она возила тяжелым чугуном по нашим огромным штанам и пиджакам, мокрая тряпка шипела, от утюга поднимался пар... Я подошел к ней сзади, обнял, прижал, она потерлась об меня, как ночью, застыла с утюгом на весу... Я разжал руки, взял в углу свой чемоданчик и полез наверх.

Гриша сидел на кровати в чудовищно грязных кальсонах, голый до пояса, весь в седых волосах, скрестив ноги и разложив на чистом полотенце, постеленном поверх лоскутного одеяла, разобраный Гариков «ТТ».

— Вот я вам, Миша, скажу, как вы мне сын. — Он почесал приплюснутый нос тыльной стороной руки, не выпуская из нее возвратную пружину, мерцающую тонким слоем масла. — Гариков, конечно, человек очень порядочный, это ж правильно говорят люди, что где есть армянин, там еврею нечего делать, и он, конечно, майстер свое дело, дай нам Бог, но он, извиняюсь, конечно, большой под. Такую оружие изничтожить до такой степени! Масла чтоб у меня на бутерброде столько было, в магазине дрек всякий... Из такой оружию стрелять, лучше из своей жопы стрелять, я вам говорю. В такого хозяина я бы оружию отобрал, пусть солоп свой носит под мышкой, извиняюсь...

Я присел на тяжелую некрашеную табуретку с продолговатой дыркой посередине сиденья — откуда здесь взялась средне-европейская эта табуретка? — раскрыл на колене чемодан, вытащил оттуда тяжелый газетный сверток, перетянутый шпагатом, и молча протянул Грише. Так же молча и Гриша отложил в сторону детали «ТТ», ловко развернулся на постели к ним спиной и принялся сдирать сначала газету «Комсомольская правда», и обрывки фельетона про стилиг полетели на пол, потом развернул промасленную бязевую портянку и вынул чуть потертый «вальтер-ПП».

— Зай гезунд, Гриша, — сказал сам себе Гриша, рассматривая маленький и удивительно складный пистолет, — чтоб ты жил так каждый день, имея такую вещь в руках. Это вещь, Миша, это настоящий живой вещь, но это детский шпиль, Миша, я вам говорю, я ж не самый глупый аид в мире, с такой оружией должна ходить красивая шмарочка, — он ткнул локтем вниз, — а не такой большой мальчик, как вы.

— А что посоветуете мне, Григорий Исаакович? — Я испытывал действительное почтение к этому удивительному существу, и он это почувствовал, посмотрел на меня гордо и даже сверху вниз каким-то образом, сунул руку не то под себя, не то под тяжелую и плоскую подушку в красной ситцевой наволочке и протянул мне — вежливо, стволом к себе — нечто страшное, размером с половину «калашникова», с огромным кольцом, болтающимся на круглой деревянной рукоятке, с длинным подствольным магазином, ободранное до сверкающего белого металла...

— Что это, Гриша? — Я принял пистолет, едва не выронив это тяжеленное чудовище, и почувствовал себя Корчагиным.

— «Ройял». Между прочим, по-русскому обозначает «корольевский», — пояснил Гриша. — Испанская вещь. Двадцать штук в магазине, можете проверить. Конечно, весит таки, но если вы хотите стрелять, так им можно стрелять, и даже, не дай Бог, им можно кого-нибудь вбить, а если вы хотите только красоту и фраерство, так портите себе воздух вашей шприцевкой!

— А себе, Григорий Исаакович? — Я попытался прикинуть, куда можно засунуть мою гаубицу, и понял, что никуда.

— У машине дадите ей место, — сказал Гриша и, перегнувшись, ловко вытащил из-за кровати еще одного сверхъестественного уroda. — Агицен трактор, что может быть у пожилого айда, если он не вчера упал на мужское дело? Миша, я уважаю германцев и австрияков, они таки пили с нас кров, но они делали оружие, чтоб они все так делали. «Штайр» двенадцатого года, Миша, это такая красавица, что можете против mine со «штайром» ставить хоть вашего Суворова, ему не будет радость...

Его пистолет больше всего был похож на охотничий топорик, но не верить Грише не приходилось...

Мы были готовы часам к трем дня.

Она вышла в темно-синем в мелкий белый горох шелковом платье, тугой лиф, открытые плечи, очень широкая и длинная юбка, белые короткие перчатки, белая сумочка, белые босоножки на толстой пробке...

Гарик был, естественно, в черном, но в каком черном! На нем был полный парадный мундир капитана второго ранга, сверкали золотом нашивки, погоны, дубовые листья на козырьке, кортик болтался у колена, белые перчатки торчали из кармана...

Гриша был, конечно, в белом, точнее, в кремовом, как бы под цвет верха «ЗИМа»: чесучовые, неизмеримой ширины брюки, пиджак, стянутый сзади хлястиком, кремовые сандалеты, шляпа тонкой соломки с лиловой лентой — на правую бровь, в руке толстая суковатая трость с серебряной ручкой...

Мой голубовато-серый бостон она почистила и выгладила, голубую рубашку я надел свежую, серый в темно-красную крапинку галстук-«баттерфляй» она мне застегнула сзади сама...

— Ты обещал все рассказать, — напомнила она.

Мы сели на длинную скамейку перед домом, за летним, из растрескавшихся серых досок столом на вкопанных козлах. Солнце палило не по-осеннему, но стол стоял в тени двух старых груш, время от времени налетал ветерок и шевелил занавески в открытых окнах машины, стоявшей прямо перед нами на улице, так что ее было хорошо видно в раскрытой настежь калитке. Гриша раскуривал невесть откуда взявшуюся трубку, и сладкий запах «Золотого руна» напополам с «Капитанским» — фабрики Урицкого, Григорий Исаакович? Какой же еще, Мишенька, естественно — обнимал и гладил нас. Гарик курил «Гвардейские», я затыкнулся «Тройкой», и золотой ее мундштук приласкал губы. Она с хрустом разворачивала черно-серебряную бумагу и фольгу плитки «Нашей марки», темно-медные волосы ее, утром коротко подстриженные в «венчик мира», едва заметно вздрагивали.

— Итак, пришло время, — сказал я. — Я обещал все объяснить, и я объясню все, что смогу, хотя, думаю, Григорию Исааковичу и Гарику мои объяснения не очень нужны. Однако произнесенное вслух имеет то преимущество перед понятым без слов, что может быть оспорено, а не будучи оспоренным, становится общим согласованным планом... Первое, что, вероятно, не

может не вызвать недоумения: почему мы не маскируемся под аборигенов, а выступаем в нашем собственном, свойственном нам виде, даже подчеркиваем это, да еще и на соответствующем автомобиле? Ответ прост...

— Вот именно, — тихонько подтвердил Гриша, рассыпав из трубки оранжевые искры. Гарик пожал плечами, и погоны его поднялись, как два крепостных моста.

...ответ прост: мы армия, а всякая армия — не партизаны, не террористы — должна иметь свою форму и воевать в ней, и мундир должен внушать носящему его мужество, а противнику страх, и армия должна идти в бой на своей технике, со своим оружием. Но нет другой одежды, как эта, чтобы так отличала нас от них, это одежда настоящих мужчин и женщин, мучавшихся и мучавших друг друга, живших несправедливо и тяжело, но живших, а не изнывавших в кастрированном мире вечного счастья...

— Что тут много говорить, — перебил меня на этот раз Гарик, — не мы решаем. Приказ есть приказ... Сказано — форма одежды парадная, летняя, для районов, кроме южных, значит, пойдем в парадной, а? А «ЗИМ» вообще машина первый сорт, у них на всех ограничители стоят, пятьдесят верст в час, и все, я их на шоссе буду делать, как хочу, да? Часть восемнадцатая: «О превышении допустимой скорости, вождении спецмашин в нетрезвом виде и способах создания аварийной ситуации на дороге в военное, мирное и другое время». Правильно, да?

Я заметил, что по мере того, как исчезали южно-русские и просто еврейские интонации у Гриши, у Гарика появлялись кавказские.

— Теперь о самой операции, — продолжал я. — ЦУОМ, всем хорошо известный, находится там, где и в старые времена находились подобные институты, на Страстной площади, которую даже из них некоторые, кто постарше и поинтеллигентней, называют Пушкинской. Полиции там немного, но, очевидно, за всем районом ведется тщательное наблюдение различными службами — Корпусом Генеральной Безаварийности прежде всего. Скрытые на карнизах и крышах телекамеры, чувствительные микрофоны, металлоискатели, эффективные на расстоянии сотен метров, сотрудники в штатском в толпе и в автомобилях на прилегающих стоянках. На крыше ближайших «Быстрых

пельменей» дежурят снайперы. Наконец, в самом Центре, на глубине пятнадцати метров, точно под памятником, серьезная охрана. Есть хорошо разработанный план...

Когда я закончил объяснения, было уже около пяти, солнце шпарило вовсю, но сам его отчаянный жар говорил, что и лето вообще, и этот день идут к концу... Все молчали. Гарик, прикачивая десятую за время моей лекции папиросу, искоса глядел в схему, на которой широкая улица перетекала в площадь, в середине которой был кружок и рядом крестик — здесь должен был остановиться «ЗИМ». Гриша выбивал трубку о каблук, набивал новую, не глядя и не переставая перечитывать список предполагаемого у охраны оружия. Она наклонилась ко мне, к самому уху, и, пользуясь, как ей казалось, увлеченностью других своими будущими проблемами, спросила шепотом: «А почему ты не можешь... ну, пока все не кончится, ты так и не сказал. Скажешь?»

В горле у меня после двух часов непрерывного говорения и так пересохло, но тут я почувствовал в глотке наждак.

— Гриша, — попросил я негромко, — Григорий Исаакович... Нельзя пивка? Бутылочку...

— Отчего ж, можно и две, — баритоном, по-барски хохотнул Гриша и, пошарив рукой под скамейкой, стал вытаскивать и ставить одну за другой на стол маленькие, с гранеными горлышками бутылки «Двойного золотого». Раздирая в щепки край столешницы, я открыл одну, приложился... «Миша, скажи», — снова шепнула она на ухо. Я встал, пошел к калитке, будто решил еще раз полюбоваться на нашего двухцветного красавца, она пошла следом, встала рядом; словно деревенская пара, мы подперли забор. «Понимаешь, последний этап операции связан с тем, что кто-то из нас должен доказать, что мы — другие, должен обнаружить нашу жажду любви, желание любить... Так настроен компьютер, это сверхзащита в здешних обстоятельствах... Гриша стар, Гарик...»

В тот миг, когда я запнулся, подбирая слова, произошло одновременно столько, что когда я пытался потом это вспомнить, мне казалось и до сих пор кажется, что мгновение это длилось по крайней мере полчаса.

С юга, откуда-то с дороги, вползающей в поселок, донесся гул, быстро нарастающий, рвущий воздух, сотрясающий вселенную, гасящий солнце.

«Домой, все в дом!» — заорал Гриша, в левой его руке уже был пистолет, в правой неведомо откуда появилась граната на длинной деревянной ручке.

Гарик, сшибая бутылки, перепрыгнул через стол, пролетел, оттолкнув нас, через калитку, дверцы машины захлопнулись, мотор взревел, в поднявшейся до неба пыльной туче автомобиль исчез, затих где-то на севере, далеко от поселка.

Мы уже были в доме, Гриша взлетел наверх, я встал у окна кухни, чуть раздвинув занавески, тяжелый пистолет лежал передо мною на узком подоконнике.

Она осталась в комнате, села за стол, лицо ее стало молочным, голубовато-белым, даже все веснушки исчезли, маленький «вальтер» лежал на столе перед нею. В раме двери, опершись локтем на стол, положив голову на ладонь, она сидела в такой неподходящей обстоятельствам задумчивой позе, что мне показалось нелепым ждать смерти рядом с этим прелестным женским портретом. Но гул стал уже совершенно невыносимым, и я повернулся к окну, к щели в занавесках.

Первый танк, старый, грязный, сверхтяжелый Т-96 с противоминным подпрыгивающим траком-катком спереди, влетел в поселок на максимальном ходу, омерзительный синий дым его выхлопа затянул почти всю видимость, запах горелой солярки проник в дом. Качались антенны, плыл, ныряя и поднимаясь, ствол пушки...

Следом шли такие же грязные, ободранные, некогда покрашенные в камуфляжные цвета бээмпэ, их было много, даже в доме стало невозможно дышать, трудно было представить себе, в какую отвратительную вонь погрузился мертвый поселок. Иногда в приоткрытых люках и щелях мелькали грязные, в черных потеках лица, можно было успеть увидеть безразличное их выражение, многие казались азиатами или темнокожими...

Потом появился еще один танк, это была легкая машина десанта. Поравнявшись с нашим домом, он притормозил.

И снова секунда растянулась.

Отскочив от окна, я схватил ее, поднял, прижав одной ру-

кой, оглянулся — и почти бросил в подвал, подцепив ногой и откинув его крышку. Над открывшимся лазом я поставил стол, за которым она сидела — если рухнет крыша, она сможет вылезти из завала... И тут же, с ее «вальтером» и моим монстром в обеих руках, я оказался наверху, у Гриши.

Гриша лежал животом на кровати, придвинутой к окну, и аккуратно целился в танк «фауст-патроном». Острие толстой мины упиралось точно в среднюю планку рамы, и я заметил, что все крючки уже были откинuty, так что перед выстрелом можно было распахнуть окно вместе с занавесками-задержушками одним толчком. Чесучовый костюм чудесным образом висел на плечиках, зацепленных за гвоздь в стене, Гриша лежал в длинной сорочке и длиннейших же сатиновых трусах, и носки были косо натянуты на его толстые узловатые икры резинками с каучуково-металлическими зажимами, и пальцы в носках шевелились.

— А что вы там стоите сзади, Миша, — спросил он, не оборачиваясь, — там же будет от меня огонь, уж будьте как дома, возьмите вон ту серьезную железу и примерьтесь дать им прокатиться...

Я оглянулся и увидел в углу «томпсон» двадцать восьмого года, с круглым диском, с изумительно отполированными прикладом и ложем. Я сел на тяжелую табуретку у второго окна и приготовился дать первую очередь просто по направлению, через занавеску и стекло.

— С этой штукой вы, наверное, чувствуете себя просто парнем из компании Лаки Лучано, — сказал Гриша, не меняя позы. — Хотя вы еще совсем молодой человек, а я имел несчастье знать это ничтожество лично...

Вероятно, с момента возникновения гула прошло минут десять. Я осторожно глянул в окно, между занавеской и рамой был просвет сантиметра в полтора.

Танк стоял на прежнем месте, и как раз когда я посмотрел, его низкая плоская башня начала поворачиваться, и ствол уставился прямо на меня. «Вот и все, — подумал я, — вот и все, я не позвонил Жене перед уходом, она с ума сойдет... Все. Только бы не завалило, потом она сможет вылезти, только бы не завалило, зачем я втравил ее в эту работу, она ведь рассчитывала со-

всем на другое, ей просто было скучно превращаться в домашнюю хозяйку, она хотела только небольших приключений... Вот и все».

— Это кажущее, — сказал Гриша.

Ствол дернулся и поехал вбок. Остановился. Полыхнуло. Раздался удар, наш дом покачнулся. И тут же рассыпалась и запылала маленькая дача через дорогу, обычный сборный домик, уже почти сгнивший. Танк развернулся и, срезая поворот, пошел догонять колонну, подминая низкий штакетник и кусты на следующем после горящей дачи пустом участке.

Следом по улице пронеслись два уральских грузовика, над кузовами вздрагивали металлические ребра, брезентовые тенты были сняты, а в кузовах сидели солдаты в пятнистых комбинезонах, в зачехленных глубоких касках, в черных трикотажных масках-чулках. Один из них поднял короткий круглоствольный автомат, забилось пламя. Осколки бутылок посыпались со стола, за которым мы сидели. Парень поднял ствол выше...

— Вот видите, — Гриша встал с пола, когда моторы уже совсем стихли вдалеке, стряхнул мелкое стекло с волосатых плечей, один осколок, впившийся выше локтя, крепко прихватил двумя пальцами и вырвал, кровь потекла по руке сразу широкой лентой, а он, держа локоть наотлет, чтобы не закапаться, спокойно продолжал: — Можете видеть, они таки точно пернули в лужу, так теперь я хочу вас спросить, а игде мы будем искать нашего Гарика и нашу, между прочим, машину? И что вы видите, Миша, как тот столб, забинтуйте мне эту обтруханную руку, а если вы не можете видеть крови, так позовите девочку, она не должна бояться кровей. И за ради вашего Бога, уже не первничайте себе, эти хазеры уже не вернуться, я вам уверяю...

4

Снова была ночь, наверху под Гришей визжала кровать — старик, видно, не спал, ворочался.

Мы опять лежали, как ложки, к вечеру похолодало, и она прижималась ко мне все тесней, все теснее... Но уже не заводила тяжелого разговора, и мы просто шептались обо всем, о ее и

моей прошлых жизнях, о любви, об оставшихся там знакомых, среди которых оказалось много общих, о профессии моей, в которой она, оказалось, совсем неплохо разбирается, и мы с ней так, шепотом, и поспорили немного — о цвете и концепции, о режиссерском показе, о развернутой метафоре и детали, о скрытом цитировании и игре...

Почему мы шепчемся, подумал я, ведь здесь никого нет и можно говорить почти в полный голос. Шепот — знак близости, подумал я.

Совершенно расхотелось спать, я перевернулся на спину, она уместилась у меня на плече, с улицы шел слабый свет не то луны, не то одних только звезд, но и этого хватало, чтобы я видел ее волосы, колышущиеся возле моего лица, как пожелтевшая по сезону трава, и ее глаза, в которых голубой свет звезд превращался в желтый свет солнца.

Я потянулся, щелкнул ручкой приемника, и круглая шкала довоенного «Telefunken'a» зажглась, и зажегся зеленый глазок настройки, я покрутил верньер, цветная стрелка поползла по кругу... London... Oslo... Paris... Vienna... Berlin...

Отчаянно знакомый, будто с рождения, высокий, срывающийся голос наполнил комнату. Немецкие слова казались почти понятными. Солдаты должны выполнить долг перед отчизной, каждый их шаг на Восток — это шаг к великой Германии, и Германия, вечная страна, будет воздвигнута на руинах лживой, разложившейся, буржуазно-коммунистической, еврейско-славянской цивилизации, место которой на свалке истории...

Что это, в ужасе прошептала она, что это ты нашел? Я нашел сентябрь тридцать девятого, ответил я, и снова покрутил настройку.

Я тоскую по соседству и на расстоянии, пропел с невероятным самодовольством радиокрасавец, ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. Народы Страны Советов, сказал тот же красавец, а может, и другой, в едином порыве поднимают свой голос против поджигателей новой войны, бряцающих атомной бомбой и пресловутым планом Маршалла, за мир во всем мире, против лживой, разложившейся, буржуазно-империалистической, американо-реваншистской так называемой цивилизации, место которой на свалке истории...

Где мы, уже отчаянно спросила она, куда ты меня ведешь, я веселый, легкий человек, куда ты нас тянешь? Это Ад, ответил я, добро пожаловать в Ад, любимая, однажды я видел такое приглашение в теленовостях, но ничего не бойся, мы будем в Аду вдвоем, Ад — единственное счастье, которое доступно двоим, в Раю можно быть поодиночке, но еще когда ты ждала меня, и скучала, и расставалась со своей предыдущей жизнью, и смотрела, как барахтаюсь я, расставаясь со своей, и жалела меня, почувствовала, уже тогда ты подписала контракт на экспедицию в Ад, из такого путешествия можно не вернуться, если зайдешь слишком далеко, а я не умею останавливаться, но главное — идти вдвоем. Что это там, что это за передача, спросила она, уже улыбаясь, глаза ее еще отсвечивали влагой, но она уже почти успокоилась, скорчила обычную свою гримасу, детскую и кокетливо-женскую одновременно. А это Виталий Доронин пел из «Свадьбы с приданым», а потом был обзор газет, сказал я, сорок седьмой год.

Не хочу, сказала она, не хочу, не хочу. Куда же ты хочешь, спросил я, хочешь в завтрашний день, в двадцать четвертое сентября две тысячи девяносто шестого года? Нет, нет, сказала она, это тоже Ад, не хочу, неужели это обязательно? Да, сказал я, ты права, здесь тоже Ад, они сами его устроили, они сами отправили себя на свалку истории, сами победили себя, им не понадобились ни тот, ни другой, ни австрияк, ни грузин — они обошлись социальным равенством, правами женщин и меньшинств, сытостью и скукой, лицемерием и общественными интересами, они построили самый безнадежный Ад тоски, вокруг которого пылает Ад жестокости. С этим Адом нам и предстоит иметь дело... Я знаю, что тебе нужно, сказал я, и снова покрутил настройку, зеленый глазок жмурился и расширялся по-кошачьи, и возникала музыка.

«This never happened before...» — пропел Нат Кинг Кол, — «...but never, never again...» Рухнул, зазвенел, взлетел за облака оркестр, и Синатра включился в нашу борьбу с дьяволом: «I want to see your face every kind of life... you spend it all with me...»

Я люблю тебя, наконец сказала она, и совсем не обязательно отправляться в какой-нибудь ад для любви, я не хочу знать все это.

Тут заскрипела лестница, раздался деликатный кашель, и Гриша, пробирающийся на кухню, забормотал: «О, вейз мир, почему пожилой человек должен так мучиться, здесь невозможно достать не то что компот, чтобы попить от изжоги, здесь уже вода как счастье, за что этот цорес на мою голову...»

Нащупав кнопку, я включил лампу у изголовья. Гриша стоял у двери в кухню, и вид его был восхитителен — на нем был полный наряд сельского джентльмена для прохладной осенней ночи: фланелевые брюки, пушистый верблюжий пуловер, шелковая косынка на шее под свежей голубой рубашкой, рыжие короткие кудри были безукоризненно разделены косым пробором.

— Простите старика, — сказал он, слегка щуря от света голубые, как бы со слезой, глаза, — бессонница... Не составите ли компанию?

С этими словами он достал из-за спины хрустальный флакон с ржаво-желтой жидкостью, а в другой руке у него оказались вложенные стопкой один в другой три больших стакана с толстыми, тяжелыми доньшками.

— Очень и очень рекомендую, — продолжал Гриша, — сорт весьма приличный, «Glenlivet» двенадцатилетний. Что до меня, то предпочитаю pure malt безо льда, а уж тем более без содовой и прочих американских пошлостей...

— Отвернитесь, Григорий Исаакович, — сказала она, и очаровательный старик суетливо кинулся в угол, стал лицом к стене, а она, в одну секунду оказавшись в кружевном пеньюаре и накинув на плечи сливочного цвета шелковую шаль, подала мне стеганный лиловый халат, фуляр, чтобы прикрыть шею, и меховые домашние туфли. Мы с Гришей уселись в креслах друг против друга, она осталась в постели, села, засунув за спину подушки и прикрывшись до пояса пледом. Я подал ей бокал.

— Григорий Исаакович, вы не представляете, как вовремя проснулись, — она посмотрела на него так, так хлопнула ресницами, так классически сыграла глазами, так проворковала, что бедный эсквайр едва не выронил трубку, которую было принялся раскуривать. — Миша тут наговорил ужасов, да еще по радио передавали всякий бред... Страшно хотелось выпить!

— Отчего ж бред, — вежливо возразил Гриша, — очень милая была песенка. Он, конечно дело, гангстер, и все такое, но

поет вполне чудесно. «I want to see your face...» Очаровательно! Белый пустой зал, оркестр под утро сморило, и только негрите-нок-уборщик все ставит и ставит одну и ту же пластинку, танцует со шваброй и не обращая внимания на пару за столиком в углу... Очаровательно...

— Как вы думаете, Григорий Исаакович, — перебил я его, — извините, что о невеселом, как полагаете, куда направлялась эта колонна?

— Скорее всего, куда-нибудь на Волгу, — задумчиво глядя на мечущийся у наших ног огонь в настесь распахнутом зеве печи, ответил он после секундной паузы. — Там мордва, мари... Вероятно, очередное усмирение. Да можно хотя бы вот радио послушать, только не скажут ведь ничего... Маньяк дарит женщинам цветы, иск жены к мужу за преждевременный, простите, милая, оргазм, наводнение в Чехии, голод в Канаде... Других новостей у них не бывает.

— Да мой приемник вряд ли это ловит, — заметил я, — он на их волнах не работает.

— Да, прибор достойный, — согласился Гриша, — одиннадцать ламп... А вот у меня к вам, в свою очередь, вопрос, друг мой: может, вы, молодой своею головой, сообразите, как у них получается, что год две тысячи девяносто шестой, а ежели судить по всей их жизни, по идеям модным, по автомобилям, по всей технике, то выходит лет на сто меньше? Опять же, к выбо-рам они готовятся...

— Календарь, Григорий Исаакович. — Я встал, прикрыл лампу платком: она задремала, откинувшись на подушки, а свет падал ей прямо в лицо. Пустой бокал я осторожно взял из ее слабых пальцев... — Они просто приняли такой календарь. Референдумом. Они провели референдум и сделали дырку в истории, и очень этим гордятся. С тех пор здесь и сменяются у власти две партии, ново-временные демократы и национал-республиканские календаристы. Только президент не меняется, просто по результатам выборов переходит из партии в партию.

— Да-с, забавно, — тихо вздохнул Гриша, — о таком даже мне не говорили, когда посылали сюда...

Мы сидели у огня, понемногу прикапчивая литровый флакон великолепного скотча, а вокруг нашего дома, в котором мирно

беседовали два элегантных и корректных господина и спала прекрасная дама, вокруг этого пространства мужества и женственности, приятельства и любви, во тьме лежала страна — застроенная удобными и красивыми особняками и деловыми небоскребами, покрытая широкими и зеркально гладкими шоссе, стриженными лужайками и чистыми лесами, полная еды, одежды и машин. В этой стране мужчина, прямо взглянувший на красивую женщину, подлежал суду, который чаще всего приговаривал его к смерти в вакуумной камере; в этой стране не вегетарианцев не впускали в рестораны, а за срубленное дерево подвергали изгнанию; для людей белой расы, физически полноценных и гетеросексуальных, была введена процентная норма при поступлении в университеты; все религиозные праздники отменены, поскольку задевали чувства атеистов, хотя атеистическая пропаганда запрещалась, как задевающая чувства верующих; любые способы регулирования рождаемости осуждались, но секс существовал только «безопасный», а рождение более трех детей в одной семье преследовалось законом, поскольку нарушало равновесие между человеком и средой и вело к истощению природы; в этой стране самым строгим образом защищалась свобода печати, но компьютер в ЦУОМе, Центре Управления Общественным Мнением, неукоснительно контролировал все источники информации, отсекая любые сведения о том, что происходило на границах и окраинах державы.

Потому что там горели заливаемые сгущенным бензином города и деревни, там ракеты разносили в пыль больницы и школы, танки шли по ставшим на их пути людям, там тысячами гибли солдаты официально не воюющей армии и офицеры давно расформированной и проклятой тайной полиции, там был внешний круг Ада, неведомый для внутренних восьми: для круга скуки, круга лицемерия, круга тупости, круга сытости, круга безнадежности, круга лжи, круга одинаковости и круга одиночества.

— Выходит, рэб Гирш, — спросил я, — что ничего, кроме ужаса?..

— Ай, Мишенька, не обижайтесь, — старый еврей взмахнул руками, да так и остался, держа их над головой и удивительно при этом напоминая трехсвечный канделябр, — не обижайтесь, но таки кроме ужаса ничего не получается на этой пас-

кудной земле. Я ж не имею у виду именно здесь, вы посмотрите на ихнюю хваленую Америку! Такое же повидло, я вам говорю, как старше по возрасту...

Он горестно уронил руки и застыл, глядя в одну точку перед собой. Мы посидели минуту молча, потом он поднял глаза, и это были снова ярко-голубые, чуть со слезой глаза крепко держащего пожилого супермена, и седые патлы снова превратились в рыжий короткий пробор.

— А с другой стороны, милый мой молодой друг, — и быстрая, едкая усмешка мелькнула на его жестком лице, — кто вам сказал, что вы обязательно должны быть счастливы? Да и все мы, человечество, так сказать... «Как птица для полета...» Чудовищная пошлость! Мир сей есть юдоль слез, Миша, и для горестей и несчастий являемся мы в него, и я удивлен, что вам, верующему, насколько я знаю, человеку это надо напоминать. Сытый ли, голодный ли, в толпе или изгой, властитель, раб или вольный гражданин — человек несчастен. Был, есть и будет.

Мы не говорили о Гарики. Я, конечно, волновался за него, да и за машину, без которой все пошло бы прахом. Но все же я помнил о некоторых дополнительных — к средним человеческим — возможностях, которыми, как мне казалось, обладают мои друзья и товарищи по аванюре... Что до Гриши, то он, похоже, вовсе забыл о существовании приятеля. Он дремал, похрипывая трубкой, я допил последний глоток и тоже, видимо, на какую-то минуту провалился в сон. Ранний серый свет полз в окна, и под этим рассеянным, с детства ненавидимым мною светом, наши лица, наверное, стали старыми, больными, морщины и рытвины, пятна давних экзем и раздражений проступили под проклятым светом, и даже ее милое лицо, яблочного желтовато-розового цвета в обычное время или прозрачно-белого, когда она волновалась или уставала, стало буроватым, открылись поры, а на крыльях носа появились капли пота и мелкие прыщички.

Бедная девочка, думал я во сне, бедная, бедная девочка, куда она-то попала в компании немолодых, угрюмых мужиков, посланных неведомо кем, — если нас действительно кто-то все же послал, если мы не просто три случайно познакомившихся идиота с подростковыми наклонностями к приключенческой роман-

тике, ринувшиеся сами с почти наверняка неосуществимой миссией ради вполне бессмысленной цели, — бедная моя легкомысленная девочка, думал я, сонно ворочаясь в кресле, бедная моя любимая, думал я, просыпаясь под уже ярким светом, солнце шпарило через верхнюю часть окна, поверх занавески, прямо мне в глаза, Гриша и она крепко спали, а посреди комнаты сидел на полу Гарик и медленно, не издавая ни звука, стаскивал с себя обгоревшие, залитые кровью тряпки.

Лицо его было в длинных и ровных косых порезах, будто по нему провели острыми граблями. «Сгорела машина, — сказал он негромко, — жалко, классная была машина. Спецмашина, что тут говорить, да?..»

Он гнал по старой дороге, уходя от колонны. Длинный и тяжелый автомобиль прыгал на остатках асфальта, и он с мукой, будто собственным телом, колотился об эту пыльную, но такую твердую дорогу, ощущал, как кряхтят, екают, дрожат от напряжения и дергаются от ударов металл, резина, пластмасса. Гул сзади почти не был слышен, когда он повернул направо, уже не на дорогу, а на просеку, засыпанную старой сосновой хвоей, гнилыми шишками и тонкими обломанными ветками. Он поехал помедленней, переваливая через вылезшие из земли корни, чуть-чуть погружаясь в оставшиеся после давнего ливня лужи и болотца, осторожно переезжая какие-то мелкие канавы. По его расчетам выходило, что примерно километра через три будет еще одна просека, тоже направо, потом еще — и он вернется к дороге у самого поселка, оставит машину в лесу и пойдет осмотреться... Он неплохо представлял себе окрестности поселка еще по тем временам, когда здесь была дача одного его начальника и приятеля, у которого он часто бывал... Но поворота направо все не было, и он все полз по просеке, чуть подпрыгивая на особенно толстых корнях и царапая — как по сердцу — по лаковой кремовой крыше самыми низкими ветвями.

Километров через пять поворот возник, но налево, сама просека довольно круто свернула, стала шире, и под желто-черным лесным мусором замелькал кое-где выщербленный бетон, и наконец он покатила просто по старой бетонке, с широко разошедшимися щелями между плитами и выглядывающими из рас-

трескавшихся этих плит ржавыми витыми арматурными прутьями. Куда ведет эта дорога, он уже представлял с трудом, но, в любом случае, он удалялся от поселка. Уже будучи готовым вернуться, чтобы ехать назад по своему следу, он высматривал для этого место поровней и пошире, когда в машину влетел уже знакомый гул.

Танки шли прямо на него, это была танковая колонна без каких-либо других машин, и движущийся лес поднятых зачем-то в небо стволов сшибал ветки живого леса, в железный гул вплетался живой древесный треск, словно человеческие вскрики. «Бирнамский лес пошел», — подумал Гарик Мартиросович, закончивший в свое время, между прочим, институт военных переводчиков, да, увы, все позабывший в своей должности спецводилы.

Бирнамский лес пошел, думал он,
слетая с дороги и несясь навстречу колонне, словно призрак,
между деревьями,

сминая подлесок,
снося стволами ручки с дверей и хромированные накладки,
насквозь прорезая сучьями крылья,
отрывая зацепившийся за пень задний бампер.

Бирнамский лес пошел, думал он, видя перед собой абсолютно непреодолимую грудку валежника — выворачивая на дорогу перед немного приотставшим Т-92 — и, в секунду пересекши эту чертову дорогу, перепрыгивая мелкую придорожную канаву, — снова несясь меж сосен навстречу бесконечной колонне, ни одна машина которой, к счастью, не могла ни повернуть за ним, идя в строю, ни даже поймать его за деревьями очередью из крупнокалиберного.

Бирнамский лес пошел, думал он, уже почти поравнявшись с предпоследней, сильно обгоревшей, машиной — дивизион явно был выведен из боев.

Бирнамский лес по...

Он не додумал.

Механик предпоследней не выдержал.

Все тонны горелой краски, брони, траков, масла и солярки, боекомплекта, лазерных прицелов, приборов спутниковой ориен-

тации и примерно триста килограммов экипажа дернулись и начали съезжать с дороги навстречу наглому привидению.

«ЗИМ» ударился в правую гусеницу точно серединой передка, алой пылью рассыпался плексигласовый флажок на капоте, машина встала на нос, на миг зафиксировалась вертикально, вверх багажником — и рухнула крышей на броню.

В ту же секунду замыкающий ударил злополучный танк сзади, и вспыхнули наружные запасные баки. Еще через минуту горели оба, черно-оранжевый дым поднимался из леса, потом из люка механика второго танка выдвинулась до половины человеческая фигура, но комбинезон на спине тут же вспыхнул и горящий повис вниз пылающим шлемом.

Колонна неровно, вразнобой остановилась.

Бирнамский лес по...

Он не додумал.

Предновогодний, декабрьский Кабул семьдесят девятого он вспомнил.

И январь в Вильнюсе девяносто первого.

И октябрь девяносто третьего в Москве.

И снова декабрь, на окраине Грозного, девяносто четвертый.

И еще черт ее знает какую, кажется, горную дорогу, и заходящий на ракетный залп вертолет, и танки, и горелые трупы в девяносто пятом, шестом, седьмом...

Он вывалился из левой дверцы за семнадцать сотых секунды до столкновения, в полном соответствии с инструкцией сгруппировался, покатился, потом проехал лицом, грудью, животом по всем сучьям и корягам в небольшом овраге, услышал удар, взрыв, увидел пламя, пополз, побежал, снова пополз, вдруг кусты вокруг загорелись, он понял, что вернулся к бетонке, рядом с которой горит подожженный танками лес, и побежал в обратную сторону.

За все время, что шел до поселка, он не встретил ни одного человека.

Весь разрисованный йодом, с перебинтованной грудью — похоже, что пару ребер сломал, — он лежал на нашей постели, бутылка «Двина», немедленно извлеченного Гришей из его тайников, стояла вместе со стаканом рядом на стуле.

— Неужели на этом все и кончено? — спросил Гарик, не об-

рацаясь ни к кому в отдельности, негромко, будто сам у себя. Ни акцента, ни шоферских оборотов... Мы все были в этой же комнате, второй день нашего дачного отдыха шел к концу. Она только что покормила лежащего Гарика, мы с Гришей курили после обеда, помогая раненому одолевать коньяк. Все молчали, и в тишине стало слышно, что Гарик плачет.

Тогда заговорил, конечно, Гриша.

— Лучше б мама меня раздумала, — сказал он, — чем мне видеть, как плачет, извиняюсь, ангел. Между прочим, Гарик Мартиросович, я вам говорю, как сыну, пусть они все плачут, потому что я вам исделаю одну даже очень приличную вещь, еще ваши царпки не сойдут.

5

Третья ночь на даче медленно ползла к рассвету, третью ночь не было сна. Такое со мной время от времени бывает, я почти совсем не сплю по нескольку суток подряд, это неизбежно связано с большой выпивкой по вечерам, часов в девять падаю, как мертвый, а к часу, к двум — сна ни в одном глазу, болит все, что может болеть, организм бунтует, в массовые беспорядки включаются печень, почки и кишечник, иногда, ближе к рассвету, происходит и несанкционированное выступление сердца, одновременно чувствую, что неизбежно обострится вечная, как еврейский вопрос, проблема — псориаз, и точно, утром, бреясь, обнаруживаю омерзительную рожу в красных шелушащихся пятнах, под глазами черно, зрелище в целом более всего похоже на результат неудавшейся реанимации. Что делать, супермен уже сильно подержанный, хотя еще на ходу, но дребезжит. При этом отдаю себе отчет, что, увы, никогда в молодости не жил так хорошо, так головокружительно, женщины не любили так безудержно и самозабвенно; дело не шло, деньги, хотя бы и небольшие, не подплывали и близко... Явление, известное имеющим вкус к вещам: старые, хорошо относенные, идеально подходящие тряпки — только дошли до такого чудесного состояния, как тут же, на следующей неделе, и рвутся.

Внизу спал, тихо поскуливая во сне, изодранный и расстро-

енный Гарик. Наверху пустовала его комната, но там оказалось ужасно холодно, с вечера начался мелкий, хмурый и вполне уже осенний дождь, довести погоду до среднеатлантического стандарта им все же не удалось, через неплотно закрывающиеся окна и светящиеся щели в дощатых стенах несло сыростью, проникали ледяные, острые струи ветра. В комнате Гриши было гораздо теплее, и хозяин отсутствовал; часов в одиннадцать, уже под дождем, и не совсем твердо держась на ногах, — пили понемногу весь этот все равно пропащий день — он вышел со двора с весьма смутным заявлением: «Если Гриша сказал, что сделает хорошо, так пусть все гои сдохнут, а нам таки будет хорошо», — но в пустой комнате остался такой густой стариковский запах, смешанный с ароматом ружейного масла, исходящим от арсенала неугомонного воина, что остаться там не было никакой возможности. В конце концов, мы улеглись на старом диване, узком и с качающейся спинкой, на маленькой веранде, открыв дверцу печи, так что тесное, хотя окруженное только стеклами в мелких переплетах пространство быстро нагрелось.

Теперь, промаявшись несколько часов без сна, честно приложив все усилия, чтобы победить бессонницу, полежав, прижавшись к ее узкой и теплой под зимней пижамой спине, зарыв лицо в ее волосы, вдыхая их сухость и думая о приятном и однообразном, — я осторожно, чтобы не разбудить, отодвинулся, сполз с жалобно застонавших диванных пружин и вышел под дождь, как был, в длинных и широких черных трусах и майке с узкими бретелями и глубокими проймами, сунув ноги в расшнурованные ботинки. Что заставляло меня одного, в полной темноте, выгладеть как положено? Что-то заставляло...

Естественно, не было ни звезд, ни луны, из сплошной тучи все еще лило, так что я остановился под навесом крыльца, но и здесь закурит, в сырости и под ветром, удалось не с первой спички.

Я стоял, думал об идущей к концу жизни и этом странном ее завершении, но мысли сбивались, и, как всегда бессонной ночью, в голове теснилась всякая как бы глубоко философская ерунда, перемежающаяся отчаянными претензиями к судьбе.

Почему я не нашел ее раньше, думал я горестно и тут же представлял себе, как лицо мое искажается клоунской трагичес-

кой гримасой, брови поднимаются домиком, морщины лезут на лоб, рот болезненно полуоскаливается; почему я прожил и доживаю жизнь не в этой, исходящей из каждой клеточки ее существа любви, а в безобразии, безумии и, по сути, в бесчувствии? Но тут же вспоминал, каким был в молодости, когда, допустим, мог встретить ее, — по одной улице ходили, и в том же кафе-мороженом, в котором она с одноклассницами ела из алюминиевых кривоногих вазочек разноцветный пломбир под шоколадной стружкой, я выпивал иногда рюмку коньяку, — вспоминал свою тогдашнюю неустроенность, неприметность и ненужность в гигантском городе, вздорность характера и просто неумность, и понимал, что ничего и не могло быть, и надо благодарить Бога за то, что хотя бы теперь свел, дал мне убедиться, что выдуманное, замысленное едва ли не в детстве счастье бывает.

Когда-то, вспоминал я, в дурацких, смешных, юношески откровенных разговорах я описывал другим женщинам — доставались всегда другие — свой идеал: машинистка; фигура складенькая, но не манекенщица, упаси Бог; лицо хорошенькое, но не Софи Лорен, не надо; элегантная, но чтобы на улице не оборачивались; более интеллигентная, чем можно ожидать по ее положению, а не наоборот, что бывает, увы, чаще; хозяйка, но не помешанная на домашнем консервировании и чистоте; всегда готовая к постели и абсолютно свободная в ней, тогда можно простить даже мелкий грешок — обратную сторону темперамента... Женщины обижались: среди них не было машинисток; они были крупны, выносливы, сами добывали свой хлеб, старались не зависеть и не зависели от мужчин; некоторые были красивы, другие нет; одевались, как правило, плохо, без вкуса и понимания; многие — хотя бы и режиссерши, или редакторши, или коллеги — были простоваты, несмотря на все прочитанное; у одних дома была грязь и несъедобный завтрак, другие домывали пол до стерильности и готовили профессионально, но раздражало и то, и другое; в любви одни были матерински скушны, другие холодно распушенны, но все хотели одного — вечной власти надо мною и редко бывали ласковы... Но вот теперь глупый тот идеал нашелся, вот он спит на веранде, живой, едва слышно посапывающий во сне идеал, что же ты сетуешь, старый дурень, что слишком поздно? Поздно было бы после смерти.

А кем же ты себя представляешь в мечтах, спрашивала очередная большая крашеная блондинка, снисходительная после часу моих честных и, вроде бы, увенчавшихся успехом трудов на сбившейся простыне. Я ложился на спину, закидывал руки за голову, прикрывшись до пояса, — всегда стеснялся младенческого вида израсходованности, — начинал бредить с открытыми в потолок глазами. Уверенный, сильный в профессии, удачливый в делах, никаких там богемных штучек, разве что легкий артистический налет, может, небольшой, но достаточно независимый начальник, вот я выхожу из машины, в хорошем, лучше двубортном, знаешь, в мелкую полоску, костюме, подаю ей... да нет, конечно же, тебе, ну, не дуйся, не обижайся, это просто фигура речи... подаю ей руку, она в легком и тонком платье, я люблю такие темно-синие платья в мелкий белый горошек, мы идем куда-нибудь обедать... Знаешь такое буржуазное правило: цена мужчины — это вид его женщины...

Все-таки у тебя удивительно пошлые для интеллигентного человека представления о жизни, говорила образованная подруга. Что делать, пожимал я плечами, я человек простой... После отдыха мы иногда возвращались к прерванному беседой занятию, но уже можно было понять, если задуматься, что рано или поздно станем чужими.

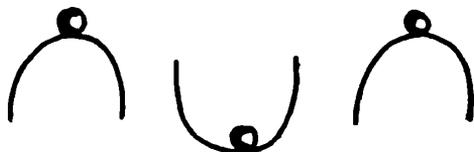
Вот, пожалуйста, размышлял я, окоченев на сырости и ветру раздетым, но почему-то не возвращаясь в дом, а закуривая третью сигарету, все и сбылось, и даже с избытком, успех и приключения, будет подан к загородному дому лимузин, таинственные и преданные друзья будут рядом, драй камераден, милая женщина, умная и покорная, добрая и страстная, придуманная мною не то сорок, не то тридцать лет назад, выйдет, нарядная и оживленная, мы рванем по шоссе под свинг из автомобильного приемника, под Эллингтона или Бэйси, жаль, что вас не будет с нами, мы все одолеем, а если будут потери, то пусть судьба укажет на самого лучшего, а мы отомстим, и потом — прощай, оружие, домой, и все еще может быть, потому что пока мы живы и уже встретились...

Да, я предавал, корил я себя, докуривая и уже собираясь идти в дом, но и сам, как выяснилось впоследствии, нередко бывал предан и оскорбительно обманут, я бывал бессовестным и,

мучаясь стыдом, продолжал бесстыдствовать, подчинялся мелочности и дряни и с наслаждением позволял себе быть дрянью, но теперь все будет по-другому, и не потому, что я стал другим, а просто она совсем другая. Такая, как должна была быть с самого начала, первая и последняя.

Подступало утро, на веранде было уже совсем светло, она спала лицом в подушку, только рыжая густая гривка была видна над высоко натянутым одеялом.

Я сел за стол, взял листок бумаги, на котором кто-то — может, Гриша? — складывал и вычитал столбиком довольно большие суммы, перевернул и нарисовал валявшимся здесь же шариковым карандашом такую картинку:



Слева — молодость, думал я, неустойчивое равновесие, можно скатиться куда угодно, в беду или удачу, в авантюру или скуку. Посередине — средние годы, когда все более или менее устоялось, и как бы ты ни раскачивался, как бы далеко ни отклонялся, скатишься в нижнюю, притягивающую точку, в стабильность. Равновесие устойчивое... Во всяком случае, эта схема вполне годится для моей жизни. А справа — старость, снова выкатился на бугор. Чуть двинулся в сторону из единственной точки покоя, и покатился, и уж не остановишься, в болезни и бедность, в бездомье, только более безнадежное, чем тогда, в начале, в душевные потрясения, но, может, и в счастье — тоже куда большее, чем могло быть или было в юности.

«Почему я так легко, охотно и много рассказываю о себе даже посторонним людям, — писал я зачем-то, мелко, почти неразборчиво, теснясь на листке, — откуда эта болтливость? Возможно, это желание остаться в чужом сознании, жажда бессмертия, подмена того, чего можно было бы достичь более серьезной работой...»

«Многие люди не могут приспособиться, сосуществовать с

миром, — писал я, торопясь, пока все не проснулись, — особенно это касается людей с воображением, склонных к художественным занятиям. Для таких есть два пути: разрушать, пытаться менять мир — революционеры; разрушать, изживать из мира себя — алкоголики, наркоманы, самоубийцы... Мой выбор сделан раз и навсегда...»

«Мне кажется, у красивых людей всегда есть последнее утешение — зеркало, но, возможно, они этого не знают, — писал я, — хотя, вероятно, женщины пользуются».

«Всегда завидовал и ревновал к мужчинам, которым женщины охотно прощали слабость, нечистоплотность, порок. Какой-нибудь спившийся художничек, живущий на деньги подруг, а они в нем души не чают, считают гением... Теперь понял, что это принципиально противоречит моим старым идеалам, потому и не для меня. Между прочим, в одном из лучших романов о любви герой, художник и страдалец, спасаемый возлюбленной, слаб и не совсем понятно, за что, кроме гениальности, так любим. Настоящий же мужчина, обаятельный, мудрый, сильный, благородный и прочее — черт... Можно задуматься и над этим».

«Что я делал всю жизнь, почему так плохо кончались все мои увлечения и любви? Как джинн, выпущенный очередной дурочкой из бутылки, я мог лишь воздвигнуть замок в воздухе, наговорив ей кучу глупостей о ее красоте и иных достоинствах, и из простой благодарности испытывая уже через пять минут желание сказать: «Выходи за меня замуж!» — воздвигнуть замок и тут же его разрушить — стоило ей попробовать вселиться в это призрачное строение. Глупый и неумелый джинн из анекдота — могу воздвигнуть замок, могу его разрушить...»

«Она познакомила меня с чем-то странным, неведомым до того: любовь, не отнимающая свободу. Но может ли это быть? И даже если может, хочу ли я именно этого? Не хочу ли я сам полного поглощения, рабства, хотя, стоило кому-то попробовать взять надо мною власть, я начинал бешено сопротивляться, круша все и ломая».

«И вот все поменялось: раньше они докучали мне любовью, покушавшейся на меня целиком, теперь я надоедаю ей. «Лжец будет обманут, и у грабителя все отнимут...» Где-то я это читал...»

«Женщины пытались зацепить, чтобы пришел навсегда, я хотел покорить, чтобы всегда была готова прийти. И вот все изменилось, я не мог такого даже представить: она не хочет получить меня нераздельно и навеки, я хочу... Странно».

«Жадные и беспощадные мои ремесла, — пересмешничество, передразнивание, фантазии и выдумки, изображение и имитация, притворство, — они пожирают жизнь, они питаются живыми чувствами, отношениями, людьми и выплевывают мертвую бумагу, картон и холсты, светящуюся и звучащую пленку. Может, потому не совсем живой и я сам».

«Пройдет время, и из еще крепкого сравнительно мужика, способного к полноценной жизни, я превращусь в потертого старичка, буду донашивать жизнь. Не хочу».

«Вероятно, посторонний наблюдатель мог бы мне начать объяснять, что я ее придумал, что она обычная, пусть довольно симпатичная женщина, охотно закрутившая роман с видным и значительным мужиком, только и всего, ни на минуту даже не задумывающаяся о том, чтобы расстаться со своей другой жизнью, с мирной семьей, с обожающим и немного свысока все прощающим мужем, рисковать отношениями с дочерью-подругой... Возможно, это так и есть. Но увидеть это не могу, что и доказывает — люблю. Банально до изумления, а что делать?»

«Мне всегда нравились женщины, пользующиеся успехом у наших начальников — поленьские, «все при них», светленькие, с развратцем в прозрачных глазах. И я им нравился — может, по контрасту с их ухажерами, властными, уверенными, туповатыми, кем бы они ни были, хоть академиками... И вот впервые не это привычное сочетание, а мое истинное, то, чего хотелось от рождения, назначенное природой, «родная, а не двоюродная», как сказала однажды умнейшая моя тетка. «Жена должна быть родная, а не двоюродная». Почему же этой, первой родной, досталось все не лучшее — силы и страсть на исходе, риск неведомо ради чего, воздержание, необходимое «ради дела»? Да и дело, похоже, может сорваться. Возможно, не стоит и пробовать? Сам же твержу — не хочу менять мир...»

«После любви больно разлепляться, разделяться и больно притрагиваться, прикасаться к коже. Вероятно, это как предвестие, тень настоящей боли — от расставания и новой встречи.

Так же как вспышка, потеря сознания на вершине любви — это как бы отражение в маленьком ручном зеркальце надвигающейся последней вспышки, конца».

Я писал уже вдоль листка, и на обороте, рядом с Гришиными подсчетами, и плакал едва ли не в голос. Утро настало пасмурное, ночной дождь не кончался, в доме все спали. Гарик перестал стонать, лицо его разгладилось, царапины подсохли, и даже старое увечье — шрам, перекошенная, стянутая бровь и подглазье — было почти незаметно, дышал он легко и без хрипа. Она перевернулась на другой бок, теперь я мог видеть ее лицо, чуть скуластое, разгоревшееся то ли от какого-нибудь сна перед пробуждением, то ли от тепла — поверх одеяла я прикрыв ее толстым пледом.

Стараясь не скрипеть ступенями и для того становясь на них у самого края, у перил, я поднялся в Гришину комнату. Листок с записями оставил на столе внизу. В духоте заставленного и заваленного всяким барахлом логова огляделся. Оружие было разложено на чистой тряпке, на полу, в дальнем от двери углу. Я взял свой маленький «вальтер», так пренебрежительно охаянный стариком. Выдвинул обойму, тупое пулевое рыльце верхнего патрона равнодушно глянуло на меня. Я загнал магазин на место, передернул затвор, отвел вверх, открыв красную точку, предохранитель.

Твердый, чуть меньше сантиметра в диаметре, кружок сильно вдавился в кожу на виске, так что я почувствовал, как приподнялись, став как бы дыбом, короткие волосы над ухом. Все будет нормально, подумал я, закрывая глаза, Гарик отвезет на чем-нибудь ее домой, он уже в порядке, потом найдется и Гриша, они ей помогут, постепенно она успокоится, будет жить, как раньше, ссадина от всего этого, конечно, останется, будет ныть, но это терпимо... Не мое это дело — влиять на историю, а иначе теперь уже не отвертеться, подумал я. Если б было реально дожить вместе, можно было бы попробовать, а городить весь этот огород, чтобы сразу в случае удачи расстаться... Смысла нет.

Я положил на спуск последнюю фалангу указательного, как учат все наставления по стрельбе. Страшно, спросил я себя, ну, страшно тебе? Да, вроде, не очень... Все.

— Таки видно, что никакой вы не аид, а настоящий крещеный гой, — сказал Гриша. Он стоял передо мною, глядел снизу вверх с полнейшим презрением. — Хотя даже для гоя вы идиот и паскудник, и от вас отказались бы, тьфу, ваши попы. Вы просто мелкий поц, вы гицель, которого ленивая мама мало била по жопе, теперь она бы имела удовольствие видеть такого говна, бедная женщина. Дайте сюда эту штуку, чтоб я ее в вас не видел, и посмотрите уже у окно, там есть для вас немножко трефного счастья...

— Перестаньте на меня орать, Гриша, — сказал я, хотя он совсем не орал, скорее шипел, брызгая мне в лицо слюной.

Я подошел к окну.

Внизу, на улице перед нашей калиткой, стояла потрясающая машина. Это был огромный черный фаэтон с поднятым верхом желтой кожи, с запасным колесом, укрепленным слева у длиннейшего капота, с широкими крыльями, тяжелый и прекрасный.

— Между прочим, — сообщил сзади Гриша, — на этом «паккарде» я от сук позорных, от гепеу, уехал. На дороге Москва-Симферополь ушел от них, и они меня так видели, как я видел Бога. Сейчас помню, тридцать восьмой год. Резина как новая, Гарик проснется и будет себе довольный, еще скажет спасибо старому Грише.

Я повернулся к нему и, обняв меня, едва доставая до плеча, он сказал тихо, куда-то мне в живот: «По отношению к нам, Миша, это была бы подлость, по отношению к ней — жестокость, а по отношению к себе самому — глупость. Всем иногда хочется...»

6

Отдавая последние силы, солнце разогнало тучи, зажгло всеми оттенками рыжины леса, за одну дождливую ночь ставшие осенними, подсветило металлически синее небо.

На шоссе было пусто, ранним утром в воскресенье никто никуда не спешил, «паккард» с опущенным верхом рвался вперед, ветер и сдержанный рык мотора отделяли нас от мира вокруг

прочнее, чем любые крыша и стены. Она плотно повязалась длинным розовым шарфом, голова ее стала как бы коконом, волос не было видно, и от этого лицо казалось еще моложе, почти детским — и одновременно четким, точно и остро прорисованным. Белый костюм тонкой шерсти, с почти мужским пиджаком и очень широкими брюками, на темно-красной коже сиденья сверкал, будто от него шел собственный, мерцающий в воздушном потоке свет. Она прикрыла глаза, потому что ветер выбивал из них слезы, и почти незаметно улыбалась — словно во сне, хотя рука ее все время двигалась, пальцы притрагивались то к моей ладони, то к запястью, почти не касаясь, скользили выше, под манжет рубашки, острые ногти чуть царапали кожу... Мои ангелы сидели впереди. Гарику почему-то оделся как летчик времен первой мировой, в кожаную куртку на меху, с большим воротником, перчатки с крагами, тонкий кожаный шлем, огромные очки, белый шарф был перекинут через плечо и горизонтально летел, выдуваемый иногда за борт машины. Гриша был в клетчатой английской кепке, в длиннейшем светлом пыльнике, давно погасшую огромную сигару жевал, перекидывая из угла в угол рта. Не сговариваясь, мы все сегодня поменяли цвета и стиль, словно замаскировавшись — я надел тяжелые альпийские ботинки, высокие носки с узором в ромб, брюки-гольф из толстого коричневого твида, из него же сильно приталенный пиджак с огромными карманами и большую кепку с наушниками. Желтые кожаные перчатки лежали рядом на сиденье, трость с ручкой, раскладывающейся в походный стульчик, и острым наконечником — на полу. Тридцатые, Швейцария, какой-нибудь одуревший от скуки международный скиталец, без особого интереса прислушивающийся к рассказам о том, что вытворяет этот комический человечек в Германии...

Гриша обернулся, прокричал сквозь ветер: «И можете говорить что угодно, но я вам дам теперь уже действительно вещь, хватит играть в детские игрушки! Передайте мой баул, Миша, будьте такой добрый...» Я подал ему брезентовый, с медной оправой докторский баул, стоявший между сиденьями. Порывшись в нем, Гриша вытащил, роздал нам — мне, Гарику — и сунул себе в карман одинаковые пистолеты, «кольты» одиннадцатого года, величайшее оружие века. «А барышне можно обойтись, —

проорал он, — я ж вижу, что ей это противно брать в руку, так не надо, у вас есть другие удовольствия, правильно я говорю?»

...Понемногу нас обступили окраины. Мы остановились, Гarik поднял верх — все равно попозже, когда на улицах появится больше машин и прохожих, мы начнем привлекать внимание, но в открытой машине будет совсем невозможно двигаться... Мимо уже летели грязные кварталы гетто, по тротуарам на роликовых досках носились смуглые дети в ярком тряпье, из открытых окон доносилась кавказская и азиатская музыка, нарядные семьи шли на прогулку: мужчина в хорошем костюме и, нередко, в чалме, женщины в национальных платьях — две, три, иногда и четыре, некоторые с закрытыми лицами, усмиренные бесчисленные дети. На углах, возле кофеен, стояли парни, все как один в зеленых военных куртках, пестрых кефайях, закрывающих поллица, в джинсах и дорогих кроссовках, они обязательно свистели вслед машине, один швырнул бутылкой от «кумыс-колы», но не попал.

Между тем мы, почти не снижая скорости, вырвались на широкий проспект, по сторонам которого замелькали вздымающиеся в небо шикарные, великолепно реставрированные многоквартирные дома. В этом районе любили селиться богатыестряпчие, присяжные поверенные с шикарной практикой, знаменитые врачи — из тех, кто предпочитал модный уже много лет стиль «сталиник эмпайр» и городское вечное оживление «дворянским гнездам» и покою пригородов. На тротуарах здесь было пусто, только уборщики в красных комбинезонах и фесках думской коммунальной службы помахивали метлами да дворник-гард в длинном бронефартуке и с револьвером в низко свисающей с ремня кобуре появлялся то из одного, то из другого подъезда, а по краю мостовой, громко цокая подковами и высекая искры из случайного камешка, ехал патруль — трое всадников в низких и круглых каракулевых шапках, в бриджах с голубыми лампасами, с нагайками, укрепленными в специальных гнездах седел. На голубых чепраках, покрывающих до половины крупы одинаковых, темно-гнедых лошадей, было вышито серебром: «Отдельный корпус народной жандармерии. Хамовническая часть».

Машин становилось все больше, мы уже ехали в сплошном

потоке, скорость пришлось снизить — над каждым перекрестком висел знак-ограничитель: «Не больше 30 верст в час. Машины нарушителей уничтожаются на месте». У каждого светофора приходилось подолгу стоять, хотя поперечного движения почти не было, красный горел минут по пять, при этом водители и пассажиры стоящих рядом машин давали себе волю — пялились на наше чудо, переговаривались между собой, доброжелательно нам подмигивали, показывали большой палец — мол, классная шутка, ребята, весело придумали, шикарная игра. Один парень быстро опустил стекло и высунулся из своих «жигулей-гран-туризмо» почти по пояс — это был явный северянин, скорей всего с Чукотки, плосколицый и узкоглазый, с плоскими черными волосами, стянутыми на затылке в хвост, весь в костяных и металлических амулетах, в красной майке с надписью «Нарофоминская консерватория театра и литературы».

— Эй, славяне, — заорал нарофоминский студент, — что рекламируете? Муви про банду Берии? Классная машина! Даю за нее свою жестянку, и ребята в консе еще будут вас месяц поить «бадаевским пильзнером»!

Тут светофор переключился, и малый быстро отстал, только в широком паккардовском зеркале еще долго видна была его машущая вслед рука.

Перед въездом на старый мост была, конечно, пробка. Мы закрыли все окна, в машине сразу стало невыносимо душно, да еще Гриша немедленно раскурил свою сигару... Она по-настоящему задремала, положив голову на мое плечо. Гарик обернулся, долго смотрел на нас, вздыхая несколько по-бабьи. Очки он поднял на лоб, кривое его, изуродованное лицо жалобно сморщилось.

— Если начнется стрельба, — сказал он тихо, — нам придется туго. Их жандармы и околоточные нажимают спуск без сомнений... Оставили б девочку дома...

— Вы же знаете, Гарик, — так же тихо ответил я, — без нее операция невозможна, это условие. Неужели вы думаете, что я потащил бы ее с собой, если б мог не брать...

— Ай, спуски-шмуски, — раздраженно перебил Гриша, — что вы устраиваете разговор из-за этих маминых поцов?! Гарик, я вам хочу рассказать, как мне говорил этот гоише тохес, Тай-

ваньчик, мы сидели с ним на брайтонском променаде на стульчиках, вот как с вами сидим, и он мне сказал: «Никакая оружия, Григорий Исаакович, не дает силу, силу дает злость, и если вы злой с ножиком, так вы и делайте их всех вместе со всеми их фэбээрами, компьютерами и «береттами» в подмышках». Что он был сволочь и хазер, так был, но что он разбирался в том, об чем говорил, так это тоже правда. А у кого сейчас больше злость, у нас на их прокисшую кашу или у всей это мешпухи на нас, с которых они смеются и получают удовольствие?

Очередь машин начала двигаться, мы уже въехали на мост, перевалили через его середину и увидели наконец, из-за чего образовался затор.

Перед старым, с потемневшей, некогда белой облицовкой правительственным зданием, занимая и часть моста, стояли демонстранты.

Их было человек полтора. Это были в основном прекрасно, дорого и со вкусом одетые люди средних лет, с интеллигентными и умными лицами, женщин было заметно больше. В общем их расположении, в позах и атмосфере, окружавшей толпу, более всего чувствовались непримиримость, ожесточение, неприятие всего и всех, находящихся за пределами их сплоченного, закрытого круга.

Над демонстрацией трепетали и выгибались под ветром узкие и длинные полотнища лозунгов.

«Будь проклято счастье на крови!» — было написано на одном из них.

«Не забудем, не простим!» — на другом.

«Здесь были убиты десятки тысяч. Мы отомстим за кровавый октябрь!» — на третьем.

«Позор власти, кастрировавшей народ!»

«Справедливость для всех и немедленно!»

«Армии — официальное существование, России — славу!»

«Хватит убийств! Наши сыновья не должны умирать за нефть!»

«Россия — Европа! Вон азиатов из Кремля!»

«Убийцу-президента на виселицу!»

«Долой искусственную историю! Русские, боритесь за истинно народный календарь!»

— Странные люди, — сказал Гриша. Он, не отрываясь, глядел на протестантов, на ощупь сунул сигару в пепельницу. — Странные люди... Вид приличный, а некоторые лозунги расистские и просто людоедские...

— А, что ты говоришь, а? — Гарик хлопнул обеими руками по баранке. — Слушай, поживите здесь, как они, да? Понюхайте сами, чем здесь пахнет, может, не будете так говорить... Или мы едем, чтобы оказать поддержку здешней власти? Или, может, я чего-то не понял, слушай? Правильно все написано, я считаю...

Машина медленно двигалась в потоке, объезжающем демонстрацию, мы уже почти миновали узкое место, когда со стороны центра, в проезде между старинным небоскребом из стекла и новым конторским зданием этажей в восемьдесят, показались всадники. Они приближались на рысях, уже было видно, что это конные жандармы в боевом снаряжении — лошади в противогазах и пуленепробиваемых пополах, верховые в легких латах, шлемах с зеркальными забралами, с ручными гранатометами у седел и нагайками в занесенных руках. Толпа бросилась в разные стороны, топчя транспаранты и флаги, часть побежала на набережную, по которой навстречу им уже скакал другой кавалерийский отряд, в папах и с шашками — видимо, казаки; другие повалили на мост, пробираясь между встречными машинами, но жандармы пускали лошадей в те же промежутки, настигали бегущих, и нагайки, рассекая воздух, опускались на плечи в дорогах пиджаках и пальто, на женские прически и мужские лысины, по лицам полилась кровь, яркая и прозрачная под холодным осенним солнцем.

Двое поравнялись с нашей машиной. В то же мгновение она распахнула дверцу со своей стороны, сжалась на сиденьи, поджала ноги, чтобы освободить место, и молча стала втаскивать спасающихся. Перегнувшись, я помогал ей, Гриша сдвинулся на широком переднем диване к Гарику — о, великие, классические американские машины, слава вам! — и втянул человека на свое место. «Двери, закрывайте двери, все!» — крикнул Гарик, одно-

временно втискивая автомобиль в открывшееся на секунду пространство между перилами моста и замешкавшейся шестидверной белой «чайкой-континентал», объезжая по тротуару вставшую на дыбы в автомобильной тесноте полицейскую лошадь. С треском опустилась плеть на нашу крышу, но толстая кожа выдержала, а Гарик уже съезжал с моста, резко выворачивая руль вправо, и, быстро набирая скорость, мчался по набережной навстречу негустому, к счастью, движению, сворачивая налево, в поднимающиеся к Кольцу переулки...

— Кто вы, товарищи? — женщина, втиснувшаяся на наше сиденье, с изумлением оглядывалась в машине. Это была средних лет голубоглазая блондинка с грубоватыми чертами лица, плотная, одетая чересчур нарядно для демонстрации — куртка из тонкой шведской кожи, такая же юбка, бант в волосах. — Кто вы и откуда? Спасибо, вы спасли нас от этих убийц, но вы рискуете. Вам известно, что с сегодняшнего дня демонстрации и любое участие в протестах запрещены?

Мужчина, поместившийся на полу между передним и задним сиденьями, молча смотрел на нас снизу. Его толстый черный свитер на плече был разодран, одно стекло в старомодных очках пошло трещинами, из угла рта на подбородок вытекла струйкой кровь. Женщина, вдернутая Гришей через переднюю дверь, обернулась, и меня поразило ее лицо. Очень молодая, очень красивая, восточного типа брюнетка, она переводила черные, как бы без зрачков глаза с меня на Гришу, потом посмотрела на нее, на ее белый наряд — и во взгляде ее отразилась ненависть, а рот искривился отвращением.

— В маскарадных костюмах, — хрипло сказала она, — в музейной колыхаге... Развлекаетесь, господа? Какие они нам «товарищи», — бросила она подруге, — настоящие буржуйские шуты, а-ар-р-тисты...

Я примерно представлял себе ситуацию и уже понял, какую компанию мы себе нашли. Кроме того, я понял, что и сегодняшний день для дела пропал, центр теперь оцепят, и операцию придется опять переносить.

— Будет действительно правильней, если вы станете обращаться к нам «господа», — заговорил Гриша, и я, как всегда, удивился непредсказуемости его переходов от местечкового гово-

ра к изысканным речам. — Кроме того, — он слегка поклонился в сторону своей соседки, — мы рассчитываем получить, хотя бы в ответ на наш рискованный жест, некоторую помощь с вашей стороны. В частности, если у кого-нибудь из вас есть такая возможность, окажите гостеприимство нам и нашей машине до тех пор, когда в городе все успокоится и мы сможем его покинуть. Конечно, мы могли бы сейчас вас высадить и сами искать выход из положения, но это не лучшая перспектива для всех нас — вы выглядите явно участвовавшими в конфликте, наш же автомобиль весьма приметен и, возможно, его уже разыскивают дорожная полиция и жандармы...

Гарик проехал в высокую арку и остановился в большом и пустом дворе, часть которого занимала поднятая над землей плоская, огражденная низкой балюстрадой крыша старинного бомбоубежища. Со всех сторон во двор смотрели сотни окон огромного дома, состоящего из многих секций, соединенных арками. Это был один из величайших памятников «гранд эпок», безукоризненно реставрированный и ставший фешенебельным жильем для модных артистов, художников, популярных музыкантов, зарабатывающих бешеные деньги, телевизионных звезд и просто богатых людей, имеющих богемные вкусы. На заасфальтированной крыше бомбоубежища несколько человек прогуливались с собаками, посередине стояли деревья в кадках и белые металлические стулья, как во французском парке, на одном из них, далеко перед собой вытянув ноги, дремал с газетой пожилой джентльмен в мягкой шляпе с опущенными полями и длинном песочном пальто, на других расположились молодые дамы, рядом стояли коляски и копошились дети.

Мужчина, сидевший в машине на полу, шевельнулся, кашлянул, голос у него был глуховатый, чуть надтреснутый, говорил он с характерными интонациями, как говорили многие мужчины московского художественного круга моего поколения и старше.

— Что же, вы правы... Однако с «паккардом» вашим будут трудности... Да и сами вы костюмированы... странно. Беглая киногруппа, а, ребята? Но вам везет, вам везет, ваш драйвер приехал сюда, будто знал или чувствовал... Давайте-ка по кругу, вокруг, вокруг этого памятника холодной войны... или сто-

летней, теперь все равно, все равно... По кругу, едем по кругу...

Мы медленно двинулись по периметру многоугольного двора, вокруг повторяющего его форму бомбоубежища. За третьим или четвертым поворотом странные слова нашего спасенного объяснились. В невысокой каменной стене убежища обнаружались широкие металлические ворота, выкрашенные темно-зеленой тусклой краской. Мужчина попросил Гарика остановиться и, с большим трудом разогнувшись, выполз из машины, мы оставались на местах, ожидая дальнейшего. Человек в рваном свитере подошел к воротам, имевшим такой вид, будто их не открывали по крайней мере со дня торжественного уничтожения последней бомбы, порылся в карманах, вынул связку ключей, долго выбирал один... Наверху, над нами, кричали дети, не умолкая ни на секунду, звучали веселые женские голоса... С усилием, но на удивление беззвучно, — значит, направляющие ролики регулярно смазываются, — мужчина сдвинул в сторону сначала одну створку ворот, потом другую и повернулся к нам лицом, жестом инструктора на посадочной полосе приглашая Гарика следовать за ним, в открывшийся темный проем. Теперь, когда он стоял на темном фоне и словно в раме, я хорошо рассмотрел его внешность. Седые волосы были подстрижены ежиком, лицо, несколько оплывшее, но с довольно правильными чертами, из-за брыльев казалось почти квадратным, и с ним хорошо сочетались очки в тяжелой темной прямоугольной оправе. Глаз за очками почти не было видно, тем более что одно стекло было в густой сетке трещин, но угадывался взгляд, уклончивый и пристальный одновременно.

Мы въехали в ворота, человек быстро и сноровисто их задвинул, и мы оказались в темноте абсолютной. Гарик включил фары, в их мощном прожекторном свете появился наш хозяин, и, вылезая из машины, хлопая дверцами, разминая ноги, мы сначала не заметили перемены в его виде.

Первым опомнился Гриша.

— Так делают лохов, — сказал он. — Смотрите здесь, нас исделали, как последних лохов.

В свете фар перед нами стоял человек, держа на весу тяжелый немецкий пулемет «MG», и раструб ствола медленно дви-

гался слева направо. Прогремела короткая очередь, зазвенели стекла — и тут же черноволосая красавица отделилась от нашей группы и стала рядом с мужчиной. Из-под широкой клетчатой рубахи навывпуск она вытащила длинноствольный револьвер, кажется, «рюгер», немислимо огромный и страшный в ее руках.

7

...Совершенно уже ничего не понимая, я сдирал с нее одежду, не представляя, чем это кончится, зачем я это делаю, для чего подвергаю этой пытке ее и себя. Соски ее, большие и твердые, ускользали из руки, густые волосы, заходящие далеко назад, пружинили и выпрямлялись под ладонью, она уже начала стонать, палец мой нашел наконец влажное и горячее, погрузился, поймал ритм... Стоны ее становились все громче, я повернул к себе ее лицо и попытался зажать ее рот своим, но она дернулась, почти оттолкнув меня, изогнулась, процарапала тонкими и острыми, как коготки птенца, ногтями по моей еще двигавшейся руке — и обмякла, чуть отодвинувшись.

Мы лежали на широком матрасе в комнате первого этажа, снова шумел ночной ливень, снова наверху кряхтел и гремел пружинами кроватной сетки Гриша, и Гарик, было слышно, время от времени вставал, тяжело треща половицами, ходил по своей комнате, был слышен звенящий щелчок зажигалки — не спалось и ему.

— Знаешь, я все-таки не могу их понять, — сказала она через несколько минут, когда и я уже почти успокоился, лег на спину, закинул руки за голову, под затылок, и она примостилась щекой где-то между моей грудью и животом, положила, закинула на меня маленькую и легкую ногу, глядя подошвой мои ступни. — Я не могу понять этого маниакального в них, этого стремления мстить за что-то даже во вред себе, этого чувства обиженности, ущемленности...

— Бешеные они, а не сумасшедшие, — сказал я, потянулся, стараясь не беспокоить ее, взял сигарету, закурил, отогнал дым, поплывший светлым облачком в редяющей темноте в сторону ее лица. — Бешеные собаки. И размышлять об их психологии —

все равно что размышлять о природе водобоязни, когда на тебя бежит бешеный пес, приближается морда в липкой, свисающей желтыми нитями слюне, чувствуется гнилое дыхание. Надо было сразу стрелять, а мы беседовали. Они же ведь были готовы убить нас всех. Если б не Гриша с Гариком... Хотя я согласен с тобой: сейчас и мне кажется, что это не идеология, а физиология...

Гриша и Гарик выстрелили одновременно, в то же мгновение и я поднял свой пистолет, левой рукой сильно толкнув ее, свалив на потрескавшиеся керамические плитки пола и падая сверху. Мои хранители планомерно опорожняли свои обоймы, в результате чего уже через несколько секунд все продолжалось в полной тьме, под сыплющимися сверху осколками ламп, только вспыхивала где-то в углу голубая дуга короткого замыкания. В ее вспышках возникали и исчезали как бы застывшие картинки, стоп-кадры из какого-то древнего боевика с перестрелкой в чикагском гараже.

Вот летит, почти горизонтально, Гарик...

Вот он уже лежит на сбитом с ног мужчине, а пулемет скользит, скользит по плиткам пола в сторону...

Вот катится по полу Гриша, падает, словно подрубленная под колени, красавица и взлетает вверх из ее руки револьвер...

Мужчина лежит вниз лицом, Гарик стягивает за спиной его локти своим шарфом...

Красавица сидит на полу, утирая кровь, текущую по лицу от садины на скуле, а Гриша возится в углу, возле рубильника...

Когда загорелись две случайно уцелевшие лампочки, первое, что я увидел, были светлые глаза женщины в замшевом костюме, полные безнадежной ненависти.

— Идите к ним, — сказал я, поведя пистолетом в сторону усмиренных, — идите к своим друзьям...

— Будьте вы прокляты, — прошептала женщина, — будьте вы прокляты, вечные победители, супермены, шлюхи, — женщина посмотрела на нее, — ничтожества...

— Миша, дайте даме поджопник, — гулко крикнул Гриша, — чтобы она не выступала, а уже вела себя! И давайте поговорим с этими мишугинер о дальнейшей жизни.

— ...Это не Россия, это не русские, и только в одном проявляется наша национальная традиция: в строительстве царства скуки мы дошли до края. Как всегда, мы переняли западные идеи поздно и довели их до абсурда тогда, когда весь европейский и американский мир уже был ими сыт по горло и начал жить по-новому, драматическая история, история, полная трагедий, катастроф, конфликтов, раскручивает там новый виток, а наша ожиревшая, дряхлая власть держит русское общество в болоте тупого, сытого обывательства. Это — преступление перед народом, перед отечественной историей, и мне было бы стыдно, если бы я приняла уничтожение человеческой души молча.

Светловолосая женщина перевела дух, чтобы продолжить, глаза ее сияли, грубое и немолодое лицо сейчас казалось молодым и очень привлекательным.

Мы сидели вокруг старого, колченогого стола, его белая пластиковая столешница была исцарапана, в одном месте на ней проступало глубоко вырезанное краткое ругательство. Семь полусломанных стульев, с металлическими, как и стол, ножками, с фанерными сиденьями в ободранной голубой краске, стояли неровным кругом. Мужчина слушал молча, разминая недавно развязанные руки. Восточная красавица смотрела с презрением, несколько раз пыталась перебить, потом застыла, брезгливо искривив губы. Гриша сидел далеко от стола, покачиваясь на задних ножках хлипкого стула, держа на коленях руку с тяжелым пистолетом, дымил сигарой. Гарик пистолет положил на стол перед собой, смотрел на блондинку, не отводя ни на секунду глаз. Мы сидели рядом, я обнял любимую за плечи левой рукой, правую, с пистолетом, перевесил через спинку стула — держать в дискуссии оружие на виду мне казалось неудобным.

Заговорил Гриша.

— Мадам, я извиняюсь у вас, — и старый еврей скорчил любезную, видимо, по его мнению, рожу, — и у ваших поделчиков, но это полное фуфло, дорогая мадам, весь этот ваш народ, извиняюсь, и эта ваша скучание, весь ваш базар. Что вы мне, пожилому человеку, будете говорить народ-шмарод? Народ хочет кушать и очень довольный, что кушать есть. Или вы будете ему рассказывать про жизнь и что он дурнее вас? Вот ваши русские сидят, — Гриша ткнул стволом в сторону мужчи-

ны и девушки, — так это просто хазейрим, по-русскому урки, а не народ. Или если я айд, а Гарик Мартиросович из армяшек, так мы уже не русские? Вы же интеллигентная дама, что вы гоните такую парашу, что людям стыдно слушать... Между прочим, очень приличный костюмчик на вас, а что было бы вам надеть, если бы не было в магазинах что купить?

— Жид... — прошипела красивая девушка и, плюнув на пол у своих ног, выпрямилась и с улыбкой посмотрела Грише в лицо.

— Вот видите, — закончил Гриша тихо и без малейшего акцента, — видите, сударыня, с кем вы оказались в одной компании. Неловко... Потом стыдно будет.

— Вы удивительно сильны в демагогии для такого темного человека, каким прикидываетесь, — мужчина, поправив очки, внимательно и остро посмотрел на Гришу, потом перевел взгляд на Гарика, на нее, на меня...

— Странные вы, господа... Не понимаю вашего маскарада, но, судя по всему, люди вы любопытные, занятные, не быдло... И при этом, очевидно, хорошо подготовленные для борьбы, может, даже для какой-нибудь специальной операции. Почему же вы не с нами? Неужели вас, — он обратился прямо ко мне, — и вашу прелестную подругу привлекает эта жизнь, животное потребление, унылая буржуазная мораль, тоскливая система запретов и разрешений, вегетарианская культура, гибель настоящего искусства, жестокое подавление и истребление, даже из сознания, величайшей человеческой идеи — идеи революции? Мне кажется, что вы, — он снова обратился прямо ко мне, — имеете какое-то отношение к искусству. Следовательно, вы не можете принимать этот мир, эту свиную кормушку, не можете не любить революцию, как художественный акт! Этот мир несовместим с нами, с художниками, артистами, музыкантами, писателями, с теми, у кого есть воображение и совесть, он вытесняет нас на края и так и называет — маргиналы. Но за нами есть наша сила, мы можем поднять людей против этого проклятого порядка и сами, наиболее сознательные и заинтересованные в разрушении этой мерзости борцы, можем пойти первыми на прекрасную гибель!

Треснутые очки съехали на кончик носа, и стало видно, что

глаза его — желтые, маленькие и совсем без ресниц, звериные, с ускользящим выражением. Гарик кашлянул, повернулся ко мне.

— Товарищ, конечно, горячится, да, — сказал он, — но надо же ответить, он же в чем-то прав, а? В наставлении по идеологической борьбе и дискуссиям без оружия, раздел «Дискуссии культурные, споры пьяные, сцены семейные, драки до крови и другое» сказано...

Я услышал, как она тихонько засмеялась, покосился — испуганно глянув на меня снизу вверх, она зажала рот рукой, сделала еще более круглые, чем обычно, глаза и скорчила, отняв руку, одну из своих детских гримас. Я подумал, что никакие идеи, никакие попытки изменить или спасти мир не стоят того, чтобы грустила эта маленькая женщина, полная живой жизни, легкая и веселая, почти всегда пританцовывающая, — утром она возилась на кухне, из моего приемника приглушенно вопил незабвенный Чаби Чеккер, она не видела, что я наблюдаю за ней, и вся ходила ходуном, стоя у плиты, вся ее игрушечная фигурка двигалась, как бы отрываясь от пола, тонко вибрируя, приподнимаясь, — чтобы она испытывала страх, и никакая моя любовь не искупает ее даже быстро проходящих страданий.

— Что ж, вы правы во всем, что касается понимания вашего и, если угодно, нашего положения, — сказал я. Мужчина усмехнулся. — О достоинствах и недостатках буржуазной цивилизации я с вами спорить не буду, скажу только, что никакой другой свободы, никакой другой демократии, никакой другой человеческой жизни, кроме буржуазной, не существует. Все попытки найти нечто другое, лучшее, кончались людоедской тиранией, истреблением людей, и в любом случае утверждались унижительная нищета одних и развращающая, убогая власть других. Если вам борьба за это кажется увлекательным и романтическим занятием, это ваша психологическая проблема. А что касается экзистенциальной тоски и маргинальности художника, — тут Гарик задавленно кашлянул, а Гриша радостно захохотал, — то в этом я, повторяю, абсолютно согласен, только считаю, что для таких, как мы, есть два пути. Вы хотите разрушить неприемлемый для вас мир, а я выбираю саморазрушение, и для этого есть много способов. Можно без оглядки и без остат-

ка погрузиться в страсть, — я крепче обнял ее за плечи, и она прижалась ко мне, — можно нырнуть в это, — я положил пистолет на пол рядом с ногой и, достав из заднего кармана высокую плоскую фляжку, крепко глотнул и пустил ее по кругу, и выпили все, — можно придумать еще многое, чтобы примирить себя с жизнью. Вы хотите развлекаться, ну и развлекайтесь. А большинство людей предпочитают сытую скуку — ну и оставьте их в покое. В моей последней из предсмертных записок я написал об этом...

Блондинка смотрела на меня с сочувствием.

— Какой примитивный вздор, — сказала она тихо, — какой вздор несете вы оба... Где же место душе в ваших бессердечных рассуждениях? Вы словно мертвые...

— И последнее, — продолжал я. — Вы правильно поняли, что нам не нравится нынешняя ситуация в нашей стране, она была моей, и ее, и их, — я двинул плечом в сторону Гриши и Гарика, — гораздо раньше, чем вы стали считать ее своей, — повернулся я к восточной сумрачной красавице. — Мы действительно хотели бы, чтобы она изменилась, но не собираемся устроить революцию. Есть другие, достойные приличных людей, способы... Потому нам и хочется здесь кое-что изменить, что страна движется именно в нужную вам сторону, их идеи всеобщего усреднения, сдерживания сильных и лести слабым, подавления всякого мужественного, агрессивного начала покончат с цивилизацией, лишат общество сил, и тогда-то, увы, и придет ваше время... Мы постараемся этого не допустить. Мы...

В следующие пять секунд последовательность событий, мне показалось, нарушилась. Например, сначала раздался выстрел, эхо загремело в уходящем в темную глубину плоском подземелье, и только потом я увидел, как смуглая красавица бросилась к моим ногам, схватила пистолет, перекатилась на спину, ствол спрятался в густых темных волосах, и прекрасное лицо исчезло, взорвалось, и кровь забрызгала мои брюки. Лишь тогда я услышал ее крик — будьте прокляты все, крикнула она, будьте прокляты все.

Я прижимал любимую к груди, рукой, плечом, грудью закрывая ее, не давая ей увидеть смерть... Гриша навалился на мужчину, закручивая его руки за спинку стула... Светловолосая

женщина легла щекой на стол, глаза ее закатились... Гарик уже стоял у машины...

Гриша запер ворота. Гарик усадил ее в машину, прикрыл Гришиным пыльником, — ее трясло, — держал фляжку у ее рта, было видно, как она глотает. Откройте, Григорий Исаакович, сказал я. Мы рискуем, Миша, сказал он, но тут же отпер и помог мне немного раздвинуть ворота. Я вошел в подвал и вывел оттуда волочащую ноги, ставшую почти старухой женщину. Светлые волосы и кокетливый замшевый наряд выглядели нелепо. Она неспособна донести, сказал я Грише, она не гадина, она несчастна. Вы правы, Миша, согласился он, мы довезем ее, куда она скажет, если она в состоянии сказать... Они обе плакали, и плакал я, и тряслись плечи вцепившегося в баранку Гарика, и Гриша глядел неотрывно в окно, и время от времени тер глаза тыльной стороной руки с зажатым в ней «кольцом». Темная, без фар машина неслась по пустому городу, черные силуэты банковских небоскребов Зарядья-сити, маленькие дворцы и садовые решетки фешенебельной Калужской улетали назад, свистел ветер на обстроенном отелями Варшавском тракте... Мы высадили женщину недалеко от Первого Большого Кольца, где-то в глубине Нового Царицына, у подъезда богатой резиденции в стиле поздне-имперского аскетизма. На прощанье моя любимая поцеловала ее... Теперь мы мчались по Большому Кольцу, низко заходил на посадку — казалось, над самой дорогой — огромный самолет, мигали близко в небе красные и голубые огни...

— ...Я знаю, знаю, — шептала она, и в свете яркой после дождя луны, проникавшем на веранду, я видел слезы, стоявшие в ее глазах, — я знаю, что это наказание мне, весь этот ужас, я всегда как бы подозревала, что такое бывает, но не со мной, понимаешь?

— Понимаю, — отвечал я и гладил, гладил ее волосы, прижимал ее к себе, пытаюсь обхватить всю, спрятать, укрыть, — понимаю, но, поверь, тебя не за что наказывать, просто ты попала в негодяйство, негодяйство выплеснулось, ты ни в чем не виновата, как не виноват человек, попавший в пожар, встретивший волков на лесной дороге...

— Нет, это все рассуждения, — шептала она, и слезы, лунные ночные слезы ползли по ее лицу, и уже плечо мое было мокрым от этих горьких слез, — я соглашаюсь с тобой умом, но чувствую, чувствую свою вину, я предала, я изменила, и это наказание, ты помнишь, что сказал тот человек со страшными глазами? Это только начало, эта кровь на вас, вы будете по горло в крови, которой вы так боитесь, сказал он, никуда вы не денетесь от крови, только я готов пролить кровь, а вы захлебнетесь в ней, дрожа от страха и стыда... Он был прав, мне страшно и стыдно, хоть бы что-нибудь сейчас случилось со мной, и кончилось бы это наказание, и ты был бы свободен от меня для твоих забот, для таких важных для тебя дел, наказана я, а страдают все, устала, ничего не хочу.

— Перестань, девочка, мой бедный ребенок, перестань, не казни себя, — повторял я, чувствуя все, что чувствовала сейчас она, понимая ее так, как никогда не понимал ни одного человека, ощущая, как прямо в моих руках она разрушается, как проклятая жизнь ломает, уничтожает это любимое, такое слабое рядом с моим тело, эту единственную нераздельно соединившуюся с моею душу, — перестань, любимая, ты ни в чем не виновата, только общий человеческий грех на тебе, и не казнь это твоя, а еще одно зверство этой подлой жизни, зло не в тебе, оно внешне тебе...

— Это наказание, — шептала она все тише, — это наказание, я точно знаю, — и я с ужасом думал, что мне не удастся ее удержать, она ускользнет от меня в это отчаяние и погибнет, тихо растворится в нем, и ничего не будет нужно, и пусть все идет, как идет...

Когда она затихла, и судя по дыханию, задремала, я услышал, как стукнула калитка и на крыльцо ступил кто-то крупный, шагающий тяжело.

8

Боже, подумал я, теперь, похоже, каждую ночь мы будем сидеть здесь, эта бесконечная бессонница нашей странной семьи никогда не прервется, мы будем говорить и говорить, и все уйдет

в разговоры, мы ничего не сделаем, но и ничего не проясним в нашей жизни, тем все и завершится.

Компания наша была неизменна, но нынешней полночью все выглядело необыкновенно официально. Все мужчины — и Гриша, и Гарик, и я — были в смокингах, только Гарик позволил себе такую вольность, как черная шелковая рубашка с распахнутым воротом, под которым видна была тонкая серебряная цепочка с крестом-распятием, а Гриша был в белой бабочке, как жених или дирижер. Она была в вечернем платье из темно-золотых кружев, с открытыми плечами и голой до поясницы спиной, и в туфлях из парчи, которые тут же, сев ближе к жарко дышащей печке, сбросила, поджала под себя, на кресло, ступни в кремовых чулках.

Гость же был во фраке, пластрон выпукло выгнулся, когда он сел, бросив трость, цилиндр и черную на белом шелке длинную пелерину в угол дивана.

Он был высок, усы, огромные и пушистые, смыкались с бакенбардами, черные кудри густо падали на лоб и спускались на плечи и спину — больше же почти ничего нельзя было различить в его лице, потому что не рассматривать его хотелось, а отвести взгляд. При всем этом, как я заметил, гость курил папиросы «Казбек», постукивая перед прикуриванием каждую о крышку с джигитом и горой и чиркая спичкой из коробка с аэропланом и экспортной надписью «Safety Matches».

— ...Вероятно, вы, — он адресовался непосредственно ко мне, — узнали меня либо по описанию вашей матушки, либо по собственному, простите меня задним числом, неприятному воспоминанию. Хотя тогда, помнится, я был в летнем флотском мундире... Как бы то ни было, вы, несомненно, уже поняли, кто я и, возможно, догадываетесь, какова моя роль в вашей жизни...

Я молча, чуть приподнявшись, поклонился. Он закончил:

— ...и кем я прихожусь нашим общим друзьям.

На этих его словах Гриша и Гарик встали и вытянулись, как положено офицерам без головных уборов в присутствии старшего. Пришелец раздавил папиросу в плоской вазе, служившей нам пепельницей, взял свой бокал с почти неотпитым и уже выдыхающимся брютотом, глотнул... Мой приемник пел, естествен-

но, мужественным саксофоном Маллигана, прыгал и метался газовый огонь за приоткрытой дверцей печки, и я вдруг, ни с того ни с сего, пришел в чудесное состояние счастья, уверенности, что все будет хорошо, что жизнь продолжится радостью, успехом, что она будет любить меня, и я буду ее любить, и другие люди не станут мешать нам, примирятся с нашей удачей, в долгой дороге пустое шоссе будет бросаться под колеса, путь продлится, мы грустно обнимемся, и ощущение бесконечного начала обманет и утешит нас, опьянение не отпустит, синий газовый огонек бездумного наслаждения, сгорающая минута обнимут и понесут, мы соединимся, не погубив никого, и так завершим дорогу, и в конце концов все искупится прекрасным финалом. Долго и счастливо не бывает, но возможно — в один день.

— Итак, я пришел, чтобы еще раз объяснить вам, ради чего была вся затея, — сказал он. — Все минувшее лето я пытался предупредить вас, я хотел, чтобы грядущие хлопоты и страсти не оказались для вас неожиданными, чтобы вы отдавали себе отчет в том, на что идете. Вас, мой друг, предупреждали: будьте осторожны и сдержанны, не заводите новых знакомств, не рискуйте, потому что каждому назначен час, и ваш наступил. Знаете ли, так бывает несколько раз в жизни: в раннем отрочестве, на исходе молодости, в вершине зрелых лет, на пороге старости... Более или менее безболезненно вы миновали почти все. Даже, сказал бы я, удачно: за каждым перевалом дорога становилась все шире, все больше приобретений ожидало от поворота к повороту, да и потери становились приобретениями, благо так уж вы устроены. Но последний срок всегда самый опасный, потому я и приложил столько усилий, чтобы остеречь вас. Я посылая вам письма и передавал через знакомых нам обоим дам на словах, я просил моих друзей и помощников, — он развел руки, указывая на Гришу и Гарика, — сделать, что возможно. Увы... Ведь и сами же знали последствия, справедливо однажды заметив, что знание последствий и есть старость, не придали, тем не менее, значения тому, что знали — и вот, будьте любезны, результат. Женщина, которую любите, как ни одну прежде — куда ж вы ее влечете, в какие беды, что ее ждет? Бедность, ваши болезни, бессилие и безнадежность, а ведь она не сможет бросить вас, не такова... Миссия, которая вам не по силам, кото-

рую вы, скорее всего, не исполните, но намучаетесь сами, измучаете друзей и любимую, смутите ложными надеждами многие человеческие души. Ну, надо ли вам было все ломать тогда, в июле, бросаться в новые связи и отношения, собирать всех любящих вас женщин, испытывать терпение ваших хранителей, да и мое, заставлять нас тяжело трудиться, находя вам спасение в таких историях, в которых вам и оказываться-то никак не следовало. Что, мало вам было родиться, на кирку не сесть, от спирта не задохнуться? Мало, что ли, вы уж извините, возился я с вами, и для чего? Единственно для того, чтобы не прежде времени, а именно в назначенную минуту явиться за вами, призвать, как у нас говорится, трубным гласом и, так сказать, огненным мечом указывая путь... Ну-с, и так далее. Что же вы-то себе позволяете? Пьете до полусмерти, в любую дамскую историю бросаетесь, голову очертя, ни себя не бережете, ни других не падите. Итог: женщину прелестную тянете в авантюру, у самого печень в клочья и сердечная одышка, ангелы мои с пистолетами забегались, как какие-нибудь придурки-полицейские из плохого боевика, да и я сам оперетту тут с вами разыгрываю, того гляди за такие штучки не то что очередного звания не присвоят, а и вообще чина архангельского лишат...

В полном противоречии с вполне культурной своей речью, лишь к концу сбившейся на старшинское рывканье, он плюнул на пол и растер подошвой лакированной бальной туфли.

Все тяжело молчали. Конечно, была в его словах и немалая правда, и потому мне стало действительно стыдно и перед ним, и перед смущенными — вероятно, оттого, что весь разговор происходил в их присутствии, что со стороны шефа было бестактно — моими ребятами, и перед нею, уже, как обычно, начавшей было дремать в тепле, но к середине гневной речи гостя проснувшейся... Она-то неожиданно и ответила обличителю, с этого ответа и начался конец всего плохого.

— Каждый сам выбирает свою жизнь, — сказала она и, сделав большую паузу, прикрыла глаза, опустила веки, придав лицу скорбное, безнадежное выражение, как всегда, когда съезжала на свою болезненно-любимую тему, о фатальности наказания. — Сам выбирает и расплачивается... Но с тем, что вы говорите, я не согласна, никак не согласна. Вы предупреждали его,

он и сам, вы правы, знал о последствиях, но зачем же вы в таком случае — ведь вы же? или есть кто-то старше вас? не думаю — зачем вы все это затеяли? Зачем вывели его из дома, дали чужое имя, чужой паспорт, привели ко мне, зачем создан он таким, какой есть? Вы испытываете его, я понимаю... Но, извините, мне кажется, что это совсем бесчеловечно, жестоко и — она положила руку на мою ладонь, слегка поцарапала ее ногтями, болезненно и грустно улынулась мне — и даже неблагоприятно. Извините, пожалуйста... Вы же знаете его, знали, что он обязательно вяжется в эту историю. Время от времени я задумываюсь об этом — и не могу, никак не могу понять, почему именно с ним и со мною случилось такое. Почему мы любим, полюбили друг друга так сразу, почему нам так необходимо спасти этот вполне счастливый мир от счастливого идиотизма, ведь люди, которые здесь живут, совсем не нуждаются в том, чтобы им открывали глаза... Все могло бы быть по-другому, идти, как шло. Я бы оставалась тихой домашней хозяйкой, он продолжал бы свою беспутную, но, в общем, безопасную, обычную жизнь стареющего бабника, вы трое, или сколько вас, я не знаю, присматривали бы за ним, раз уж вам положено о нем заботиться. Но ведь сами же подтолкнули на риск, свели с любовью, а теперь отчитываете. Не могу понять вашей логики, чем больше думаю, тем хуже, просто крыша едет, извините... И вот только сейчас начинаю, кажется, что-то понимать. Вы говорите о какой-то сдержанности, последовательности, а поступаете так же, как и мы — сплошные противоречия, так же мучаетесь, ищете выход, загоняете сами себя в угол. Вам так же невыносима жизнь без событий, как и нам, в вас слишком много, мне кажется, человеческого, и поэтому вы спускаетесь в наш мир, вы ругаете его, воюете, страдаете... Потому же и мы хотим изменить здешних людей, разучившихся страдать. Я поняла: мы делаем одно и то же, и все это — наше общее испытание, и, мне кажется, я догадалась, зачем вы его отчитывали. Чтобы проверить, не откажется ли он от миссии, от жизни? Поверьте мне, за эти пять дней я узнала его лучше, чем, может, вы за всю жизнь, потому что было еще... были еще пять ночей... Он не откажется, как бы ему ни было тяжело, страшно, противно, что угодно. Он всегда хочет красиво выглядеть, и потому не предаст, не бросит меня,

вас, их. Он, быть может, слабый, трусливый, несчастный — но живой. Иначе вы не были бы с ним, правда?

Она замолчала, и, на шарив и надев туфли, обошла мой стул, встала сзади, положив руки мне на плечи, и я потерялся отросшей к вечеру щетиной о тыльную сторону ее правой ладони.

И все молчали. Каждый занялся каким-нибудь как бы необходимым делом. Гриша, например, вытаскивал из-под своего кресла и ставил на стол одну за другой бутылки — французское шампанское, греческий коньяк, шведскую водку, скотч, бурбон, настойку «Стрелецкая» воронежского разлива и «Портвейн розовый» Нижнетагильского ордена Ленина химкомбината. Гарик вынул из подмышечной кобуры любимый «ТТ», выдернул из нагрудного кармана шелковый платок, разложил на коленях и в одну минуту произвел неполную разборку, чистку и смазку оружия в полном соответствии с пособием «Уход за личным оружием в условиях вечеринки, дружеских бесед, выяснений смысла жизни и других». Гость же, и без того в своем фраке, усах, бакенбардах и кудрях похожий на фокусника, взял свою трость и начал ее задумчиво крутить — но так ловко, что черная с серебряным резным набалдашником трость вращалась, как пропеллер, образуя в воздухе прозрачный круг.

Тут же пришли и звери. Спрыгнула со шкафа на стол, со стола на мои колени, свернулась и немедленно заснула кошка, и ее шерсть всех трех цветов, конечно же, сразу облепила мой черный наряд. Явилась и собака, и легла посередине комнаты на бок, вытянув в сторону лапы так, чтобы ее было невозможно обойти, и тоже сделала вид, что заснула, и даже вздохнула во сне.

— М-да... Умная девочка... — наконец проговорил негромко ночной визитер. — Умная и хорошая девочка, да еще и красавица. Вам повезло. Всегда вам везет, за это иногда и расплачивается. Впрочем, что мне в вас нравится — вы не отказываетесь платить... Однако я отвлекся, вычитывая вам нотации, на что мне справедливо и указала милая дама, а цель-то моего посещения я назвал в самом начале: напомнить вам о сути, смысле всей экспедиции. Собственно, это уже сделано, и сделала это, опять же, наша очаровательная подруга. Вы должны научить живущих здесь и сейчас страдать, показать им ужас и муки,

окружающие их, которых они и сами не хотят видеть, да от них и скрывают. План остается прежним — вы вторгаетесь в компьютер ЦУОМ...

— Простите, — перебил я его, — есть несколько вопросов, и мне бы хотелось, чтобы вы ответили именно на них. План в целом ясен. Но я не понимаю, для чего в деле должна участвовать она? Слабая женщина, к тому же постоянно мучающаяся сомнениями, по любому поводу обвиняющая себя во всех грехах, неуверенная... Она тоскует по семье, я же вижу это, любит и меня, и своих близких... Зачем она появилась здесь?

— Вы не умеете слушать, — господин во фраке недовольно поморщился, — ну, да что поделаешь... Отвечу коротко: без нее вы не сможете ничего сделать, понимаете, ничего вообще. Вы, надеюсь, исполняете приказ о воздержании?

— Ну... в большей или меньшей степени... — ответил я, чувствуя, как дрогнула и вцепилась в мое плечо ее рука.

— Это необходимо соблюдать неукоснительно, — сказал господин строго, — и на конечном этапе вы, — он обратился к Грише, — должны будете объяснить, почему, и дать последние указания...

— Или! — ответил Гриша не по уставу, и через секунду гость наверняка пожалел, что включил старика в беседу. — Или! Можно подумать, что Гриша не помнит своих забот, чтоб вы так помнили об Грише, как он помнит! И я вам скажу как пожилой человек, эти мальчик и девочка так влюблены друг в дружку, что их ничему не надо будет учить, я вам уверяю. Мне даже неудобно вам учить, вы же умный человек, но я вам скажу, что вы говорите глупости. Когда уже дойдет до дела, так эти двое справятся без нас с вами, и тот сраный, извиняюсь у дамы, компьютер будет как миленький делать наше с вами дело. И об Грише не беспокойтесь, я еще никого не подвел, и вас не подведу, и присмотрю за молодыми, если не забуду, конечно, потому что в жизни все бывает... и я вам должен предупредить, что здесь таки стреляют, и кто будет отвечать, если, не дай Бог, что-нибудь? Один пожилой аид и один армянчик — это, по-вашему, дивизия? Гриша стреляй, Гриша не стреляй, Гриша иди туда-сюда, а у мне только две руки, между прочим!

— Не паясничайте, рабби, — сказал гость хмуро, — лучше налейте-ка...

Гриша немедленно открыл бутылку поддельного польского «наполеона» и, по своему обыкновению, налил полную чайную чашку, которую гость, все так же хмурясь, выпил одним глотком. Между тем, Гарик откашлялся, сунул под мышку собранный пистолет и заговорил в свою очередь.

— Фары побиты, зажигание надо делать, как ездить, а? У меня все категории, я с шестнадцати лет за рулем, а у них здесь только девяносто шестым заправляют, так, а «паккард» серьезная машина, ему на девяносто шестом ездить, как нам ситро пить, да? И фары побиты. «Устав автомобильной, тракторной, бульдозерно-велосипедной и иной службы» что говорит? Он говорит так ездить?

— Надоело, — рявкнул тут фрачный господин, — я, что ли, жестянку вашу ремонтировать буду! Фары заменить, зажигание отрегулировать, а бензин надо было свой брать, в канистрах... Как дети.

Гриша и Гарик смотрели в стол. Господин же мило улыбнулся ей, подмигнул мне, будто и не он только что орал на подчиненных, и поднялся, взяв цилиндр и накидку.

— Что ж, пора, — произнес он и, широко распахнув дверь, ступил на крыльцо, остановился в проеме, оглянулся...

Солнце уже вставало, ночью, возможно, были первые заморозки, поэтому воздух стал прозрачен, и яркий свет восхода пронизывал его, и фигура ушедшего была окружена этим светом.

— Мой вам совет, — он посмотрел на нее, перевел взгляд на меня, — не думайте о логике, о причинах и целях, о следствиях и путях. Вот мы просидели ночь, беседовали, пили, несколько красивых живых существ, в тепле и уюте... Зачем же искать объяснения этой прелестной картине, для чего нагружать ее смыслом и значением? Да, кстати: что это, господа, вы все в черном, нам так не подходит...

С этими словами он вывернул свою пелерину белой подкладкой наружу, укрылся ею весь и шагнул с крыльца в солнечный свет, и лакированная трость в его руке под этим светом засверкала, вспыхнула оранжевым огнем.

Все затянулось до такой степени, что казалось — никакой другой жизни не было и не будет, так и останемся мы нашей странной компанией на этой призрачной даче, четверо костюмированных голливудских статистов из третьеразрядного боевика не то о «стреляющих двадцатых», не то о «свингующих сороковых». Вечно будет чистить свой музей оружия и нести чушь с комическим акцентом Гриша, вечно будет бесшумно бродить по комнатам или прогревать перед гаражом мотор очередного рыдвана сумрачный Гарик, каждую ночь будем мы с нею изводить друг друга неудовлетворимым желанием, а днем будем все колесить по веселому, богатому, чистому городу, дрожа от страха, проезжать мимо доброжелательно подмигивающих полицейских, бродить среди спокойных, приятных людей, вовсе не жаждущих, чтобы мы их наконец спасли от неведения, совсем не мечтающих позвать добро и зло — им вполне хватало добра...

С утра уборщики в желтых комбинезонах уносили в черных пластиковых мешках уже начавшие темнеть под ночными холодами и дождями разноцветные листья с лужаек, газонов и широких светло-серых плиточных тротуаров. По аллеям Бережковской, Смоленской и Пресненской набережных, мимо бесконечных рядов припаркованных колесами на обочину машин с мокро блестящими крышами бежали джоггеры в высоких кроссовках на толстенных подошвах, в расписанных рекламами «Колы-квась» и «Мавзолей клуба» фуфайках, в городошных кепках, повернутых козырьками назад. На перекрестке уже обосновывались шестеро длинноволосых, в невероятном цветном тряпье, разворачивали плакаты «Секс вдвоем — это агрессия! Прекратите войны в постели сейчас!» и «Обладание другим человеком — отвратительное насилие! Онанисты, будьте гордыми!» Это начали очередную демонстрацию сторонники равных прав для моносексуалистов, борющиеся за выставление своего кандидата на очередных президентских выборах. Тут же на столике была разложена выходящая в излюбленном моносексуалистами Лубянском околотке радикально-левая и авангардно-культурная газетка «Дрочила нюс». Редкие в этом районе даже днем, а утром тем более,

прохожие, смотрели на протестантов без малейшего интереса, как на пустое место — всем было известно, что никакого секса это активное меньшинство давно уже не практикует, как и все остальные, собственно, а просто пытается привлечь внимание к своим произведениям и идеям. Моносексуалисты были в основном художниками, музыкантами и поэтами социалистических взглядов.

На Арбате клубилась международная толпа, окружавшая то одного, то другого интернационального же артиста. Толстый до изумления африканец огромным, самостоятельно живущим брюхом рвал цепи и валил на землю желающих. Узкоглазый оркестр домбристов в войлочных островерхих шапках играл нечто народное, слегка ритмизированное, вокруг приплясывали под чрезвычайно модную в этом сезоне среднеазиатскую музыку молодые люди в коже, в металле, в джинсах, в широких и толстых клетчатых рубашках. На урне застыл, изображая манекен, японец, загримированный и одетый Лениным из популярной комедии «Маленький большой мужчина», только что прошедшей по всем экранам и сделавшей небывалую кассу.

Мы в который уже раз ехали к Страстной площади все с той же целью. Сегодня Гарик сидел за рулем бежевой «победы», чуть отросшие черные усики были тонко подбриты, черный набриолиненный кок отливал вороненой сталью. Гриша рядом с ним выглядел необыкновенно солидно в зеленой велюровой шляпе, в толстом, с сильно наваченными плечами пальто из коричневого ратина, с изжеванной и погасшей папиросой в углу рта. Она была в маленькой шляпке, полумесяцем охватывающей прическу из коротких кудряшек, чернобурка мягко и свободно лежала на плечах осеннего жакета колокольчиком из голубовато-серого бостона. Я надел, как всегда, любимый габардиновый макинтош, усы же подбрил и подстриг короткой щеточкой, по-английски. В результате вся компания выглядела возвращающейся с бегов или из кафе «Националь», тем более, что в довершение сильные запахи коньяка «КВВК», бутылку которого Гриша разлил на всех перед выездом, и отличных, из того еще «Арагви», сациви, лобио и жареного сулугуни, которые он выставлял для закуски, наполняли машину. Гарик включил приемник, и голос Александровича прелестно смешался с ароматами

кавказской трапезы и немного пыльных ковровых дорожек, которыми были прикрыты сиденья. Вернись в Сорренто, предлагал певец, и мне так захотелось вернуться в этот, гори он огнем, Сорренто, и остаться там с нею навсегда, как, собственно, и в любом месте с нею, пусть будет Сорренто, и забыть все, никогда не видеть и не слышать никого, с кем прожил всю жизнь до встречи с нею, жить себе и жить в Сорренто, сколько там осталось, зарабатывая на кусок хлеба, предположим, пением этой самой песни, причем по-русски, для добрых туристов...

На Триумфальной площади, у памятника Маяковскому, тоже митинговали моносексуалисты — или «пацаны», как они сами себя называют. Но здесь же был и второй митинг, гей-националистической партии. Митинги страстно ссорились между собой, в открытые окна машины доносились вопли: «Педрилы вонючие! Не примазываетесь к национальной идее! Русский человек должен сам себя любить!» «Онанисты! Дрочилы! Неоделки! Руки-то не устают?» При этом «голубые» поднимали огромное знамя соответствующего цвета, но с двуглавым орлом — правда, головы смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с выражением нежности. Кроме знамени над небольшой их толпой возвышался также портрет необыкновенно красивого юноши с выпуклыми, как бы фарфоровыми глазами и со множеством сережек в ушах — одного из классиков движения, активно писавшего в конце минувшего тысячелетия скандального публициста. В свою очередь, сторонники полной самодостаточности и сексуального суверенитета личности поднимали над головами тоненькие, карманного формата книжечки — полное собрание сочинений автора, жившего примерно в одно время с фарфоровоглазым, но воспевшего одиночество в автобиографическом труде, рассказывавшем, как именно он любил сам себя.

Гарик тут был вынужден затормозить, пробираясь среди добродушных зевак, рассматривающих из-за желтых лент полицейской линии забавных чудаков. Я заметил, что чуть в стороне проходит еще одна демонстрация. Ее участником был единственный человек, средних лет мужчина в классическом костюме и безукоризненной белой рубашке со строгим галстуком. Он держал небольшой плакатик такого содержания: «Прекратить сегрегацию белых гетеросексуальных мужчин! Мы тоже человече-

кие существа!» Как раз когда наша машина проезжала мимо, к упрямому реакционеру подошел полицейский и начал строго проверять документы — видимо, разрешение на манифестацию. Тем временем два враждующих митинга начали переходить к рукопашному, правда, вялому выяснению отношений, но полицейский даже не обернулся...

Мы свернули на Тверскую. По тротуарам шла публика, которую всегда можно увидеть на этой самой шикарной улице мира. Здесь были прекрасные молодые семьи, с тремя-четырьмя детьми, с легкими колясками или рюкзаками для переноски младенцев, одетые просто, небрежно, но очень дорого — в джинсах «верев всадник», в красно-белых спортивных куртках и фуфайках «спартак чемпион», в прогулочных туфлях «скороход супер», стоящих, как приличное брильянтовое кольцо... Спешили на ранний коктейль пары средних лет — он в обязательном смокинге, она в норковой шубе со специально неокрашенными ромбиками на левом плече и правом рукаве, подтверждающими для «зеленых», что мех, упаси Боже, не натуральный... Высаживались из наемных шестидверных лимузинов «чайка де люкс» гуляки в блейзерах, с пестрыми фулярами под распахнутыми воротами рубашек, с ослепительными двухметровыми скандинавками, цветоподобными филиппинками и элегантными, как сам лимузин, нигерийками — всех их на выбор предлагала лучшая международная фирма эскорт-сервиса «Тургеневз герлс инк.»... На углу Благовещенского переулка играл прекрасный, высокопрофессиональный дуэт: высокий, тонкий, пританцовывающий темнокожий балалаечник и грузный, немолодой, с седой косицей, с простоватым лицом волжанина саксофонист. Они играли старинные песни и как раз перешли от «Русского поля» к «Yesterday». Монеты непрерывно падали в пластиковый стаканчик, стоявший перед музыкантами на асфальте... Из маленького, но знаменитого на весь мир бара за углом вышел популярнейший артист, только что сыгравший главную роль в фильме — сенсации года — «Любовник президента», огляделся по сторонам, как бы поправляя платочек в нагрудном кармане, но, не встретив ни одного узнающего взгляда, оскорбленно прыгнул в открытую «оку спешал спорт» и унесся в сторону Бронных...

Мы поравнялись со знаменитым магазином электроники

«Поповъ», когда на мостовую ступил полицейский, поднял ладонью к нам руку в белой перчатке и улыбнулся — мол, извините, ребята, не моя воля, я бы вас пропустил, но... Гарик прижался к тротуару и выключил зажигание. Позади нас, сколько можно было видеть, до самой Александровской площади и дальше уже стояла бесконечная плотная лента машин, хлопали дверцы, люди выходили и, оживленно переговариваясь продолжали путь пешком.

— Делают, что хотят, — сказал Гриша. — Вот это мое айдыше счастье, если мне надо по делу, так у них народное гулянье...

Мы тоже вылезли из машины и двинулись к площади пешком.

— Офицер, что-нибудь случилось? — поинтересовался я, проходя мимо полицейского.

— Случилось, приятель, конечно, случилось, — радостно откликнулся двухметровый малый с детским лицом, поднося руку в белой перчатке к лакированному козырьку. — Случилась хорошая погода, а в хорошую погоду мы советуем людям пройтись... Хорошо смотрите, ребята! Классный маскарад, и машина, и вообще... Прямо со съемок? Или будете что-нибудь показывать на площади?

— Будем показывать, — она улыбнулась так, что, сложившись пополам, чтобы лучше видеть ее сияющее лицо, полицейский даже чуть отшатнулся, как от вспышки. — Освободитесь, приходите посмотреть, хорошо? Я буду рада... — Она сделала паузу, за которую сердце бедного парня успело подпрыгнуть и остановиться в его глазах, и закончила: — ...и мои друзья тоже.

Интересно, подумал я, почему она так легко заговаривает с первым встречным и так упорно молчит со мной, и просит меня не говорить, ей кажется, что я говорю слишком много, пытаюсь все поместить в слова, и потому все порчу, искажаю, она же молчит, закрывает глаза, только прижимается тесно... Может быть, она меня и не любит, подумал я, но, безусловно, относится по-другому, чем ко всем остальным, ко всему миру. Она кокетничает со всем миром, подумал я, что ж, вероятно, она достаточно болезненно пришла к этому способу выживания, единственно возможному для такого слабого по сравнению с миром существа.

Жизнь, подумал я, научила ее ласково улыбаться, а не скалиться угрожающе, она побеждает, поддаваясь — и острая, горькая ревность на секунду заполнила меня всего, пока полицейский, согнувшись в три погибели, отдавал ей честь, заглядывал в глаза и бормотал, что после дежурства, конечно, сударыня, я найду вас, это не проблема для нас в полиции — найти кого-нибудь...

На Страстной народу было полно, но не тесно. Посередине площади маршировал, непрерывно перестраиваясь, духовой оркестр, впереди, танцуя, подбрасывая и ловя оперенные жезлы, шли девушки, тамбур-мажор взметал свой гигантский, тяжелый, в эмблемах и колокольчиках тамбур, тамбур повисал в воздухе, а фокусник ловил его, сделав пируэт. От центра на движущейся платформе приближалась группа, застывшая в живой картине: они изображали самый известный эпизод истории страны. Седой человек с грубым лицом сидел за большим письменным столом и, свесив голову, спал, а вокруг стола стояли трое, один из них что-то говорил в трубку стоявшего перед седым телефона, другой, склонившись, подписывал какой-то документ, третий, обернувшись к зрителям, просто стоял — выпятив грудь и скрестив на ней руки, высокомерно вскинув голову. Все знали, что изображают артисты, тем не менее, на откинутах борту платформы, выкрашенной в национальные цвета, была крупная надпись: «Отстранение от власти. По картине академика Плясунова». Толпа заплодировала, группа медленно проплывала над нею.

— Атасно сделано, да? — Парень обращался к нам, обвиняя за плечи девушку, оба восхищенно смотрели на артистов. Притиснутые к нам толпой, они жаждали поделиться с ближайшими своим патриотическим чувством, своей любовью, молодостью, радостью от хорошей погоды... — А у вас тоже какой-нибудь прикол? Что будете показывать? Из «Банды Берии», я секу, нет?

Они все просто помешались на этом вполне посредственном триллере, на этом старом жаргоне, подумал я, и неопределенно, но, конечно, с улыбкой кивнул парню, отчего он уже окончательно расплылся, радостно и с восхищением замотал головой, взлетела его длинная косица и зазвенели две сережки в левом ухе. Девушка, чрезвычайно коротко стриженное и, видимо, бес-

словесное создание, прижалась к его плечу, пытаясь подняться на цыпочки и даже подпрыгнуть, чтобы лучше видеть удаляющуюся над толпой историческую картину.

...Они правили страной втроем меньше года, и сумели добиться того, что всегда и везде становилось началом процветания — они разрушили все до конца. Кошмар, творившийся даже в самые последние дни перед их приходом, когда седой человек уже не выходил из запоев больше, чем на неделю, когда стреляли по всей стране, когда начал исчезать хлеб, — этот кошмар показался покоем и процветанием. На пустом месте, на руинах появились такие авантюристы, по сравнению с которыми сам дьявол был младенцем. И началась новая история, и через каких-то пятьдесят лет установились мир, богатство, порядок, и уже казалось, что так было всегда. Осталась легенда о «Великом Отстранении от Власти», уверенность, что возможна только такая жизнь, в которой ничего не происходит, и что так живут все, кто хочет жить нормально, весь мир, а те, кто живет иначе, сами выбрали свою судьбу и, значит, им не нужны мир, еда и спокойствие. Впрочем, где живут такие люди, как они живут и что думают о Республике России, самой богатой стране мира, никто особенно не интересовался...

— А чего, брателла, пошли в «Быстрые пельмени»? — Парень просто лопался от доброжелательности, от радости жить. — Я ставлю, серьезно! Пошли!..

Совершенно неожиданно инициативу решения взял Гарик.

— Спасибо, брат, за уважение, да? Только я ставлю. Слушай, я старше, значит, надо уважать... По инструкции «Случайные спецзнакомства...» — но тут Гришей был нанесен, видимо, достаточно ощутимый удар, потому что Гарик замолчал, изумленно воззрившись на старика и, абсолютно не заботясь о связности, закончил: —...посидим, поговорим, как люди, — и пошел впереди, легко раздвигая толпу, впрочем, охотно и старательно пропускавшую нас, улыбавшуюся, подмигивавшую. Если люди пробираются в такой тесноте, значит, им нужно — в России уже давно извинялись перед толкнувшими и уступали дорогу спешащему.

Над восемьдесят четвертым этажом Центра Управления Общественным Мнением бежала горящая строка новостей. В Петербурге задержаны торговцы наркотиками, они ввезли в страну несколько килограммов почти чистого холестерина... Кинозвезда и сверх-модель бросила вызов обществу, заявив, что безопасный секс отвратителен. Однако она признала, что никогда не пробовала какого-нибудь другого... «Нижегородские тигры» разгромили «Смоленских чудовищ» и теперь возглавляют таблицу национальной лиги лапты... Концерт величайшей группы «Дети Контрацепции» в лучшем зале города «Чайковский»... Наводнение в Канаде, голод в Чехии...

Стеклянный колпак над памятником, похожий на прозрачный карандаш, уже был подсвечен, его грани сверкали, в них отражалась толпа, сам памятник был почти не виден. Справа возвышался темный, гранитный, с маленькими окнами, длинный шестизэтажный фасад основного конкурента ЦУОМа — либеральных, радикально-консервативных, авангардно-реакционных «Ведомостей», издающих десятки газет, бюллетеней и журналов, общий тираж которых не поднимался выше тысячи-полутора. Напротив «Ведомостей» стоял нетронутый очень старый дом, казавшийся крошечным среди небоскребов, окружающих площадь. Но скульптура, установленная на его крыше, отчасти уравновешивала картину. Это была каменная девушка, стоящая на ротонде, — когда-то ее предшественницу сняли, но, восстанавливая старину, строители постарались, и новая девушка была впятеро больше старой.

А мы пробирались к четвертому углу площади, где горела, светилась изнутри прозрачная призма «Быстрых пельменей», над которой поднималось самое большое в городе конторское здание, получившее собственное имя в честь легендарного мэра: он разрешил строительство за самую большую из зафиксированных в истории взяток.

— Не знаю, не знаю, — сварливо бубнил Гриша за моей спиной, — если человеку не нравится хорошо жить, так пусть себе живет плохо... А если мне нравится, так оставьте пожилого человека у покое... Им надо знать правду, им надо? Так пусть знают, я не против, я все исделаю, как велели, они узнают эту паскудную правду. Но одно дело ее знать, а другое дело из-за

нее здесь все погромить и головы друг другу пооткручивать... Что, я не прав, Миша?

— Вы правы, рэб Гриша, — сказал я, не оборачиваясь, — хотя я не все понял. Но головы откручивать не надо, это точно.

10

— Этого не может быть. — Девочка отодвинула от себя пакет с фотографиями, поднесла к губам пластиковый стаканчик с «Колой-квасъ», но ее передернуло, и она поставила стаканчик на поднос. Гриша убрал фотографии в свой докторский баул. — Этого не может быть... У нас нет такой армии, мы ни с кем не воюем, пацифизм уже сто лет назад стал нашей официальной идеологией... Я учусь на историческом...

— Если идеология становится официальной, она становится ложью, — вздохнул Гарик и не сослался на инструкцию, не закончил фразу вопросом, будто и не он. Шрам на его лице побелел и выделялся сейчас особенно четко, глаз с оттянутым веком смотрел грустно. — Я много раз видел эти фотографии, но только сейчас понял, что они значат. «Этого не может быть», но это есть, и вы уже не можете жить, как раньше, не можете забыть то, что вы увидели, и жизнь идет под откос, не хочется танцевать на площади, не хочется любить...

— Генук, Гарик, — сказал Гриша, — генук. Уже хватит пугать молодых людей. Жизнь их еще напугает так, не дай Бог, что у них, извиняюсь, будут мокрые штаны, и им будет неудобно смотреть один на другого, извиняюсь. Чтоб они мне были так живы, разве это они исделали то, что на карточках? Так почему они должны переживать? То есть, конечно, пусть себе переживают, пусть страдают и огорчаются за людей, но почему, спрашивается, они должны иметь неудобство за себя? Что они исделали плохое за свою маленькую жизнь? Любили себе друг дружку, учились в своих институтах, танцевали, обжимались потихоньку, тряслись и стеснялись полюбить как следует... Так я вас спрашиваю, Гарик, в последний раз, зачем вы их учите быть виноватыми во всем этом говне, извиняюсь?

Девочка плакала, парень обнял ее за плечи и смотрел в сто-

рону, повернувшись к нам прекрасным, молодым и твердым профилем, колечки в мочке его уха едва заметно дрожали, и едва заметно же ползала по лопаткам косица, и я понял, что он тоже плачет, только беззвучно и без слез.

Она заговорила тихо, замолчала, глянула на меня, я все понял, достал из заднего кармана фляжку из зеленого стекла, обтянутую толстой кожей, отвинтил серебряную крышку-стаканчик, налил, протянул ей... Глотнув, и сморщившись, и переведа дух, она продолжала:

— ...Мы всегда спорим... всегда спорим с ним, — она положила руку на грудь мне, обычным своим нежным жестом, и сердце мое остановилось, сбилось, вернулось в ритм, сбилось снова, — спорим об этом... Винаваты мы или нет в несчастьях других людей? И почему мы мучаемся от этих несчастий? Плохо другим, а мучаемся мы... Разве мы святые или праведники? Почему невозможно быть счастливым, причиняя горе?.. Я думаю, что вы все согласитесь со мною: не от нас зависит, чувствовать или не чувствовать свою вину. Нам посылается это чувство, и если нам плохо оттого, что плохо другим — значит, это нам наказание за нашу вину перед другими. Простите... Может, я не должна говорить о таких серьезных вещах так уверенно, но я чувствую, что это так и есть, и ничего не могу с собою сделать...

— Вероятно, вы правы, — Гриша снова стал говорить нормально, и я вдруг понял, как надоели им двоим, ему и Гарику, идиотский маскарад и шутовская речь, весь выданный им в эту командировку камуфляж. — Скорее всего, вы правы, да и не мне сомневаться в вашей правоте, у всех нас здесь одно дело. Но позвольте мне, прилагая, естественно, все усилия, чтобы успешно завершить нашу миссию, все же сохранять свои рефлексии. Вы убедительны, вы логичны и, что самое главное, вы неотразимо совестливы в своем моральном обосновании нашей цели. Однако позвольте вам напомнить, милый вы человек, что давеча в нашей очередной ночной дискуссии вы говорили нечто совсем иное. Вы стояли за то, что следует любыми способами облегчать жизнь людей, их страдания, которых всегда предостаточно и без дополнительного, подробного знания о страданиях ближних, что ложь во спасение извинительна, что поведение, дающее счастье или хотя бы покой, — благо. Вы, помнится, с поразившей меня

откровенностью даже привели пример из собственной личной жизни, и я не мог с вами не согласиться: рассказать бесконечно любящему вас человеку об измене было бы жестоко и бесчеловечно, устоять же перед соблазном было невозможно, поскольку любовь и даже просто страсть сильнее земных существ... Я согласился — адюльтер ужасен, но адюльтер плюс признание убийственны вдвойне. Отчего же мы стремимся обрушить еще более страшную правду на головы всех живущих в этой стране мирных, скучных, но неплохих в сущности людей? Вот что меня мучает все эти дни и ночи, когда наш путь к близкой уже цели все прерывается и прерывается, мы как-то странно вязнем уже у самого финала. Может, с пугающей догадкой спрашиваю я себя, пославший нас и не хочет, чтобы мы открыли людям правду, может, все дело только в нас, точнее, в вас, поскольку мы с Гариком Мартиросовичем просто на службе — а вас испытывают? Вы терзаетесь, спорите о смысле и оправданности задания, но, тем не менее, преодолевая и терпя все, стремитесь его выполнить — и не можете. Возможно, в этом и заключен весь смысл? Увы, я не посвящен...

Когда он умолк, глаза всей компании были на мокром месте, женщины плакали откровенно, суровые мужчины старались не смотреть друг на друга. Может быть, причина была и в том, что к этому времени полулитровая моя фляжка, заправленная самым крепким из скотчей, пятидесятисемиградусным «Aberlour», дважды обошла круг и опустела. Впрочем, никто не обращал на нас внимания. В «Быстрых пельменях» народу было немного, толпа за стеклянными стенами тоже понемногу редела, в ней оставалось все больше молодежи, люди семейные возвращались по домам, чтобы успеть к вечерним ток-шоу, к очередным сериям бесконечной саги из жизни обитателей маленького, очень буржуазного городка где-то под Костромой, к концерту «Детей Контрацепции», который молодежь собиралась смотреть и слушать на площади, — позади памятника уже готовили на помосте технику и мерцали по бокам сцены два огромных экрана, на которых лица музыкантов во время концерта можно будет увидеть крупно, рассмотреть заливающий их пот, а пока шла обычная трансляция...

— Вы должны все довести до конца. И доведете, — парень

говорил тихо, голос его был голосом совершенно больного или очень старого человека, нельзя было представить, что час назад эти ребята были веселы и бездумны, были частью той толпы, что шумела, приплясывала, плескалась сейчас за стеклом, мы же были, словно уродливые, чуждые этой человеческой жизни какие-нибудь глубоководные рыбы в аквариуме. — Если бы тот, кто послал вас, я не могу назвать, но догадываюсь, кто именно, не рассчитывал, что вы исполните порученное, мы бы не встретились. Дело в том, что я работаю в ЦУОМе, ассистент программиста-инспектора главного компьютера, и я смогу вполне беспрепятственно, надеюсь, провести по крайней мере двоих из вас, — он посмотрел на нее и меня, — в здание.

Теперь мы сидели на бульваре. Толпа все не расходилась, хотя «Дети» уже давно отпели, открычали, отгремели и отпрыгали свое, и рабочие уже успели как-то незаметно убрать все электрические ящики со сцены и даже саму сцену наполовину разобрать, она просто потихоньку исчезала, таяла в синем воздухе необыкновенно ясной для этого времени года и весьма прохладной ночи. Но молодежь все толкалась на площади в своих куртках, свитерах, рубахах поверх курток и свитеров, спортивных фуфайках, кепках для лапты и городков, шумела, время от времени из этого ровного, как гул моря, шума вырывался возглас, крик : «П-цаны, канаем на Краску!... Ну, оттяг!.. Я тащусь от «Детей!» «Дети» — кла-асс!..» «Краской», видимо, называли Красную площадь.

Отсюда, с бульвара, толпа виделась сплошной, темной, как бы кипящей, субстанцией. Они сразу разъединятся, подумал я, сразу станут отдельными людьми, вот что произойдет, это, собственно, и будет главный результат того, что нам предстоит сделать.

— ...Не знаю, что скажет Гарик Мартиросович, — закончил свою довольно длинную речь Гриша, — но мне проблема представляется практически неразрешимой. Вы двое должны там быть по самому главному условию выполнения операции. Но молодой человек и берется провести только двоих — хотя, честно сказать, я так и не понял, на что он рассчитывает... Но, допустим, так все и будет. А как же мы? Я и Гарик не можем, не

имеем права оставлять вас, тем более на главном, завершающем этапе. В обеспечении вашей безопасности, простите канцелярские обороты, и состоит наш единственный долг и единственный смысл нашего участия в экспедиции...

— Григорий Исаакович, — перебил я его, — простите, но, мне кажется, вы имели уже случаи убедиться, что я и сам могу справиться с кое-какими трудностями, сам могу позаботиться о ее и своей безопасности!

— А можете и не справиться... — задумчиво сказал Гарри. — И потом еще одна вещь: вы как же себе представляете наши и свои действия? Неужто всю эту бутафорию, весь этот реквизит вы принимаете всерьез? Вы что же, собираетесь здесь устроить драку, стрельбу, прорыв через охрану с оружием в руках? Или на вас такое впечатление произвели некоторые слабости и пристрастия Григория Исааковича и мои, некоторая склонность к простенькой драматургии и стилистике классического боевика, присущая тому, кто нас послал, его же любовь к пародии, которая заставляет Григория Исааковича говорить, как героя анекдотов, а меня — как героя других анекдотов или шпиона из комедии... Может, вы действительно думаете, что это бабахло, — он ткнул себя в наваченную грудь стилижного пиджака-букле, — имеет какое-либо значение, кроме попытки придать легкую театральность и занимательность совершенно серьезно, даже трагическому и безусловно сверхчеловеческому делу? Уверяю вас, что все, начиная от этих подростковых игрушек, — с этими словами он вынул из-за пазухи свой верный «ТТ» и спокойно, не глядя, опустил его в стоящую рядом со скамейкой урну, — включая этот грим, — он стащил парик с набриолиненным коком, отклеил усики, швырнул все туда же, одним движением стер с лица шрам, — и даже, уж простите, ваша, пусть истинная и необыкновенная, любовь, которую мы вполне уважаем, — легко, чуть в сторону, склонившись, он поцеловал ее руку, — абсолютно все это не представляет собою ровно никакой ценности. То, что должно быть совершено, будет совершено, поскольку оно уже совершено в наступающих временах, детали же и украшения останутся лишь прахом...

— Жаль, что вы не дали мне довести роль до конца, — сказал Гриша. — Впрочем, так тому и быть. Начинаем.

Мы встали.

Рыжие кудри плотной шапочкой, горбатый нос, яркие голубые глаза, белая накидка до земли — таким он стоял по правую руку от меня.

Черные длинные пряди по плечам, мягкое юношеское лицо, карие глаза с робким, неуверенным выражением, черное глухое трико — таким встал второй по левую руку.

Она встала передо мною, плотно прижавшись ко мне всею своей узкой спиной, затылком, всем своим детским и женским одновременно телом, и я положил ладони на ее отведенные назад плечи. Тонкое белое платье было на ней, но, кажется, ей не было холодно, хотя я в своей невесть откуда взявшейся черной тройке дрожал.

Юноша и девушка стояли в нескольких шагах перед нами, в одинаковых одеждах, комбинезонах или спортивных костюмах — он, естественно, в голубом, она в розовом, они держались за руки и одновременно манили, звали нас за собой.

Все-таки маскарад продолжается, подумал я, только вместо ретро-боевика мы разыгрываем не то оперу, не то мистическую драму.

Молодая пара пошла через площадь, вдруг совершенно опустевшую, и мы вдвоем пошли за ними — так же держась за руки. Мы шли за ними, бело-черное следом за розово-голубым в ночной синеве, а белый мой хранитель и черный мой хранитель остались позади и постепенно исчезли во тьме.

Охрана пропустила нас в башню, даже не взглянув на странных посетителей. Эти полицейские, впрочем, тоже выглядели странновато — в латах и шлемах с опущенными забралами вместо обычной формы, с короткими широкими мечами вместо дубликов.

Юноша открыл было рот, «это мои гости, мой пропуск дает право», но один из стражей перебил его, «нас предупредили, веди их», и указал мечом в сторону лифтов.

Я нажал кнопку, двери разошлись, но кабины за ними не оказалось, там была непроглядно черная пустота. «Входите», — сказал проводник, мы вошли, потеснились. «Вверх», — сказал он, двери закрылись, тьма, в которой мы повисли, рванулась вверх, я обнял любимую, и она привычно потерлась маленькой

своей попой, и я немедленно, в ту же секунду, рванулся, подался к ней, и подумал, что та, другая пара, должно быть, делает и испытывает то же самое. А, может, и нет, подумал я, может, они совсем, совсем другие, и чувствуют другое, и не обнимаются сейчас в темноте, а так и стоят, держась за руки и глядя сквозь непроницаемую тьму друг на друга. Или наоборот, подумал я, они уже не ограничиваются объятиями и предались сейчас беззвучной любви, кто их знает, молодых. «Приехали», — сказал Вергилий, двери раскрылись, мы вышли в коридор с серыми стальными стенами, освещенный отвратительными люминесцентными лампами в металлических сетках, и я увидел, что нас только трое. «Мы разлюбили друг друга, — объяснил юноша, — она вернулась вниз». «Но этого не может быть, — заорал я, — так не бывает! Вы были так хороши вдвоем, так близки, так подходили друг другу, даже мы успели привыкнуть видеть вас вместе, а ваши друзья, что они скажут, ведь когда расстаешься, рушится жизнь, то, что было прожито вместе, не может, не должно исчезнуть, и поэтому-то расставание невозможно, невысказано, что вы делаете?!» «Не выступай, папик, — парень улыбнулся, — вроде сам ни от кого не уходил... Девка она нормальная, прикинута, в тусовке... Жить будет, не бери в голову, старый...»

Мы шли по стальному коридору, сворачивали, миновали один застекленный переход, висящий над пустынным, заставленным сломанными контейнерами и просто огромными дощатыми ящиками, двором, второй, снова попали в такой же стальной коридор, пересекли гигантский мраморный вестибюль с длинной, свисающей в лестничный пролет люстрой...

«Пришли», — объявил молодой человек, останавливаясь возле стальной, почти неотличимой от стены двери. «Я никогда не был там, да и никто из нас не был, — сказал он, — потому что туда можете попасть только вы». Он взял ее левую руку, положил на дверь и прикрыл ее сверху моей ладонью. «Думайте друг о друге и о вашей любви. Я буду вас ждать здесь».

Он отошел к противоположной стене, прислонился к ней, прикрыл глаза — вид у него был невероятно усталый, лицо в дневном свете ламп побледнело, под глазами легли темные круги, он казался сейчас моим ровесником.

Я посмотрел на нее, она подняла глаза — знакомое мне, полупьяное, уплывающее выражение.

В ту же секунду в двери что-то громко щелкнуло, прозвеноло, и она стала мягко и тяжело подаваться внутрь.

«Вы все знаете, а что не знаете, поймете», — сказал юноша. Я оглянулся — он стоял все так же, не открывая глаз, привалившись к стене.

Мы вошли.

Со всех стен смотрели на нас телевизионные экраны, десятки экранов, а посередине комнаты возвышалось устройство, с первого взгляда на которое мы все и поняли.

11

На моих часах было уже около трех, значит, прошло сорок минут, как мы закрыли за собой дверь...

— Я не могу, — шептала она, закидываясь и сползая в кресле, обнимая мои колени, прижимаясь щекой к животу, снова откидываясь с закрытыми глазами, улыбка и в то же время страдание были на ее лице, потом она опять прижималась ко мне, так что сверху были видны только густые, растрепанные темно-золотые пряди, и то шептала, то говорила почти в полный голос, — я не могу здесь, не могу так, этот мальчик за дверью, охранники внизу, Гриша и Гарик, и та девочка, которая ушла, они все знают, что мы здесь делаем, и этот ужасный свет, Боже, если бы месяц назад мне сказали, что будет такое!.. Не могу, не могу...

Мы оба уже были полураздеты, грудь ее стала обжигающе горячей, соски под моими пальцами выпрямились и сделались как бы прозрачными, от них шло темно-коралловое свечение, полные плечи и предплечья покрылись мелкими каплями пота. Наклоняясь и целуя ее голову, я чувствовал уже ставший родным детский, кисловато-мыльный запах. Она гладила волосы на моей груди и руках, острые ногти царапали кожу, оставляя розовые тонкие линии.

Бе платье и маленький, смятый, словно мертвая белая бабочка, лифчик, были брошены на другое кресло, вместе с моими

пиджаком, жилетом и рубашкой, черный галстук траурной лентой свисал к полу.

— Что же мы будем делать, — спросил я почти беззвучно, склонившись к самому ее уху, — я перегорю, и ничего не выйдет, ты же видишь, что со мною творится...

Она положила руку, прижала, погладила, как бы успокаивая, но, конечно же, под ее рукой еще сильнее напряглось, рванулось, растягивая, разрывая ткань, стремясь к ней, в нее, и она снова прижалась щекой, а я все бунтовал, все рвался на волю, и она подняла счастливое и горестное, улыбающееся отчаянно и почти удовлетворенно лицо и, глядя мне в глаза уплывающими, обморочными, янтарного цвета глазами, что-то сказала одними губами, голоса не было.

— Что, что ты говоришь, любимая моя, любимая?

— Давай... Давай же.

Это был самый обыкновенный казенный стол, только очень большой, на тяжелых тумбах. Стол был пуст, лишь в центре стояло нечто вроде пепельницы или плоской вазы из какого-то черного материала, тяжелой пластмассы или камня, полированное и блестящее снаружи, с внутренней же поверхностью вогнутой, пористой, в микроскопических, одно вплотную к другому, отверстиях. Я попытался приподнять этот предмет, но не смог оторвать его — то ли он был вделан в стол, то ли был так тяжел. С той стороны, которая была обращена к одному из узких краев стола, верхний срез вазы имел полукруглую, отполированную выемку, будто для гигантской сигары.

На полу у этого же края стола лежал небольшой квадратный коврик из грубой черной ткани, вроде войлока. По периметру коврик был обшит черной же лентой из блестящего шелка, и то ли поэтому, то ли потому, что в центре он был прикреплен к полу большим гвоздем или болтом, шляпка которого ярко блестела на черном, края коврика немного загнулись кверху, как у листа бумаги, свернутого в трубку, а потом разглаженного.

— И все-таки это странно, так странно... — Мы стояли у стола, обнявшись, мне пришлось наклониться, она обнимала меня за шею, мы образовали как бы зеро, ноль, но, может, это

была бесконечность. Она все повторяла: —...странно, так странно... Все серьезно, даже ужасно, и вдруг почему-то именно таким способом, именно мы должны решить судьбу целой страны... Это просто плохой фантастический роман, да еще с этой... с порнографией, да?.. Но почему именно мы? И какой в этом смысл? Странно...

— Знаешь, — я' приподнял ее, как приподнимают детей, под мышки, и посадил на край стола, чтобы удобнее было разговаривать, — на самом деле во всем этом гораздо больше практических резонансов, чем тебе кажется. Такой способ замыкания сети делает абсолютно бессмысленным, а потому и невозможным проникновение сюда здешних людей...

— Но почему же?! — тихо воскликнула она. — Разве здесь теперь никто не любит, никто не желает другого человека, разве среди здешних страстных любовников не может найтись пара, способная на это пойти ради того же самого — чтобы люди прозрели?

— Во-первых, страстных по-настоящему среди них действительно почти нет, но даже если бы они нашлись... — я взглянул ей в глаза и вдруг понял, что она просто стесняется, что при всей своей чувственности и даже некотором опыте, она просто стеснительная девочка, совсем несведущая в том, куда может завести любовь, в какую даль и мрак, —...если бы нашлись, все равно, они все генетически, понимаешь, генетически неспособны ни к чему, кроме того, что многие из них уже ненавидят, проклинаят, но не представляют другого. Только безопасный секс. Они не способны к другому, они изолированы...

— Но ведь дети, у них полно детей! — Она засмеялась, и глаза ее зажглись бешеным любопытством, как всегда, когда речь заходила о чем-нибудь, касающемся неведомого ей в любви. — Они же беременеют, я видела на улицах, их беременные мне так нравятся... Как и все...

— Господи, до чего ты, все же, ребенок! Да это просто специальная медицинская служба, социальный сервис — ты идешь на прием, немного платишь, выбираешь пол, цвет волос, будущие склонности, аппарат включается на пять минут, и все, рожай, когда придет время! — Она смотрела на меня с ужасом, я обнял

ее, прижал к груди голову, гладил... — И никому из них в голову не приходит связывать это с любовью, понимаешь?

— Но почему это?.. — Она уже почти кричала, показывая на окружающие нас со всех сторон, мерцающие, светящиеся всеми красками экраны, на которых беззвучно танцевали, играли в лапту и городки, разгадывали викторины, открывали в пении рты, беседовали, смеялись добрые и веселые люди, разыгрывались исторические драмы времен Ивана Грозного и Сталина, Горбачева и Панаева, люди в диковинных костюмах нестрашно стреляли и легко умирали, красиво агонизируя, диктор читал новости, радостно улыбаясь, показывали сюжет о только что закончившемся концерте, и мы видели площадь и толпу, в которой были три часа назад... — Почему это зависит именно от любви?! Почему, зачем так придумано? И почему именно мы выбраны? Кто так решил? Ты знаешь? Ты должен знать...

— Я могу только догадываться... В любом, самом прочном, непоколебимом устройстве всегда есть слабое место. Почему его оставляют, даже как бы специально создают те, кто задумывает и строит что бы то ни было, от какой-нибудь машины до общественной системы? Ведь они-то заинтересованы в неразрушимости воздвигнутого... Бог знает. Понимаешь? Я сказал именно то, что сказал, буквально. Господь знает, почему и зачем он не дает ни единому человеческому замыслу осуществиться до конца, ни хорошему, ни, к счастью, дурному, почему все сделанное человеком рано или поздно рушится, идет прахом. Поэтому, наверное, в их жизни, где есть все, кроме настоящей страсти, кроме настоящей любви между настоящими мужчиной и женщиной, в этом их тоскливом Раю есть этот стол, это место для Ада любви, открывающего истинный Ад истинной жизни... А почему именно мы? Что ж сказать... Я надеюсь, что мы это заслужили. Я даже уверен в этом. Ведь выбрали нас.

— Давай... — сказала она. — Давай же.

Она села на самый край стола и медленно, держась за меня, легла на спину.

Ее голова попала точно в вазу, и тонкая шея немного выгнулась, уместившись в выемку блестящего черного края.

Волосы, прошептала она, и глаза ее стали совсем круглыми

от страха, мои волосы тянет назад, я уже не смогу встать, волосы прилипли.

Кожа на ее лбу и висках натянулась, будто она сделала бабетную прическу.

Я понял, для чего поры на внутренней поверхности вазы — теперь она была прикована к месту своими волосами, втянутыми какой-то силой в эти поры. Как Гулливер.

Не бойся, сказал я, тебя наверняка отпустят, когда все кончится.

Я встал на коврик перед нею, и коврик скрутился еще сильнее, обхватил мои щиколотки, сдвинуться с места было невозможно.

Теперь у нас нет выхода, сказал я, мы прикованы друг к другу.

Это ужасно — любить насильно, сказала она.

А разве мы вообще любим по своей воле, сказал я, разве любовь — это свобода, не делай вид, что ты меня свободно выбрала, нас что-то взяло и притянуло друг к другу, так же, как и сейчас.

Я люблю тебя, сказал я, проникая, вдвигаясь, вжимаясь и видя рядом со своим лицом ее маленькие ступни, люблю.

Она застонала от боли и резко повернула голову в сторону, и я понял, что черное изголовье дает ей ту свободу, которая необходима для любви.

Ее ноги тянулись вверх, как побеги любви, как ветви от ствола моего тела.

Коврик держал меня плотно, но мягко, не мешая двигаться, раскачиваться на одном месте взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед.

Она стонала уже непрерывно, перекатывая голову в черном ложе из стороны в сторону, улыбка боли и счастья не сходила с ее лица, глаза смотрели на меня, будто не узнавая, совсем пьяные и прекрасные.

Мои пальцы были на ее сосках, и ее — на моих, пальцы двигались, обводя маленькие круги, и внутри этих кругов умещался весь мир — кроме того, который вместился в меня, и со мною вошел в нее, и сейчас пылал и тонул одновременно, заливаемый водами, из которых все вышло и в которых все кончится.

Я склонился к ней, поймал ее рот своим ртом, и еще один мир возник в этой общей влаге, двигались, сталкиваясь, языки, это была внятная нам речь, и она объясняла все.

Я выпрямился, откинулся, колени ее легли в мои ладони, я ощутил мельчайшие пупырышки кожи и волоски.

Впалый ее живот выгнулся кверху, она закричала.

Все кончалось, кончалось и никак не могло кончиться, длилось, длилось и никак уже не могло продлиться, и кончалось бесконечно долго, кончалось мгновенно, длилось вечно, кончалась всегда.

Я понял смысл воздержания нашего во все дни и ночи прежде.

И все смыслы понял, и смысл всего, всю бессмысленность всего, что не любовь, и весь ее смысл — все понял, наконец.

Наконец я все понял.

Но тут же забыл понятое, потому что все кончилось окончательно, и начался конец.

Нужно было отделиться друг от друга, мы начали разделяться, оба стонали, и я заплакал.

Потом я подал ей руку, и она встала со стола, и черная ваза отпустила ее, и мой коврик мягко лежал под моими ногами.

Она вытерла мои слезы губами и языком, губами и языком вытер и я ее.

Одень меня, попросила она, мне становится холодно.

Я шагнул к креслу, на котором лежала наша смятая одежда...

Экраны мерцали, светились всеми красками. Где-то должен включаться звук, сказала она хрипло, и у нее тут же сел голос. Я не знаю, где, сказал я, да это неважно, все ясно и так. Она дрожала теперь и от холода, и от того, что шло к нам со всех экранов, но оторваться от этого и одеться у нас не было сил — голые, вцепившись друг в друга, мы медленно поворачивались от стены к стене. Вот мы и замкнули цепь, и теперь вся страна уже минуту смотрит это, сказал я. Я боюсь, все же это кощунство, сказала она, то, что мы делали, и этот ужас, они несовместимы, и мы понесем наказание, мы будем наказаны, даже если мы действительно исполнили миссию, мы будем наказаны. Ты

глупая, сказал я, никакое это не кощунство, это любовь, и недавно она рифмуется только с кровью, а наказание, ты права, наверное, последует, за любовью оно следует всегда...

Мы шептались почему-то, одни в пустой комнате, голые, любящие и несчастные человеческие существа, такие же, живые и страшющиеся смерти, как те, кто теперь мучился и мучил, умирал и убивал, исчезал и выживал на окружающих нас экранах, на окружающей нашу прозревшую страну земле...

— Пора, — сказал юноша, входя в оказавшуюся уже незапертой дверь, — вам пора и мне тоже.

Гриша и Гарик стояли позади него в коридоре.

— Называется охрана, — Гриша презрительно сплюнул. — Лохи это, а не охрана, им стало интересно знать, что таки случилось, и они себе пошли смотреть телевизор, как последние поцы, и входи, кто хочешь, вы такое видели?

— Двенадцатый раздел части седьмой памятки «О спецнарушениях спецрежима на спецобъектах работниками охраны в связи с халатностью, пьянством и другими причинами», — уточнил Гарик и добавил: — тоже люди, нет?

Мы долго спускались по лестницам, все пятеро — лифты уже перестали ходить. Она шла за мною, в узких черных брюках, тонком свитерочке — почти незнакомая мне женщина. Я осторожно ступал стертymi и скользкими подошвами своих старых замшевых башмаков, в кармане вельветовых штанов я нащупал ключи и пытался сообразить, как эта связка там оказалась — ведь я вышел из дому, оставив их там и захлопнув дверь. Первым спускался местный юноша, за ним шел Гарик со своим вновь возникшим «ТТ» в вяло опущенной руке, последним, непрерывно что-то бормоча и в то же время рыская стволом «штайра» по сторонам, двигался Гриша. «Все же таки айд такого не сделал бы, — бубнил он, — айд бы не бросил за просто так своя работа, если он работает по лифтам, чтобы люди так мучились на лестнице...» «Гриша, это шовинизм, — сказал Гарик. — Великодержавный, а?»

На площади снова была толпа, но уже совсем другая, чем на-

кануне вечером. Я увидел эту толпу в сером свете раннего утра и испугался, и пожалел о свершившемся — как всегда мы жале-ем.

12

Шли, шли, шли танки.

Боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разведывательные машины десанта, миасские грузовики, симбирские джипы, штабные фургоны, передвижные центры связи, заправщики с соляркой и бензином, амфибии всех боевых назначений и понтоновозы, обычные «волги-супер», только с цветами флага и орлом на дверцах, с камуфляжно крашеными капотами, крышами и багажниками, установки «Мрак», качающиеся на платформах, установки «Мор», установки «Саранча-1», самоходная артиллерия и тягачи с орудиями, безоткатные пушки в открытых вездеходах.

Снова танки, танки, танки.

Горели, переворачивались, стояли, покосившись, без гусениц, обуглившиеся, свесив к земле ствол орудия. Отдельно лежали башни. Пылали дополнительные наружные баки, танк несся по пустому шоссе, но пламя не сбивалось. Взрыв.

Сталкивались, перегораживали дорогу, съезжали в канаву, взбивали гусеницами и колесами грязь, погружаясь в нее все глубже, уходили под проломившийся лед, рушились в воду вместе с обломками взлетевшего на воздух моста, сползали с разъезжавшихся понтонов.

На полном ходу слепо утыкались в стены, застревали в лесных завалах, валились назад с крутых подъемов.

Шли, ехали, бежали, стояли солдаты. Сидели, лежали на земле, на полу в пустой комнате с выбитыми окнами, на асфальте за углом дома, на покатой крыше, на клумбе посреди городской площади, за пустым постаментом.

С автоматами, ручными пулеметами, гранатометами и огнеметами.

В касках, шлемах и уродливых зимних шапках.

В камуфляже, в обычном хаки и в черных комбинезонах.

В масках, в боевой раскраске и просто в потеках грязи на лицах.

Валялись трупы.

Сожженные до черноты, уменьшившиеся вдвое. С оторванными руками, ногами и головами, разодранные пополам. Босые, с голыми животами под задравшимися тельняшками, с подвернутыми ногами. Укрытые куртками или брезентом, в пластиковых мешках. Голова, кисть, нога почти целиком, просто красное мясо.

Палкою, по-волчьи, опустив хвост, трусила через площадь собака.

Горели дома, деревья на бульваре, бегущий человек в азиатском халате, плоский черный цилиндр нефтехранилища, трамвай на повороте, ларек на углу.

Четверо солдат вели мужчину в тряпье. Возраст его определить было невозможно, с разбитого лица слепо и косо смотрели очки. Двое солдат тащили его под руки, один чуть приотставал и, разбежавшись, в прыжке, бил каблуком человека в поясницу, человек прогибался и обвисал, четвертый солдат, шедший впереди, оборачивался, и все четверо хохотали, даже останавливались ненадолго, чтобы отсмеяться.

Ноги женщины были связаны, веревка переброшена через ветку дерева. Двое потянули, женщина повисла, руки ее доставали, хватали землю, одежда съехала вниз, закрыв голову и обнажив нелепо белое тело. Двое, натягивая веревку, отступили в сторону, двое других подняли автоматы, стволы задержались, тело женщины раскачивалось.

Танк ездил взад и вперед, но рука все еще торчала из раскатынной грязи.

Парень в форме, с непокрытой светло-русой головой, с очень красивым, серьезным лицом стоял перед привязанным к уличному фонарному столбу стариком. Старик закрыл глаза, покачал головой, седая круглая бахрома бороды дергалась. Парень отступил на шаг, осторожно, как молодой отец, вынул из стоящей на тротуаре коляски аккуратно завернутого в одеяло младенца, взял его за ноги, размахнулся, как дубинкой, и головой ребенка ударил старика по лицу.

Где это, хрипела она, кто эти люди?

Симферополь, Йошкар-Ола, Уфа, отвечал я, Петрозаводск, Элиста, Брянск, Курск, Псков, Калуга, может быть, это и на Луне, отвечал я, и это граждане великой, богатой и мирной страны, это солдаты ее несуществующей армии, это отдельные эпизоды из жизни и смерти ее несуществующих врагов, отвечал я. Кажется, я ничего не отвечал, да и она ничего не спрашивала. Возможно, нас просто не было там, среди этих экранов.

Он встал перед нами на пустой, сверкающей под луною дороге — давний знакомец, и оба моих ангела, белый и черный, оставили меня и встали рядом с ним.

— Вот, собственно, и все, — сказал он, — вы сделали свое дело. Счастливые люди узнали правду и стали несчастными, как и подобает людям. Увы, они не ограничились знанием и не смирились с несчастьем, как и следовало ожидать от вашего рода...

— Что сейчас происходит в городе? — спросил я. — Видимо, там...

— Да, вы правы, — перебил он, — там начались беспорядки, и весьма серьезные. Примерно через час после того как на экранах всех их телевизоров появились картины настоящей жизни, они начали выходить на улицы. Кстати, меньше всего среди вышедших было тех, кто прежде ходил на демонстрации — вроде ваших знакомых, с которыми, помните, вы беседовали в старом бомбоубежище на Котельнической... Многие из этих вольнодумцев даже обратились к власти с просьбой прекратить уличные выступления силой. Между тем в городе уже громят государственные учреждения, кое-где начались пожары, полиция и градоначальство пока бездействуют, но военная колонна, выведенная из боев в Заволжье, уже на подходе...

— Что ж, вы довольны, — я посмотрел ему в лицо, но не увидел глаз, — вы довольны, что грех неведения теперь уступит греху ненависти? Мы, она и я, выполнили то, что вы задумали, новая кровь, которая прольется теперь, ляжет на нас. Для чего это? Разве неизвестно вам или тому, кто и над вами, что борьба со злом есть зло? Это знают даже дети...

— А разве неизвестно вам, — ответил он с удивившим меня раздражением, — что и примирение со злом есть зло? Или дети, вроде вас, этого не знают? Дивизия, лившая кровь на Средней Волге, перестала убивать там и, возможно, начнет убивать в

Москве. Войны по периметру прекратятся, но, возможно, начнется война внутри этой съеживающейся страны. Что лучше? Зло непобедимо, но я и они, — он положил руки на головы своих помощников, — посланы, чтобы с ним бороться. И благодарите, — он поднял свое темное, невидимое лицо к синему небу в частых остриях звезд, — что вы были хорошим орудием в этой борьбе.

— Давайте чужой паспорт и возвращайтесь, — сказал он.

Я протянул ему измятую книжечку, Гарик щелкнул зажигалкой, поднес огонь — и лохмотья бумажного пепла упали, смешались с прахом дороги.

Трое повернулись и пошли прочь. Никто из них не оглянулся, правда, Гриша, не оглядываясь, приподнял в прощании шляпу над головой, а Гарик помахал, тоже не оборачиваясь, рукой со сложенными в кольцо большим и указательным пальцами — О.К.

Они скрылись за поворотом дороги, за деревьями становящегося различным к рассвету леса.

— Я возвращаюсь, — сказала она, — пора, все уже дома, а мне еще надо купить что-нибудь. Может, курицу... Хлеба... Пока. Я позвоню тебе.

— Я буду ждать, — сказал я, — позвони, если сможешь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮБИМЫЙ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ

1

Але.

Это я.

Ты можешь сейчас говорить?

Почему же ты не позвонила?

Простите, я, видимо, ошибся.

Але...

Вас не слышно, перезвоните...

Вас не слышно, перезвоните...

Говорите... говорите же...

Але.

Это я.

Ну, наконец. Теперь ты можешь говорить? Ты одна? Слава Богу. Девочка. Я тебя люблю. Я соскучился ужасно. Все это время думал о тебе, о том, что с нами было.

Ты знаешь, чем больше времени проходит, тем ясней я понимаю: это наше безумное путешествие было придумано тем же самым идиотом, помнишь, я рассказывал тебе о нем, он считает себя моим автором, однажды он достал меня настолько, что я написал ему письмо, почему-то стилизованное, с архаическими оборотами, и, представляешь, он ответил, с такой хамской издевкой, мол, я тебя выдумал, что хочу, то и придумываю в твоей судьбе, он эгоцентрик и мегаломан, мы, видимо, ровесники и одного круга, поэтому он хорошо представляет себе мои вкусы, довольно точно описывает некоторые эпизоды биографии, но многое просто списывает с себя, например, он холодный бабник и пытается сделать меня таким же, только ничего

у него из этого не выходит, я люблю тебя, на этом его фантазии кончаются.

А согласишься, что-то есть в этой... его выдумке, правда?.. мне понравилось... страна такая... сытая, скучная... невозможно у нас, да?.. а он придумал... и еще способ... ну, этот... способ открыть им глаза... как мы замкнули цепь... мне понравилось...

Ты эксгибиционистка, это просто примитивная, убогая метафора, вот и все, а тебе, видимо, вообще нравятся такие мужчины, как он, вешающие на других свои комплексы, влезаящие в чужую жизнь, использующие тебя просто как блядь, прости, я не хочу тебя обижать, но ты же знаешь, что я ревную тебя ко всем, тем более к нему, мне кажется, он трахнул нас обоих, помнишь «Кабаре», вот так же, и еще я бешусь, потому что во многом он прав, во многом он понял меня, и тебя тоже, он очень хорошо почувствовал, например, мою тягу на дно, страх и одновременно желание опуститься, пропасть, когда я прохожу мимо бомжей, которые спят у меня на лестнице, у метро, в переходах, я чувствую, что меня тянет к ним, я очень ясно представляю себя таким же, грязным, вонючим, сумасшедшим, в рваных тряпках, не трезвующим никогда, в желтой луже, я вижу это, а он вокруг этого моего страха и предчувствия все и закрутил, тебе кажется это просто литературной игрой, а мне бывает жутко, потому что я знаю, что так и будет, он своего добьется.

Успокойся... успокойся, мой любимый... ну, что ты?.. просто ты совсем не спишь... и пьешь много... так нельзя... что-то надо делать с твоим сном... давай как-нибудь придумаем, встретимся, и ты поспишь, просто обнимемся, положим рядом... как там, на даче, помнишь?.. так хорошо было... и не ревнуй к нему... пожалуйста... у тебя нет никаких оснований для ревности... ни к кому... все, что было раньше... как будто не было... я их не помню... никого... люблю тебя, скучаю... хочу лечь, вытянуться вдоль тебя... совсем родной... Ну, ладно, Танька, договорились, буду в твоём районе, забегу померять, потрепемся, ладно, пока.

Але... привет... ты понял?.. Он вернулся от метро, забыл что-то... и смотрел мне прямо в лицо, когда я называла тебя Танькой... это ужасно, это все... иногда мне становится так страшно... я думаю... разве нельзя любить двоих?.. ведь жизни

две... мы же были с тобой во второй жизни... а получается, что нельзя... жизни две, а я-то одна... Я стараюсь не думать... и там, в той жизни, старалась не думать... но ничего не выходит... помнишь, я говорила, что все беды, и мои, и твои, и всех, это мне наказание?... я и сейчас так думаю...

Чепуха. Опять ты завела эту песню, я виновата, я виновата, это ерунда, из всех, кого я знаю, ты виновата меньше всех, не казни себя, я прошу, я знаю, что говорю, тебе не за что себя казнить, я же рассказывал тебе, ты довольно наслушалась обо всех моих женщинах, и я честно тебе говорю, ты самая лучшая, самая чистая, ни в какой я не в эйфории, неужели ты еще не поняла, что ни любовь, ни пьянство мое не лишают меня абсолютной трезвости, с которой я оцениваю и тебя, и себя, и вообще людей, любовь не мешает мне видеть все, как есть, я замечаю и дурное в тебе, как и в себе, но, уверяю тебя, этого дурного в тебе так мало, ты настолько лучше других людей, что постоянное твое самоистребление просто глупо, хотя я понимаю, конечно, потому ты и мучаешь себя, что хорошая, что совесть есть, если бы не терзалась, то я бы тебя и не любил, но все-таки, прошу тебя, не мучайся, успокойся, любимая моя, девочка, мое счастье.

Але... я люблю тебя...

Подожди. У нас не так много времени, он вернется, опять придется бросать трубку, лучше поговорим о важном, о том, что происходит на самом деле, а не в бедных наших душах, мы измучились жизнью врозь, от этого тяжелые разговоры, мысли о плохом, а все дело в том, что не спим рядом, не засыпаем, обнявшись, что не лежим spoon like, как ложки, тела скучают, а нам кажется, что дух томится, но, может быть, он и действительно томится оттого, что скучают тела, но, как бы то ни было, я хочу рассказать тебе о реальных вещах, которые происходят со мною после возвращения.

Скучаю... родной...

Я вернулся, знаешь, как будто пять минут прошло, кошка накормлена, все в том же виде, в котором оставил, и даже пыли не прибавилось, ну, удивляться нечего, фантастика есть фантастика, прошел к себе в комнату, разделся, лег на диван, кошка пришла, и, представляешь, задремал, со мною это, ты же знаешь, почти не бывает, я и ночью-то не сплю ни черта, а днем тем

более, а тут заснул, кошка лежит на груди, голову сунула мне под подбородок, урчит, как трактор, я так и заснул на спине, в штанах, в рубашке, только пиджак снял, и вдруг меня прямо подбросило, знаешь, бывает так во сне, как будто упал, открыл глаза, ничего не понимаю, кошка убежала, слышу, что она в прихожей вякает так тревожно, она так провожает всегда меня и Женю, и тут дверь хлопнула, я вскочил, никого нет, квартира пустая, во все окна солнце шпарит, шторы раздернуты, я это ненавижу, и в свете пыль танцует, смотрю, рядом с диваном на полу бумажка, опять, думаю, мы в переписку с Женей вступаем, точно, записка от нее, вот, слушай: «Ты, видимо, очень где-то устал. Что ж, продолжай развлекаться. Я возвращаюсь в Питер, теперь уже надолго. По телефону меня не разыскивай, я не в гостинице, и звонить не надо. Пока тебя не было, приходил какой-то господин, спрашивал тебя, сказал, что это по поводу обмена квартиры. Быстро ты все решил. Рада, что тебя не мучает совесть». Такой вот бред, какой-то обмен, какой-то человек, ничего не могу понять, полез в буфет, выпить, конечно, нечего, стал собираться, чтобы выйти, купить чего-нибудь, разделся, пошел в душ, только воду открыл, телефон, вы объявление давали насчет обмена, вот у нас есть подходящий вариант, две комнаты в Бутове и пять тысяч доплаты за район, я сдуру даже спросил, пять тысяч чего, и только потом сообразил, какое объявление, какой обмен, чертовщина какая-то, тут понял, что имела в виду Женя, значит, и ей это предлагали, вы ошиблись, говорю, не было никакого объявления, а этот мужик даже возражать не стал, ну, значит, ошибка, извините, и трубку повесил, представляешь?

Странно... а ты точно не давал объявления?... может, Женя... но записка... странно, но могли ведь просто ошибиться, неправильно напечатать телефон... не нервничай, любимый, просто ты ужасно недосыпаешь...

Да, а наше путешествие это тоже мой недосып, оно мне придалось от переутомления, да, и Гриша, и Гарик, появившиеся еще летом, и записка, которую оставила моя бывшая жена, я тебе рассказывал, это все галлюцинации, что ли, я уже не говорю о моем предчувствии, я тоже тебе рассказывал, мои предчувствия всегда сбываются, я сам во всю эту чепуху не верю, меня тошнит от рассуждений об энергетике и биополе, ты же знаешь,

но что я могу сделать, если сбывается все, совершенно все, и если я точно знаю, что меня выживут из моего дома, из жилья, из жизни, если мне суждено рано или поздно ночевать в подъезде, перегораживая грязным своим телом дорогу приподнявшимся жильцам, я точно знаю, я вижу, как я сижу возле метро в старых своих стильных тряпках, рваных и пропахших мочой, и стоит передо мною, конечно, пластиковый стаканчик, я же не буду собирать в ладонь, я же знаю, как надо цивилизованно нищенствовать, и мятые бумажки в нем, и я на глаз оцениваю, что уже хватит на стакан и сосиску, но нет сил встать, и какая-то девушка, наклонившись на ходу, чтобы сунуть деньги, потом оглядывается и дергает своего спутника, смотри, я точно узнала, помнишь, он играл в «Изгое», и потом была его выставка, и вышла книга стихов, помнишь, и парень оборачивается, смотрит на меня вполне безразлично и пожимает плечами, спился мужик, вроде, действительно, рвань на нем фирменная, ну, дай ему еще штуку, а может, мне все это кажется, потому что уже подступает, липкий пот течет по подбородку, и если я не выпью в ближайшие пять минут, я просто сдохну, повалюсь на бок, свернусь калачиком в углу грязного, в растоптанной снеговой жиже вестибюля метро, подойдут менты, один ткнет носком сапога в ребра, наклонится, присмотрится, а другой будет уныло стоять в стороне, положив руку, будто сломанную, в косынку, на висящий под локтем автомат, и потом они вызовут перевозку.

Хватит!.. ну, хватит же... что ты говоришь, подумай, что ты говоришь... успокойся... ну, выпей немного сейчас, если не можешь по-другому... все будет хорошо, если ты хоть немного отдохнешь... ну, не звони мне дня два, отвлекись... полежи, ящик посмотри, с книжкой... я бы хотела поспать с тобой, я бы прижалась, вдавилась бы, втерлась в тебя, и ты бы заснул... успокойся, любимый...

Я уже успокоился, успокойся и ты, все, все, хватит, может, это действительно все мне чудится, психоз переутомления, и ты же знаешь, у меня сейчас работа не идет, прогорают галерея, негде выставиться, продать, и на кино нет денег ни у кого, кто меня снимал, а со стихами и вообще смешно, но я соберусь, вот подожди, вот сегодня вообще не буду пить, сейчас приберу здесь

все, соберусь сам, пройдусь, знаешь, там мороз и солнце, как положено, я сейчас смотрю в окно, чудесный день, побреду потихоньку в театр, послоняюсь там, посуежусь, с ребятами потреплюсь, с Дедом поругаюсь, отвлекусь немного, глядишь, обойдется все, да, а потом мы с тобой перезвонимся, хорошо, и все решим, может, сегодня удастся увидеться, можно, я тебе позвоню, а то ты меня не поймаешь, или позвони мне в театр, ладно, меня найдут, только подождать придется, или сюда позвони, скажи на автоответчик, а я перезвоню, как вернусь, тогда и договоримся, может, ты будешь выезжать к вечеру, и увидимся, придумай что-нибудь, я очень хочу видеть тебя, девочка, любимая, пожалуйста, ну пожалуйста.

Я позвоню... что ты ноешь, ну, не ной... я позвоню... позвоню...

Знаешь, когда я возвращаюсь домой и прослушиваю этот проклятый автоответчик, и он все время гудит и гудит, все звонят и ничего не говорят, кладут трубку, но у нас какая-то такая сеть, что эти панасоники не отключаются сразу, а записывают сигнал отбоя полную минуту, которая отведена для сообщения, я часами слушаю эти гудки, и только иногда прорвется одна запись, это почти всегда твой голос, любимый, говоришь ты, замечательный, я звоню-звоню, а тебя нет, а потом опять гудки, и без конца, и мне кажется, что автоответчик — это вся моя жизнь, пустые, безгласные звонки, меня нет, я автоответчик, я автоматически отвечаю, мне автоматически звонят, вся Москва теперь так живет, это телефон Михаила Шорникова, оставьте ваше сообщение после сигнала, please, leave your message after the bip, и я вам обязательно перезвоню, и услышу ваш автоответчик, жизнь бессмысленна, ту-ту-ту, знаешь, девочка, когда я окончательно умру, поставь мне на могилу телефон с автоответчиком, извините, сейчас я не могу взять трубку, оставьте ваше сообщение после сигнала, и еще положи со мною мою книжечку, куда я записываю дела на день, впиши туда массу дел, которые я так и не успел сделать, и я там буду их густо зачеркивать, ты же видела, как выглядит прожитый день в моей книжке, все густо зачеркнуто, замазано, от дня не остается никакого следа, это старая, еще антигэбэшная привычка, вот и положи мне туда эту книжечку, и мне будет там хорошо, будет гудеть автоответчик,

ту-ту-ту, и дни будут вычеркиваться, и я даже не замечу, что умер, ничего не изменится, только ты звони, ладно, я люблю тебя, люблю, звони мне, когда я умру.

Ты дурак...

Не плачь.

Я не плачу... ты дурак...

Не плачь.

Я не плачу... я тебя люблю...

И я тебя люблю.

Ты хоть ел сегодня что-нибудь?.. ну, что это такое, ты не ешь, не спишь, пьешь, и еще удивляешься, что работать не можешь... вообще не понимаю, как ты еще живешь, сколько у тебя сил... у тебя еда-то дома есть?.. Женья оставила?.. сосиски, какая гадость... я бы хотела сварить тебе суп... ты ведь любишь гороховый суп, да, с грудинкой, да?.. я так хорошо варю суп, ты не представляешь... сварить тебе суп, налить себе рюмку... ладно, ладно, и тебе... и потом лечь вместе, завернуться... прижаться, влезть в тебя... ну, можно телек включить... и заснуть потом, так, обнявшись... и потом опять заснуть... и утром поваляться вместе... никуда не спешить, пожить так хоть немного, быть вместе и никуда не спешить... но потом ты должен будешь отпустить меня погулять одну... не сердись, не сердись, пожалуйста, я должна иногда быть одна, гулять... и я так люблю спать рядом с тобой, потому что я тогда и одна, во сне, и с тобой, рядом, прижавшись... наверное, это плохо, я зависимое существо... бывают женщины самостоятельные, сами делающие свою судьбу, карьеру... а мне никогда даже не хотелось... понимаешь... для меня это естественно, зависеть от мужчины и подчиняться ему... это несовременно, да?.. все эти феминистки... да я тоже ненавижу феминисток, чего ты кричишь... а все-таки так, как я, жить, наверное, тоже неправильно... но, мне кажется, есть одна вещь, в которой я тоже такая... как они, эти эмансипированные, деловые, независимые, да... что я имею в виду?.. извини... понимаешь... только не обижайся, в этом, по-моему, нет ничего для тебя обидного, даже наоборот... ну... дело в том, что мужчин выбираю я сама... и мне однажды сказали, что я их использую, но это неправда... я выбираю сама, действительно, я

могу даже довольно откровенно проявить инициативу, дать понять... но потом я попадаю в зависимость и расплачиваюсь этим за свой выбор... ты понял?.. если можно сказать, что использую... может быть... немножко... только в постели, понимаешь, в траханьи... ну, как используют инструмент... ты не обиделся?.. ты мой инструмент, я тобой добываю счастье... люблю тебя очень... ох... не могу больше... люблю...

Я хочу видеть тебя, эти телефонные разговоры, от них едет крыша, мы оба сумасшедшие, знаешь, это очень странно, и ты подумаешь, что я просто сейчас увлечен и преувеличиваю по своему обыкновению, накручиваю себя, но это правда, уверяю, со мною действительно такое происходит впервые, мне шестой десяток, у меня было черт его знает сколько женщин, жены, долгие романы, одна ночь в купе, десять дней у моря, рабочий стол в старой моей мастерской, в худкомбинате, случайное пересечение гастролей и гостиничный номер, чужая супружеская кровать, спящий ребенок в соседней комнате, были любопытство, постоянно тлеющая похоть, была страсть, привычка, просто человеческая привязанность, близость, один или два раза случилось краткое, почти мгновенное ослепление, казалось, что нашел, но такого, как к тебе, не было никогда, наверное, так любят детей, но во мне, ты знаешь, отцовские чувства не бурные, наверное, так любят любимых жен, вот что, но у меня, оказывается, любимых раньше не было, понимаешь, здесь все вместе, когда я смотрел на тебя, я чувствовал гордость, вот какая красивая у меня девочка, можете все завидовать, и просто было приятно смотреть, мне просто очень нравится твоя внешность, все в тебе правильно, знаешь, почти обо всех думаешь, да, красивая баба, вот только нос, или рот, или еще что-нибудь, немного бы убрать, прибавить, и был бы вообще полный порядок, а в тебе мне ничего не хочется менять, ничего, да ведь ты же знаешь, не я же один считаю тебя красавицей, а страсть — это что-то еще, кроме всего, кроме нежности, кроме восхищения, в тебе так странно сочетается полная свобода с детской, даже какой-то деревенской стыдливостью, эти твои поцелуи только до пояса, и ты так смешно раздеваешься, втягивая живот, сгибаясь, пряча себя, сжимая и скрепя ноги, и выкручиваешься, приседаешь, когда я хочу повернуть тебя, раскрыть, и твой характер,

мне все подходит, помнишь, в самом начале ты смешно сказала, а если я вам не подойду, я даже не понял, как это не подойдете, вы мне очень нравитесь, а ты улыбнулась так, знаешь, скривила губы, у тебя есть такая улыбка, и пояснила, ну, не устрою, не понравлюсь в этом смысле, и смутилась, и ты же не притворялась, что стесняешься, и еще эта твоя покорность, и... але, какой Миасс, я не заказывал, что, меня вызывают, ну давайте, извини, я тебе потом перезв... але, да, слушаю, да, Шорников, да, откуда вы взяли, что я меняюсь, где вы прочли объявление, нет, это ошибка, ошибка, говорю!

Але, это я.

Вас не слышно, перезвоните...

2

После возвращения начался уже абсолютный кошмар и все пошло очень быстро.

День ото дня становилось яснее, что я не могу без нее жить, в самом буквальном смысле этого слова, но жить приходилось, она не могла и не хотела уходить из семьи, там были связи, корни, настоящая жизнь, именно семья — разные люди, ребенок, родители, какие-то старые мужчины и женщины, а не просто муж, там был покой, привычки, совершенно непредставимый для меня обычай ужинать всем вместе, тихая и достойная привязанность друг к другу.

Еще более непостижимым для меня было то, что старомодный этот дом, который она так ценила, не мешал ни ее страсти ко мне, вполне необузданной, ни нежности и даже заботе, которые я чувствовал, ни такой близости между нами, какой я прежде действительно не испытывал ни с кем.

Однажды я назвал ее двоюмужней, она согласно усмехнулась.

Но видется мы из-за этого ее старосветского уклада почти не могли, да и перезваниваться было непросто. Муж мог вернуться из офиса в любой момент, мог захватить днем пообедать, мог привезти с собой весь свой совет директоров, мог позвонить, попросить ее быстро собраться и увезти с собой на какой-нибудь

прием, в бизнес-клуб, просто в ресторан, в компанию своих партнеров, которые, к тому же, все были его старые друзья, университетские, комсомольские... Много ели, много пили, сидели допоздна. Были они все, в сущности, совсем неплохие молодые ребята, любили друг друга и своих близких, серьезно делали свое новое дело, помнили, что все они кандидаты, а то и доктора наук, и к нынешним своим президентствам и генеральным директорствам относились с некоторым юмором, не мешавшим, впрочем, делать деньги истово и фанатически. Стрельба, которая шла вокруг, их как бы не касалась, даже если стреляли в хороших знакомых — они продолжали строить жизнь, заводили новых детей, покупали землю, дома, устраивались надолго.

А я бежал к телефону каждый час — не было сил терпеть. Трубку брали мать, дочь, тетка мужа, муж. Ему надоели частые ошибочные звонки, он сменил все аппараты, теперь они были с определителями, более того — каждый номер, с которого звонили, оставался в памяти. Я стал звонить из автоматов, дозванивался наконец до нее, мы договаривались, когда она сможет вырваться из дому и позвонить мне.

Возможностей было две.

Была галерея, которую он ей купил, чтобы она не совсем уж затосковала дома, ей это очень нравилось, я зашел однажды и, к своему изумлению, не испытал отвращения — что обычно бывало в любой из бесчисленных теперь галерей. Она и ее подруга, с которой вдвоем они вели все дело, ездили по всем барахолкам города, скупали — платя иногда вчетверо против того, что просил автор — работы спившихся клубных оформителей, любителей-пенсионеров, пытающихся получить какую-нибудь пользу от старого увлечения, бесконечные копии, сделанные с конфетных оберток, огоньковских репродукций, копии с копий, «незнакомки», «мишки», «ржи», «вечные покои» и даже «помпей». Все это тесно висело на беленых стенах хорошо отремонтированного бывшего жэковского партбюро на Солянке, а по зальчику были расставлены гипсовые горнисты, головастые октябрюта, бронзовые Горькие с хипповатыми патлами и усами, Чкаловы в шлемах — это волок их помощник, юноша, носивший габардиновый номенклатурный макинтош и черные очки «blues brothers». Юноша был явно голубоват, они давали ему немного денег и

кормили в маленькой комнате рядом с выставочным залом принесенными из дому салатами, он ел и рассказывал о тусовке, они чувствовали себя мамашами — да, в общем, и годились девятнадцатилетнему в матери, хотя и сами носили черные рейтузы, солдатские башмаки и кожаные куртки в молниях, как положено модным галерейщицам.

Кто все это смешное, вошедшее в тусовочную моду ностальгическое барахло покупал, было непонятно, но ее это не слишком интересовало — галерея была очевидным развлечением, мужниным подарком. Удивительно, ее самолюбие от этого не страдало, хотя ведь когда-то честно вырабатывала в музее свои искусствоведческие сто тридцать, и в отношениях со мною была щепетильна, от любого мелкого подарка начинала отказываться, цветы брала смущенно. Впрочем, что я мог подарить жене банкира...

В маленькой комнате стоял и телефон, она выгоняла подругу, отправляла стильного подростка на охоту за гипсовой парковой живностью и звонила мне. Привет... это я, ваша Саша... люблю, скучаю... ты мой любимый, замечательный...

У меня заходило сердце.

Ее странное двуполое имя мне снилось само по себе. Я не знал раньше, что слово, звук может сниться — отдельно, никакой картинкой, только яркий свет и это имя — Саша...

Вторая возможность позвонить представлялась, когда она забегала к этой самой подружке-партнерше — и моей, кстати, некогда подруге. Они же учились вместе еще в школе, конфиденциальность была гарантирована. Подруга шла на кухню, варила кофе, открывала прихваченную по дороге бутылку «beefeater'a», банку тоника — обе это дело очень и очень любили, а она набирала номер, и мы соединялись на полчаса, на сорок минут, я люблю тебя, и я тебя люблю, а подруга заглядывала в комнату и крутила пальцем у виска.

Раз в пару недель муж улетал в Цюрих, в Лондон, в Кельн, черт его знает куда, но это мало что изменяло, огромное семейство держало ее цепко, при непредставимых их деньгах у них не было постоянной прислуги, только убирать приходила какая-то бестолковая тетка, бывшая министерская служащая, а она сама ездила по магазинам, вдвоем с матерью готовили на всю ораву.

Но все-таки, когда муж был в отъезде, становилось немного свободнее. Охранника, стокилограммового блондина с мягким лицом русской девицы, посылали на джипе за дочерью в школу, оттуда он вез девочку в бассейн, на теннис, на дополнительный английский, ждал у дверей, вытирал мокрые волосики своим полотенцем с надписью «Сборная СССР», тащил, вспотевшую, под полой своей куртки, стараясь не прижать больно к кобуре, в ответ получал полное обожание десятилетней красавицы. Тем временем у меня раздавался звонок, я еду на Черемушкинский... будь на углу... минут сорок выкроим, да?..

Я в панике, боясь опоздать, потерять лишнюю минуту, брился, сутился под душем, одевался тщательно — а вообще-то в последнее время сильно опустился, ходил постоянно в как бы модной щетине, в джинсах, в некогда сверхмодном, но уже довольно драном длинном плаще, иногда прямо в нем, вернувшись в беспамятстве домой, заваливался на диван, включал телевизор и тут же засыпал под какие-нибудь известия, под нескончаемые танки... Лихорадочные мои старания давали результат незначительный, на угол вылетал сильно поношенный джентльмен, в стареньком твиде, в порядочно засаленном на узле галстукe, в давно пожелтевшей от стирок рубашке — впрочем, другим, с иголки, меня уже трудно было представить.

И вот рядом останавливался серебристо-белый, текуче-округлый, словно облизанный брикетик мороженого, небольшой ее «мерседес», она, пристегнутая, перегибалась, тянулась через сиденье, распахивала дверцу, и я плюхался рядом с молодой женщиной, сверкающей солнечными волосами, янтарными глазами, абрикосовой от кварцевого загара кожей и всею прочей юной пошлостью... На ней могла быть майка с матерной английской надписью или французская морская шинель, джинсы или юбка до земли, на всех пальцах серебряные кольца, в левом ухе две серьги, и вместе все это выглядело воскресным посещением дочери с целью проветривания нафталинового, быстро дичающего папаши.

Машина летела по Тверской, застревала в пробках, петляла по переулкам, наконец мы, всегда с оглядкой, останавливались метров за пятьдесят от ее галереи или за квартал от дома подруги, пропадавшей с утра до ночи по тусовкам, я вылезал, закури-

вал, шел медленно — случайный гость... Когда я входил, она уже была со стаканом джина в руке и в одной майке почти до колен.

На верстаке, идеально подходящем под мой рост, на заменяющем стол верстаке, в маленькой комнате за галереей, на большом махровом полотенце, извлеченном из набитого пустыми бутылками шкафа.

Она стонала, плакала, я зажимал ее рот губами, она выворачивалась, маленькие ее пятки мелькали у моего лица, судорожно сведенные пальцы тянулись к моей груди, вцеплялись в волосы, отыскивали соски, и через две минуты она обессилевала, закидывала голову, закрывала глаза, счастливая и безумная улыбка совершенно меняла ее, а я продолжал вбиваться, внедряться, отталкивая и снова притягивая ее к краю дощатого ложа, и все возобновлялось, и снова кончалось, снова, снова, и наконец я нависал над нею низко, опершись одной рукой, другую уже было не остановить, а она ждала, смотрела мне в глаза, и радостно выгибалась навстречу, и принимала всю кожей, и каждым волоском, и впитывала, вбирала, и животная жадность была в ее движениях и в лице, обычно имевшем мило доброжелательное, чуть кокетливое, но не более, выражение.

На диване, раздвигающемся не слишком широко, на разъезжающемся, с ненадежным краем диване в подружкиной однокомнатной, на собственной простыне и наволочках, специально купленных и хранящихся в том же диване, в пластиковом мешке.

Она вжимала в подушку лицо, так что я боялся задушить ее, прогибалась, узкая ее спина казалась еще уже, маленький, но тяжелый, как у цирковой лошадки, круп придвигался, она толкала им меня все чаще, все сильнее, извиваясь, соскальзывая, и вдруг, с криком боли, рушилась, и лежала на животе, прикрыв руками затылок, будто боясь удара, а я сползал, опускался, искал губами, жесткие волосы прилипали к языку, горький миндальный запах входил в меня вместе с судорожными, неглубокими вдохами, она отдергивалась, отстранялась, переворачивалась на спину, лежала солдатиком, вытянувшись, закинув за голову руки, крепко сведя ноги, неподвижно, и мерно, безжалостно, словно машина, взлетал и падал я, сгибая руки и распрямляя их

полностью, чувствуя, как искажается жестокой улыбкой мое лицо, и уже рычал, хрипел, дергался, словно под током, и чувствовал, как она наполняется мною.

Ну что, малыш, говорил я, дедушка еще не так стар, как кажется, мы пока на равных, а, и мне самому становилось противно от самодовольной глупости этой фразы, но она только счастливо улыбалась и гладила меня, чуть царапая коготками, и брала мою руку, обхватывала, прижималась к ладони щекой, и проводила маленькими, но очень выпуклыми сосками по моему животу, и лежала, обняв себя моими ногами и глядя на меня снизу, не то почти в слезах, не то в счастье.

Между тем жизнь шла, я каждый день ходил в театр, понемногу начал репетировать в новой затее Деда, ругался с ним отчаянно, он однажды, с обычной своей чудовищной неделикатностью, сделал мне замечание за небритость и грязные джинсы, в другой раз вроде бы с усмешкой намекнул, что если бы не я, он давно уже установил бы в театре сухой закон, но мне ведь не запретишь, а другие на меня смотрят... Я злился, но все шло не так уж плохо, и я понимал, что пока есть театр, где, хоть убейся, надо быть к десяти, я на плаву удержусь. Днем забегал в издательство, надо было заменить одно слабое стихотворение новым, когда я его написал, не могу представить, хоть убей, сборник должен был вот-вот выйти... Вдруг, к изумлению моему, продались сразу три акварели и несколько листов давней графики, галерейщик, похожий на любого из тех ребят, которые крутятся вокруг ларьков и у входов в ночные клубы, вытащил из внутреннего кармана вишневого ворсистого пиджака скрученную в трубку оливковую пачечку, перетянутую резинкой. Я купил немедленно бутылку сказочного «Glenmorangie», хорошие ботинки на толстой коже — вот ведь, где уже молодость, а шубы с разговорами не меняются! — и подарил ей косынку «Lanvin», которую она тут же повязала вокруг задницы. На том деньги и кончились, но жизнь шла, шла...

Женя появлялась время от времени, вполне доброжелательная, сочувственно смотрела в заполняющийся пустой посудой

кухонный угол и на мои все отчетливее трясущиеся по утрам руки, мы с нею о чем-то говорили, иногда вместе — но недолго, я засыпал, начинал похрапывать, ужас, и она выпроваживала меня в другую комнату — смотрели телевизор, утром я, конечно, не помнил, что именно. Женя снова уезжала, звонила из Питера, что доехала хорошо, но все это было как-то туманно, расплывчато, без очертаний, проносилось быстро, как проносится ближний пейзаж за вагонным окном, а внутри идет настоящая жизнь, знакомятся, выпивают, откровенничают, вспыхивают и разгораются дорожные приключения, и начинаются длинные романы... Впрочем, все было мирно.

Остальные, после той оглушительной ночи прощания со всеми, постепенно исчезли, растворились, перестали звонить, я начал даже забывать имена. Правда, две оказались то ли более терпеливыми, то ли действительно примирились с дружбой, иногда забегали в театр, мы шли в буфет, выпивали по рюмке, я рассказывал о неприятностях, дама горестно вздыхала, разговор исчерпывался, вот такие дела, повторял я, глядя в чужое, вполне даже приятное, но абсолютно не имеющее ко мне отношения лицо, такие дела, ну, звони, будешь рядом, загляни обязательно... И еще одна исчезала, пропадала, уходила в беспредельное, непредставимое пространство города... Повязывая на шею фуляр, протирая горящие после редкого бритья щеки одеколоном, я вспоминал — подарок, милая она была все-таки — и забывал уже окончательно, даже имя.

Исчезли и ангелы мои. Кажется, один раз промчалась мимо сумасшедшая «таврия», кажется, был за рулем Гарик, кажется, весь, как положено, в черном — но не остановился, не предложил подвезти, не поговорил о мудрости инструкций и наставлений, не процитировал параграф «Оставление охраняемого в беде, опасности, а также предательство и неоказание помощи в иных нештатных ситуациях». Я долго смотрел вслед, маленькая машина пробиралась в толпе, застрявшей на перекрестке со сломанным светофором... Мелькнул как-то в метро и Гриша, это был точно он, рыже-седой, приземистый и плотненький, в грязной белой парусине. Но не глянул в мою сторону, не подкатился,

не объяснил, как таки должен себе жить интеллигентный человек, если он порядочный аид, а не поц какой-нибудь, не лох и не хазер, как исделать бабки и быть здоровым, а не наоборот, пусть нашим врагам будет наоборот, я вам говорю как своему сыну. Он встал на эскалатор и поехал вверх, и мне показалось, что из-под парусинового его лапсердака выпирает на крепком заду большая пистолетная рукоятка...

Однажды раздался телефонный звонок, я схватил трубку — ждал, как всегда, ее. С той стороны помолчали, вздохнули, потом я услышал немного хриловатый, иногда срывающийся в надтреснутые верхи, но приятный голос: «Ну что, дружок, маешься?» «Кто это?» — раздраженно спросил я, причин раздражаться непонятными звонками у меня к этому времени было предостаточно. «Кто-кто... я в пальто... автор твой...» Я взбежился. «Вы, господин Кабаков, окончательно с ума сошли, — зарорал я так, что в трубке зазвенело, и кошка, подпрыгнув над постелью всеми четырьмя, кинулась, оскальзываясь на поворотах, под ванну. — Вы что же, решили все свои неприятности, проблемы и безобразия на меня взвалить?! А еще репутацию имеете приличного, доброго человека... Да у вас просто совести нет! Ну, не можете сами со своими бабами разобраться, ну, в себе закопались, остаться один на минуту не в состоянии, рассудка боитесь лишиться, пьете оголтело, боитесь на старости лет опуститься, уйти тянет, тоже мне, Толстой хренов — а я здесь при чем?! Хоть какая-никакая совесть у вас есть? На старого своего знакомого, ровесника, слабого и нездорового человека вешаете свои заботы... Вы просто негодяй, вот что, как и вообще ваш брат-сочинитель». «Не ори, Миша, — сказал он грустно. — И не сердись. Я б и рад тебя из всего этого кошмара вытащить, да не знаю, как. Понимаешь? Есть только один способ прекратить твои неприятности, и тебе он известен, но известно ведь тебе и то, что я этим способом по отношению к такому герою, как ты, никогда не воспользуюсь. Извини, суеверен... Так что давай, сам все решай, выпутывайся... Держись, старичок, все будет хорошо, вот увидишь. Будь здоров». «Пока», — сказал я растерянно в загудевшую пустоту.

Неприятностей же моих действительно прибавлялось день ото дня и ночь от ночи.

После звонка из Миасса начался обвал. Я сидел, смотрел на телефон, раздавалась длинная трель — черта с два теперь, когда появились беспроводные, мобильные и прочие безумные аппараты, отличишь международный вызов от набора из соседнего подъезда, я срывал трубку, ждал ее, ждал приглашения на пробы из Баварии, ждал сообщения маршана из Парижа, но прежде и больше всего ее, остальное отходило, отходило все дальше, не мог думать и беспокоиться больше ни о чем, только о нас с нею, но в трубке хрипело, трещало и вдруг омерзительный, скрипучий, хамский голос с ухмылкой спрашивал: «Ну, ты, козел, ты съедешь с каты или тебе костер сделать?» Я орал, ругался, грозил, бросал трубку молча — снова раздавался звонок, какая-то баба интересовалась, не поеду ли я все-таки в однокомнатную в Бутово, но с очень большой доплатой, я перебивал, ошибка, вы понимаете, ошибка, я не давал никакого объявления, телефон снова надрывался, ну что, пидор теплый, еще не устал, давай, отваливай сам из квартиры, пока твою сосалку в подъезде не прихватили. Я покрывался ледяным потом, медленно приходил в себя, успокаивался — там код, там охранник, она постоянно на машине, ничего они ей не сделают, но страх всасывался в кровь, как водка натошак, и я ждал, когда начнут терроризировать ее. Предупредил после первого же такого звонка, она презрительно махнула рукой. Пусть сначала найдут наш номер, его не дает справочная... И откуда они могут вообще о нас знать, успокойся... Просто хулиганит кто-то, может, даже соседи... Черт их знает, чем ты им мог помешать, дом-то пролетарский, раздражаешь... Я чувствовал, что все не так, но не спорил, я вообще с нею никогда не спорил, это была первая женщина, с которой я не то чтобы во всем соглашался, наоборот, вкусы ее, многое в ее жизни, да и взгляды на весьма существенные вещи мне были совершенно чужды, но спорить не хотелось — что-то более важное, чем даже самые важные взгляды, было общим, родным, абсолютно одинаковым, и иногда мне казалось, что она — это я.

Однажды мы провели вместе почти целый день, было так хорошо, как никогда прежде. Муж был в Нью-Йорке, взял с собою

дочь на время коротких каникул, она не полетела с ними, потому что вдруг поднялась температура, действительно плохо себя почувствовала, а чтобы ради Америки пренебречь гриппом, даже и речи не зашло — она на удивление спокойно относилась к любым поездкам, хотя не так уж много повидала, Кипр да Канары во время семейного отдыха, но при ее безграничном любопытстве к жизни была совершенно равнодушна к путешествиям, будто все интересное кончалось в Шереметьеве. Я живу, говорила она, глядя мне в глаза со своим обычным выражением, веселым и грустным одновременно, улыбаясь, а веки неожиданно краснели, будто вот-вот заплачет, я живу, а не достопримечательности осматриваю, понимаешь?.. Конечно, Париж... Но ты же знаешь, я не умею спешить... А все время надо спешить, визы, самолет... Я понимал, видел, что она несколько не пижонит, Париж для нее действительно не стоил суеты. Уже давно я убедился, что она самый искренний человек из всех, кого я встречал. На прямой вопрос она физически не могла ответить ложью — при том, что к актерству была склонна больше обычной женщины. К счастью для нее, люди нечасто задавали прямые вопросы.

На второй день температура упала, она как-то вырвалась от семейства — кажется, по обыкновению просто сказала правду, мне нужно в галерею, потом заеду к Таньке, отправила охранника на рынок, уговорила, и у Таньки, умотавшей на целый день по вернисажам, мы валялись, мокрые и обессиленные, прижимались друг к другу, она любила оплестать себя моими ногами, примацивалась под мышку, прижималась лицом к животу — втираюсь, говорила она... втираюсь в тебя... Ты уже втерлась, говорил я, втерлась в доверие, так называлось это в партии, в моем детстве была такая частушка, я ее на перемене проорал, и мать вызвали в школу, шпион Лаврентий Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. В твоём детстве, задумалась она... какой же это год?.. Пятьдесят третий, наверное, вспоминал я, или пятьдесят четвертый. Меня еще не было, удивлялась она и смотрела на меня снизу, изображая почтение... да вы, Михаил Янович, действительно пожилой человек... А ты маленькая засранка, говорил я, обязательно тебе надо удирать по больному месту. Ты молодой, бормотала она, прижима-

ясь все крепче, все настойчивее глядя, царапая коготками мою грудь, ты же совсем молодой... посмотри на себя... и устаю я быстрее...

Я вернулся домой часов в девять. Было отвратительно, пусто, грустная кошка лезла на руки, не давая раздеться. Расставаться было невыносимо — сидеть в пустой квартире, глядя на телефон и уговаривая себя не звонить ей, все равно поговорить не удастся, трубку скорей всего возьмет мать или тетка, на просьбу позвать, если обезумею и решусь, обязательно поинтересуются, кто спрашивает, придется врать, что это по поводу выставки, и молоть какую-то чепуху, когда она подойдет, учитывая наличие параллельных аппаратов, а она будет растерянно молчать или неестественно вставлять «да, конечно» и «позвоните завтра в галерею», поэтому максимум, на что можно было надеяться — это подойдет сразу она, послушать ее голос и молча положить трубку, рассчитывая, что она сообразит немедленно стереть из памяти определителя мой номер.

Я не стал звонить, а вместо этого скрутил голову очередной бутылке дряннейшего болгарского коньяку — денег, кстати, не было совершенно, и я уже давно перешел на это самое дешевое и, вроде бы, не химическое пойло — и налил сразу половину большого, с толстым дном, стакана для виски. Через час, когда я уполз из кухни и рухнул в постель, предусмотрительно приготовленную, в бутылке оставалось меньше трети.

Ночью мою дверь подожгли. Истошно заорала кошка, спасительница моя. Я вскочил очумело, почувствовал бензиновый едкий дым, увидел светлую, мерцающую пламенем щель под дверью. Чудом сообразил, что делать, и еще большим чудом отыскал телефон соседей. Они выскочили с чайниками и кастрюлями, вызвали милицию и пожарных. Раздраженный и брезгливый мент велел мне расписаться под протоколом и, пока я ставил закорючки постыдно дрожащей рукой, презрительно рассматривал картины на стенах, афиши, книги и мою мебельную рухлядь, которой когда-то я так гордился. Потом поинтересовался, когда в следующий раз меня по телевизору покажут, и какое будет кино, одно ему очень понравилось, но названия он не помнил. Мы расстались приятелями, однако ни утром, ни на следующий день, ни через неделю ничего не последовало, обещанный мен-

том следователь не звонил и не приходил, и я никуда не пошел тоже.

Я сидел за столом, самый ненавидимый мною свет — утренний, серый — понемногу заполнял комнату, достигая уже дальней от окна стены, лампа бледнела, и я понимал, что история моя с этой ночи начала двигаться к концу с новой скоростью.

3

Але, это я.

Здравствуй, любимый... Ты спал хотя бы немного?.. Сколько же можно... Ты совсем измучился...

Все в порядке, не думай об этом. Скажи лучше, мы сможем повидаться сегодня? Я соскучился, я хочу тебя видеть, я хочу в галерею, к верстаку, к Таньке, куда угодно, можем просто погулять, я хочу тебя видеть, хочу тебя видеть, я не могу без тебя жить, не могу жить.

Ну, перестань... можешь, прекрасно можешь жить... Ты работал уже сегодня?.. Получается?.. Много успел?..

Знаешь, я сам удивляюсь. Чем больше рушится, тем лучше идет дело, после пожара все сдвинулось и пошло, вчера я, конечно, не мог заснуть, ты же знаешь, если я перебираю с вечера, либо не могу заснуть, либо падаю, как мертвый, в десять, зато просыпаюсь в три, в четыре, ну и, как положено, весь комплект, печень, голова, ползу в душ, а вчера Женя была дома, я старался не бродить, не шуметь, кое-как свалился с дивана, сел за стол, мучился-мучился и, незаметно как-то, к утру закончил то, что давно хотел, последние строчки для сборника, покажу потом, вроде ничего, только скажешь честно, ладно, и лег снова, думал заснуть, но, понятно, какой сон, когда перевозбудился, и светает уже, встал снова, умылся тихонько, кофе сварил из смолотого, оставалось немного, смотрю — шесть, а делать нечего, и чувствую себя почти нормально, и сел опять работать, тот лист, который давно придумал, помнишь, я рассказывал тебе, подражание Эшеру, двусторонний человек, помнишь, как бы вывернутый наизнанку, еще девяти не было, а я уже почти все сделал, ерунда осталась, смотрю, уголь кончается и нету больше, черт

его знает что, а тут звонят, можно выезжать на пробы, представляешь, да нет, это всего три дня, но надо быстро, паспорт, визы, все эти дела, так всегда — все вместе, то на части рвешься, то делать нечего, только по городу болтаться и по сторонам глазеть, так что видишь, все не так плохо, плохо только, что не увидимся сегодня, я ведь правильно понял, ты хотела сказать, что не сможешь, да?

Я тебя люблю... мне так нравится, когда ты говоришь о своих делах... я ведь знаю художников... когда говорят о работе, делаются важные... и все всерьез... нет, ты уважаешь свою работу, я понимаю... но всегда немного иронии... и трезво... знаешь, я буду ужасно скучать, когда ты уедешь...

Это всего три дня, и еще неизвестно когда, а сегодня я так надеялся, но ты никак не сможешь, никак?

Никак... ну, не ной, ты мой милый, ты мой хороший... лучше послушай, я тебе еще скажу, что я люблю... еще я люблю, когда ты рассказываешь всякие истории из своей жизни... только не с бабами... и когда... вернее, всегда мне это интересно, ты же знаешь, у меня такой интерес к этому всему... естествоиспытательский... мне кажется, что я многого про это не знаю... и не умею... но когда в прошлый раз у Таньки ты начал рассказывать... мне вдруг раскотелось... и твои фантазии, где я участвую... у меня вдруг все пропадает, высыхает... а когда мы куда-нибудь едем, или в галерее, и еще сидят Танька и Славик, и ты начинаешь вспоминать... что-нибудь о тех временах, когда нам с Танькой было лет по десять, а Славика вообще не было... так интересно, и ты такой красивый... я слушаю и смотрю на тебя, а ты этого почти не замечаешь... ты кокетничаешь с Танькой и, мне кажется, даже со Славиком... да кокетничай, совсем не надо меняться!.. ты же мне такой понравился... мы же одинаковые... может, завтра удастся, придешь в галерею... естественно, просто художник пришел в галерею, и все... а там будет видно, может, Танька пойдет дальше тусоваться... в клуб какой-нибудь... а мы заедем к ней на часок, да?.. у меня будет свободен весь вечер, ведь вернисаж же... не расстраивайся, любимый, замечательный, завтра... завтра...

Надо еще дожить. Расскажи, что ты делаешь сейчас.

Я сижу на кухне... возле телефона... и смотрю на плиту...

варится суп... знаешь, какой я умею делать гороховый суп... тебе понравился бы... в кухне работает маленький телевизор, какая-то дрянь идет мексиканская... дома никого нет, только мама, но она прилегла, спит... у нас жарко, я босая, в трусах... ну, чего ты сразу кричишь, я знаю, что ты не любишь, не хочешь, чтобы я дома ходила голая... но я же не голая... ну, не кричи, сейчас надену майку, помнишь, у меня есть такая длинная майка, как платье прямо... доварю суп, поеду за Аленькой, потом вместе с ней в бассейн, потом я еще хотела сегодня стричься... отдохну, поваляюсь, ящик посмотрю... я чего-то так устала в последние дни... и выгляжу плохо, зеленая, глаза тоскливые... ты все-таки неправильно представляешь мою жизнь... в чем-то правильно, а в чем-то совсем не так... ты думаешь, что я очень близка со своими домашними, но это не то... я к ним привязана, вот правда... но не близка... это совсем не так, как с тобой... ты оказался первым близким мне человеком за всю жизнь... ну, и еще был один человек... недолго... он тоже был похож на меня, но я его совсем не уважала... даже презирала немного... и еще...

Алло, ответьте Подлипкам, ждите.

Алло, это ты, что ли? Слушай, мы тут сидим, квасим, решили вот позвонить, чтоб ты не скучал там. Думали, уже не застанем, понял, пацаны говорят, он уже давно заплыв делает. Москва-река, да? Ну. А ты отвечаешь, скажи, пруха? Ну, ты понял, да? Ты когда площадь освобождаешь? Давай, брат, не обижай людей, понял, да, пацаны сейчас сидят, квасят, пива взяли, хотели прямо по тачкам — и к тебе, а я говорю, бросьте, пацаны, культурного человека не надо обижать, он же имеет понятие, он уже шматье собирает, уже съезжать собирается с чужой площади, правильно? Алло, ты слушаешь? А ты отвечаешь, але и все такое. Ты, значит, не понял, да? Слушай и записывай. Ты козел вонючий. Ты чмо мелкое. Ты петух комнатный, падла, понял? Я завтра в Москве буду, понял, подъеду к тебе. Ты хуесос, понял? Ты...

Але, это я.

Нас разъединили. Они. Да. Этому нет конца. Знаешь, я потерялся. Такие вещи всегда происходят только с другими, к ним

трудно подготовиться. И ведь я знал, чувствовал, что начинаю пропадать, что скоро пропаду, но я не представлял, что таким способом, это сумасшествие, паранойя, причем, заметь, имеет явно советскую окраску, ведь что для советского человека всегда было самым страшным? — потеря прописки, что самым желанным? — получение квартиры, видишь, они в эту точку и бьют, и действует, я испытываю совершенно панический ужас, мне стыдно, я уже давно отвык бояться, а теперь боюсь, и вовсе не звонков их мудацких, и не поджогов, боюсь совершенно отвлеченных пока вещей — бездомья, бродяжничества, как это у нас изумительно называется: «без определенного места жительства». Конечно же, пишется вместе, «местожительство», великий, могучий, правдивый, свободный, особенно свободы в этом много, в «местожительстве», и величие слышится, правда? А вот что точно слышно, так это могущество, и правда тоже, потому что и ты тоже чувствуешь, что есть некоторое жуткое могущество чье-то в том, что ты можешь оказаться вне этого чудовищного слова, вне «местожительства», а оно покидает тебя, и ты остаешься один, лишенный и места, и времени, и, следовательно, самого жительства, потому что у нас его не может существовать отдельно, жительства, а обязательно вместе, место и процесс, протекающий в этом, специально отведенном месте — местожительство. Кстати, местожительство, что это? Ты только задумайся, это удивительная вещь, это объединение, времени-жительства и пространства-места, это торжество физики и философии в нашей удивительной стране, вообще склонной объединять все — Европу и Азию, историю и географию, грех и святость, добро и зло, ты согласна? Сейчас я налью себе еще этого дивного болгарского напитка, дай им Бог удачи, нашим братушкам, сохрани их отсталые технологии, по которым, без всяких красителей и прочей технической гадости делают они свой виноградный самогон, дай им Бог удачи, пусть они и дальше шлют его нам вагонами, этот дивный «Солнечный берег», стоящий даже в самом крутом ларьке не больше десяти штук, сейчас я налью его еще и выпью.

И теперь скажу тебе страшную вещь, открою ужасную тайну. Я дошел своим умом до сути национальной идеи. Теперь я знаю, что такое Россия — это местожительство, понимаешь?

Место и жизнь, в этом месте проходящая, но не отдельно, а вместе, вместе, и пишется слитно, как в милицейских вопросниках, вот это и есть наш особый путь, путь слившихся с местом, это и есть наши обстоятельства места действия, очень, я тебе скажу, сложные обстоятельства, а еще, как ты, может, помнишь, есть обстоятельства времени, отвечающие на вопрос не «где?», а «когда?», и с ними тоже есть проблема, потому что их нет, и на один из проклятых вопросов «когда?» всем, кто имеет наше местожительство, следует отвечать «всегда», и больше ничего, потому что ни вчера, ни завтра, ни позавчера, ни через год ничто не менялось и не изменится, и это не было и не будет ни страной, ни государством, ни историей, ни географией, а будет местожительством, чудовищным гибридом вещи и процесса, времени, как я тебе уже говорил, и пространства, будь оно неладно!

Ты совсем напился... они достали тебя, ты напился от бессилия... ты не пьянел так раньше... что же делать, бедный мой?.. сейчас я доварю этот суп... я хочу все бросить, давай встретимся у Таньки, я выгоню ее... буду тебя гладить, целовать и молчать... мне нечем будет разговаривать, у меня будет занят рот... полежим рядом, ты заснешь, успокоишься... я соскучилась, и мне так жалко тебя... ты совсем поехал... ты в плохом состоянии, мне не нравится это... слушай, я сейчас приеду, выходи на угол, к «подаркам», суп уже сварился, я оденусь и буду там через полчаса... умойся, приди в себя, не пей больше и выходи... я еду... я еду...

Подожди, я договорю. И, когда я договорю, ты, может, раздумаешь ехать. На кой хер тебе вечно пьяный, растерявший удачу, истеричный и нудный не то актер, не то поэт, не то художник — и, в общем, никто, на кой? Подожди, я договорю, все-таки. Я договорю, выслушай меня, девочка, пока у тебя есть время, по телефону говорить лучше, мы не отвлекаем друг друга руками, телами, глазами, языками, мы не прижимаемся, не влипаем, не вколачиваемся друг в друга, не рассматриваем кожу, волосы, ногти, не вдыхаем запахи, не едим и не пьем вместе, выслушай меня, любимая.

Я понял недавно, что совсем не знаю себя. Когда я остаюсь один, ночью, например, когда я не сплю, сижу на кухне, я очень быстро замечаю, что меня как бы нет, не существует Михаила

Шорникова, пятидесятидвухлетнего artist широкого профиля, крепкого еще, несмотря ни на что, мужчины, прилично выглядящего для своих лет, уже пережившего зенит профессионального успеха, но еще не совсем вышедшего в тираж, известного пьяницы и женолюбца — все это есть, а меня нет. Я внимательно вслушиваюсь в то, что происходит внутри сидящего за кухонным столом человека, и ничего не слышу. Я вижу старую, запущенную кухню, углы и закоулки которой скрываются в падающей темноте, вижу ярко освещенную висящей над столом лампой пеструю клеенку, руки немолодого мужчины с некрасивыми, кургузыми ногтями, с волосатыми фалангами пальцев, с крупными сплетениями выпуклых сосудов на кистях, руки двигаются, гасят в пепельнице сигарету, берут стакан и бутылку, наливают красновато-коричневую жидкость из пузатой бутылки в стакан до половины, я вижу все это, но никак не могу понять, где же тут я.

Иногда я набираюсь сил встать, включить в ванной свет, посмотреть в зеркало. Там я вижу не совсем знакомое лицо, в общем все прилично, глубоких морщин и складок пока нет, щеки под скулами слегка впали, но не слишком, синяки под глазами вполне терпимы, могло быть и хуже, ситуация с волосами давно перестала огорчать, тем более, что, по общему мнению, их нехватка пошла мне только на пользу, ну, конечно, морда за последние годы почему-то удлинилась, это есть, и брови стали расти кустами, по-стариковски, но все это можно пережить, привыкнуть. Я придвигаюсь, насколько возможно, к зеркалу над раковиной, вглядываюсь в глаза, но ничего в них не вижу, кроме обычного, постоянного выражения — тоска, уныние, не то собака, не то национальная скорбь, вельтшмерц не по возрасту, вот и все. Где в них, в этих еврейских, с опущенными наружными уголками глазах я, я, Мишка Шорников, моя жизнь, любви мои, где в них эти мои мысли и сомнения в собственном существовании? Нету. Ничего нет, только светло-карая радужка да немного покрасневшие от бессонницы белки.

Я смотрю сверху вниз, все гуще зарастающая грудь, вот где годы-то, почти незаметный живот, измявшиеся за день клетчатые трусы фасона, который у нас презрительно назывался «смейные», а в мире-то уважается больше плавок и именуется

«boxers», тонкие — но тоже изменившиеся, как ни странно, с годами, ставшие чуть тяжелее, что ли, прочнее — ноги, жилистые ступни в старых кожаных шлепанцах. Вероятно, это и есть я, эту кожу гладят, целуют, эти плечи, эти все же заметные наплывы на боках, над резинкой трусов, все это обнимают, этому шепчут «любимый, замечательный» — странно, тело больше всего убеждает меня в том, что я существую, хотя ведь не атлет, не танцор, никогда не был накачан и горд своим мясом, но почему-то именно рассматриванье этого безголового существа немного успокаивает.

Подожди минутку, я еще налью.

И вот, понимаешь, часам к трем, уже, конечно, пьяный, со слипающимися глазами, я прихожу к выводу: а меня и действительно нет! Уж если всю ночь проведя в поисках, я так ничего и не обнаружил, не смог вступить в контакт с упомянутым господином Шорниковым Михаилом Яновичем, то, видно, это и невозможно, не существует такого.

Тогда, на последнем шаге к беспамятству, перед тем, как вырубиться, наконец, я осознаю, что же, кто же есть, если нет настоящего меня. Вот, слушай: есть некто, кого ты любишь, обнимаешь, облизываешь сверху донизу, кто делает тебя счастливой на несколько секунд — вот это только и есть. Еще есть некто, беседующий с приятелями, вызывающий симпатию или недоброжелательство, зависть или сочувствие, шатающийся по театральным коридорам, студийным павильонам, галереям, журналам, издательствам, кого помнят и ревнуют прежние бабы, из-за кого тихо мучается Женя, чье имя знают сотни три любителей и поклонниц — некое не то существо, не то условный знак, некто Шорников. Черный ящик, устройство которого неизвестно никому, в том числе и мне, а известны более или менее, как и положено черному ящику, сигналы на его входе и выходе. Ты, наверное, не понимаешь этой технической метафоры.

Подожди минутку, я выпью и прикурю. И не воспитывай меня, я сам знаю, что такое вредные привычки, и не сердись.

Слушай, я уже заканчиваю.

Я старый, сильно пьющий. Не сегодня-завтра меня выживут из дому, я стану бомжом, денег у меня все меньше, не на что будет и комнату снять. Слава моя не вернется, я чувствую, так,

буду еще какое-то время барахтаться в тусовке, пока вовсе не сопьюсь и не перестанут давать бродяге и тот заработок, который сейчас есть. Я же говорил тебе с самого начала, что пропаду, что знаю это твердо, что мне на роду написано пропасть, сгинуть у помойки. Я же выродок, понимаешь, в самом строгом смысле этого слова: выродившийся, выпавший из рода, из семьи. В моей законопослушной, тихой семье, где даже гуманитариев-то до меня не было, одни инженеры да инженер-полковники, где никто не то что не разводился, но и не погуливал даже — я получился такой, какой получился, представляешь? Ну, и как же может закончить свою жизнь выродок? Конечно же, опустившись, спившись, в нищете, в бродяжничестве, в традиционнейшем «на дне».

Секунду, я доплю.

Дослушай. Девочка. Любимая. Мне приходит конец, понимаешь. Ты последняя. Теперь, когда я узнал, как это бывает. С тобой. Ты первая и последняя, слышишь. Я хочу жить с тобой, да негде, вот. Скоро они выгонят меня из этой проклятой квартиры. Женя уедет в Питер, еще куда-нибудь, не знаю. Но я точно не буду здесь жить, это я знаю. Если бы мне было где жить, я бы точно. Я бы увел тебя из твоих хором, из твоей этой чудесной жизни, точно. И ты бы не жалела, правда? Ты же меня любишь. Я бы тогда еще жил бы, все наладилось бы, я не пропал бы, да. И тебе было бы хорошо, ты бы увидела. Я очень люблю тебя. Я бы зарабатывал, мы бы жили неплохо. Я всегда умел зарабатывать. И я бы не пил, мы бы не пили с тобой, правда. Пили бы только понемножку, вечером, вдвоем. Было бы счастье. Я тебя люблю. Я уже почти заснул, знаешь, я уже.

Але... але!.. Что ты?.. Ты заснул?.. Проснись, проснись, я уже еду!! Проснись!!!

Не приезжай.

Я еду... еду...

Приезжай, приезжай скорей. Я сейчас умоюсь и выйду на угол. Приезжай, я люблю тебя.

Еду... уже еду...

Выхожу.

Еду...

Але... але же!..

Это телефон Михаила Шорникова. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала. У вас в распоряжении одна минута. Спасибо. This is the number of

Але!..

your message after the bip

Але!!

one minute for

Черт...

Thank you. Bip.

Але, это я, куда же ты делся... это Саша... я простояла на углу сорок минут, меня согнал гаишник... куда ты делся... я буду звонить еще... ту-ту-ту-ту-ту...

Але, будьте добры попросить к телефону Сашу.

Я слушаю...

Ты можешь говорить? Тогда только послушай быстро. Они пришли и пообещали устроить большие неприятности нам всем. У них, кажется, есть человек в охране твоего мужа. Мы договорились. Я оставил им квартиру. Я найду тебя сам. Не волнуйся.

Але!!!

Это Женя. Я звоню из Питера. Вероятно, я останусь все-таки здесь. Филармония нашла мне жилье, я получу двухкомнатную в конце Литейного. Не ищи меня, не звони, дай мне опомниться. Не волнуйся, я проживу. Ту-ту-ту...

Але... может, вы дадите бывшему хозяину этой квартиры прослушать записи... пожалуйста... дайте ему прослушать эту запись... пусть он позвонит... пожалуйста... если речь идет о деньгах, скажите ему... пусть он позвонит, мы все решим... и потом... он сможет договориться с вами, пожалуй...

Але, это я. Я из автомата, у меня только один жетон. Ты можешь говорить? Тогда послушай. Я жив. Все оказалось, как я и предполагал, не так уж страшно, даже неплохо. Сегодня я был в

театре, после обеда пойду в издательство, потом в одну галерею, где мне должны — все будет хорошо, не волнуйся. Завтра я позвоню тебе в галерею, ты ведь должна быть там, да? Можем увидеться, расскажу все подробно. А то сейчас кончатся три минуты, а у меня только один жетон.

Але... але!..

Этот телефон принадлежит Михаилу Шорникову. Он здесь больше не живет. Пожалуйста, скажите что-нибудь! Я попробую ему передать, во всяком случае, сделаю все, что зависит от автоответчика. Простите, по-английски я не говорю. Сейчас будет гудок — и говорите.

Але... я люблю тебя...

4

Как и следовало предполагать, они выжили меня.

Собственно, я даже не понял, как это произошло. Все эти ночные звонки, обещания, что сейчас «братва подъедет», поджигание двери и даже стрельба сквозь нее — сначала из пистолета, дырки ведь остались и в филенке, и в противоположной стене, — потом из охотничьего 12-го калибра или из помпового американского дробовика, прямо в дыру от пулевой пристрелки, так что картечь переломала се в прихожей... Какое счастье, что мудрая, лучше, чем я, обучившаяся боевой жизни моя кошка вовремя кинулась под ванну и только выла оттуда угрожающе, — и когда в очередной раз приехали менты, порассматривали с некоторой завистью — к исполнителям, конечно — разрушения, два часа писали протокол, потом вяло исчезли, — она все завывала хрипло, грозила врагам... Но все это происходило как будто не со мной, словно я смотрел какой-то средней руки триллер, какая-то случайная кассета на вечер. Более или менее благополучного джентльмена, обывателя с художественным оттенком, преследуют некие гады, бандиты, садисты, маньяки, он все терпит-терпит, а потом терпение его лопается, — я боялся себе представить, из-за чего может лопнуть терпение героя, но ведь знал, знал канонический сюжет! — и он, призвав

на помощь старого товарища, по Вьетнаму, допустим, начинает мочить их всех: рядовых бандитов, их босса — изысканно-пошло экипированную сволочь, продажных полицейских...

Мое же терпение все не лопалось, я смотрел это кино с оцепенелым равнодушием, никак не осознавая, что герой — это я. Не могу даже сказать, что я боялся, хотя и это одно было бы вполне достаточным и уважительным объяснением, но нет, нет. Я просто застыл.

Потому что такое происходит только с другими, мы все в этом твердо уверены.

Ну, и дождался.

Я поднимался по лестнице пешком, потому что лифт опять сломался. Переступая через бомжей, затаивая дыхание в облаках аммиака, блевотины, гнили, я допыхтел до своей площадки — и тут же приоткрылась дверь соседней квартиры, выглянуло в щель испуганное старушечье лицо. Мишенька, они просто открыли и вошли, и выбросили вашу кошечку и вот это, хорошо, что я услышала, поймала ее уже на первом этаже, а сумочку эту тоже подобрала, что же теперь вы будете делать, Миша, если хотите, переночуйте у нас, а Женечки тоже давно не видно, она опять в Ленинграде?

Я взял сумку, повесил на плечо, прижал к груди даже не пытающуюся вырваться кошку и пошел вниз, снова перешагивая через вонючих бродяг, читая в сотый раз злобные надписи на стенах.

С кошкой я пришел в театр. Уборщицы и вахтерши заохали, начали ее тискать, она вырвалась, нервно колотя хвостом, прижимаясь к стене, пошла по коридору вдоль уборных, безошибочно нашла мою, которую я раньше делил с покойным Юрой Литваком и уже год ни с кем, легла в сломанное кресло, издавна приткнутое в углу... Я понял, что она устроилась, дал бабкам денег на вискас, объяснил, где его можно купить подешевле, сел к зеркалу, раскрыл на коленях сумку.

Эти ребята оказались на редкость добрыми. В старую мою сумку, объехавшую пол-, если не весь мир, они сунули, в общем-то, все, что мне нужно. Там были: почти протершийся, но все еще незаменимый верблюжий даффл-коут и любимый кашеми-

ровый свитер — так что к зиме я оказался вполне готов; лондонская фляжка для виски и тяжеленный серебряный портсигар — и память, и на совсем черный день; четыре или пять книг, не стану перечислять, самых нужных, вот и все; статуэтка, стоявшая всегда на моем столе, за которую я почувствовал к ним особую благодарность... Словом, если бы я собирался уйти, я бы взял то же самое.

Впрочем, возможно, что я это все и уложил, только забыл, и даже занес к соседке, вместе с кошкой, а все остальное мне просто померещилось. В последнее время я стал замечать, что утром не помню ничего, что было накануне вечером, необходимая для этого доза стала постепенно снижаться. Кроме того, все чаще я бывал не в состоянии твердо сказать, что из помнящегося происходило в действительности, а о чем я только думал перед тем, как вырубиться, или, может, видел во сне.

Внутри сумки был довольно большой карман на молнии, она с тихим треском раздвинулась, я сунул руку и, оглянувшись на дверь, вытащил пистолет.

Это был «Para Ordnance P 13.45», изготовленный в Скарборо, в канадской провинции Онтарио по неувыдающей кольцовской системе, только с широкой рукояткой, под двенадцатипатронный магазин, да еще один сорок пятого калибра в патроннике — отсюда и название модели. Он был изготовлен полностью из стали, и потому стоил дороже, чем та же модель, но с некоторыми деталями из легкого сплава, он был куплен по каталогу за 712 долларов, и я его очень любил.

Теперь я выщелкнул обойму и по одному выдавил из нее патроны, потом оттянул затвор и выкинул последний. Маслянистые патроны, заканчивающиеся пулей, так похожей на жаждущий любви сосок, — где же я это прочел? не помню, — я ссыпал в старый чистый конверт, завалившийся в одном из ящиков подзеркальника, обойму загнал на место, предварительно протерев ее носовым платком, потом протер им же весь пистолет и, не касаясь больше металла, завернул его в пожелтевшую с прошлого месяца пыльную газету. Конверт и сверток я снова сунул в сумку.

Кошка уже спала, только ухом дернула, когда я, стараясь не стукнуть дверь, вышел.

Я бросил все с моста, с того самого, широкие каменные перила которого я так часто представлял под ногами, ночь, открытый пейзаж перед глазами, быстро согревающийся твердый кружок, прижимающий короткие волосы на виске, вдавливающийся в кожу, короткое движение правого указательного, как положено, нажатие последней фалангой. Где-то я читал, что звук не услышишь, но вспышку увидишь — интересно, откуда они знают?

Теперь только свертки полетели в воду, а я уже шел к лестнице, спускающейся на набережную, сбежал по ней, свернул к переходу, тормознул какого-то чумазого дачника на ржавом «москвиче»... Прощай, оружие. Я сдался, игры кончились, я уже никого не защищу, не встану во весь рост, заслоня собою и стволом слабую и любимую, не выстрелю на секунду раньше. И даже собственная моя жизнь теперь не завершится давно придуманной прекрасной сценой.

Последний герой — из череды таких же, давно забытых — уже сыгран. Теперь мне предстоит осваивать новое амплуа, веселого оборванца, подзаборной пьяни, Мипсани-интеллигента, умеренно поколачиваемого коллегами и конкурентами по переходу возле метро. Потом подойдет раздраженный парень в форменных милицейских брюках и скромной нейлоновой куртке — из ближайшего отделения, брезгливо, носком ботинка перевернет уже закаменевшее под тряпьем тело — и останется ждать перевозку, нервно хлопая планшетом по тощей своей ляжке...

Между тем, все продолжалось, будто ничего и не произошло. Мы виделись в галерее и у Таньки. У Таньки я принимал душ, стирал рубашку и гладил ее, еще мокрую. Мы истязали друг друга любовью, я привычно показывал чудеса неутомимости, она привычно же стонала, извивалась, потом жаловалась — все болит, что ты со мною делаешь, люблю тебя, ты меня проткнешь когда-нибудь насквозь, люблю, хочу еще, все время, люблю.

Об ужасе вспоминали потом, выпивая на Танькиной кухне, заедая готовым, кажется, датским салатом из пластиковой корочки. Но и ужас к концу первой недели стал привычным, обсуждали положение спокойно, искали выход, прикидывали так и сяк, выход не находился и, выпив и поев, мы отвлекались,

снова лезли в постель, иногда на полчаса-час засыпали вместе... Однажды мне пришло в голову, что если ничто не будет меняться, если мы в конце концов не станем жить вместе, рутина таких свиданий погубит нашу любовь еще вернее, чем любые неприятности, чем даже огласка, постоянный страх которой не исчез, но тоже стал привычным, будничным, чем даже моя бездомность и должная наступить рано или поздно нищета. Своим грустным открытием я поделился с нею, она расстроилась, глаза ее сразу оказались на мокром месте, веки покраснели. Но не возразила, да и что тут было возразить — все уже так шло, как шло.

Ночевал я иногда в театре, чего никто то ли не замечал, то ли не хотел замечать, иногда в ее галерее, на нашем многотерпеливом верстаке, пару ночей провел у Таньки, когда та уезжала в Нижний, на какой-то фестиваль, снова в театре, опять у Таньки, отдохавшей неделю в Анталии, как водится. Научился спать на чем угодно, включая разъезжающиеся реквизитные кресла, и забыл о бессоннице, мог крепко заснуть даже днем... Деньги были, в театре платили не в сроки, но все же платили, около миллиона дали в издательстве, хотя сборник не вышел и, скорее всего, уже и не мог выйти, вдруг шестьсот долларов передал с okazji из Парижа маршан, я купил новые джинсы, старые сунул в гримерной в угол, а для нее нашел в антикварном занятный перстень с очередной бирюзой... И вдруг деньги опять кончились катастрофически, пришлось взять сотню до театральной зарплаты у одного парня, не вылезавшего из немецких гастролей, брайтонских концертов и каких-то совместных постановок. Парень дал без разговоров, но все равно было противно. Потом прошло...

Она ехала к какому-то художнику в мастерскую, к черту на рога, в Перово, подхватила меня по дороге, договорились, что я подожду в машине, пока она будет отбирать работы, а потом поедем на пару часов к Таньке. По дороге туда говорили не о беде моей, не о будущем отчаянном нашем, а черт его знает о чем: о разных женских типах, о вечной женственности, о великих возлюбленных, о том, что любят не тихих, порядочных, домовитых и преданных, а ярких, распушенных, предающих, терзающих.

Невелико открытие Америки, но оба страшно завелись, орали, перебивая друг друга, на перекрестке она едва не въехала в автобус — и было понятно, орем потому, что все прикладываем к себе, к нашим отношениям, к нашему случаю. Она себя считала женщиной дурной, корила себя за все — что мужу, доброму, хорошему и терпеливому, изменяет, что мне принесла несчастье, что, не умея себя обуздать, рискует и своим, и чужим покоем, может и себя в угол загнать, и близких на всю оставшуюся жизнь погрузить в горе, в обиду, загубить. Ждала, что будет за все наказана, за все свои немногие приключения, и за нашу историю тоже — словом, завела старый разговор, вечную свою песню.

И обо всем говорилось так, будто пока ничего не произошло, будто не превращаюсь я неотвратимо в бродягу, будто нужно еще ждать напастей, будто еще не дождались. Я и сам забыл о том, что через несколько часов надо будет искать ночлег и что, возможно, следующей моей спальней станет подъезд.

Все о том же продолжали говорить и у Таньки, что не помешало час исходить страстью, стонать, вскрикивать, начинать плакать, дергаться, едва ощутимо притрагиваться кончиками пальцев, изо всех сил прижимать, обхватывая руками и ногами, проталкивать язык все глубже, почти разрывая уздечку, бесконечно рассматривать, придвинувшись почти вплотную, заливаясь потом на уже и без того мокрых простыне и полотенце, шептать десяток бесконечно повторяющихся слов, не имеющих себе равных в пошлости — любимая, любимый, девочка, мальчик, солнышко, солнышко, родная, родной, красивая, красивый, люблю, люблю. Все. Все. Все. Не могу больше. Как хорошо. Все. Все. Все. Как хорошо. Не могу больше. Все. Все. Все. Иди сюда, иди сюда.

Потом, как обычно, сели на кухне, она в длинной майке, я в мятых трусах, она пила Танькин джин — правда, накануне Танька сама прикончила наш, я же открыл купленную ею для меня фляжку «Black & White». Сыр засох, хлеб стал в холодильнике каменным, а отогреть было некогда, оливки из банки вдруг опротивели. Все было как всегда, но я закурил, затянулся пару раз — и сунул сигарету в пепельницу, недодавил, и запла-

кал, ничего не в состоянии с собой поделать, затрясая, заходясь все больше в тоске, страхе, безнадежности, она встала передо мной, прижала голову к груди, гладила, что-то неслышно шепча, я начал успокаиваться, взглянул снизу в ее лицо. Глаза ее были закрыты, губы некрасиво кривились, произнося неслышимые слова.

Я понял, что, независимо от любых перемен, она последняя, что не будет больше никого, и ничего не будет, и ничего больше и не надо.

Потому что, говоря просто, от добра добра не ищут, а лучше ее не то чтобы нет или быть не может — но мне не надо.

Потому что она именно и есть та, которую я придумал лет двадцать пять назад, когда я придумал всю свою жизнь, свои занятия и чего я от них хочу, свой образ существования до мельчайших деталей, и все так и получилось, все осуществилось, пришло и уже даже ушло, и не было только придуманной тогда женщины, были все время хоть немного — а иногда и очень — другие, но вот она, она — это та. Другой не будет.

Не потерять бы ее, подумал я, как я уже растерял и продолжаю терять профессии, образ жизни и все, чего хотел и получил. Черт с ним со всем, подумал я, только бы она не потерялась.

Тут и зазвонил телефон, и она автоматически сняла трубку в чужой квартире, потому что звонок был резкий и длинный, и ей, наверное, показалось, что это звонок международный, от какого-нибудь лондонского или нью-йоркского ее знакомого галерейщика, и она схватила трубку, и ответила, и слушала минуты три молча, и так же молча трубку положила.

Слушай, сучка, сказали ей. Мужа твоего мы достанем и в Штатах, поняла? Старухи уже по месту прописки отвалили. А пацанку свою получишь, когда нам ключи от хаты отдашь. Ты, проститутки кусок, трубку не бросай, а слушай по-человечески. Ключи у тебя на одной связке, так? Вот, воткни в зажигание, поставь своего «мерса» на ручник возле «Измайловского парка», у метро. И вали к базару, просекаешь, там тебе девчонку сдадут. А захочешь потрахаться с хорошими ребятами, звони. Ну, все, у тебя час есть, гони. И козлу своему скажи, чтобы не возбужал, поняла? Давай, соска, исполняй. Пока.

Message, оставленный на автоответчике Михаила Шорникова: «Тебя, конечно, невозможно застать дома, а мне надоело по междугородной разговаривать с автоответчиком, тем более, что он порет какую-то ерунду. Пьяный записывался? Так вот, выслушай меня внимательно и постарайся понять. Ты решил расстаться? Я уже давно знаю, что ты способен предать, вот и дождалась. Тем не менее, я не жалею о том, что мы прожили вместе эти годы, я все равно считаю их лучшими в своей жизни. Не беспокойся, я не умру без тебя. Я устроилась в Питере, разыскивать меня не надо. Женя».

Записка, опущенная в почтовый ящик Михаила Шорникова. Конверт со штампом «Московский Экспериментальный Академический Театр», без почтового штемпеля — принесен и опущен курьером. Машинописный текст на одной странице: «Заседание художественного совета театра и правления АО «МЭК-САТ» 19 апреля в среду, в 12 часов. 1) Отчет правления о ходе переговоров с «Экстра-Банком». 2) Утверждение договора об аренде репетиционного зала и прилегающих помещений клубом-рестораном «Venus-club» (российско-американское СП «Мармур & Мармурштейн enterprises Ltd.»). 3) Отчет главного режиссера о ходе подготовки спектакля «Печальная история Анны» 4) Утверждение исполнителей по спектаклю «Анна». Под машинописью дополнение от руки: «Миша! Не вижу тебя в театре уже третий день. На совете будь обязательно, есть дело». Без подписи.

Письмо, валявшееся на лестнице под почтовым ящиком Михаила Шорникова. Обратный адрес на конверте: «M-r Vladimir Bronizki, 34, rue Saint Louis en Y'lle, 75004 Paris, France». Текст письма на двух страницах, мелкий компьютерный шрифт со многими подчеркиваниями, выделениями и разрядками: «Миша! Как видишь, не прошло и года, а я уже собрался написать. Не знаю, как ты теперь живешь, но, судя по тому, что нет от тебя ни слуху, ни духу, нечто происходит в твоей жизни. Предполагаю следующее: а) *новый фильм*, б) *новый роман*, в) то и другое, г) *разошелся* с Женей. В любом случае, надеюсь, что

ты не киснешь, а наслаждаешься новой ситуацией. Когда будешь в областном центре Парижске? Что-то мы давно с тобой не выпивали; не сидели ночью у каких-нибудь греков в Старом Латинском квартале; не пугал ты мирных японцев за соседним столом, самоубийственно заказывая пятый, седьмой, десятый виски; не брели мы по Новому Мосту над веселыми, светящимися баржами; не ели «У Бернара» (помнишь, в районе Площади Италии) любимый *тартар* в компании ночных таксисток, возящих с собою на переднем сиденье как бы для безопасности пожилых псов; не похмелялись английской исключительных качеств водкой «Tangueraу» в пять утра на травянистом склоне у белой монмартрской церкви, под завистливыми взглядами клошаров; не дремали после чумной ночи на маленькой квадратной площади, со всех сторон окруженной антикварными лавками. Давно не шлялся ты по *оружейным* магазинам; по *блошиным рынкам* давно не пил местного популярнейшего пива «1664». Приезжай, а? Неужто нельзя придумать чего-нибудь, неужто не зовут тебя на какую-нибудь встречу прогрессивной общественности, на премьеру какого-нибудь вашего новейшего фильма, что-нибудь про блядей и бандитов, неужели, в конце концов, твой маршан не может пригласить? Я бы пригласил, да с моими бумагами, знаешь, и сам живу как гость. Этранже, мать бы их. Тем не менее, живу я, Мишка, и радуюсь. И не тому радуюсь, что чисто, тихо, прилично, на лестницах не срут (привет твоему подъезду!), что улилок горячих могу поест (сейчас, говорят, и у вас все имеется за доллары, да?), что красиво все — хотя и это, признай, неплохо. Но радуюсь я, дружочек мой, тому прежде всего, что один. Ты, наверное, удивишься, — а может, и поймешь, — но пришел я за последнее время к выводу, что в нашем возрасте нет ничего лучше одиночества. Какая глупость — страх «одинокой старости»! Да разве она бывает *не одинокой*? Ну, живут где-нибудь старосветские помещики, что называется, душа в душу, смотрят вместе ТиВи, гуляют в парке, потом укладываются спать рядком, храпя и пукая, кто громче... Во-первых, гадость ужасная, во-вторых, одиноки-то они все равно, потому что от одиночества есть только *одно средство* — любовь, а ни привычка, ни привязанность, ни обязательства, ни ответственность не помогают. И все это знают, только не признаются. Я же при-

знался себе: отвечать за другого человека и не хочу, и не могу, главное — не хочу, чтобы за меня отвечали. Между прочим, перечитывал недавно любимого моего, и вот что вычитал в упомянутой повести о великой и пожизненной привязанности: «...не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было». Ну, так если не мальчик, то не Афанасий ли Иванович? Пусть простит мне великий такое кощунство, но не исключаю. В теплой-то духоте да с обжорства... А я, между прочим, много об этом думал, и пришел к выводу грустному: любая *измена*, не говоря уж о настоящем, длительном адюльтере, *разрушает любовь* обязательно. Понимаю, что открытие еще то, но что поделаешь — своим умом дошел. Оттого и все наши несчастья, что все ищем чего-то, а теряем последнее, что было. Но ведь не переделаешь же человека, правильно? Ну, вот и живу один, и счастлив, а в этом городе изумительном, да еще с моим еле-еле французским, одиночество сохранять просто. Такой вот я стал, ты, помня меня московского, не поверишь, наверное, а пишу истинную правду. На хлеб же зарабатываю — с трудом и немного — обычно: немножко в газетках русских, немножко на радио... Но, поскольку все это неотвратимо усыхает и сворачивается, старательно ищу работу нормальную, достойную свободного человека, не зависящую от ваших очередных безобразий или достижений. И, кажется, такую уже почти нашел, помогли мои теннис, волейбол, утренний бег, да и сейчас я каждый день качаюсь, даже тренажер комнатный купил, осилил. В форме отличной, живота нет, руки-ноги в полном порядке. В результате, может быть, дадут мне маленький металлоискатель, красивую униформу, и буду я стоять в дверях большого магазина, открывать сумки и водить прибором по арабам — вдруг зазвенит... Думаю, что этой работы мне надолго хватит, все взрывают по всему миру и взрывают... А там видно будет. Между прочим, писать, если на службу возьмут, придется бросить, здесь этого не любят, нету

традиции интеллигентных истопников и сторожей. Ну и хрен с ними. Тем более, что сейчас, перечитав эту эпистолу, обнаружил, что стиль на редкость старомодный, в духе наших с тобою первых попыток, помнишь, году в шестьдесят пятом или шестом?.. Так что потеря для словесности отечественной будет не-большая, а приобретение для безопасности мирного населения безусловное, я человек добросовестный. Такие дела. Приезжай, ей-Богу. Возьму выходной, погудим... Обнимаю тебя, твой Володя. А ей, кто б ни была, поклон — я твоему выбору доверяю. В.»

Заявление, оставленное на столе в РЭУ (скомканный, с оборванным краем листок): «Начальнику РЭУ-13 г-ну Биллялетдинову А.Б. от Шорникова М.Я., проживающего (оборвано). Заявление. Прошу прописать в приватизированной мною квартире по адресу (оборвано) г-на Григо (оборвано), являющегося моим родствен (оборвано) со стороны (далее все оборвано)».

Заметка в газете «Московский доброволец». Рубрика «Cito!». Заголовок «Известный тусовщик стал бомжем, но продолжает тусоваться». Текст: «Один из наиболее заметных представителей московской богемы старшего поколения Михаил Шорников, актер (знаменитый фильм «Изгой»), художник и поэт, продал свою квартиру и теперь ночует большей частью в Экспериментальном Театре или у подруги-галерейщицы. Вчера его видели выходящим из Театра в пять утра, что не помешало ему вечером высадиться из иномарки у входа в престижный ночной клуб «Крысолов», где состоялся вечер его друга, приехавшего из Парижа литератора Владимира Бронницкого. На вечере старые друзья обнимались, пили и закусывали, а после вечера расстались — один поехал в гостиницу «Гранд-отель» (оплаченную пригласившей русского парижанина компанией «Росинцест»), другой был замечен входящим в подъезд старого дома в районе Типинки, облюбованного для ночлега бездомными. Между тем, как стало известно из хроники происшествий, два дня назад в бывшей квартире Шорникова произошла драка, в которой двумя выстрелами из пистолета «ТТ» был убит новый хозяин квартиры, 27-летний безработный Г. Следствие ведется, возможно, что

знаменитому тусовщику и бомжу придется ответить на несколько неприятных вопросов. Не огорчайтесь, Михаил Янович — жизнь коротка, тусовка вечна!»

Записка, отданная вахтерше на артистическом входе Московского Экспериментального Академического Театра: «М.Шорникову. Мишенька; любимый, что происходит? Пожалуйста, позвони мне, попроси меня, кто бы ни подошел к телефону, или позвони в галерею, или Таньке. Я волнуюсь, боюсь за тебя после заметки в «МД». Позвони».

Приказ, вывешенный на доску объявлений в служебных помещениях Московского Экспериментального Академического Театра: «Приказ (///) 9. 12 мая. В связи с систематической неявкой актера М.Шорникова на репетиции, появлением в нетрезвом виде и фактическим прекращением работы в театре, а также в соответствии с поданным Шорниковым М.Я. заявлением, освободить М.Я.Шорникова от работы по собственному желанию с 12 мая с.г. Художественный руководитель и главный режиссер МЭКСАТ — подпись».

Записка, подсунутая под дверь галереи «ТиС»: «Танюша! Никак не могу поймать Сашку ни по одному телефону. Наверное, носится, ищет меня, а я ее. Передай ей, пожалуйста, что я жив, что ничего страшного не происходит, все устроится. В ближайшие дни я найду ее — пусть почаще бывает в галерее, я позвоню. Целую вас обеих — ее, как догадываешься, отдельно. М.»

Еще одна запись, оставленная на автоответчике, принадлежавшем Михаилу Шорникову: «Вы, мелкие фраера! Если вы хотите спокойно выпивать и кушать, так дайте знать Мише Шорникову, что его уже ищут друзья, Гриша и Гарик. И задавитесь себе на его жилплощади, но если сделаете Мишке плохо, так я с вас личными руками устрою таких клоунов, что будете смотреться у зеркало и плакать, как по родителям. А как Гарик может вас по инструкции сделать на всех ваших беэме, вы сами знаете. У вас еще есть немножко время. Гриша и Гарик».

Надписи, сделанные на стене подъезда, где жил Михаил Шорников: «Гриша и Гарик здесь были. 14/V. Кто видел в море корабли, не на конфетном фантике, кто помнит, как его ебли, тому не до романтики. Миша, кончайте детский сад, приходите к себе, сделаем вселение обратно». Ниже: «Мишенька! Позвони, Саша у меня. Таня». Сбоку: «Дайте мне несколько дней, я сам разберусь во всем и сам всех разыщу». Под этим крупная подпись — «М.Шорников».

6

Понимаешь, сначала он показался мне просто сумасшедшим, помнишь, когда пришел в галерею, ты нас познакомила... Немолодой ведь уже мужик, интересный, ну, на мой вкус слишком старательно одет, все эти платочки, пиджаки, «фаренгейтом» за версту разит, но ведь действительно хорош, ничего не скажешь... И знаменитость все-таки, мне это все равно, ты же знаешь, ты же все мои истории знаешь, я же не по этому делу, мне все равно, помнишь Игоря, вообще был... я даже не знаю кто, механик по лифтам, да?..

Но, все же, я «Изгоя» видела, и стихи где-то попадались вполне симпатичные, а тут еще он со своими акварелями... ну, эта серия, «Объятия»... Конечно, произвело впечатление, но совершенно был сумасшедший, я даже испугалась. Пьяный все время, говорит непрерывно, обнимается... Помнишь, так обнял тебя за плечи, Танечка, солнышко, ты сегодня действуешь, как установка залпового огня, тебе черное идет необыкновенно... Старомодные комплименты, а глаза абсолютно безумные, и вдруг начинает говорить такое... То о себе все выкладывает, а кто мы ему, совершенно посторонние бабы, только что познакомились, а он рассказывает такие вещи, которые даже близким друзьям не говорят, что-то о болезнях своих, об этой его Жене, то вдруг такую непристойность ляпнет, даже не знаешь, как реагировать, не по морде же...

Знаешь, ты тогда ушла, он достает из кармана фляжку, очень красивая, наливает мне немного, сам прямо из фляжки, ужасная гадость это виски, теперь уж приучил... Выпили, он сел

напротив, смотрит в глаза, замолчал вдруг, только улыбается так, знаешь, брови горестные, а глаза улыбаются, и молчит, а я с Сережей как раз договорилась встретиться, спешу, и вдруг, не понимаю сама, зачем, начинаю все ему рассказывать, и про Игоря, и про Сережу, даже про мужа, он слушает, курит, к фляжке прикладывается, мне еще налил, брови совсем домиком сошлись, морда прямо как у доброй собаки, а я все рассказываю, рассказываю... Ну вот, говорю, поеду сейчас к Сереже, он хороший, добрый, лягу, прижмусь, отдохну от всего... Представляешь? Ну, чего я с ним разоткровенничалась?.. А он совсем расстроился, пожалуйста, говорит, не ездите к нему сегодня, если вы поедете, мне будет очень плохо, я буду все себе представлять и к концу вечера с ума сойду... Я и не поехала, допили мы его виски, стали пить наш джип, стала я уже собираться домой, пьяная совсем, говорю, брошу машину, поеду на метро, я тогда, помнишь, еще одна ездила везде...

А он вдруг усмехнулся просто похабно, положил руку мне на колено, мы на стульях друг против друга сидели, прямо посередине выставочного зала пустого, повел рукой вверх, ладонь горячая даже через одежду, и знаешь, что сказал?.. Я вас не отпускаю так, вы уже можете простудиться... Понимаешь, в смысле, уже мокрая... Так сказал, что иначе понять было нельзя... И я осталась еще на час, прямо тогда, хотя как раз мне было никак невозможно, и дома ждали... Но он даже не очень уговаривал, просто обнял, Сашенька, Сашенька, я за Таню всю жизнь буду Бога молить, за то, что познакомила нас, Сашенька, я понял, понял, вы любимая, последняя, я всегда буду при вас...

И понес, понес, пьяный, безумный, глаза уплывают, а я все это вижу, слышу, что бормочет ерунду, но не могу ничего поделать, он встал, большой, уже отяжелевший, ну, знаешь, как спортивные мужики тяжелеют с возрастом, прижал к себе, на плечи чуть-чуть надавил...

О нашем путешествии тебе уже известно все. Вот тут и выяснилось, кто из нас сумасшедший. Я хочу только еще вот что тебе рассказать, меня это давно мучает, я хочу рассказать тебе, что я там чувствовала. Наверное, ты и так обо мне это знаешь, мое желание чувствовать себя одновременно собственностью, ве-

щью, которой мужчина просто пользуется, понимаешь, справляет на мне свою нужду, и, в то же время, смотреть на него так, немножко свысока, сверху, вот, дескать, животное, которое нуждается во мне, чтобы ощущать себя человеком, сильным, значительным, это я ему даю, даю такую возможность, и он получает то, что никогда и ни от кого бы не получил, это чувство превосходства, полноценности, и пусть он думает, что победил, но я-то знаю, что поддалась, подарила ему этот обман, иллюзию превосходства. Танька, ты же знаешь, так было с Игорем, потому он за меня и держался, а Сережа почувствовал это, эту дрянь во мне сразу, и сразу стал с этим воевать, он мне доказывал, что не зависит от меня, что он просто взял, я просто дала, мы равны и свободны, ну, тогда я ему и доказала, когда не пришла, кто свободен, а кто зависим. Но там, в нашей экспедиции, в этом ужасе, в сказке, во сне я впервые, понимаешь, Танька, впервые в жизни, почувствовала, что от меня ничего не зависит, что война закончена, и я потерпела поражение навсегда, это было такое счастье, так сладко, так хорошо, впервые, слышишь, впервые я была собственностью действительно, ничего не зависело от меня, он меня вел, он знал все за всех, за себя и за меня, за своих этих хранителей и за всех людей, он принимал решения, и я подчинялась им еще до того, как они были приняты, и даже его слабость перекрывала всю мою силу, и даже его зависимость от моего тела и от моей ласки делала его не зависимым, а, наоборот, свободным. Не могу тебе толком объяснить. В общем, там, в этом нашем путешествии, все совпало, и моя жажда подчиняться, и мое вечное стремление к превосходству, желание сделать царский подарок — себя. Понимаешь? Я ведь знаю этот свой порок, гордыню, и ты знаешь, но я никогда не предполагала, что такое может быть, чтобы я от него зависела, как вещь от человека зависит, а он от меня — как человек от вещи, понятно, да? Непонятно, я знаю. Ну, неважно. Во всяком случае, там было счастье. У нас была как бы одна кровь, только он был сердцем, которое кровь гоняет, а я сосудами, по которым течет и течет, толчками, так, как бьется сердце, и мы так зависели друг от друга, как сердце и сосуды. Ну, я разговорилась. Просто женский роман какой-то. Извини. Но мне очень хотелось рассказать, как было там. Видишь, мы вернулись, ничего не изменилось, я живу

дома, Миша совсем спился и уже, кажется, стал бродягой, бомжом, я плачу, как только представляю себе его теперешнюю жизнь, разве можно так жить в его возрасте, но не могу ничего сделать. Он твердо решил, что должен пропасть, опуститься, у него было такое предчувствие, и я не в состоянии с этим бороться, ты же знаешь, какой из меня борец. И кроме того, я не могу освободиться, семья — моя большая часть там. Я не знаю, что мне делать. Когда начинаю думать об этом всерьез, болит голова, невыносимо, и я сдаюсь, не разрешаю себе эти мысли.

Иногда я заставляю себя быть с собою совсем откровенной, понимаешь, совсем, до самого конца, понимаешь?.. Тогда получается, что мне никто на самом деле не нужен, я живу отдельно, отдельно ото всех, и от него тоже... Бывает такое состояние, мне нужно закрыться, отгородиться, остаться одной, ни муж, ни дочь мне не нужны, и он не нужен, я звоню тебе, или даже одна, никого не зову, иду бродить... В хорошую погоду это состояние становится совсем непреодолимым, мне надо уйти, идти одной... Я даже не очень глазею по сторонам, не захожу в магазины, не замечаю людей, в общем, не замечаю и погоды, солнце, или дождь вдруг начнется, мне все равно... Я уйду, освобождаюсь, мне необходима эта свобода, в это время я никого, наверное, не люблю, я просто люблю дышать, я дышу в своем укрытии, мое тело становится моим убежищем, крепостью, и я отсиживаюсь, спасаюсь... Мне кажется, что это нормально вообще для человека, быть одному, закрыться, не чувствовать себя всегда и абсолютно слитым с каким-нибудь другим человеком или с людьми, даже с близкими... Мне кажется, что такое слияние даже болезненно и неестественно — вылезти из панциря, чтобы прикоснуться к любимому существу... Ничего не вышло бы, только боль и смерть мучительная...

Поэтому, ты же знаешь, мои романы были как бы... Через панцирь, да?.. Поэтому был Игорь, с ним и невозможно было без панциря, он совсем другое животное, может, акула или огромный хищный моллюск, но в своей броне я была в безопасности, и даже сама могла... Могла постепенно поглощать его, понимаешь?.. Я видела что-то такое, по телеку, наверное, только не в панцире, конечно... Какой-то такой цветок... Он постепенно втягивал кого-то, какое-то живое... И было видно, хотя это просто

огромный цветок, и шевелились как бы лепестки, но было видно, что он наслаждается... А с Сережей... С ним тоже можно было оставаться в панцире, он сам был в панцире... Это было даже приятно, соприкасаться таким твердым, непроницаемым, и чувствовать, как все же идет навстречу, сквозь наши твердые поверхности, тепло...

А что ж муж? Ты же знаешь, Танька, как это было. Потом все постепенно сошло на нет, рассосалось. Наверное, потому, что он слишком хороший, серьезный, порядочный, благородный. А мне, ты права, нужно немножко дряни, гнили, да? Но я все понимаю, поэтому в конце концов и поступаю, как всякая нормальная баба, погуляла — и домой, поэтому и держусь так за него и вообще за семью, ты же не скажешь, что я за них не держусь. Если б не держалась так, давно уже пропала бы, тот же Игорь меня бы растерзал, уничтожил. Или еще был, до него. Конец мне был бы без мужа, и без наших старух, и без дочки, хотя, наверное, я могла бы, должна бы быть лучшей матерью, тем более женой, но я стараюсь, я держусь за них, чтобы не пропасть совсем. Это и есть моя к ним любовь.

Знаешь, я жутко расстроилась, когда узнала, что они с Женей разошлись. Вот, думаю, останется он один, а я в семье — он и найдет какую-нибудь... свободную.

Я же ведь знаю себя... Ведь во мне есть и другое... Не давать, а взять, понимаешь меня?.. Это он мне сказал, он быстро понял... Он сказал, что есть женщины, которые целуют, чтобы ласкать мужчину, а я — чтобы ласкать свои губы... Он сказал, что чувствует себя инструментом, что я им себя глажу... Я начала спорить, даже обиделась, но сразу почувствовала, что он прав... Понимаешь, это нельзя скрыть в постели... Он сказал, поэтому ты любишь быть сверху... Ты себя мною любишь, сказал он...

Вот потому и вся история с Игорем, будь он проклят, тварь. Теперь я все поняла, Танька, это мой порок, за него меня жизнь и наказывает. Он мне все объяснил, Миша, Мишенька, любимый мой, любимый, замечательный. Он сказал, что я отношусь

к мужикам, как мужчины относятся к женщинам, понятно? Ну, сейчас я тебе объясню, только я уже не помню точно. Примерно так: нормальная простая баба, конечно, любит мужчину за силу, но что для нее это значит — сила? Значит, мужик лучше других в деле, ну, там, не знаю, пашет лучше, потому что здоровый, или доктор наук в двадцать пять лет, если речь об образованных идет, понимаешь? Ну вот. А я что люблю? Я красоту люблю, он сказал — ты нашего брата потребляешь, как обычный бабник вашу сестру. Фигура, глаза, ну, и так далее. Я сука, Танька.

С ним я вылезая из панциря, слышишь, Танька, он меня вытащил из панциря, я люблю его, я прикасаюсь к нему прямо голым мясом, ничем не прикрытым, больно, а он все тащит и тащит к себе, потому что у него совсем нет никакого прикрытия, он голый, ободранный, и я срastaюсь с ним, он этого и хочет, а мне больно, я сопротивляюсь, я возвращаюсь домой и притворяюсь, что уже не помню о нем, но ничего не получается, я бросаюсь звонить, а он уже пьяный, говорит с трудом, я сразу слышу, бросаю трубку, а теперь его вообще невозможно найти, что же я буду делать, я теперь тоже голая, ободранная, а его нет, и мне не к кому прислониться, прирасти, дома, мне кажется, на меня такую все смотрят с брезгливостью, и муж, и даже дочь, куда же мне теперь деваться, а его нигде нет, налей, Танюра, еще немножко, и пойдем отсюда, давай закрывать нашу лавочку, ой, подожди, я посмотрю, я забыла ключи, нет, подожди, выпьем еще немного, проклятая машина, как же теперь я поеду, Танька, позвони ему еще раз, я не могу без него. Ты же знаешь.

7

Меня нет. Понимаешь, старик? Не в том дело, что жить негде, со службы вылетел, нищенствую, трезв не бываю, не в том дело. Меня вообще нет. Теперь, когда появилось время присматриваться, прислушиваться, окончательно убедился в том, что раньше только подозревал: не существует меня. Ничего нет и не было — ни биографии, ни ролей, ни пения, ни стихов, ни картинок, ни любовей, ни мук, ни счастья, ничего. Кому-то я уже это

говорил... Если хорошенько прислушаться, сосредоточиться, получается, что даже и сейчас я не больно-то страдаю. Ну вот, смотри, сижу я с тобой на сырой лавке, в проходном каком-то дворе, собаки вокруг бегают, голуби в помойке шуруют. Рванина моя вельветово-твидовая уже попахивать начинает, на морде сквозь седеющую щетину красные шелушащиеся пятна просвечивают, руки черные. На скамейке, между нами, чтобы свой брат-бомж не спер, бутылка стоит, водка самая дешевая, уже на дне. Впрочем, лет десять-то назад только эту, дешевую-то, и пили, помнишь? Колбасы кусок и полбатона только что доели, курим «яву», дрянь, конечно, ужасная, но, опять же, недавно еще о других и не думали.

Что ж, так ли уж мне плохо? Нет, не чувствую. Свободно и спокойно, никому не должен, ни за кого не отвечаю, даже за себя. Вот и дружок мой парижский мне это советовал... Времени полно, и любая мысль додумывается до конца, и не сбиваюсь на бессмысленное «что же делать, что же делать». Нету меня — и мучений моих нету, и радости нет, а есть покой. И воля есть, то есть полная, Александр Сергеич, по-вашему, свобода. Очень бы и вам порекомендовал — вот так... глоточек... на скамеечке... и все. Были вы наше все, вот и не было счастья, а стали бы наше ничто, прости меня Бог, вот и убедились бы, что уж покой-то и воля на свете точно есть.

Добро пожаловать в бомжи, господа! Вперед, в ничто!

Пожалуйста, сержант, вот мои документы, вот, пожалуйста, член творческих союзов, ассоциаций и клубов Шорников Михаил Янович, конечно, немного выпил, но не трогаю никого, а, напротив, мирно беседую о некоторых экзистенциальных проблемах с моим новым другом, Александром Сергеичем, фамилию пока не успел узнать, временно безработным. Мне кажется, что он согласился относительно покоя и воли, а тут как раз вы. Вообще, хотел бы обратить ваше внимание, сержант, что покой и воля вполне достижимы только при отсутствии такой вещи, как совесть. Вы не согласны? Некто обещал освободить от этой химеры... Мерсі, поп.

Что же, если вы считаете, что Александру Сергеичу будет

удобнее продолжить сон там, куда вы его отведете, воля ваша, господа. Однако я бы просил вас осторожнее укладывать его в автомобиль — вы, вероятно, не заметили, что он уже дважды ударился головой о дверцу и вот еще раз — об пол. Впрочем, нас бережет Бог. Прощайте, господа, как видите, я был прописан здесь, в этом именно дворе, но сейчас временно не прописан, что ж поделаешь. Уверяю вас, это временно, это недолго, в самом ближайшем будущем я вновь обрету постоянное место жительства, совершенно постоянное.

А вот это вы зря, сержант, дубинка всегда была не лучшим инструментом в отношениях власти с интеллигенцией. Собственно говоря, на протяжении всего ста лет в нашей с вами стране с этого дважды все и начиналось, а кончалось сами знаете чем — и для власти, поверьте, это всегда будет кончаться не лучшим образом, поверьте, сержант.

Уже ухожу.

Але, это ты? Слушай, я надеюсь уложиться в три минуты, в этот раз у меня есть два жетона, но второй мне нужен для другого звонка. Слушай: прощай, опричнина и земщина, рассвет в невымытом окне, прощай, уже чужая женщина, вчера спешившая ко мне, прощай, отчизна пребывания, русскоязычная страна, прощай! Зачти мои старания, как намерения — жена, зачти попытки неудачные, да и удачные зачти, зачти все воскресенья дачные, стихи дурацкие зачти — зачти их вслух перед солдатами, которыми заполнен зал пред знаменательными датами — зачти, как сам бы зачитал: с подвывом, с горьким выражением, с дрожащей в голосе слезой... Але! Але!!

Извините, ради Бога, еще один звонок.

Добрый день. Будьте любезны попросить к телефону господина Кабакова... Привет. Узнал? Ну, удовлетворен? Горд? Все сбылось по писаному, все, как ты придумал, все основания гордиться налицо? «В то лето я почувствовал, что наконец начинаю пропадать...» Хороша была первая фраза, а? Ну, кайфуй. Хотя все равно не дотянул: последней-то не знал, правда? А вот я знаю. И ты узнаешь. Подожди немного, отдохнешь и ты. Знаешь, что я придумал? Я тебе вообще весь кайф сломаю. Во-первых, эпилог: ты здорово удивишься. Помнишь, Татьяна удрала

штуку, замуж вышла? Я еще почище придумал, так что эпилог будет крутой, не догадаешься. Но это еще не все, слушай — будет еще и пролог, понимаешь? Так что твоя первая фраза окажется совершенно проходной, ты понял, просто фраза в середине текста, причем читатель уже будет знать, что ничего не произойдет, не выйдет по-твоему, понимаешь? Себя не обманешь, старый, зря ты пытался. Ты хотел преодолеть свой обязательный happy end? Ладно. Получишь счастливое начало. Знаешь, ты в последнее время вообще сильно упростился, одно траханье на уме. Климакс, старичок, ничего не поделаешь. Вот и заикнулся, думал — самое главное, как кончить, извини за каламбур. А я тут пожил, благодаря твоей милости, на свободе, и понял: начинать надо сразу так, чтобы все шло к счастью. С самого начала не портить... Что?.. Слушай, перестань орать, истерик. Успокойся. Не стоит своему герою хамить. Тем более, что я-то у тебя после... Але! Але!!!

Благодарю вас. Благодарю. Спаси вас Христос. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю.

Эпилог

В проходном на четыре стороны дворе вблизи одного из московских вокзалов синим кубом стояла ночь. Однако, если бы спешащий к поздней телепередаче мирный житель пожелал сократить путь и сунулся в этот отвратительный двор, он обнаружил бы в его геометрическом центре светлое место: именно — рядом с помойными железными, на колесах, ящиками, столпившимися, словно старинные броненосцы в какой-нибудь Цусиме.

Свет давался четырьмя парами фар, направленными на место описываемого дальше действия. Свет был: от маленьких, прикрытых сверху хромированными козырьками фар «победы» последнего, модернизированного выпуска; огромных, словно медные тазы для варенья, фонарей «мерседеса» великой довоенной 530-й серии; осветительных приборов сильно битого «BMW-318»; наконец, от укрепленных на крыше джипа «мицубиси» прожекторов.

Площадка была иллюминирована прекрасно, как для киносъемок.

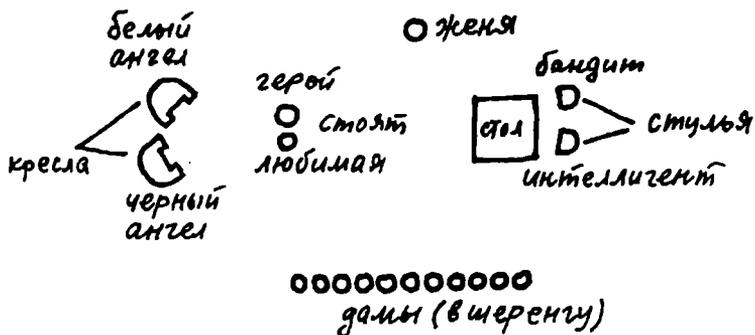
Да и декорирована соответственно.

Здесь, в квадрате помоек, уместилась вся обстановка хорошей, приятно обжитой московской культурной квартиры. Здесь стояли изодранные в бахрому кошками, многожды переоббитые новым гобеленом и снова ободранные тяжелые кресла; круглый, грубо сработанный стол, раздвижная столешница которого, в пятнах от чайника и утюга, была скрыта гобеленовой же, базарного качества, гэдээровской скатертью; разохшиеся «венские» стулья, но с фанерными сиденьями, гомельского производства; письменный стол, огромный, дубовый, с наклеенными резными

украшениями, грязным бильярдным сукном и «пластигласом» поверх него; тумбочки, этажерочки, полочки и диван-кровати с подкашивающимися ножками и почти неработающей механикой раскладывания... Вокруг были разложены картины, картинки, фотографии в рамках, календари, перевязанные бумажными шпагатами пачки книг и пожелтевшие, обтрепанные по краям стопки древней машинописи.

Авантюрный автомобильный свет клубился в этом жилье без стен, лучи вторгались в лишенный сокрытия интерьер, как скальпели работающих в несколько рук патологоанатомов в брюшину, открывшуюся под отвернутыми кусками кожи и синевато-багровых тонких мышц.

Персонажи расположились в мизансцене следующим образом:



С четырех сторон, как было описано, изображенное освещается автомобильными огнями.

Что же до указанных выше действующих лиц, то они были, как нетрудно догадаться, хорошими нашими знакомыми, а именно:

белый ангел, сидящий в кресле, — не кто иной, как, конечно, Григорий Исаакович, в пожелтевшей своей парусине, а что вы хотите, если уже приличному человеку негде простирнуться, слава Богу, что оружию еще можно содержать, так тоже насчет масла, где вы теперь возьмете хорошую оружейную масло, тонкую, а?

черный же ангел, естественно, Гарик Мартиросович, только галстук розовый, в инструкции же так и сказано, слушай, «О спецповедении в сюжетных коллизиях типа кульминаций, развязок и иных», занять место по фабуле и действовать по обстановке, да?

а герой — он и есть герой: элегантный, нетрезвый, благородный, влюбленный и терзающийся, рефлектирующий, но бесстрашный, весь в твиде и страстях...

ну, с любимой все ясно, волосы светятся, глаза сияют, от страсти едва заметно вздрагивает, чуть влажная кожа чуть пахнет ночными цветами, грудь напряжена, пальцы судорожно сведены, преданна и нежна...

тем более, что все зрители — исключительно дамского же пола, уже однажды представившиеся нам собственными выступлениями на регулярной международной встрече АЛЛГ (Ассоциации Любимых и Любящих Героя)... впрочем, вы эту главу наверняка помните,

но вот что касается еще двоих участников эпизода, которые здесь впервые возникают, встречаются в действие лично и непосредственно, а именно:

так называемого бандита, сильно ожиревшего мужчины, возрастом между тридцатью и пятьюдесятью, в невнятном костюме — кожа, мятая шерсть, спортивная обувь, такие же брюки, еще какая-то дрянь, с исполненным обиды, страха и зависти взглядом,

и так называемого же интеллигента, очень некрасивого, широкобедрого молодого человека, во всем модном, с выражением лица, как ни странно, таким же, как у расположившегося рядом, за столом, предыдущего господина, то есть обиженным, напуганным и завистливым,

так вот, что касается этих, то о них речь впереди.

Внимательный, как принято говорить, читатель, разумеется, понимает, что над местом действия находится еще один его участник, уже не однажды появлявшийся, — тот, кто позаботился и о рождении, и о дальнейшем выживании героя, возникавший всегда вовремя и в нужном месте, то черный, то белый, объединяющий, таким образом, приметы обоих своих подчиненных,

хранящих героя, — ну, не будем повторяться, здесь он, здесь, только показан быть не может, поскольку как бы парит над нашим рисунком.

Ну, и тот же внимательный читатель, понятное дело, ожидает, что еще выше повис, пристально следя за происходящим, неоднократно обруганный героем автор. Тут уж не до обид, когда судьба близкого человека решается, правильно?

Теперь дадим, наконец, для полного прояснения всего случившегося, каждому высказаться.

Бандит (высоким, плохо модулированным хамским голосом): — Все, понял? Пожили в квартирках, потрахались с бабами красивыми, хорэ. Дайте людям пожить, еврейчики. Чтобы справедливо все, понял, чтобы честно, без блядства вашего еврейского. Кому вас надо? Давай, приходи быстрее со своей сучкой, менты приберут. Братаны в хате твоей европейский ремонт заделали, понял, все красиво будет. Порядок, чисто, музыка, ну? Все, гасить вас будем, лысых, очкастых, черных, всех. Гасить! Гасить!!! В асфальт, в асфальт, в асфальт, сука! Чтоб не дышал, не дышал (заходится, сползает со стула, опрокидывает стол), не-е дыша-а-ал!!

Белый ангел (выложив на колено пистолет «Desert Eagle, Israel Military Industries, 375 magnum»): — Когда человек уже такой паскудный, что сам себе задыхается со своего паскудства, так его таки надо бояться. Это ж не человек уже, а все равно что тот хитлер, я вам говорю как пожилой человек...

Интеллигент (закинув ногу на ногу, слегка улыбаясь): — Вот еще одно, пусть мелкое, подтверждение того, что гуманизм отжил свое и умер. Человек зол, и если мы хотим, чтобы искусство пережило гуманистическую иллюзию, мы должны раз и навсегда удалить эстетику от этики. Красота зла — вот что...

Черный ангел (поправляя галстук и подмышечную кобуру, перебивает): — Ну, так тоже нельзя, слушай, ты человек, да? Ты меня за человека считаешь, да?

Дамы (хором, некоторые со слезами): — Это ужас, ужас просто! Оставьте его, оставьте, у него гастрит, печень, аллергии,

у него сон расстроен, пусть уж лучше с ней, она все равно его бросит, пусть, только бы живой, только бы живой...

Женя (отворачиваясь): — Да, пусть живой... Пусть предаст, но будет жив... Живой... (уходит).

Любимая (кладет руку на грудь героя, справа, чуть ниже плеча): — Я люблю тебя.

Герой (плача, некрасиво кривя лицо — брови лезут вверх): — Выходи за меня замуж, выходи, ну их всех, пойдем отсюда, ты согласна ведь бродяжничать, на старости лет без дома, без ничего, в бедности, в неудобствах, ты же ведь согласна, правда, выходи за меня замуж, бросим их всех, идем, позвони всем, что ты уходишь, позвони и выходи за меня замуж (плачет в голос), выходи за меня замуж, любимая, пожалуйста, пожалуйста!

Тот, что над сценой (невидимый): — Ладно, ладно, хватит... Главное — жив. Я свое дело сделал, а дальше уж сами, господа, сами... Будьте счастливы, прощайте.

Тот, что еще выше (автор, имя редакции известно): — Да, да, будьте счастливы! Ох, бедные вы мои... Ну, идите. С Богом, ребята. С Богом.

К о н е ц

июль 1994 — май 1995

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль, которым я когда-то записывал результаты своих экспериментов, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах. И думаю, что естественное и полное недоверие, которым будет встречен этот рассказ, а коли он не вызовет доверия, то не вызовет и интереса, поскольку интересен может быть именно и только абсолютной достоверностью и точностью, — думаю, что недоверие со стороны читателей — если после всего случившегося они когда-нибудь снова появятся — полностью уничтожит тот практический эффект, которого я хотел бы достичь.

Бликие проповедники, сумевшие увлечь народ, несомненно, обладали великими же литературными дарованиями. Евангелисты немного сделали бы для распространения истины, открывшейся Христу, не будь они гениальными писателями. К сожалению, столь же часто, если не чаще, дар слова бывал отпущен и злодеям, и шарлатанам, и недалёковидным, ограниченным глупцам, жаждущим общего блага. Последние бывали даже более опасны, чем заурядные негодяи, — наркотик тем более ужасен, чем естественней он включается в обмен веществ, особенно если и употребление его приятно.

Впрочем, об этом еще будет случай здесь порассуждать. Ведь то, что есть предмет моего рассказа, — не более чем реальная иллюстрация вышесказанной мысли.

Они явились прямо в институт.

В лаборатории зазвонил телефон, я снял трубку и услышал

голос нашего начальника отдела кадров — сварливый голос в сущности уже довольно беззлобного вдового старика, чьи наивные хитрости и интриги давно побледнели рядом с элегантным людоедством моих молодых и ученых коллег.

— Юра, — обратился он ко мне на «ты» по праву старшего, — зайди ко мне, пожалуйста.

— Позже, — довольно небрежно ответил я. Идти через все здание не хотелось, к тому же на столе лежала куча неподписанных таблиц, а до обеда я решил обязательно полностью с ними разделаться. Старик же для меня давно не представлял никакой власти, даже по части характеристики: надо будет — так и без его благоволения подпишу и поеду... Но голос Аверьяна Павловича стал одновременно и тверд, и искателен почему-то:

— Зайди, я тебя ведь прошу. Сейчас зайди, слышишь?

Выражаясь гораздо более энергично, чем того заслуживала ситуация и чем принято при дамах — правда, у нас в институте, как и во многих такого рода заведениях, уже давно было принято и при дамах, — я отправился в кадры. Я вылез из-за стола, выскочил из лаборатории, слетел по короткой лестнице на полэтажа и понесся по длинному коридору. Грязно-бирюзовые присутственные стены, вечно мигающие полусломанные лампы дневного света и архаические ковровые дорожки, застеленные полотном с грязными следами, придавали нашему институту вид самой что ни на есть заштатной конторы из глухо провинциальных. А между тем это был академический институт, и иностранные делегации изумлялись, не умея совместить проблемы, которыми мы занимались, имена и степени сотрудников с интерьерами институтских коридоров, а особенно буфета и уборных. Сортиры у нас были выдающиеся даже по отечественным меркам.

В кабинете у Аверьяна из-за гигантского сейфа мне навстречу поднялись со стульев двое. Один из них шагнул вперед и удивительно ловко произвел сразу несколько движений: правую руку он протянул для пожатия, на которое я машинально ответил, левой откуда-то вытащил и, развернув, на мгновение близко поднес к моему лицу довольно большое удостоверение, в котором я не успел прочесть ни имени-отчества, ни фамилии, ни должности — ничего, только организацию, тут же удостоверение спрятав и, не отпуская правой моей руки, своей левой повел в сторо-

ну товарища, невнятно назвав его, одновременно стал сам садиться, потянув и меня книзу, так что и я оказался на стуле. Тут же сел и второй, и вдвоем они образовали как бы коротенький полукруг, в фокусе которого сидел я.

Аверьяна, когда я оглянулся, в кабинете уже не было. Только валялись на его столе какие-то приказы да стояла полуоткрытая жестяная коробочка со штемпельной подушечкой.

Я почувствовал, что лицо мое обрело давно не посещавшее его выражение. Мол, что ж тут такого, ничего особенного, мы люди опытные, понимаем все насквозь, и в визите таком нет ничего удивительного, дело естественное и даже необходимое, хотя, конечно, и не без комического оттенка... Примерно такое выражение: ну, ребята, давайте послушаем, чего вы расскажете...

— Юрий Ильич, — сказал, старательно улыбаясь, тот, что пожимал руку, — ну, пришли мы послушать, что вы нам расскажете.

Вопрос был удивительно прям и в то же время абсолютно бессмыслен. Поэтому мне и думать не пришлось, чтобы ответить.

— А собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше не слышал... и товарища вашего...

— Игорь Васильевич! Это я виноват, голос у меня тихий, да и дикция не очень... Игорь Васильевич я. Простите уж нас, что отрываем... А это вот, прошу любить и жаловать, молодой наш товарищ, начинающий, можно сказать, стажер, я-то уж давно, а он начинает только. Сергей Иванович, его и без отчества можно, молодой еще, а мы думали-думали, к кому бы нам обратиться, и вот решили к вам, вы понимаете, мы, конечно, сначала все узнали, о вас люди, Юрий Ильич, исключительно с уважением отзываются, мы бы к другому еще раз пять подумали, прежде чем обратиться...

— И совсем бы, наверное, не обратились, — вставил Сергей Иванович. Игорь Васильевич заткнулся и вдруг отчаянно захохотал.

— Ха-ха-ха, ох, насмешил, Сергей, ох... И конечно, ведь он прав, Юрий Ильич, и совсем бы не обратились, но вас здесь все в институте исключительно уважают, и руководство, и так, знаете, рядовые товарищи, исключительно хорошие отзывы, и как специалист, и по-человечески, а нам ведь тоже не хочется к кому

попало обращаться, люди, вы знаете, Юрий Ильич, разные есть, одного спросишь, а он и не знает ничего... Вы курите? Закуривайте.

Тут мы все втроем дружно закурили, причем они довольно долго рассматривали мою пачку сигарет и, переглядываясь, качали головами, так что и я внимательно ее осмотрел, прежде чем спрятать, но ничего не увидел.

— Юрий Ильич, — сказал, сделав серьезное лицо, молодой Сергей Иванович, — ну, мы пришли послушать, что вы нам расскажете.

— А собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше... Сергей...

— Иванович. Вы имена плохо запоминаете? Вот и Игорь Васильевич наш тоже... скажешь ему имя-отчество, а он тут же и забыл. Как, говорит, имя-отчество этого, что ты докладывал, Сергей? Я говорю — ну как же вы не помните, Игорь Васильевич, Джеймс Фрэнклин Лопатофф, а он говорит...

— Бывает, это бывает, Юрий Ильич, — перебил молодого Игорь Васильевич. — Но мы-то пришли послушать, что вы нам расскажете.

— Да, собственно говоря, о чем же я рассказать могу? Игорь...

— Васильевич. Это так уж у нас в роду и велось: я Игорь Васильевич, а отец мой Василий Игоревич был. А дед — опять Игорь Васильевич. Так и шло, понимаете?

— А меня в честь Есенина мать назвала, — тут же влез молодой. Мы снова все вместе закурили.

— Да, — сказал Игорь Васильевич, выпуская дым в сторону и отмахивая его рукой, — это вы, конечно, Юрий Ильич, просто из скромности на себя наговариваете.

— Что именно? — От третьей подряд сигареты во рту у меня было отвратительно кисло.

— Да вот, что у вас таланта литературного нет и тому подобное. Я ведь, вы сами понимаете, по службе все, что вы пишете, читал, но я, конечно, не специалист, так ведь и от специалистов слышал, что исключительный у вас литературный талант и язык очень богатый, правда, Сергей? Вот Сергей не даст соврать, он у нас исключительно честный, но тоже скажет, что не только в ва-

шем институте, а, может, и во всей Москве сейчас такого языка богатого ни у кого нет. И со стороны руководства о вашем языке самые положительные отзывы, и рядовые сотрудники очень уважают...

— Ну, при чем наш институт, — возразил я, потянувшись было за сигаретой, но раздумав. — Что у нас в институте в языке понимают? Институт-то ведь не литературы же и не русского языка...

— Нет-нет! — закричал Игорь Васильевич и весь подался на стуле вперед, так что пиджак его распахнулся, но он его немедленно запахнул. — Нет, и в институте, и вообще понимают, вы будьте уверены, ценят вас и знают, кому положено, конечно. Вот я вам такой пример приведу: написали вы, допустим...

— Ну что? — перебил я, потому что он меня уже довел этой пустой и полуграмотной лестью. — Ну что я написал? Рассуждение о связи между сущностью учения и формой проповеди? Или насчет иллюзий справедливости? И то и другое — самым сухим, самым казенным стилем...

— Ну, не только, — коротко буркнул Сергей Иванович и даже вроде обиделся по-детски.

— Правильно, — согнав постоянную улыбку, поддержал Игорь Васильевич. — Правильно Сергей говорит: именно не только, Юрий Ильич! Разве вы не можете написать высокохудожественно? Еще как можете. Если захотите нам помочь. Мы ведь думаем, что вы захотите нам помочь, правильно? Мы же вас не заставляем, Юрий Ильич, мы только просим: напишите. Вы же, наверное, не догадываетесь, а нам точно известно: такой поток серости идет сейчас в нашу отечественную литературу, такой поток!.. Ужас. А вы нам очень могли бы помочь.

— Нет, ребята, — сказал я и закурил. — Не понимаю, чем я все-таки могу вам помочь. Совершенно не понимаю. Мало того, что я чутья к слову не имею, я совершенно не умею выдумывать. Я считаю фантазию для порядочного экспериментатора абсолютно неприемлемым качеством и никогда ничего ни о ком выдумывать не буду...

— Вы нас обижаете, — сказал Сергей Иванович, — честное слово. Да разве мы вас просим выдумывать? Нам и в голову бы не пришло вас об этом просить...

— И в голову бы не пришло, — сказал Игорь Васильевич, — вы нас обижаете просто. У нас совершенно и редакция другая, мы фантазиями, или, как вы говорите, выдумками, вообще не занимаемся. Это у вас просто представление такое: раз мы — значит, фантазия, беллетристика, романы, ночные бдения, трагедии, как при Бальзаке...

— Или даже при Достоевском каком-нибудь, — добавил Сергей Иванович и чуть улыбнулся. — «Преступление и наказание» прямо. Это все уже давно прошло, Юрий Ильич, сейчас исключительно документальное всех интересует.

— Время другое, — серьезно закончил Игорь Васильевич.

— Но о чем же я могу написать?! — Тут и я засмеялся. Со стороны мы выглядели, конечно, совершенно одинаково. Коллеги-литераторы беседуют. «Я уже вполне усвоил их тон», — с ужасом подумал я. — Ну, написать о нашей беседе, например? В лицах...

— Обязательно!!! — закричали они хором и, немедленно встав, кинулись пожимать мне руки. — У вас прекрасно получится. А мы уж позвоним, вы извините, как только напишете, так и позвоним... Счастливо вам! Прямо так и давайте, странички четыре-пять, на машинке, через два интервала, поля стандартные. Так и пишите: дескать, они явились прямо в институт, и так далее. А потом переходите прямо к главному: ночь, улица, фонарь, аптека, ну и так далее. Улицу-то знаете?

— Знаю, знаю, — отвечал я, пожимая руки.

— Ну, так и пишите: улица такая-то, почтовый индекс, если в центре, не обязательно... еще раз пожелаем всего хорошего!

— Давайте я вам пропуск подпишу, — сказал Сергей Иванович строго.

Игорь Васильевич высоко, до хруста, заломил мне руку за спину и несильным пинком вытолкнул меня в институтский коридор. В коридоре было пусто, и только в дальнем конце светилась одна — ночная, дежурная — лампочка.

Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с Грузин на Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди — похоже, что бил крупнокалиберный с бэтэра. Я вытащил из-под куртки транзистор и не-

надолго — батарейки уже и так катастрофически сели — включил его. «Вчера в Кремле, — сказал диктор, — начал работу Первый Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также левых коммунистов Сибири (Иркутск). В первый день работы съезда с докладом выступил секретарь-президент Подготовительного Комитета господин генерал Виктор Андреевич Панаев. Московское время — ноль часов три минуты. Продолжаем передачу новостей. Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих Соединенным Штатам Америки. Корабли шли под нейтральным польским флагом, но это не остановило клерикал-фашистов. Мировая общественность горячо поддерживает миролюбивые усилия...»

Я выключил приемник и двинулся по Тверской. По обеим сторонам широкой, ярко освещенной луной улицы брели люди. По одному, по двое они шли от Брестского вокзала вниз, к центру. Все несли сумки, у многих за плечами были маленькие толстые рюкзаки — последняя предвоенная мода. И полы многих шуб, курток, пальто так же оттопыривались, как и у меня, а кое-кто нес «Калашникова» и вовсе — по ночному времени — открыто. Светила луна, и под ее светом ползли, извиваясь, серебряные нити снега, и время от времени нарастал шум, и проносился по самой середине мостовой легкий танк или, грохоча прожававшими дырявыми крыльями, полузадохшаяся «Волга», и шли по тротуарам люди — и легкий гул разговоров шепотом, дыхания, шарканья шагов стоял на улице.

Я вспомнил, как когда-то, давным-давно, а если точнее — ровно десять лет назад — я уже шел по ночной Тверской, тогда еще Горького, и цель моего путешествия была почти такая же, что и сейчас. Мне должно было исполниться сорок лет, было позвано огромное количество гостей, была уже куплена водка, еще продавалась она совершенно свободно, и никто не опасался по-

пасть в очереди у винного в облаву истребительного отряда угловцев, но вот не хватало нам с женой, видите ли, деликатесов к юбилейному столу. Нам казалось, что с продуктами в магазинах плохо, что на стол нечего поставить, что для того, чтобы достать еду, надо слишком много хлопотать... И мы решили сделать ресторанный заказ. И, проклиная наш постоянный дефицит всего, я шел по ночной улице в кулинарую этот самый заказ делать. У той знаменитой кулинаруи с аналогичной целью собиралась большая очередь задолго до открытия. И как же я тогда возмущался! «Ночью! Очередь! За продуктами!» А в заказе чего только не было — кажется, даже мясо... или масло... уже не помню. Может, этого не было ничего. Может, мне приснилось это такой же лунной ледяной ночью, когда так же змеился по мертвому городу снег и так же трещали пулеметные очереди — мне приснились эти судки, и блюда, и что-то жареное, горячее, и обжигающий глоток водки, и запах кофе, и гости, входящие без оружия, нарядные гости в целой одежде...

Впереди, где-то у Страстной, грохнул взрыв. И улица мгновенно опустела — только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол, кинулся к знакомой двери — это был старинный дом, где прошло мое детство, — снова одно из тех многих совпадений, которым мы уже перестали удивляться в эти ночи. Дверь была, конечно, заколочена. Я рванул с шеи автомат, повернул и примкнул штык, подковырнул им доску...

В подъезде я был не один.

— Только стрелять не вздумай, — сказал хриплый голос, по которому не сразу угадалась женщина. — Ты на площадь?

— Ну, допустим, — ответил я осторожно. — Вы... вы где? Я не вижу здесь...

— Москвич, — вздохнула женщина, и мои глаза, притерпевшись, нащупали ее силуэт. Она стояла на площадке между первым и вторым этажами и выделялась на фоне сизого прямоугольника окна. — По выговору слышно, москвич. А я с Днепрпетровска, как он теперь?.. С Катеринослава, ага. Вот приехала. А не знаешь, шо у вас тут, в этой Москве, можно достать какой-нибудь обуви или нема? Одна суета...

— Не знаю, — ответил я гораздо суше, чем даже хотел. — Я не интересуюсь обувью.

— А шо ж вас интересует? — перешла на «вы» женщина. Она спустилась по лестнице, подошла поближе. — Прикурить у вас будет?

Я прислонил автомат к стене, достал зажигалку, чиркнул. Огонек осветил склоненное женское лицо, сигарету, пальцы...

— Ой, спасибо, — сказала женщина, выпустив дым первой затяжки. Огонек зажигалки еще дрожал. Снизу, от моих ладоней, женщина подняла на меня подсвеченные им глаза. Именно такое лицо я и ожидал увидеть — сколько уже видел я их, этих южных красавиц, налетавших в столицу еще в те полузабытые времена, когда стояли они в очередях за сапогами, не рискуя налететь на выстрелы веером из подворотни напротив, на жестокую проверку Комиссии, на толпу одурелых двенадцатилетних бензинщиков... Сколько раз обманывался этими сухими, точно и тонко прорисованными лицами, сколько раз попадался на эту комбинацию панночки и модели из хорошего журнала!..

И снова, во тьме последнего сникшего огонька зажигалки, поплыло передо мной это вечное лицо захватчицы — прямой короткий нос, обтянутые скулы, широко раскрытые, серьезные и ласковые глаза.

— И шо ж сегодня на той площади будет? — задумчиво, как бы сама у себя, спросила приезжая. — Надо сходить...

— Сегодня понедельник, — сказал я. Магия уже действовала, и вся моя доброжелательность вместе с так и не пропавшим бахвальством осведомленного москвитя пришли в движение, ринулись навстречу этому невидимому лику обмана. — По понедельникам там многое бывает. Можем пойти вместе...

— А можно и вместе... — с легким и так складно ложащимся на комический напев ее фраз смешком начала женщина, но договорить не смогла. За дверь, прямо в переулке, прошумел автомобильный мотор, грохнуло и зазвенело, и тут же — топот многих бегущих, крики: «Куда?! Стой, стой, сука!.. Ворюга! Торгаш!.. Стой!» Мгновенно схватив автомат, я поймал в темноте женщину за рукав — рукав был скользкий, кожаный — и взлетел вместе с нею на этаж.

— Вот, дверь вы открыли, теперь до нас кинутся, — задыха-

ясь прошептала женщина. Здесь, на площадке, окно выходило прямо в переулок. В его синем свечении лицо женщины потеряло почти все от фотомодели и стало совсем ведьмачьим. Я отодвинул ее в простенок, перехватил автомат поудобнее и осторожно придвинулся к стеклу.

В переулке я увидел человек восемь. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком, но по разномастной обуви и брюкам было ясно, что это не регулярные части.

— Афган, — севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа — то, что происходило в переулке, оглушило меня, и смотреть я не хотел, и смотрел, не отрываясь.

Поперек переулка лежала перевернутая набок машина — кажется, старенький «мерседес». Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернуло ее взрывом гранаты, который мы слышали. Вокруг этой машины и суетились люди в беретах. Через оказавшуюся сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал — во всяком случае, он и сам старался вылезти, и одновременно вырывался из тащивших его рук... Его вытащили, двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили, как мертвую — она висела на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Вытащили и ее, посадили, прислонив к багажнику... Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках, тяжелый пулемет. Двое шагнули в стороны, мгновенно растянув руки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды... Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать, — подтянув ноги калачиком.

Через мгновение убийц в переулке уже не было.

— Та шо ж такое, шо ж это такое?! — услышал я и снова обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно. — Шо ж оно творится в вашей Москве, шоб она уже сгорела!..

— Надо уходить отсюда, — сказал я. — Через пятнадцать

минут здесь будет Комиссия, они начнут обыскивать подъезды и чердаки, нам конец...

— Какая еще комиссия, — женщина, плача, упиралась, я тащил ее с лестницы, — какая комиссия, поубивают тут, в той Москве!..

— Комиссия Народной Безопасности, неужели вы и этого не знаете? — бормотал я на ходу. — Идемте, идемте быстрее!

Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины — полицейский микроавтобус и черная «Волга» с красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, заклопали дверцы, люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете все еще примкнутым штыком...

— Все, — сказал я. — Все, сейчас они пойдут по домам... Женщина молчала, было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека.

— Погодите. — Я сказал это слишком громко и вздрогнул. — Погодите! А как вы попали сюда? Дверь же была забита...

— Да есть же там сзади другая. — Женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванул за ней. Как же я забыл этот черный ход?! Хотя, кажется, раньше он был заперт...

Мы оказались во дворе — собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица, но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины — это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег здесь не полз под ветром, не змеился — он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура — человек в красной нейлоновой куртке шагал взад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, я увидел молодое лицо, совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормотание: «Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я тут! Она выйдет — а я...»

Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица, здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот су-

масшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уже поет для пассажиров парома, возящего в основном футбольных болельщиков между Англией и Швецией. Однажды какой-то буйный бритт швырнул в нее банкой из-под пива — он был огорчен проигрышем ливерпульцев. Би-би-си передавало об этом с глумливым сочувствием...

Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины «Пекина», миновать их удалось, к счастью, без приключений. Уже давно, с тех пор как гостиница рухнула во время первых артиллерийских боев, с тех самых пор развалины были обжиты подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью «Да здравствуют Люберцы! долой Москву!», а однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме уцелевшего третьего этажа. Это был парень из московских в своей униформе — черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи — так обитатели «Пекина» обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром.

— ...А у меня мужа убили еще в прошлом годе, — продолжала женщина свой бесконечный рассказ. — Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим, с Красного Камня — это ж у нас район такой в городе, — машины ремонтировал, а они ж его и убили... Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги — сколько тех денег было, может, тысяча, старыми еще, «горбатыми», так они взяли и ушли. Соседи...

Я промолчал. Сколько уже слышал я этих историй — и просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей... Мне не жаль было ее умельца-мужа, для которого тысяча «горбатов» — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь недельный хлебный паек, — были не деньги. Не жаль было и ее, которая сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала «по обуви» и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь.

Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем...

Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которого дежурили пикеты с нарукавными повязками «свиты сатаны» и в кошачьих масках, мимо Патриарших, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которыми возвышались голубые каски китайцев из ооновского батальона, мы вышли на Спиридоновку.

— ...И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? — Женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно проделало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой «Бурды» до панночки дьявольской. — А я б у вас покупила б, один к ста или как тут в Москве дают? Очень мне обуви надо...

— К сожалению. — Я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая «Калашникова» под куртку, я повторил: — К сожалению... у меня есть совсем немного... только не сегодня... впрочем... если на площади ничего, за чем я иду, не будет, я могу вам отдать, по обычному курсу, один к восьмидесяти... на следующей неделе я должен получить еще немного... так что, если хотите...

— Вот же спасибо! — Она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи. — Вот же спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади и пойду. А можем, если хотите, вот и на лавочке тут посидеть... пока ж рано?

Слева от нас был маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе — было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти.

— Что ж... давайте посидим, покурим.

Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая «Ява», я свернул свою,

от протянутой ею пачки отказался — много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затаились, я достал транзистор — минут пять можно было себе позволить послушать новости, тем более что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь «Иносемьи». Ее парижская родня одним своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки — правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввезти в страну и настоящие деньги... Транзистор щелкнул и захрипел.

«...столица Эстонской Республики. Здравствуйт-те, дорогие русские друзья! Передаем новости. Вчера в лагере для интернированных граждан России произошли беспорядки. Федеральная полиция приняла меры. В парламенте Прибалтийской Федерации депутат от Кенигсберга господин Чернов сделал запрос...»

Я крутил настройку: от «Прибалтийского голоса свободы» точного времени лишний раз не дождешься.

«...в Крыму. Так называемое симферопольское правительство дает приют отребью, бежавшему на остров. Бандиты из пресловутой Революционной Российской Армии готовятся к вторжению в нашу страну. Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословившего своей последней бездарной книжонкой «Материк Сибирь» кровавый мятеж повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе. По сведениям газеты американских коммунистов «Вашингтон пост», недавно этот якобы русский писатель был принят верховным муфтием всех татар Крыма...»

Я выключил — батарейки садились, а время говорить, видно, не собирались. Теперь они говорят время все реже, чтобы заставить побольше слушать всякую чушь.

— Ото ж сволочи! — убежденно сказала моя спутница и швырнула окурков в кусты. И тут же, без всякой видимой связи спросила: — А у вас, конечно, извиняюсь, талоны откуда? Может, за границей кто есть, или как?

Черт его знает, сколько мне еще пришлось бы пережить переворотов, чтобы отучиться от этой даже не привычки — поро-

ка: полной, полнейшей беспомощности перед этими, перед захватчицами!

Я не сказал о родственницах жены.

— Да так... на работе, — бормотал я, выключая транзистор и пряча его во внутренний карман. — Нам платят так...

— А где ж вы работаете? — Она говорила все тише, теперь она шептала, хотя недавно, когда было опасно и надо было молчать, она голосила вовсю. — А где, а? Извиняюсь, конечно...

Мы уже сидели обнявшись. Автомат резал ремнем шею и давил и мне, и ей на грудь, я стащил его и положил рядом на скамейку. Она просунула руки под мою куртку.

— Замерзла... вот же ж лавка холодная, ты смотри — на ней же мороз...

Я действительно увидел на лавке, на ее выпуклых планках, иней... Ее кожаное пальто свесилось полой, пола слегка дергалась и мела по снегу...

— Ну... ты не сказал... — Ее акцент сейчас был почти незаметен, и слова она уже не пела, а выдыхала. — Не сказал... где... где ты работаешь...

Я сел, застегнул молнию, снова свернул листок с табаком, чиркнул зажигалкой. Она поправляла волосы, знобясь, застегивая пальто.

— Где, а?

— Ну... в газете, — буркнул я. Я был уже учен и давно не говорил без крайней надобности, где я служу. Тут же спохватился: она могла и знать, что в редакциях талонами не платят...

Но она не знала.

Когда я поднял глаза, она стояла передо мной и ствол моего автомата был направлен мне прямо в лоб.

— Сучка, — сказала она, — сучка, говно. Давай сюда талоны твои сраные, журналист хренов! И вали отсюда! Ото из-за таких гнид началось все! Жили как люди, все было нормально, мужик по шесть тыщ «горбатов» за хороший день зарабатывал, а вам все было плохо! Завидующие твари! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была!.. Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев ваш был хороший!..

Давай талоны и иди отсюда, а то убью интеллигента московского, вот точно — убью! Талоны, блядво!

Я медленно привстал со скамейки, и она с коротким визгом отскочила подальше, вскинула ствол...

— Тише... — Я полез во внутренний карман. Я бы охотно отдал ей эту сотню талонов, но вовсе не был уверен, что после этого она с перепугу не разрядит в меня рожок. И в мирные времена эти не слишком были милосердны... — Тише... сейчас я отдам тебе эти поганые талоны... только не стреляй, дура... тебя же Комиссия сразу возьмет... сейчас...

Можно было, конечно, упасть плашмя, рвануть ее за ноги в скользких полусапогах — и ничего бы она не успела, подумаешь, террористка... Но одно она могла бы успеть: выпустить очередь над моей головой, а здесь, среди этих обреченных домов, шум был почти так же убийствен, как и пуля.

Я уже готов был вытащить из кармана руку с талонами, когда в дальнем конце улицы раздался рев моторов. Вот уже показался передний танк — легкий, десантный, следом одна бээмпэ, другая, грузовик под брезентом и танк замыкающим... На Спиридоновке начиналась очередная ночь.

Она оглянулась на шум. В тот же момент я резко рванулся к ней, правой рукой зажал сзади ей рот, левой, крутнув в запястье, вывернул ее правую, лежавшую на спуске автомата, — сильно сжав, чтобы, не дай Бог, не успела нажать. И вместе с ней рухнул наземь, за кусты сквера.

Теперь они позвонили домой.

Я собирался в институт, жена готовила завтрак, и приемник на кухонном столе бормотал непрерывно — она включала его на все утро: «...быстроходные катера в Персидском заливе... продолжается выдвижение делегатов... письма наших слушателей подтверждают — альтернативы перестройке нет... Всесоюзная девятнадцатая. ...а вот мнение академика Татьяны Заславской...»

Я снял трубку.

— Это Сергей Иванович, — услышал я радостный голос стажера. — Только вы вслух не повторяйте, Юрий Ильич, а то жена... Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал я с омерзением и отчаянием. Значит, это еще будет продолжаться! И кончится ли?..

— Очень надо! — радостно сообщил Сергей Иванович. — Очень надо встретиться! Вы же ведь уже написали? Вот и хорошо. Только в институте уже неудобно, Юрий Ильич. Так что вы приходите лучше к гостинице, Юрий Ильич, ага, к «Интуристу». Так точно, четырнадцать часов, Юрий Ильич. Ну, до свиданья, Юрий Ильич, Юрий Ильич, Юрий Ильич...

— До свиданья.

Я шваркнул трубку.

— Кто это? — спросила жена.

— По делам, — сказал я и тут же ужаснулся: значит, я уже выполняю их указания, скрываю от жены. — По делам, из «Вестника»...

У интуристовского подъезда меня ждал один Сергей Иванович, стажер. Как и положено, он был на посылках. Молча обменялись рукопожатием, молча ехали в лифте в толпе гогочущих и перекликающихся, как в лесу, немцев. Бабка в линиялых джинсах, с сиреневой завивкой с доброжелательнейшим интересом разглядывала Сергея Ивановича. Я посмотрел на него ее глазами: нечто пухлощекое, пухлогубое, чубастое — на гигантском теле девяностокilограммового мужика. Она могла нас принять за отца с сыном — впрочем, одет по-сыновнему был я, на нем был приличенький универмаговский костюм с галстуком.

Игорь Васильевич встретил нас в номере радостными рукопожатиями и штатной улыбкой. Теперь я попытался и его портрет сформулировать: получилось нечто среднее между невзрачным современным киногероем и человеком с плаката — по технике безопасности. Но улыбка у него была хорошая...

— Как путешествовалось, Юрий Ильич? — Улыбаясь этой прекрасной улыбкой, морщившей все лицо, Игорь Васильевич двумя руками потряс мою руку и немедленно усадил в кресло у журнального столика, сам сел напротив, а Сергей Иванович пристроился на краю кровати. Номер был полуприбран, как при смене постояльцев. На столик тут же водрузилась пепельница, и мы, как водится, закурили разом. — Довольны экскурсией?

— Ну, — замаялся я, — сами понимаете... интересно, конечно...

— Я думаю! — немедленно перебил Игорь Васильевич. — Это ж надо: девяносто третий!

— Я сам всю жизнь мечтал, — вставил Сергей Иванович, — как Гюго прочитал, так и возникло желание: обязательно девяносто третий. Некоторые хотят, например, две тысячи какой-нибудь, а я почему-то именно в этот самый девяносто третий — и все...

— Ну, нам не положено, — с легкой грустью заметил Игорь Васильевич, — это уж вам... Как говорится, и с профессиональной точки зрения. Думаю, у вас в институте многие хотели бы, да не могут. На полгода-годик — пожалуйста, а чтобы сразу в другую пятилетку... Ну, это же понятно: у вас способности... Если хотите знать, я уже двадцать лет вашими экспериментами интересуюсь, и вот даже Сергею говорил, не даст соврать: Юрий Ильич, говорю, из экстраполяторов самый в институте способный. Еще вы обычным экстраполятором работали, а я, как только в «Вестнике» ваш отчет прочту, так и говорю: обязательно надо бы Юрию Ильичу на пятилетку-другую рвануть! И руководству даже докладывал... Да ведь вы сами понимаете, Юрий Ильич, — времена были другие. Кто бы вас тогда на пятилетку вперед отпустил? Считалось — нецелесообразно... Даже однажды — помнишь, Сергей, ты еще только стажером пришел, семнадцать лет назад — требовали, чтобы я на вас, Юрий Ильич, написал субъективку, как говорится, — ну, это у нас так называется, мое, значит субъективное мнение, — я говорю: хотите — пожалуйста, вот я кладу билет на стол, и можете тогда делать, что хотите, только я Юрия Ильича знаю и ручаюсь... Видите, Юрий Ильич, и в те времена у нас тоже разные люди были.

— А здорово вы ее, — неожиданно сказал Сергей Иванович и улыбнулся. В отличие от старшего, он улыбался сдержанно и тонко. — Здорово! Раз — и скрутили. Могла ведь шум поднять! Убить, конечно, не убила бы, а шуму было бы много...

— Так я же всегда говорил, — тут же включился в неожиданно повернувшийся разговор Игорь Васильевич, — всегда говорил, что Юрий Ильич исключительно смелый человек! Вы же ведь смелый человек, Юрий Ильич?

— Как вам сказать. — Я смутился, пожал плечами. — В общем, я действительно в последнее время мало чего боюсь. Семья у

меня небольшая, жена — человек самостоятельный, чего мне бояться?

— Вот и я говорю, — согласился Игорь Васильевич. — Вы же и нас не боитесь, правда? Написали все, как будет, ничего не смягчили. Как будет — так и написали. И про интернационалистов, и про молодежь... И правильно! Зачем скрывать, если вы уверены? Нам ведь надо знать чистую правду, если мы правду знать не будем, кто же и предостережет руководство? А руководство надо предостерегать...

— И про наших-то, — Сергей Иванович опять тонко улыбнулся, пухлые его щеки едва заметно дрогнули, — про наших-то... как они на стрельбу-то... примчались... и цепью, цепью... тоже не побоялись сообщить, Юрий Ильич?

— И правильно сделали, что не побоялись! — воскликнул Игорь Васильевич. — Кстати: вы случайно в лицо никого из них не запомнили? А то у нас есть такие факты, что там... некоторые товарищи... ну, в общем, не из наших, а только под наших маскируются... Да что я вам объясняю, вы такую возможность не хуже меня знаете, вы в одном из своих экспериментов ее даже отработали, только в прошлом, конечно...

— В ушедших временах, — уточнил Сергей Иванович, — правильно, Юрий Ильич?

— В общем, да, — вяло согласился я, — только не в ушедших, а в давно ушедших, если вы читали отчет...

— Именно, именно, — согласился Игорь Васильевич, — в давно ушедших. Мы того вашего отчета, правда, не читали...

— Но откуда же Сергей Иванович тогда знает? — удивился я.

— Так вы же сами только что сказали, — удивился и Игорь Васильевич. — Только что: «В общем, да, только не в ушедших, а в давно ушедших...» Правильно, Сергей?

Сергей Иванович кивнул. И тут мне стало нехорошо. «Они же ни черта не знают сами, — с ужасом понял я, — они же ни черта не знали, пока я сам им все не рассказал, и они могут сколько угодно говорить, что я уже и о последнем путешествии отчет написал, но я ведь точно знаю, что я его еще не писал! И тот, старый отчет они не читали, а уж могли бы прочесть, его только ленивый не читал, и в институте, и вообще, он мне, собственно, и сделал известность, если она у меня есть хоть какая-

то... Он был отдельным бюллетенем, о нем даже на конференции докладывали в Риме!.. Они ничего не знали, — повторял я про себя в панике, — они же ничего не знали, я сам им все наговорил, я сам стал им помогать...♦

— Вот только зря вы не указали, — сказал Игорь Васильевич, — не встречали ли вы там кого-нибудь из ваших коллег, только... из тех. С той, значит, стороны...

— Да, — подтвердил и Сергей Иванович и стал еще важнее, чем выглядел обычно, очень важный пацан. — Мы ведь чем интересуемся? Мы же ведь женщинами, например, из Днепропетровска или даже ребятами из военно-патриотических объединений не интересуемся, у нас совершенно другое направление.

— Конечно, — продолжал Игорь Васильевич, — только с той стороны! Разве мы стали бы предлагать вам о женщинах или, например, о прохожем каком-нибудь, поклоннике, например, популярной певицы... Это ж все наши люди! Нам это не нужно, и мы вас как порядочного человека об этом и не попросим. Но у нас есть данные...

— Совершенно точные, — вставил Сергей Иванович.

— ...что имеется их экстраполятор, — продолжал Игорь Васильевич, — который...

— Или которая, — уточнил Сергей Иванович.

— Это Юрию Ильичу все равно, — сморщился в улыбке Игорь Васильевич, — вон он... как ловко... Не жарко было, не раздеваясь-то?

— Как жарко, — буркнул я, уже ничего не соображая, — иней на скамейке...

— Иней! — Игорь Васильевич захохотал. — Ну что такому мужику иней, а? Ну, вы даете, Юрий Ильич...

— А экстраполятор с той стороны обязательно там должен быть. — Сергей Иванович стал проявлять странную для него самостоятельность и упорство, вовсе не поддержав фривольный разговор. — И вам надлежит войти с ним в контакт, не вызывая подозрений, ни в коем случае не пресекая его действий, а наоборот, пообещать ему помочь, даже если его действия будут направлены на дальнейшую дестабилизацию...

— Ну, Сергей, это уж слишком для Юрия Ильича, — примирительно сказал Игорь Васильевич, увидев, наверное, что

лицо мое изменилось. — Это уж слишком... Это уж наша работа, Сергей, ты ее на Юрия Ильича не перекладывай... Вы только не вспугните, Юрий Ильич, только не вспугните...

И я уже оказался стоящим у двери в номер. И, заглядывая мне в глаза и снова тряся обеими руками мою руку, Игорь Васильевич повторял:

— И никто никогда ни за что об этом не узнает, поверьте нам, это ж не в наших интересах, вы самый дальний экстраполятор, и талант большой, вам надо писать и писать, а если, допустим, мы вас обнаружим, так нам же от руководства и нагорит, потому что теперь мы уже в одной обойме, Юрий Ильич, и вам надо только не вспугнуть, не вспугнуть, не вспугнуть...

Они оцепили дом в одну минуту. Все были в форме, в своей обычной форме, видимо, дело сегодня предстояло настолько рутинное, что нужды в штатской маскировке не было. Только командовали трое в хороших серых пальто и меховых шапках — они вылезли из последней бэмпэ и сразу стали в стороне.

Мы лежали на тонком снегу за кустами и, еще зажимая ей рот, я прошептал в ухо этой гадине:

— Крикнешь — либо сам тебя убью, либо они возьмут. Они свидетелей не любят. А мне уж тогда все равно. Поняла?

Она кивнула, насколько могла, стиснутая моей рукой. И я отпустил ее — рука уже окоченела, долго лежать так было невозможно. Едва слышно всхлипнув, она повернула ко мне лицо и даже не прошептала — только показала губами: «Прости, Христа ради — прости! Не выдавай! Забуди!»

— Молчи, — шептал я снова ей в ухо. — Лежи молча, не шевелись. Уедут — пойдешь дальше одна. Все.

Она кивнула и сразу же успокоилась — с невероятным интересом она смотрела теперь на то, что происходит возле дома. Я смотрел тоже, хотя то, что там делалось, уже не было ни для кого тайной.

Одно отделение вошло в дом. Все окна в доме уже горели — неяркий ночной свет пониженного, как всегда, напряжения казался на темной улице сиянием. Прошло примерно минут двадцать...

И вот дверь подъезда раскрылась, и показались они.

Мужчины были все как один в хороших серых пальто и меховых шапках, в руках они несли плоские чемоданчики. Женщины были в шубах и полушубках из овчины. Дети и подростки шли в куртках, без шапок, в небрежно накинутых капюшонах.

Их было около сотни.

Они вышли из подъезда довольно тихо и так же тихо выстроились на мостовой в колонну по четыре — два солдата, слегка подталкивая их, справились с построением буквально за минуту. Последний из группы обнаружения, мгновенно вытащив из полевой сумки огромный висячий замок, запер двери и побежал к танку, над которым возвышалась радиоантенна, влез в него. Прошло еще две минуты, и во всех окнах дома погас свет — теперь навсегда.

Прыткий солдатик выскочил из танка уже с небольшой табличкой в руках, снова подбежал к подъезду и повесил ее на ручку двери поверх замка. Немедленно после этого один из тех, что командовали операцией и своей одеждой не отличались от выведенных из дома, прошел в голову колонны и негромко — но в ночном беззвучии было слышно каждое слово — сказал:

— По поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий, я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Народной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер, — он взглянул в какую-то бумажку, — номер восемьдесят три по общему плану радикальной политической реконструкции, врагами радикальной реконструкции и в качестве таковых несуществующими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за реконструкцию Пресненской части.

Машины зарычали и двинулись по краям мостовой, один танк шел впереди, другой замыкающим. Колонна шла посередине...

Через десять минут на улице было пусто и тихо.

— Куда их? — спросила женщина. Она стояла в двух шагах от меня, пытаюсь дрожащими руками счистить снег и грязь с кожаного пальто.

— Неужели не знаешь? — Мне уже не хотелось даже делать вид корректного обращения с этой жлобской бабой, которая,

видно, не слышала ни о чем, кроме обувного изобилия в столице. — Во МХАТ на Тверском, потом — туда... — Стволom «Калашникова» я показал на небо.

— А шо ж в том мхати? — с ужасом спросила она. Никакого желания объяснять ей подробности у меня не было.

— Комиссия, — вяло пробормотал я, уже прикидывая, как быть дальше. Удивительно, что она может так спокойно, так уверенно в своей безопасности говорить с человеком, которого полчаса назад пыталась ограбить, может, и убить, крыла матом... Хотя удивляться не приходилось — по нынешним понятиям ничего особенного между нами не произошло, а прежние понятия из сознания этих людей исчезли настолько быстро, что можно предположить — эти понятия и прежде были им не слишком близки. Одно ясно — она не отвяжется от меня до самой площади, рассчитывая так или иначе выманить талоны. Воврать не было сил.

— Пошли, — сказал я, и мы двинулись дальше по Спиридоновке. Проходя мимо подъезда, я покосился на табличку. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено», — было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее, белые змеи ползли по мостовой все торопливее...

Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней.

Но дойти до Тверской нам не удалось.

Справа, из подворотни, от бывшей библиотеки метнулись тени — и через секунду все было кончено.

У меня с шеи сорвали автомат, с треском разодрали ворот свитера.

— Крэст, — негромко сказал, дохнув мне в лицо запахом сырого мяса, тот, что разорвал свитер, — в густой черной щетине, кривоносый. Ворот рубахи под его драной дубленой шубой был распахнут, из ворота лезла черная шерсть. Тот, что стоял сзади, оперев мне в поясницу отвод моего же автомата, уточнил:

— Григориан, а?

— Православный, — мгновенно сообразил я, — русской веры...

— А, ладно, православный, армян, какая разница! — раз-

драженно крикнул третий, занимавшийся тем временем чуть в стороне с моей спутницей. Он запустил ей руку за пазуху, она ойкнула, а он, даже вздохнув, сообщил: — И у эта биляд крэст... Во двор веди.

Подталкивая стволom, меня впахнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать несчастную охотницу за сапогами, которую обыскавший ее отправил к месту сильнейшим пинком в зад.

— Та ой же, — вскричала она почти без голоса, — та який же крест, я ж неверующая, то ж золото, для красоты...

И осеклась. Держа ее в вынужденных объятиях, я, видимо, от этих слов скроил такую рожу, что она испугалась меня больше, чем чернобородых.

Во дворе таких же, как мы — с распахнутыми, разорванными воротниками, с болтающимися и поблескивающими крестиками, — было, наверное, около пятидесяти. Двор был довольно просторный, мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать по крайней мере в пяти облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе — наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора.

С четырех сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик помойки, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и негромко прокричал:

— Всем стоять смирна-а! Вы — заложники организации Революционный Ка-амитет фундаменталистов Северной Персии! Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны — здесь, в этом дворе. Кто будет кричать — будем резать сейчас!

В толпе раздался тихий стон, и я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю — видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю, многие вокруг тоже стали садиться. В суете эта баба, мое наказание, очутилась рядом, примостила полы пальто, уселась, придвинулась...

— Прости... — услышал я спустя несколько минут и взглянул на нее. Она плакала, спрятав в руки лицо, и шептала, будто

даже не обращаясь ко мне: — Прости, ради Бога прошу... Разве ж я вбила б тебе? Просто от нервов... Прости, я ж верующая, а этим чуркам от страха наврала... Прости, я ж тебе нравлюсь, разве нет?..

Столько наивной прямолинейности, столько детского убогого желания собственного блага было в ее бормотании. Мы сидели обнявшись, я начал дремать... Меня разбудил крик:

— Идут! Идут!!!

Я открыл глаза. Кричал, видимо, кто-то из заложников, крик шел с земли. В подворотню входили цепочкой люди — точно такие же, заросшие до глаз черными бородами, как те, кто нас захватил. Заложники вскакивали с земли, теснились к краю двора, к стенам... И вдруг над двором поплыло пение. Это было негромкое, но мощное мужское восточное пение, унылый мотив поднимался все выше и выше... И навстречу вошедшим — я понял, что это и были освобожденные наконец пленные, — ото всех концов двора двинулись те, кто их ждал, каждый подходил к какому-то из прибывших, обнимался и застывал надолго. А пение все росло...

Визг, прорезавший это пение, был страшен, но короток. Толпа заложников отхлынула от дальнего конца двора, и я увидел: двое стояли там, по-прежнему обнявшись, но уже глядя не друг на друга, а на третьего. Третий же, низко кланяясь, подавал им что-то, сначала мне показалось — какую-то кастрюлю...

Но это была не кастрюля, а большая меховая шапка, а в шапке отрубленной шеей вверх лежала человеческая голова.

Тело валялось чуть в стороне. Это была женщина. Рядом с телом лезвием в темной луже лежала обычная саперная лопатка на короткой ручке.

Тяжелый выдох — не крик, именно выдох — вознесся над толпой. И в наступившем за ним безмолвии заложники ринулись к подворотне. В центре прохода тут же возникли двое чернобородых, в руках у них были старинные, может, еще Первой Гражданской — где они их только выкопали! — шашки... Нас, стоявших ближе других к этому довольно широкому и низкому проему, толпа несла впереди.

Когда до убийц оставалось уже метра два, я рванул женщину за руку, и мы вместе упали плашмя. Люди пошли над нами,

пытаясь свернуть — первые, следующие уже не пытались... Мы ползли, и за то время, что мы проползли этот метр, я успел заметить многое. Я увидел снизу, как один из встречавших толпу первым опустил клинок и, резко дернув им слева направо, рассек по животу почти пополам переднего в толпе, уже пятившегося, но подпираемого сзади толстого мужчину в коротком плаще... Я успел почувствовать, что ни на меня, ни на женщину люди почти не наступали: их движение уже не было столь общим, ровным стремлением к подворотне, они уже топтались на месте, разворачивались, и мы оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей зоне между убивавшими и убиваемыми... Я успел заметить, что правой рукой все еще намертво цепляюсь за рукав ее пальто... И я успел заметить самое главное: двое с пашками не смотрят вниз, они смотрят на толпу прямо перед собой, и тот, что уже зарезал одного, медленно встряхивает, встряхивает клинок, отбрасывая с него слишком медленно стекающую кровь, и ищет в толпе следующего, а второй еще не совсем готов, и держит пашку — вверх острием, и стоит неустойчиво...

Прямо с земли — я привык за эти годы лежать на земле, ползти, бегать на четвереньках — прямо с земли, как взбесившаяся ящерица, прыгнул я на этого нерешительного, обеими руками вцепился в его правое запястье, выкрутил...

Оружие со звоном, разодрав на плече мою куртку, вывалилось и отлетело в сторону. А я уже что было сил ударил изумленного мальчишку — смуглого, едва заросшего бородой — коленом в пах и бросил его, обмякшего, на медленно поворачивающееся ко мне лезвие.

Женщина стояла еще на четвереньках, она еще только пыталась встать на ноги, толпа еще только качнулась, чтобы смять и затоптать тех двоих, и убийца еще только пытался сбросить своего неудачливого товарища с бесполезного клинка, и сзади, из глубины двора, прогремела еще только первая очередь в спины рвущихся к выходу людей. Это была очень замедленная жизнь, словно ночь состояла не из холодного ноябрьского воздуха, а из воды. И, как бывает под водой, сильно, неестественно плавно изогнувшись, я тянулся, тянулся — и дотянулся, схватил ее за шиворот, за крепкий кожаный ворот ее очень удобного сейчас пальто и потянул, рванул — и мы выплыли на улицу, и длин-

ными, все еще подводными прыжками начали уходить вглубь, в переулок, к Палашевскому рынку...

— Кушать хочется, прямо невозможно, — сказала она. — Второй день не кушала, еще с поезда...

Мы сидели на полусгнившем прилавке пустого рынка, и тени диких собак носились кругами все ближе и ближе. Больше всего я был огорчен потерей автомата: безоружный имел немного шансов дожить до утра на московских улицах.

— Погоди, узнаю время, — сказал я, — может, еще и поедим.

Из внутреннего кармана я достал транзистор. Удивительно — он был совершенно цел. Часов у меня не было уже давно, радио, как и для многих, определяло всю мою жизнь. Часы были изъяты Комиссией еще прошлым летом: слишком часто их использовали во взрывных устройствах... Я нажал кнопку.

«...выражает соболезнование родным и близким погибших, всем пострадавшим при аварии на Красноярской ГЭС. По предварительным данным, во время разрушения плотины погибло около двадцати трех тысяч человек, около восьми тысяч ранено, сотни тысяч остались без крова и продуктов питания в связи с затоплением Красноярской и значительной части прилегающих областей. Общий ущерб составляет, по предварительным подсчетам, около восьмидесяти миллиардов талонов. Ведется расследование. В ближайших выпусках новостей мы передадим очередные сообщения правительственной комиссии. Московское время — три часа тридцать семь минут. Слушайте концерт из произведений русской классической музыки. Первую симфонию Альфреда Шнитке исполняет...» Я выключил приемник.

— Пошли. — Я потянул ее, спрыгивая с прилавка. — Тут неподалеку, может, поедим.

Перед тем как позвонить в дверь, я отряхнулся, отряхнул и ее, потом, несмотря на все набирающий силу ветер, стащил и взял на руку куртку — в одежде, разрезанной шашкой, ходить в этот шикарный ночной кабак было не принято.

Открыл почему-то сам хозяин — высокий, худой, молодежь еврей в коротко стриженных седых кудрях, по последней моде одетый во все сшитое у лучших Крестовских портных,

фрак на нем сидел безупречно, короткие лакированные сапожки сияли.

— А-а, вольные дети муз реконструкции тоже посещают зланные места, — обрадовался он. Вроде обрадовался... Когда-то, в давно сгинувшей жизни, за много лет до катастрофы, мы работали вместе. — Ну, прошу, и даму... познакомишь бедного артельщика с дамой?.. как это — сам не знаком?! очень приятно, Валентин... прошу вас, Юлечка... а вы знаете, что ваш грубый спутник — гений?

Он продолжал трепаться, как будто мы не знакомы четверть века, и будто не в полутемном зале ночного ресторана времен Великой Реконструкции мы встретились, и не стреляют за глухими ставнями неумные автоматчики — будто соплись мы в нашем старом доме на Никитском... Как он тогда назывался? Суворовский, кажется... И сейчас выпьем по рюмке коньяку, и платить буду, конечно, я, потому что у него, как всегда, ни копейки...

— Угощаю, угощаю, — шумел Валька, — пока ты не решился ко мне, в артель, я угощаю... а то давай, бросай свою бескорыстную борьбу за решительный возврат к светлому прошлому! Не надоело еще, за десять тысяч «горбрых»-то ежемесячно, бороться?

Мы шли по залу, и я кивал знакомым. Поэт, за последние годы не написавший ни одной строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами реконструкции с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии эйдса* они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке... И многих из этих привидений я почему-то знал — иногда сам удивлялся, откуда у меня такие знакомые и зачем они мне...

— Я и сам с вами выпью, — сказал Валька. — Вы будете пить?

— У тебя ж не подадут, — удивился я. — Откуда?

— Ну, конечно, — расхохотался Валька, — а эти все кока-

* AIDS — СПИД (англ.) (Прим. ред.)

колу пьют, что ли? Так у них на нее денежек не хватит... Могу угостить отличнейшим напитком, одна хитрая артелька наладила из зеленого горошка венгерского... Лучше довоенной «Пшеничной», честно!

— А угловцев не боишься? — поинтересовался я.

— А угловцев бояться — трезвым капитализма дожидаться! — Валька по обыкновению повторял самые дешевые из расхожих шуточек. Между тем лакей уже принес на наш столик блюдо с американской пастеризованной ветчиной, французскими прессованными огурцами и положил возле каждого прибора по куску — огромному, граммов на сто! — настоящего хлеба... Посреди стола уже стоял графин с темно-зеленой жидкостью...

Тем временем на сцене музыканты разбирали инструменты. Черт его знает, как Вальке удалось получить разрешение на пользование мощной, берущей огромное количество энергии усилительной аппаратурой! Но ребята уже настраивались, динамики взрывались... И вот уже вышла певица, зацепила кринолином шнур, другой, наклонила микрофон...

— Вас приветствует рок-шантан «Веселый Валентин»! И немедленно ударил сумасшедший вальс, зарычали гитары, и певица закричала, конечно же, самую модную этой зимой песню:

Я ждала тебя в семь,
Но часов нет совсем
Ни у тебя,
Ни у меня
— Нету часо-ов
Но что-то тикает внутри,
На это что-то посмотри
И ни тебе,
И ни мне
Не надо слов!

В зале уже подхватывали лихой припев:

Эй-эй, господин генерал!
Зачем ты часы у страны отобрал?

Шантан смеялся над властью...

Когда мы наконец подошли к Страстной, там стояло предрасветное затишье. Только в такие часы и бывало тихо на этом издавна самом буйном в городе месте. На площади копошились рабочие — глянув в их сторону, я понял, что за взрывы гремели здесь час назад: в очередной раз памятник Пушкину взрывали боевики из «Сталинского союза российской молодежи». И снова у них ничего не вышло: фигура была цела, только слетела с постамента, да обвалились столбики, на которых были укреплены цепи. Рабочие уже зацепили поэта краном и втягивали на место, бетонщики ремонтировали столбики.

— А кто ж то заделал? — спросила Юля. Она, чем ближе к концу шла ночь, задавала все более простые и бесхитростные вопросы — видимо, даже для такой несложной нервной организации ночная прогулка по столице оказалась слишком серьезным испытанием.

— Твои верные сталинцы, — раздраженно ответил я. Все более дурные предчувствия мучили меня этой ночью, и возникала уверенность, что мои неприятности еще не кончились. — Твои сталинцы и патриоты...

— А за шо? — изумилась она. — Это ж Пушкин или кто?

— А за то, — уже в бешенстве рявкнул я, — что с государем императором враждовал, над властью смеялся — раз, в семье аморалку развел — два, происхождение имел неславянское — три! Мало тебе? Им достаточно...

— А шо ж неславянское, — еще больше удивилась она, — он разве еврейчик был?

Я не нашелся, что ответить.

— В метро пошли, — сказал я. — А то на улице без оружия долго не проходим...

— А в метро там спокойнее? — спросила она. Видно, после всех переживаний она просто не могла замолчать. — Чего тогда с Брестского вокзала не ехал в метро?

— Ночью там тоже... не рай, — неохотно пояснил я. — Но все же... хотя бы с оружием не пускают... официально.

Мы уже шли по скользким, сбитым и покореженным ступеням эскалатора. Когда-то я терпеть не мог идти по эскалатору — когда он двигался сам...

Перрон был почти пуст, только вокруг колонн спали оборванцы — голодающие Ярославль и Владимир давно уже жили в столичном метро. Да несколько подростков сидели посередине зала кружком, передавая из рук в руки пузырек. Сладкий запах бензина поднимался над ними, один вдруг откинулся и, слегка стукнувшись затылком, застыл, уставившись открытыми глазами в грязный, заросший густой паутиной и рыжей копотью свод.

Поезда с двух сторон подошли почти одновременно — редкие ночные поезда. Один из них остановился, двери раскрылись, но никто не вышел — вагоны были пусты. Другой же, как раз тот, что был нам нужен, к Театральной, прошел станцию, почти не замедляя ход. Впрочем, он и так полз еле-еле, километров семь в час, и поэтому я успел хорошо рассмотреть, в чем дело.

В кабине рядом с машинистом стоял парень в мятой шляпе и круглых, непроницаемо-черных, как у слепого, очках. С полнейшим безразличием направив очки на проплывающую мимо станцию, парень, сильно уперев, так что натянулась кожа, держал у скулы машиниста пистолет. Длинные косы парня свисали вдоль его щек мертвыми серыми змеями.

В первом вагоне танцевали. Музыка была не слышна, и беззвучный танец был так страшен, что Юля взвизгнула, как щенок, и отвернулась, спрятала лицо... Среди танцующих была девушка, голая до пояса, но в старой милицейской фуражке на голове. Были два совсем молодых существа, крепко обнявшиеся и целующиеся всасос, у обоих росли редкие усы и бороды. Был парень, у которого гладко выбритая голова, окрашенная красным, поверх краски была оклеена редкими серебряными звездами. Он танцевал с девушкой, на которой и вовсе ничего не было, даже фуражки. На правой ее ягодице был удивительно умело вытатуирован портрет генерала Панаева, на левой — обнаженный мужской торс от груди до бедер, мужчина был готов к любви... Когда девушка двигалась, господин генерал совершал непотребный эротический акт. Заметив, что поезд проезжает освещенную станцию, девушка повернулась так, чтобы вся живая картина была точно против окна, и начала крутить задницей энергичнее... И еще там, конечно, танцевали люди в цепях, во фраках, в пятнистой боевой форме отвоевавших в Трансильвании десантников, в старых костюмах бюрократов восьмидесятых годов, в

балетных пачках, даже в древних джинсах... Посередине танцевал немолодой человек в обычном, довольно модном, но явно фабричного отечественного производства фраке. Выражение лица его было — сама скука и уныние, но нетрудно было догадаться, почему его приняли в эту компанию: именно он держал на плече какой-то дорогой аппарат, беззвучно аккомпанировавший дьявольскому танцу.

Следующие два вагона были темны, там, видимо, спали. Только кое-где вспыхивали огни самокруток, да вдруг к темному окну приникла отвратительная рожа: разбитая, в кровоподтеках и ссадинах, с всклокоченными над низким и узким лбом желтыми слипшимися волосами... Рожа была, кажется, женская, но я бы не поручился. Через мгновение рожу обхватила сзади толстая голая рука и оттащила от окна... В этих вагонах собралось дно.

Наконец, последний, пятый, был светел, и не просто светел, а освещен так ярко, как уже давно не освещалось ни одно обычное помещение в городе. В вагоне, посередине, стоял обычный домашний диван, на диване сидел обычный человек средних лет в свитере и мятых штанах и, склонивши набок лысую голову, играл на обычной гитаре. Это был знаменитейший сочинитель, песни которого пела вся страна. В веселом поезде везли его, чтобы, остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь. Потом его угостят чем-нибудь из горошка или еще какой-нибудь гадостью. Великий неразборчив и в выпивке, и в знакомствах...

Поезд сгинул в туннеле. Следующий должен был прийти не раньше чем через полчаса. Ждать не было смысла — он мог быть еще страшнее, ночь выдалась беспокойная. Но и идти с пустыми руками дальше не хотелось.

И тут меня осенило. Ведь оружие все равно понадобится...

Я растолкал одного из спящих у колонны. Это был тощий — даже более тощий, чем многие его земляки, — старик, судя по выговору — из Вологды или откуда-нибудь оттуда, с севера.

— Чего надо-то? — спросил он, приподняв голову на минуту и снова кладя ее на руки, чтобы не тратить силы. Глаза он так и не раскрыл. Я присел рядом на корточки.

— Отец, — шепнул я, — слышь, отец, «Калашникова» нет

случайно? Лучше десантного... Может, от сына остался? Я бы пятьдесят талонов отдал сразу...

Старик раскрыл глаза, сел. Беззубый от пеллагры рот ощерился.

— Отец, говоришь? От сына? Да я ж сам тебе в сыновья го-жусь, дядя!

Я увидел, что он говорит правду, этому человеку было не больше тридцати. Но и голодал он уже не меньше года.

— «Калашникова» нет, — с сожалением сказал он. — Прогдал уже... А «макарку» не возьмешь? Хороший, еще из старых выпусков, я его по дембелю сам у старшины увел... Год назад... Под Унгенами стояли, тут объявляют — все, ребята, домой, сме-на, я его и увел... Возьми, дядя! За тридцать талей отдам... че-тыре дня не ел, веришь...

Он уже рылся в лежавшем под головой мешке, тащил оттуда вытертую до блеска кожаную кобуру...

Я отсчитал деньги и, не вставая с корточек, чтобы не демон-стрировать особенно покупку, надел кобуру на ремень под курт-ку, сунул в карман три обоймы. Потом встал — и поймал ее взгляд.

Юля смотрела на карман, откуда я доставал талоны.

И тогда я понял, что наше совместное путешествие должно кончиться немедленно, чтобы мы оба пока остались в живых.

— Ну, пошли, — сказал я. Она двинулась за мной, как за-гипнотизированная, ее «горбатые» жгли ее сердце, мои талоны не давали дышать.

Мы вышли из метро, и я сразу свернул за угол подземного перехода. Здесь было абсолютно пусто и почти темно, свет сюда шел только из дверей станции. Я вытащил пистолет, повернулся к ней и медленно поднял ствол на уровень ее темных, так и не узнанного мною цвета, глаз.

— Иди, — сказал я, — иди от меня. Талонов от меня не по-лучишь. Хлеб можно купить и на «горбатые», а без лишних са-пог обойдешься. Иди. Хватит. Я боюсь тебя.

— А куда ж я пойду? — спросила она довольно спокой-но. — Ночь же, бандиты кругом...

— До утра побудь в метро. Утром сообразишь, — сказал я. — Иди. Иначе я выстрелю. Ты не даешь мне выбора.

Она кивнула.

Я стоял и смотрел ей вслед. Вот она толкнула качающуюся стеклянную дверь, вот начала спускаться по лестнице.

В это время над ухом у меня негромко сказали:

— Ну-с, как вам все это нравится?

Я отскочил, развернулся лицом, нащупал кобуру...

— Да бросьте, вы что, с ума сошли совсем, что ли? — Мужчина в темном пальто и кепке-букле пожал плечами. Откуда его черт принес? Из перехода подошел, наверное... Но как тихо!

— Так нравится или не очень? — продолжал мужчина. Лицо его при свете, доходившем через стеклянные двери станции, показалось мне знакомым, кого я только не встречал за жизнь в этом городе... — Вот, радуйтесь, дождались! То, что вы все, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнуло. Бесповоротно рухнуло, навсегда. Аномалия, умертвлявшая эту страну почти век, излечена, лечение было единственно возможным — хирургическое... Ну, и вы полагаете выжить после такой операции? Да и сама операция — хороша, а? Госпитальная хирургия: кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза, заметьте... А результат? Генерал присматривает за страной-инвалидом...

— Если вам так уж полюбился ваш довольно убогий образ, то ответу. — Я привалился к облупленному кафелю стены перехода, достал табак, стал сворачивать. — Извольте: мы еще в реанимации. Еще рано делать прогноз. Осложнения — страшные. Может, и не выживем. Но операция была жизненно необходима — вам знакомо такое медицинское выражение? Или резать, или все равно помрете... Делают аппендэктомии, все хорошо, вдруг — тромб в сердце. Генерал — это тромб; но...

— Варварство и идиотизм, — презрительно скривился собеседник. И я вдруг понял, с кем имею дело. По выговору, по всей манере... Вот и встретились! Теперь я уже не смогу отрицать — эта старомодная привычка строить фразу, этот свободный жест, забытые в стране слова... — Варварство и идиотизм, — повторил он. — Как и собственно отечественная медицина. Все на уровне каменного века. Или резать, или смерть... А разве лучше умереть зарезанным, чем естественно? По-моему, вам еще час назад предоставлялась возможность лечь под нож, но вы постарались ее избежать...

— И вы?.. — удивился я.

— Едва ноги унес, — вздохнул он. И засмеялся мягким дворянским смешком. — А вы, надобно признать, весьма тут поднаторели выходить из отчаянных ситуаций. Подучились! М-да... Вот вам и еще один светлый праздник освобождения. Погромы, истребительные отряды, голод и общий ужас... Потом, естественно, разруха, потом железной рукой восстановление... Бывших партийных функционеров уже по ночам увозит Комиссия. Все ради будущего светлого царства любви и, главное, — справедливости Но... Время будет идти ... Через десять лет, если доживете, будете отвечать на вопрос: чем занимались до девяносто второго года? А не служили в советских учреждениях? А не состояли в партии или приравненных к ней организациях? Не ответите — сосед поможет... И поедут оставшиеся в живых верные бойцы реконструкции куда-нибудь в Антарктиду... Лед топить.

— Но ведь нужна же была, черт бы все побрал, операция! — заорал я и закашлялся дымом. — Ведь... доходили же... стыдно было...

— Не орите. Сталинцев накличете или «витязей» черноподдевочных, — холодно посоветовал собеседник. — И что это за дрянь вы курите? Угощайтесь... — Он протянул пачку «Галуз». — Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще есть... Да-с, ничего вы, значит, так и не поняли... Да не нужна социальная хирургия, зарубите вы это на своем общероссийском носу картошкой! Черт вас раздери, любезные соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками — и ничего, а у нас день бастуют, на второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас «воронки» по ночам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, прогнали консерваторов, а они-то — консерваторы! То есть хотели, чтобы оставалось все, как было, чтобы хуже не стало... Дождались операции? Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей. Живой-то орган кровоточит сильнее...

Злым щелчком он выбросил свой окурок, помолчал... Я докуривал сигарету тоже молча, забытый восхитительный вкус настоящего табака сбивал мысли.

— Ладно, — вздохнул он, — что теперь говорить... Да вы ведь и согласны со мною, я же вижу. Так что, если захотите изменить свою жизнь — милости прошу. Помогу, чем сумею. Найти меня несложно... — Небрежным движением он сунул в карман моей куртки твердый бумажный прямоугольник. — Здесь и телефон, и адрес. На всякий случай по телефону себя не называйте, просто попросите, кто подойдет, о встрече в известном месте. Это значит — я буду вас ждать здесь же, в первую после звонка ночь, вот в такое же время... Засим — желаю здравствовать.

Он повернулся и пошел к дальней лестнице перехода. Из-под пальто его были видны вечерние брюки с атласными лампасами и лакированные туфли, вовсе неуместные ночью в районе Страстной.

— Тут вы, конечно, немножко перегнули, Юрий Ильич, — сказал Игорь Васильевич и, как обычно, засмеялся. — Женщину под пистолетом гнать не стоило. Тем более и пистолет-то... купленный. А вы знаете, у кого, кстати, вы его купили?

— Дезертир, — сказал строгий Сергей Иванович. — Совершенно точно дезертир и, как он же сам признался, расхититель военного имущества. Зря вы рисковали, Юрий Ильич, зря...

— Мы вас, если что, конечно, в обиду не дадим, позвоним или подъедем, если нужно, — сказал Игорь Васильевич. — Но другому бы пришлось отвечать...

— Вот и не нужно за меня заступаться, — упрямо сказала я и придавил сигарету в пепельнице. На этот раз мы сидели уже не в гостиничном номере, а в какой-то квартире в одном из старых, давно вышедших из-под капитального ремонта домов на Садовой. Квартира была полупустая, только большой холодильник шумел в прихожей, да в углу большой комнаты стояли два казенных кресла, низкий столик и диван с одним отломанным валиком. Окна были завешены желтыми газетами, сквозь газеты лупило солнце... Но пепельница на столике, естественно, имела. — Нет уж, не надо меня защищать, прошу вас...

— Да как хотите, Юрий Ильич, — воскликнул Игорь Васильевич, — вы как хотите, мы ж понимаем, что вы человек самостоятельный, независимый, смелый, талантливый, гордый, неподкупный...

— И вообще, — закончил Сергей Иванович, который от раза к разу становился все строже и строже, все важнее и важнее, покрикивал и на Игоря Васильевича, и на меня. — Но теперь вопрос другой: ну, прогнали вы эту... даму. И дальше что? Почему же вы дальше не написали, а, Юрий Ильич?

— Что вы имеете в виду? — спросил я, чтобы как-то потянуть время, чтобы, может, снова свести разговор к невинтице, к неконкретной лояльности. — Вообще-то, больше и не было ничего... Ну, прохожие разные... бандиты...

— Нет, Юрий Ильич, — тут посерьезнел и Игорь Васильевич, — с бандитами все уже ясно. Вы нам напрасно не доверяете, Юрий Ильич. Времена теперь не те, мы ж вам сесть вот предлагаем, а вы... Мы сейчас в трудном положении, Юрий Ильич, а вы не верите. Пока с нами говорите — верите, а потом, как уйдете, — так вас кто-то и настроит против нас. Может, жена?

— Почему жена? — Я чувствовал себя все увереннее по мере того, как нарастал их напор. — Вот вы говорите, времена не те. А если снова будут те?..

— Что ж вы думаете, Юрий Ильич, мы тогда здесь дыбу поставим, что ли? — обиделся Сергей Иванович. — Разве можно так рассуждать? Вы же нас, лично нас перед собой видите? Похоже, что мы на такое способны?

— Ну, лично вы, может, и не способны, — замылся я, — но редакция в целом...

— И никто в редакции, уверяю вас! — взвился Игорь Васильевич. — Это все у вас старые стереотипы, как теперь говорят, образ друга... то есть врага... А у нас теперь все кадры сменились, народ грамотный, вон Сергей даже три института кончил, правильно, Сергей?

— Ну, — сказал Сергей Иванович. — А раньше у нас даже подполковники не все читать умели. Вот Игорь Васильевич лично помнит одного, он даже «расстрел» через одно «эс» писал, представляете?

— Представляю, — сказал я, и мы все втроем засмеялись. Хорошо так засмеялись, понимая друг друга...

— Вот я и говорю, — сквозь смех произнес Игорь Васильевич, — если у вас адресок и телефон этого... ну, который вам

предлагал кое-что... если остались, вы поделитесь, вам же и легче будет...

— Это ж ведь он и есть, — сокрушенно вздохнул Сергей Иванович, — экстраполятор ихний. Причем тесно связанный с ихними пресловутыми редакциями. С нашими, извиняюсь, коллегами по ту сторону исторических баррикад. Он только числится экстраполятором, а на самом деле имеет звание старшего редактора. Его уже один раз выдворяли даже.

— Действительно, — я ляпнул и остановился. — Действительно...

— Что действительно? — Сергей Иванович быстро встал с дивана, на уголке которого он, по обычаю, устроился, подошел ко мне вплотную, нагнулся — почти лицом к лицу. Пацан этот быстро повзрослел. Губы у него уже были не такие пухлые, а толстые щеки стали обвисать, он был все так же важен, но уже совсем не смешон. — Что действительно? Говорите!

— Я его вроде и раньше видел... — мямлил я. — Довольно известный экстраполятор... Представляет здесь какой-то их институт. Не помню...

— А мы помним! — Игорь Васильевич тоже склонился ко мне, два эти лица теперь были так близко к моему, что черты их даже искажались. — Помним: Николай Михайлович Лажечников, потомок эмигрантов, Николас Лаже, представитель института экстраполяции Европейского Сообщества, на самом деле — старший редактор одной из редакций! Адрес, телефон! Быстрее, Юрий Ильич!

— Я потерял, — пробормотал я. — Выронил из куртки... И тут же атмосфера в комнате снова стала очаровательно дружеской.

— Ну, это совсем другое дело! — опять весь сморщился в сплошную улыбку Игорь Васильевич. — Так бы и сказали! Что вы, ей-богу, Юрий Ильич? Это ж полностью меняет дело... Потерять каждый может.

— Вот я, например, однажды шесть томов совершенно секретного дела потерял, — засмеялся и Сергей Иванович, — когда еще молодым был...

— Точно! — хлопнул себя по колену Игорь Васильевич. — Ровно восемнадцать лет назад, когда его только из полковников в стажеры перевели, точно, Сергей?

— Так точно, — подтвердил Сергей Иванович. — Потерял — и ничего. Потерять любой может...

— Из полковников — в стажеры, — повторил я. Ум у меня вовсе заходил за разум.

— Ага, — кивнул Сергей Иванович, — у меня тогда еще только четыре класса было, я вечернюю начальную заканчивал... Ну, полковник, сами понимаете: корову через «ять» писал, одно дело знал — иголки да ногти... А уж потом в один институт поступил, во второй, и пошло... Уже восемнадцатый год стажером. А что? Почему вы этим заинтересовались?

— Я по-онял, — хитро протянул Игорь Васильевич. — Юрия Ильича мое звание интересует, правильно? Так я вам скажу: майор я. В восьмой класс перешел только что, с отличием... Еще вопросы, как говорится, будут?

— Никак нет, — ответил я. — Все ясно. А вы, Сергей Иванович, значит...

— Как двадцать пять лет отслужу, — кивнул Сергей Иванович, — так всех моих институтов как не бывало. Получу снова первое офицерское звание — и в вечернюю. Арифметика, география, то-се...

— Вот так, Юрий Ильич, — заключил Игорь Васильевич. — Обновляем помаленьку кадры. А вы думали — у нас не меняется ничего... Ну, я вижу — вы спешите. Так что пожелаю... А найдете адресок или там телефончик — звоните, ладно?

— Непременно позвоню, — пообещал я, решительно направляясь к двери.

— Или мы позвоним, — сказал Сергей Иванович. Оба они шли вместе со мной, чтобы еще раз пожать мне руку. Мы нежно простились, и я вышел, тихонько притворив за собою дверь. Перед этим я оглянулся. Они стояли рядом и смотрели мне вслед. Выглядели они сегодня внушительно: оба были в форме, с ромбами в петлицах и наградами, в новеньких ремнях и хорошо начищенных сапогах...

Над Садовой желтой гарью светилось небо, жара туманила перспективу и бешено спешащие машины кучей заворачивали на Маяковку, стараясь прорваться на Брестскую, пока пешеходам не дали зеленый.

Жена была дома, она сидела на кухне, перед нею лежал английский роман и стоял стакан чаю с молоком.

— Идем, — сказал я. — Собирайся. У нас уже нет и не будет времени.

Мы вышли на Страстную. Холод перед рассветом был лютой, я снова чертыхнулся: несмотря на мои настояния, жена оделась слишком легко. И конечно же, брюки она надела старые! Вот порвутся здесь на третий день, что будем делать тогда?.. Но объяснить ей это было невозможно.

— Давай пойдем... — Она показала туда, где у края площади уже собиралась небольшая толпа. Там вывешивали сегодняшние «Ведомости». Времени у нас уже оставалось немного, но на минуту подойти мы могли.

Однако протиснуться к газете не удавалось. Стоящие сзади переговаривались:

— Что там сегодня?

— Вроде ничего интересного... Только, говорят, «Тайная биография генерала» сильная...

— Так и называется? Ну, они дают ...

— Подумаешь, называется... Они там пишут, что он в партии состоял! Раскопали... Вроде только в девяностом вышел... Даже в райкоме каком-то работал.

— Не может быть. Кто б им позволил такое писать... А еще что?

— Отрывок из старой какой-то рукописи. Не то в восемьдесят восемь написано, не то в шестьдесят восемь... А говорят, сильно написано, как будто вчера, про нас... «Невозвращенец» называется, что ли...

— А написал кто?

— Не помню...

Пробиться к газете я так и не смог. Да мне и не очень хотелось: я точно знал, о каком отрывке речь.

— Ну, наслушалась? — Я взял жену под руку. — Пошли, пошли, нечего здесь больше делать.

Мы прошли к Тверской метров десять, когда я понял, что и на этот раз я ухватил удачу за самый последний, ускользающий поручень. Позади раздался шум, мы обернулись...

Толпа у газетного стенда даже не успела дрогнуть. Со стороны Большой Дмитровки раздался частый топот — и в мгновение

все читающие оказались окружены плотным кольцом набежавших «витязей» в черных поддевках. В руках у каждого был аккуратно выструганный, светящийся в темноте свежим деревом кол. Кольцо стало сжиматься, как бы выдавливая из себя время от времени редких удачников, раздались негромкие приговоры:

— Жид... жид... жид... так, крещеный, необрезанный, выходи... жид... опять жидовка... русская? «Слово о полку» читай. Сколько знаешь... так, врешь, мало помнишь, стой... жид, жид, жид...

Мы свернули на Тверскую.

В это время где-то вдалеке, в стороне Рогожской и Владимирки, раздался звук, рванулся вверх — и тут же распался на эхо, несущееся со всех сторон.

Жена остановилась, в ужасе оглядываясь, поднимая голову к старым облакам на светло-лиловом небе.

— Что это? — спросила она. — Воздушная тревога? Зачем же мы сюда бежали, здесь хуже...

— Просто ты уже забыла. — Я крепко прижал ее руку, ей трудно было привыкать. — Это обычные заводские гудки. Видишь, короткие? Значит, сегодня стачка продолжается, и за Москву-реку не пройдешь — на мостах танки...

Было уже почти светло. По середине улицы ехали тяжелые грузовики под брезентом, в них сидели пятнистые солдаты. Вся колонна постепенно втягивалась, сворачивая, в Чернышевский переулок.

— Куда это их? — Жена оглянулась.

— На молебен, наверное, к Воскресению на Успенском. — Я не вдавался в подробности, постепенно сама освоится. — Перед отправкой в Трансильванию, думаю... Как положено: полковой молебен за победу православного оружия... идем, идем, надо спешить.

Мы подошли к площади ровно в половине восьмого, в проезд между музеями уже почти невозможно было втиснуться. Отсюда толпа, заполнявшая площадь, казалась сплошной и аморфной, но я знал, что сверху — если бы можно было взглянуть хотя бы с одной из башен или с собора — стали бы видны кольца и извивы этой очереди, плотно слипшиеся зигзаги, ограниченные с одной стороны длинным серым телом Центральных Рядов с давно

провалившейся стеклянной крышей, а с другой — деревянным забором, ограждающим большой котлован у стены Кремля и множество мелких ям, оставшихся от выкорчеванных памятников и могил...

Вместе с боем курантов толпа шарахнулась и отступила, мы едва успели отскочить, чтобы нас не смяли. Теперь мы снова оказались на Манежной. Я знал, что сейчас происходит: это со стороны Маросейки, от памятника героям Плевны, свернув снизу, от Старой, несется кортеж.

Вот они влетели на площадь — семеро всадников клином на одинаковых белых конях, в форменных белых полубухках, а следом — одинокий танк в белой же, зимней окраске, с ворочающейся вправо-влево, на толпу, башней. Вот засвистела охрана у Спасских ворот — и все, проехали, скрылись... Рабочий день господина генерала начался.

— Это правда, что его сопровождают всадники? — спросила жена. — Почему?

— Горючего нет, — ответил я. Про всадников она уже успела услышать от кого-то... — Тише... Сейчас объявят.

Над площадью раздался мощный радиоголос:

— К сведению господ ожидающих! Сегодня в Центральных Рядах поступают в выдачу: мясо яка по семьдесят талонов за килограмм, по четыреста граммов на получающего, крупа саго по двенадцать талонов за килограмм, по килограмму на получающего, хлеб общегражданский по десять талонов за килограмм производства Общего Рынка — по килограмму, сапоги женские зимние по шестьсот талонов, производство США — всего четыреста пар. Господа, соблюдайте очередь! Участники событий девяносто второго года и бойцы реконструкции первой степени имеют право на получение всех товаров, за исключением сапог, вне очереди. Господа, соблюдайте очередь!..

— Идем, — жена дергала меня за руку. — Идем, ты же знаешь, я боюсь толпы. Как-нибудь проживем?

— Проживем, — согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся.

Мы пошли домой — пошли вверх по Тверской, свернули на Неглинную, потом в Петровские линии... Ветер утих, тонкий снег под первым же утренним солнцем быстро таял, заливая раз-

битый асфальт неглубокой водой. Мы шли вон от площади, к которой я добирался всю ночь и добрался живым только чудом. Но жена не знала этого — она ведь шла только от Страстной...

Обгоняя нас и навстречу шли люди, среди них все больше попадалось в одинаковых телогрейках защитного цвета. Это были беглецы из Замоскворечья, из Вешняков и Измайлова, из рабочих районов, где уже вовсю орудовали «отряды контроля» — боевики Партии Социального Распределения. Там отбирали все до рубашки и выдавали защитную форму. Там у проходных бастующих второй месяц заводов варили в походных кухнях и разливали бесплатный борщ. И иногда с котелком в руках в очереди появлялся сам Седых — могущественный глава Партии, легендарный рабочий лидер...

— Проживем, — сказал я, сунул руку в карман куртки и вытащил твердый бумажный прямоугольник. Телефон, адрес... «Если захотите изменить свою жизнь — милости прошу...» С трудом перегибая толстую бумагу, я мелко изорвал карточку и швырнул обрывки на водосток. Половина из них тут же унеслась в решетку вместе с талой грязью, остальные поплыли вдоль тротуара...

— Смотри, — сказала жена, — какая странная машина. Я поднял глаза. От дальнего перекрестка нам навстречу медленно ехали разбитые «Жигули», правого крыла у них не было совсем, левое было смято, по переднему стеклу разошлась густая сетка трещин. За рулем, как всегда щерясь, сидел Игорь Васильевич. Сергей Иванович, сидящий на втором переднем месте, высунулся в боковое окно и укоряюще грозил мне пальцем. В руке он держал сильно ободранный никелированный «тэтэ», поэтому грозить пальцем ему было неудобно, приходилось снимать этот довольно пухлый указательный палец со спуска, сильно выставлять его в сторону и качать всей кистью с большим тяжелым пистолетом.

Я покосился на жену. Близоруко щурясь, она присматривалась к едущим навстречу. Волосы из-под вязаной шапки выбились, очки слезли почти на самый кончик носа, неистребимый румянец пылал на щеках... И здесь у нее был всегдашний вид посторонней. На месте она была бы, конечно, только там, куда звал нас ночной барин... Там пьют чай с молоком, читают семей-

ные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно. Что ж, телефон я вспомню, если понадобится...

— Это твои знакомые? — спросила она. — Кто это? Из «Вестника»? А что это у него в руках? Ну что ты молчишь? С тобой невозможно разговаривать...

— Знакомые, — сказал я. — Но здесь я их почему-то совсем не боюсь... Здесь все будет нормально. Главное — что мы уже не там.

«Жигули» подъехали совсем близко, Сергей Иванович стал опускать руку. Я толкнул жену в нишу, мимо которой мы как раз проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла каменная ваза, теперь ниша пригодилась для человека.

Я толкнул ее — и рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле.

Май. 1988

БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН

«У любви, как у пташки... Понял? И все дела».
(Из разговора)

В не столь уж далекие времена молодости странное чувство посещало иногда автора. Возьмешь эдак библиотечный день, быстро проделаешь в гэпэнтэбэ необходимую выборку библиографии по плановой теме, заключишь это кружкой пива в расположившемся неподалеку от средоточия научных и технических знаний заведении, да и отправишься бродить по огромному городу, в котором мы с вами живем... И вдруг, в толпе, среди жаждущих приобретений и отдыха земляков и приезжих, ощутишь: один, совершенно один! Все вокруг полны недоступными твоему пониманию заботами, тайной и непостижимой твоему разуму жизнью, а ты — пария или избранник? — бредешь чужой, ни на кого не похожий, отдельный. Была такая иллюзия исключительности, свойственная юному существу.

Минуло все это. Вот исторгает тебя автобус после рабочего дня вместе с десятками и сотнями твоих соседей по жилому микрорайону, и ты идешь по дорожкам и тропинкам, ведущим в глубь квартала, точно такой же, как остальные.

Это простоходишь, следовательно, в возраст зрелости, когда опыт радостей и разочарований уж твердо укрепляет тебя на положенном месте, и замечаешь: ан, а место-то неотлично от любого иного. Столько же и счастья на него отпущено, и горестей. И что может быть прекраснее!.. Начало — в отличении себя от других; продолжение же — в совмещении, ибо ты единственный, как и все.

Спустя примерно полтора года после того, как произошли основные события следующего далее сюжета, которые, собственно, и событиями назвать нельзя, а так — ощущения, тени, шепот, робкое дыхание, лирический горьковатый соус на жилистом отварном мясе трудовых и нетрудовых будней, — итак, спустя примерно полтора года после того, как автор наткнулся на своего героя, пересекая огромный двор, который, собственно, и двором назвать нельзя, потому что ни заборов, ни подворотен, ни врытого в землю стола под жестяным абажуром лампы на косо провисающем проводе, ни грядок бабы Муси, ни деревянных ларей помойки, ни дворника Рустэма здесь не было, а были только длинные корабли и башни жилищ с затеками по межблоковым швам да хоккейная коробочка, старательно расписанная как бы рекламой по высоким телевизионным образцам, да железные ржавые гаражи — словом, спустя примерно полтора года после того, как герой наш, называемый, в соответствии с традициями, заложенными еще в советском детском саду, в основном по фамилии, Игнатьевым, которого, естественно, и героем-то назвать нельзя никак, поскольку ни в общественно-политическом смысле, ни в литературно-художественном он никакими качествами героя не обладает, не воплощает лучшие и типические черты, не поражает глубиной психологической разработки характера, не совершает, наконец, даже никаких, собственно, поступков, а если и совершает какие-то, более значительные, чем прикуривание, то как бы за рамой этого, предлагаемого в данный момент читателю литературного полотна, короче, спустя примерно полтора года после того, как началась в жизни Игнатьева одна большая перемена, мы бестактно ворвемся в однокомнатную кооперативную квартиру среди бела дня и застанем в ней акт любви.

Вообще-то потому и фраза получилась такой невообразимой длины, что как-то не решался на это автор, как-то вроде неловко было.

...Он старался раздеться быстро и при этом не оскорбить ее эстетическое, как он предполагал, чувство видом своего мужского туалета, и поэтому сдергивал все попарно — сначала клетча-

тую рубашку вместе с голубой майкой, потом отечественные брюки с аналогичными трусами темного цвета, а уж после, переступая новыми носками по болгарскому паласу, подошел к тахте, которую он называл мысленно софой, а по сути-то она была диваном-кроватью, и остановился вплотную к ложу, упершись в его край голеними и стараясь не глядеть вниз. Он очень хотел посмотреть вниз, ему было чрезвычайно интересно увидеть многое внизу, хотя в свои тридцать девять с лишним лет он несколько раз видел это и при более ярком свете, чем тот золотой пыльный дымок, что проникал в комнату сквозь шторы, но он предполагал, что здесь можно увидеть что-то совсем другое в смысле эстетики и культуры, а взглянуть не мог. Он не знал, понравится ли, что вот так станет разглядывать, и не покажется ли совсем недостойным такой явный интерес, как будто не видел никогда.

Она лежала навзничь прямо на сброшенном халатике и не закрывала глаза, хотя понимала, что это неловко, поскольку может вызвать совсем уж нежелательное смущение, и без того наполнившее всю комнату и особенно густо стоявшее над тахтою. В поле ее зрения прежде всего были большие красные кисти с толстыми выпуклыми ногтями, а от них вверх шли красно загорелые руки с мощными жилами, торс же был абсолютно бел, даже голубоват и безволос, что ее удивило, потому что весь ее опыт подсказывал, что такой сильный физически мужчина среднего возраста обязательно должен быть волосат, но, видимо, это правило распространялось только на творческую и высший слой технической интеллигенции. Она видела хорошо выбритый подбородок, от которого вверх, огибая рот, к носу уходили глубокие складки, а над всем был виден край седовато-русого чуба, но это уже видно было смутно, так как она была близорука, а очки сняла и положила на пол в головах. Она, вероятно, могла бы увидеть и еще какие-нибудь детали атлетического сложения, но красные огромные кисти были сложены, скрещены, и взгляд наткнулся на них, и застыл, притянутый этими непропорциональными орудиями малоквалифицированного физического труда, этими выпуклыми роговыми ногтями и жилами.

Он осторожно лег, стараясь перевалить через тонкое и, видимо, легко ранимое, но круглое колено, не задев его, и на секунду

застыл, упершись локтями в тахту, которую он по-прежнему мысленно называл софой, зависнув в воздухе и не зная, куда девать оставшиеся в определенной степени свободными руки. Он приложил рот к ее рту, но из поцелуя ничего не вышло, потому что она, как ему показалось, как-то оскалилась, и он отодвинулся, решив, что ей неприятен слишком сильный запах табака, а может, и еще чего, что он когда-либо ел или просто брал в рот. Он почувствовал ее руки и испугался, что, наверное, тем самым она дает понять нехватку его страсти, умения и напора, но тут она наконец закрыла глаза, и все получилось само собой, и через пару минут он уже не думал ни о чем, забыв даже о мучившем его душевном разладе — снимать или не снимать носки. Он открывал глаза и видел близко-близко, как траву, в которой валялся когда-то пацаном, розово-бежевую сморщенную кожу, сходящуюся к возвышению, имевшему форму пули и примерно такие же размеры. Он видел маленькое треугольное облако мелко-витых волос, как бы парившее над кожей. Он видел то приближающееся вплотную, то отодвигающееся незагорелое, гладкое, тяжелое, круглое, туго обтянутое, от которого шел ровный несильный жар, как от пляжного светлого песка. Он видел ее над собой, уходящую ввысь, словно памятник, установленный на нем в ознаменование победы советского человека в многолетней и изнурительной борьбе естества против морального кодекса. Он видел ее сверху, словно родную землю из космоса, и она казалась ему, как и героям-космонавтам, маленькой и беззащитной. Он видел ее сбоку, и она заслоняла от него весь мир и большую часть комнаты, и он казался себе в полной безопасности за ее спиной, и сам прикрывал ее от всех опасностей. Он видел ее сильно растрепавшиеся волосы, ее короткую стрижку, и ему хотелось, согнувшись, прикрыть ее всю собой, прижав покрепче голову, но он боялся, что тогда она не сможет дышать.

Она видела только его лицо, обтянувшиеся больше обычного скулы, углубившиеся складки, приоткрывающийся в мучительной гримасе рот, прилипший ко лбу потный чуб, раздувающиеся, так что нос выглядел хорошо оперенной стрелой, ноздри, а больше не видела ничего. Она снова закрывала глаза и только чувствовала его безволосую грудь, и жилы на руках, и лезущие сбоку в рот жесткие и спиральные пружинки волос, и носки, ос-

корбляющие ее ноги чужеродностью при нечаянных прикосновениях. Она не удивилась, что теперь он не кажется ей таким большим, как до этого, она вовсе не связывала физическую мощь с какими-то ожиданиями.

Он открыл однажды глаза и увидел, что на тахте лежит, кроме них двоих, ее собака — грустное живое существо с длинными ушами и смущенным, естественно, выражением глаз.

Она заметила, что он заметил собаку.

— Группен секс, — улыбнулась она.

Он вспомнил детские уроки и телевизионный фильм о группен-фюрерах.

— Гут, — сказал он, слегка задыхаясь, и тоже улыбнулся.

Она отметила, что это вполне остроумно, но тут им уже стало не до продолжения шуток, потому что золотой дымок света, все это время проникавший сквозь штору, стал огненно-горячим.

И этот огонь расплавил их и сначала излился сквозь нее, а потом сквозь него.

И она закричала, и он ответил ей.

Он-она, он-она, он-она, он-она... Она! Она!! Она!!! Она, она, она, она... Он!!! Он!! Он! Он...

Он перевернулся на спину, и ненадолго заснул, забыв о скандалах, которые продолжает устраивать Томка в месткоме, о дочке, без которой теперь надо будет привыкать, о насмешках товарищей по труду, о несимпатичных соседях и даже о самой этой удивительной любви, от которой остался только крепкий сон, как у мальчишки после длинного дня летних каникул.

Она из ванной пошла на кухню, поставила на плиту кофеварку, подошла к окну — прямо так, не одеваясь, увидела пустой дневной город, вспомнила, что в этой пустоте где-то находится сейчас человек, которому она еще недавно желала за обиду смерти, — и улыбнулась, поняв, что теперь он вправду умер, и пожелала ему долгих лет жизни, больших успехов в творческом труде и крепкого личного счастья.

Теперь ей было не жалко. В комнате спал Игнатъев, и собака дремала, привалившись к его так и не снятым носкам, а собаки отличают добрых людей гораздо безошибочней, чем женщины.

Пока ни о чем таком, конечно, не думал Игнатъев, возвращаясь с работы. Просто он поправил, вылезши из автобуса, свою букле-кепочку давнего футбольного фасона, да и пошел себе — среди соседей, влекущих детей из детского сада; спешащих к друзьям у боковых дверей районного супермаркета; сгибающихся под тяжестью доставленных из центра припасов. Среди своих соседей, словом.

О работе он тоже не думал. Он любил труд, к которому шел сложным жизненным путем, — подрезку веток и стрижку травы и кустов на бульваре по полномочиям треста озеленения, — однако не столь уж была эта служба сложна для осмысления, чтобы о ней еще и сейчас думать.

Не думал Игнатъев и о доме, поскольку дома у него на данный момент было все в порядке — начиная от жены Тамары, служащей по пищевой части в близлежащем детском учреждении типа сад-ясли, и кончая дочерью Мариной, успешно завершающей обучение в седьмом классе общеобразовательной школы — без троек.

Трудно, очень трудно проникнуть в чужие мысли. Особенно если мысли эти не совсем вняты. Примерно такие (пользуемся данным автору правом копаться в мыслях героя): «Да, жизнь... спешат все... неправильно... ты сначала пойми, а потом спеши... а то рубанул ветку, а она и привет... засохнет, говорю... опять же и утром в лифте.. чего смотришь, когда муж есть?... нехорошо... Людмилой зовут... эх, Виталик, Виталик!... вот тебе и сони-грюндиг... все одинаковые...»

И так далее. Ничего нельзя понять. Во всяком случае, пока.

Поэтому мы и пропустим Игнатъева вперед, дождемся, пока проведет он обычное время вблизи универсама, а затем и в пивном баре «Стратосфера»; пока достанет из почтового ящика вечернюю газету с кроссвордом, до которых его супруга большая охотница — хотя и без особых склонностей; пока поднимется в лифте на свой десятый этаж и выйдет к ужину. Мы же подождем другого, а именно Пирогова. Вот уже выходит он у того же подъезда из своего скромнейшего автомобиля одной из распространенных в мире марок, по привычке поправляет удивительной

скромности галстук в неприметную косую полоску, вынимает из ящика свежую периодику, включая весьма информативный еженедельник... А вот уж и едет он в лифте на свой девятый, входит, сбрасывает непрременный синий пиджак, приветствует семью, садится за стол...

С его мыслями еще сложнее. Они хоть и глаже, да на иностранных, не слишком знакомых языках. Но попробуем все же: «Эврибади, как говорится... до единого... споткнись онли... аллигейторы... пер фаворе бриться... сожрут... эх, если бы получилось... тогда на втором бедрум, чайлда тогда еще одного можно бы... как же, получишь тут хоум энд хауз... жди... грюсс унд кюсс...»

Полная абракадабра. Ни словечка вроде бы о службе в весьма почтенном и представительном учреждении; о супруге Людмиле — институтской любви с Метростроевской, со временем специализировавшейся по надомным переводам; о дочери Кате, с блеском получающей образование в испанской спец и в плавательной спортивной. Будто и не заботит его все это. Впрочем, может, и действительно не заботит, коль все идет наилучшим образом?

Итак, они сидят и ужинают — один над другим. Мы же бросим на время изящно-туманный стиль изложения, принятый здесь — слово чести! — не из желания блеснуть, а по искреннему пристрастию души, и перейдем к строгому языку справки.

Игнатьев Борис Семенович, тридцати восьми лет, рабочий треста озеленения, проживает на улице 5-я Средняя, две комнаты отдельные, все удобства, телефон, десятый этаж.

Пирогов Виталий Николаевич, тридцати восьми лет, заведующий сектором, был в служебных командировках, немецкий, английский свободно, проживает в том же доме, этажом ниже в точно такой же квартире.

Потолок Пирогова для Игнатьева пол.

Игнатьев сам еще не совсем понимает это, но, бесспорно, испытывает зарождающееся чувство любви к жене Пирогова Людмиле. Она, кажется, отвечает взаимностью. Игнатьев считает это позором и старается не задумываться.

Пирогов отлично понимает все, в том числе и то, что если бы эти Игнатьевы каким-либо образом съехали куда-нибудь к дья-

волу — например, согласились бы на какой-нибудь вариант обмена, — то очень мало препятствий осталось бы для создания семье Пироговых двухэтажного жилья по лучшим образцам журнала хорошей жизни «Хоум энд хауз, инк.» Пирогов считает, что это было бы справедливо, и все время об этом думает.

Желания соседей пока не высказаны, хотя Игнатъев однажды ночью вздохнул тихонько, глядя в потолок: «Люся...» — к счастью, жена его не проснулась. Она вообще спала хорошо. Что касается Пирогова, то он на волнующую его тему улучшения жилищных условий уже неоднократно беседовал с женой и находил в ней полную поддержку. Однако разговор с преданной женой — вещь интимная, все равно что с самим собой.

Так как соседи друг к другу никакого отношения еще не проявляют, у автора есть время до того, как развернется действие, придумать кое-какие эпизоды для биографии главного героя. Иначе не избежать упреков в отсутствии психологической глубины и стереоскопичности характера — без последнего загадочного свойства некоторые специалисты отечественной изящной словесности особенно страдают.

3

Всю свою сознательную жизнь Игнатъев прожил в городе. Это только так говорится, что сознательную, а на самом деле — всю жизнь, от самого рождения. Родился он в центре, в том лечебном учреждении, где родились едва ли не все его земляки, и сам факт появления на свет в этом роддоме уже многое говорит о происхождении человека. Если уж вы родились в этом доме, называемом запросто по фамилии, то, значит, и родители ваши были потомственными жителями большого города, и сами вы провели детство в одном из тех дворов, что окружены были желтыми двухэтажными особнячками и деревянными домишками... Стонали там по ночам ничейные коты, в ранних сумерках сверстники ваши играли в штандар, и мяч, улетающий прямо в небо, то и дело застревал в ветках тесно растущих и давно одичавших яблонь.

Это уж потом домишки снесли, особнячки отреставрировали,

дворы огородили красивыми металлическими заборчиками... И под окончательно одичавшими яблонями укоренились голубоватые ели, а в глубине пространства, где прежде стоял трофейный «опель» соседа, появились соотечественницы этой машины, но современных моделей. Сами же вы из огромной комнаты в коммунальной квартире, в которой на антресолях жила еще одна семья, переехали в отдаленный микрорайон, в двухкомнатную с удобствами.

А теперь и микрорайон этот не кажется таким уж отдаленным.

В общем, Игнатьев был коренным горожанином, привык к ровному гулу улицы, доносящемуся из-за окон, к утренним запахам мокрого асфальта, нагретых за предыдущий день стен и идущих на работу людей, к прохладному ветру, прилетающему впереди поезда из тоннеля метро, и ко всему, к чему привыкает столичный житель за свои тридцать восемь лет, из которых только два года провел не в этой обстановке, — то время, что служил в армии, да и в армии-то служил не за тридевять земель, а в другом огромном городе. Служил в строительных частях и выучился там на бульдозериста, строил склады на окраине.

А потом как-то само получилось, что обнаружил себя Игнатьев после армии стоящим в оранжевом жилете, надетом на голое тело, и наблюдающим, как каток ровняет только что уложенный им, Игнатьевым, горячий асфальт. Так уж вышло...

Сначала поступал он в Институт стали и сплавов, но не поступил. Тогда все поступали, и уже многие не поступили, из-за чего родители расстраивались, а сами поступавшие очень удивлялись, потому что до этого все, кто поступал, те и поступали, а как раз во времена Игнатьева многие не поступили. И даже в журналах появились тогда повести и рассказы об этих не поступивших. В литературе они все обычно уезжали в какие-нибудь отдаленные районы страны, чтобы пройти там суровую школу, а в действительной жизни Игнатьев никуда не поехал, как-то в голову не пришло. «Литература и жизнь» — это газета тогда была такая, а больше между ними общего почти ничего и не было. Ну вот, Игнатьев послонялся по своему двору, постоял в подъездах, поработал в типографии напротив своего дома разно-

рабочим, да и пошел в армию. А из армии вернулся с профессией бульдозериста и стал с ней жить. Родители постепенно к этому привыкли, жена Игнатьева привыкла с самого начала, потому что она другого и не знала, дочь Игнатьева профессией отца не интересовалась, а он сам со временем из бульдозеристов стал крановщиком, потом слесарем по разному оборудованию, потом рабочим на металлобазе, потом еще кем-то, а потом стал лопатой разбрасывать горячий асфальт и смотреть, как каток его трамбует.

Тут мы его и застали. День был жаркий, асфальт дымил, каток грохотал, и всем прохожим становилось еще жарче, и даже дыхание у них перехватывало, когда они смотрели на Игнатьева в его оранжевом жилете, из которого торчали загорелые руки, а тело под жилетом проглядывало незагорелое, потому что жилет он снимал редко. Загар его не интересовал.

Ну, потом жара пошла на убыль, Игнатьев закончил укладывать асфальт, вымыл руки, переоделся в стоявшем неподалеку вагончике и пошел в семью.

Ночь наступила душная. Игнатьев сидел на балконе, смотрел на засыпающий после передачи «Сегодня в мире» уже хорошо обжитой квартал некогда отдаленного микрорайона и вспоминал. Может, из-за духоты, может, из-за дневной усталости он вспоминал то, о чем обычно не пытался вспомнить. Он, например, вспомнил, что его зовут Борис. А ведь действительно — забыл он свое имя, и неудивительно: в школе его называли по фамилии, в армии тоже, друзья юных лет звали Игнатом, теперешние приятели Чухой, что, на их взгляд, гармонировало с пыхтением асфальтового катка или еще с чем-то в образе Игнатьева, жена называла «отец», а дочь никак не называла.

Еще Игнатьев вспомнил, что всю жизнь он любит растения. Откуда в нем, в потомственном, как мы выяснили, горожанине, взялась эта странная любовь к зеленому, как говорится, другу, неизвестно, но только еще в школе он больше всего интересовался семядолями и хлорофиллом, а что пошел поступать в сталь и сплавы, так просто насчет ботаники, биологии или сельхозакадемии, что ли, не подумал.

Вообще многое в биографии своей он мог объяснить и объяснял только так — не подумал, и все. Вот сейчас, когда он сидит

на балконе и думает, именно думает, подойдите к нему и спросите: ну, если ты так зеленую природу любишь, Игнатъев, чего ж ты дома хотя бы герань не разведешь, или там кактусы, или хотя бы полезное растение «доктор» не вырастишь? Знаете, что он скажет? Не думал как-то, скажет, вот что.

И даже не удивится, что вы к нему на балконе десятого этажа подошли. Не подумает...

В общем, лег Игнатъев спать.

А утром встал, картошки поел жареной с огурцами и пошел укладывать асфальт. Состояние у него было не особенно бодрое, но жить-то надо.

А там, где он укладывал асфальт, уже шум и суета. Все его товарищи по работе стоят кружком и смотрят, и бригадир стоит, и каток, хоть и пыхтит, но тоже стоит, потому что водитель стоит. И еще прохожие некоторые останавливаются.

И все они смотрят на то, что случилось там, где Игнатъев асфальт вчера укладывал. А на этом месте вот что произошло: дерево выросло. Липа. Асфальт весь, свежий еще, темный, трещинами пошел и лопнул, а из образовавшегося некрасивого отверстия и выросла эта липа. Сразу метра два с половиной и цветет. Запах от ее цветения такой сильный, что никакого асфальтового духу и в помине нет. Листья такого хорошего зеленого цвета, как после дождя. На верхних ветках птицы прыгают и поют — синицы, кажется. А вокруг люди стоят и смотрят.

Игнатъев тоже долго стоял и смотрел, а потом вместе со всеми начал дерево рубить, вытаскивать из земли корень и асфальт ремонтировать. Весь день провозились, а вечером умылись, переоделись и пошли, как обычно. Все, конечно, долго обсуждали удивительный случай. Потому что грибы, бывает, за одну ночь ломают асфальт и прорастают. Бывает, еще и трава — но только, когда асфальт уже старый. А чтобы сквозь свежеуложенный, да еще целое дерево, да сразу такое большое и в цвету — этого никто понять не мог, и даже водитель катка, фамилию которого Игнатъев не знал, его все Поней называли, не мог ничего предположить, хотя мужик был самый эрудированный.

И опять ночь была душной. Игнатъев лежал в кровати под простыней и думал. Мысли его были в основном насчет удивительного дерева. Ему было стыдно, что он вместе со всеми его

срубал, и корчевал, и потом ремонтировал асфальт. Дереву, небось, было трудно пробиваться через уложенный Игнатьевым асфальт и быстро, за одну ночь, расти и цвести, а Игнатьев пришел — и срубил. Умный нашелся...

Но если вы к нему сейчас, когда он лежит в кровати без сна, тихонько подойдете и спросите: а какого же черта ты, Игнатьев, его срубил, — он вот что ответит: «А не подумал... Чего, чего... Не подумал, вот чего...» И замолчит, не удивившись даже, что вы в запертую квартиру вошли. А если вы спросите у него: а не удивительно тебе, Игнатьев, что к тебе в запертую квартиру по ночам кто попало ходит, — он, знаете, чего скажет? «Не подумал как-то... Ага...» Вот чего.

Утром он поел макарон с колбасой жареной и пошел на работу.

А там опять волнение и недоумение общее. Асфальт, конечно, сломан, трещины по всей дороге разбежались, а из асфальта растет куст таких ягод, которые называются паслен. Игнатьев не знал, как они правильно называются — черненькие такие, мягкие и на вкус ничего, знал только, что одна старушка в их прежнем дворе, в центре еще, такие ягоды из деревни привозила, а потом эти кусты возле мусорного ящика так разрослись — спасу не было.

В общем, нарвали все этих ягод, а потом давай куст ломать, выкапывать и дорогу чинить. И Игнатьев вместе со всеми. А что же ему было делать — работа. Вечером он, понятно, опять думал и вспоминал, да что толку — куст-то уже... Конец, в общем, кусту-то.

Ну, утром — вы уже догадались — там анютины глазки взошли. Синие такие. С лиловым. Как из панбархата — у матери Игнатьева платье такое когда-то было. Пообрывали их, бригадир вместе с водителем катка на Игнатьева чего-то долго смотрели, хотя он тоже нормально, как и остальные, цветы рвал и ругал их за убытки в сдельной работе.

Назавтра сквозь асфальт кипарис пророс. Стоит себе, темный, будто пыльный, высоченный. Как ракета темно-зеленая. До самого вечера с ним возни было, а Игнатьева в вагончик мастер зазвал и дал ему там в приказе расписаться. Расписался Игнатьев, что по служебной необходимости трест благоустройства пере-

водит его на наружный ремонт жилых помещений, подлежащих капитальной реконструкции.

И с утра вышел Игнатьев на новую работу. Там дом такой стоял — с колоннами и скульптурами в виде читающих юношей и девушек, а также спортсменов с ракетками и мячами. Не особенно старый — лет на пять всего старше Игнатьева, — но уже потребовался ему капитальный ремонт. Игнатьев залез на фасад дома и стал старую штукатурку счищать — была у него и такая профессия. Отработал день, вечером с новыми сослуживцами познакомился, а поздно ночью сидел на кухне у открытого окна, дышал душным воздухом и вспоминал. Вспоминал, как днем, в жаркой дымке, пыль летела от штукатурки, и прохожие обходили стороной этот ремонтирующийся дом, потому что дощатый забор от пыли не помогает. Вспоминал еще, как этот дом был раньше хорош, когда Игнатьев был еще мальчишкой и жил неподалеку, в своей коммунальной комнате, а в школу ходил именно мимо этого дома с колоннами и скульптурами и смотрел, как из дома выходили его соученики и как их провожали мамы. Много вспомнил Игнатьев, в том числе и то, чего не вспоминал никогда.

А если бы вы подошли к нему, сели рядом у кухонного окна и спросили, мол, чего ж ты, Игнатьев, только сейчас задумался насчет этого дома и почему в детстве ты мимо него ходил, а внутри никогда не был, а сейчас по всем его выломанным внутренностям лазаешь, но нет тебе в этом радости, — ничего бы он на это вам не ответил. Так, плечами только пожал бы, мол, не знаю, не думал. Будто так и надо, что вы к нему на его кухне ночью подсаживаетесь.

Наутро же по всему фасаду разрослись березки, и не маленькие. Листья светлые, сами белые, а по одной даже белка скачет. Ну, прораба, конечно, чуть инфаркт не хватил, однако постепенно оправился. Березки потом осторожно спилили, чтобы кладку не повредить.

Игнатьева, сами понимаете, перевели на другую работу. В трест озеленения. Там ему очень нравится, хотя коллектив в основном женский. И он этой новой своей профессией — садовник — очень дорожит. Но старается по вечерам не задумываться. Потому что был уже случай: посидел вечерком наедине с со-

бой, а наутро на месте клумбы с розами и калами начал дворец культуры пробиваться. Ужас, что творилось!... И едва Игнатьев свою любимую работу не потерял.

А дворец был — загляденье... Из старинного здания переоборудованный. Снесли, конечно. Там клумба должна быть, какой еще дворец!

В тот день Игнатьев как домой пришел — сразу спать лег. А назавтра спокойно пошел на бульвар, на свою приятную работу: стричь газон и вдыхать милый запах стриженной травы. Так он с тех пор и работает. И явлениям природы только радуется, — не задумываясь и не удивляясь.

4

Вот что действительно вызывает у Игнатьева удивление — так это нетоварищеское отношение некоторых к женщинам. Сам Борис Семеныч, не затрачивая много энергии на достижение жизненных успехов — ну там, гараж во дворе или кабинет с кондиционером, — сохранил, видимо, столько сил души, что их вполне хватает на почти постоянное нежное уважение к гражданам слабого, а тем более прекрасного пола.

При этом он отнюдь не ловелас, бабник, донжуан или сердце-страдатель — отнюдь. А просто любит смотреть на этих милых людей, наблюдать их внешность — женщины, даже и немолодые, чем-то всегда напоминают ему детей. Да и жалеет соотечественниц Борис Семеныч, видя жизнь их...

Может, поэтому в его присутствии и женщины себя чувствуют лучше и выглядят симпатичнее обычного. Оживляются, в общем...

Однажды, еще в молодости, поехал Игнатьев отдохнуть на юг, в пансионат «Селезень» для работников городского хозяйства — в первый и последний раз, не понравилось ему на юге. И произошла там на его глазах странная история.

Три оболтуса лежали на пляже, неподалеку от Игнатьева. Пляж во второй половине дня был почти пуст. Большая часть отдыхающих еще стояла в очередях за кефиром, салатом витаминным, борщом московским и шницелем рубленым. Те, кто ус-

пел пообедать, валились на топчаны и просто на песок, и отчаянное четырехчасовое солнце освещало их скуку.

— Бабу, что ли, слепить, — сказал первый оболтус, в темных очках с железной оправой.

— Лепи, — сказал второй, с длинными, уже немодными, смыкающимися на кадыке баками. Казалось, они удерживают шевелюру, чтобы не улетела от ветра.

Третий повернулся на живот, подпер голову руками и стал смотреть, как первый лепит бабу из песка. Песок он старательно смачивал водой, которую таскал в купальной шапочке. Постепенно стала вырисовываться лежащая на спине женщина в натуральную величину...

Процесс ваения близился к концу. Оболтусы говорили о женщинах и ржали.

— Все бабы, — сказал первый оболтус. — И вообще. Чего им надо? С ней хоть как. Ты ей то, а она это. Гад буду. Ты ей цыпленка-табака, а ей тюльки-мульки. Ты ей кримплен, а ей трали-вали. Ты ей...

— Абсолютно, — сказал второй, в функциональных баках. Он был согласен, что ни одной верить нельзя. Третий повернулся на правый бок и принял позу махи обнаженной.

— Не поверите, мужики, — продолжал первый, — у меня две жены было. Одна до того дошла — страшное дело. Я ей, значит, хам. Говорит, не считаешь меня за человека. Пошляк. Я говорю, ты-то кому нужна? А она по новой. И все такое. И вторая такая же. Как поженились — и пошло. Это самое. Верите, мужики?

— Ну, — сказал второй.

Солнце шпарило, будто захода вовсе не предвиделось. Исполненная в песке женщина подсыхала. Первый оболтус перехватил летящий в ее направлении мяч и обратился к играющим в волейбол с бескомпромиссной речью.

— Попадете в стацию, — сказал он, — дисквалифицирую до потери трудоспособности.

И, покончив таким образом с угрозой, продолжал беседу с друзьями.

— Где же у баб логика, отцы? — спросил он. Все надолго замолчали — видимо, задумались над вопросом. Между тем

небо постепенно покрылось белыми пузырями облаков — как от ожога. Игнатьев внимательно смотрел на женщину в песке и сочувствовал ей — кому понравится вот так лежать и дурь всякую слушать?..

Дунул ветер, пошевелил песчинки, и оболтусам показалось, что женщина улыбнулась. Неуверенно хихикая и пожимая плечами, третий сказал:

— Лыбится, а?..

Первый оболтус плюнул в песок. Второй посмотрел на высказавшегося и, обернувшись к первому, сообщил:

— Перегрелся.

Друзья веселились. Но следующий порыв ветра был уже по-настоящему силен. Полетел, взвихрился песок, стали таять, превращаясь в шуршащие барханчики, волосатые торсы и загорелые тела, и через секунду там, где они сидели, остались только три небольшие холмика.

А женщина встала, отряхнула плечи и пошла к воде — туда, где за буйками, спасательными катерами и дальним сухогрузом прыгал на волнах красный шар солнца.

Игнатьев смотрел ей вслед, и вдруг ему показалось, что вокруг головы у нее возникло сияние. Но, будучи человеком атеистических взглядов, он сразу понял, что это просто светлые волосы, сквозь которые пробиваются солнечные лучи.

Одного жаль — цвет глаз он не разглядел. А ведь могло быть, что зеленоватые.

Хотя никаких сожалений ни тогда, ни после Игнатьев, конечно, не испытывал. Он вообще о женщинах до поры до времени думал не больше, чем о мужчинах, — то есть вообще не думал. И только ближе к сороковнику вдруг стало его что-то прихватывать, особенно по утрам, в свободное время между домом и работой. Закроет за собой дверь, закурит первую — и задумается...

5

Утром после Игнатьева соседи не любят ездить в лифте, потому что имеет он дурной обычай в лифте курить. В маленьком прямоугольном пространстве от запаха сигарет «Ява» обычному

человеку мгновенно перехватывает дыхание и вспоминаются различные неприятные жизненные эпизоды.

Людмила Пироговой, среднего роста привлекательной шатенке с небольшим лишним весом, сегодня не повезло. Дождавшись на своем девятом этаже лифта и автоматически задав его распахнувшимся дверям вопрос: «Вниз?», она с опозданием обнаружила в кабине курящего Игнатьева. Он, понятное дело, оккупировал вертикальный транспорт на своем десятом, да тут же и засмолил — может, даже и спичку на пол бросил, с такого станет. Но что же было делать бедной даме? Пришлось войти и отправиться в совершенно неподобающей компании в краткое, но неприятное путешествие.

Спуск этот продолжается приблизительно полторы минуты, время небольшое. Однако и его хватит нам, если силой воображения сумеем оказаться тут же — ничего, кстати, страшного, лифт вполне вмещает четверых. Итак, вы вниз? Едем... В углу стоит Игнатьев, автора прижало к нему, читатель держится ближе к очаровательнице, она же жметя к плотно сдвинувшимся дверям. Едем. Игнатьев руку с сигаретой опускает вертикально вниз, так что пепел едва не попадает автору на брюки. Курильщик же этого не замечает. Все его старания — избавиться от неудобств, связанных с его вредной привычкой, спутнику.

Мы же тем временем рассмотрим его и постараемся понять, отчего вдруг такая деликатность.

Росту наш объект скорее высокого, хотя по нынешним спортивным и акселерированным временам это не диво — метр восемьдесят. Волосы у него скорее русые, хотя, если внимательнее взглянуть, то обнаруживается среди них много седины, что и придает куафюре в целом чрезвычайно симпатичный пепельный оттенок — в сочетании с густотой растительности очень неплохо. Глаза из-под слегка спадающего описанного чуба смотрят скорее голубые, хотя кому придет в голову рассматривать глаза Игнатьева? Морщины вокруг рта глубокие, а подбородок довольно тяжелый — как раз такое сочетание вы, читатель, наверное, встречали на изредка попадающихся рекламных фотографиях в залетных журналах. Знаете: сидит такой одинокий, немного романтический, немного иронический мэн, очень мужественный, очень небрежный, в изумительной такой рубашке и предлагает

не обходиться без ликера «Куантро», пожаловать в край «Мальборо» либо на худой конец сверять время только по «Картье»... Впрочем, на лице Игнатьева вам эти морщины, и подбородок, и прочее все говорит не об одиночестве и романтичности, а наверняка о лишних часах вблизи одного из отделов продовольственного магазина либо о иных приметах малоинтересного образа жизни. Вы-то знаете, вас не проведешь...

И лишь автору, в силу его давнего знакомства, это говорит об ином. О детстве вблизи Смоленской площади, о папе, возвращающемся непременно с мороженым тортом на отлете, чтобы не замарать служебного габардина, о маме, отдающей все оставшееся от реставрации сельхозвыставки время хорошему чтению и юному Игнатьеву, о детстве с самокатом на лучших немецких подшипниках и с дачным волейболом на мокрой хвое. Глубоко в глубоких морщинах прячется катастрофический конкурс в стали и сплавах, легкое крушение, незаметный сначала поворот, от которого и пошло — строительные войска, жена Тамара, угарно дымящийся асфальт и сам Игнатьев в оранжевом жилете, потом еще что-то, неувлекательный какой-то труд и, наконец, зеленый бульвар, газонокосилка с бензиновым кашлем, осенняя посадка робко вздрагивающих липок, обрезка кустарника, иногда красное вино с малознакомыми друзьями, семейная жизнь в некогда новом, а сейчас уже давно привычном микрорайоне.

Вот таким знает Игнатьева автор.

Что же до нашей спутницы, то она, как уже сказано, росту среднего, мило полноватая, каштановолосая, одета скромно, но с большим вкусом и информированностью, взгляд же у нее... Черт побери, какой, однако, взгляд! Нет, вы только взгляните в ее глаза. Все там: и смех нераздавшийся, милый такой смешок, и грусть невылившаяся, прозрачное такое сожаление о чем-то; и доброта, ласковая такая, глядящая вас по небритой щеке приязнь; и ум, ясный, не первой молодости прекрасный женский ум; и... Чего только нет! Все, решительно все, чего ищет любой мужчина в женском взгляде, есть. И главное — преданность. Не какая-либо конкретная преданность, направленная, например, на мужа или семью в целом, на начальника или определенного некоего человека, а обобщенная. Вот такая: «Ты только пойми... Полюби... а уж я... увидишь... до самой смерти... и

даже после... и даже пьющего... и больного... всегда... и буду ждать поздно вечером, и увидишь в темном окне еще более темный силуэт в знакомом халате, и поймешь...» Примерно такая.

Нет на свете мужчины, которому было бы безразлично такое выражение глаз. А если не повезет, и не встретишь, то заводишь эрделя, или шотландскую овчарку колли, или все ездешь к знакомой, к одной и той же, на Рогожку, хотя понимаешь, что нечего ездить, там такого взгляда не дождешься...

Однако иллюзия все это — вы уж поверьте автору, ему лучше известно. Автор ведь сам практически только что эту Людмилу Пирогову выдумал, кому ж еще ее знать! Известно же о ней достоверно следующее: тридцать восемь лет назад родилась где-то между Волгой и Уралом, в своем классе слыла не только самой красивой, но и самой умной, поскольку собиралась по окончании поступать ни мало ни много в столичный иняз, и поступила-таки, и нашла-таки себе поблизости, в родственном вузе, своего Пирогова, и получила все, на что не только глазами — всем своим складненьким телом смотрела, что в мыслях много раз примеряла, что — неясное еще, но предчувствуемое — снилось ей там, в бело-пыльном ее городке. Все получила: поездки, туфли «Саламандра» — друг вашей ноги, комплект, известный под именем «неделька», и прочее все — да что мы будем перечислять, поди сами все знаете не хуже нашего. И преданность, тот самый ласковый огонек в ее глазах все тлел и тлел, и этот огонь сначала согрел несчастного — даже он поддался — Пирогова, а после начал полегоньку его поджаривать. И понял Пирогов постепенно, что жить ему дальше предстоит рядом с этим тлением и всю жизнь поддерживать его, подбрасывая в качестве топлива то, что мы уже было начали выше перечислять, да притомились.

Да бог с ним, с Пироговым, пока не о нем речь, да и не будем мы ему сочувствовать, поскольку, как позже выяснится, если пока еще не ясно, они с Людмилой два сапога пара — ну и ладно. Получили свое, и радовались бы... Так нет, мало им! И тлеет, тлеет предательский огонек, и спешат на его свет неразумные путники, и ходит и дышит под ногами пружинящая тряпина...

Не станем забегать вперед. Тем более, что лифт наш скрипит и трясется уже мимо второго этажа и, кроме запаха дыма от не-

додушенной руками Игнатьева сигареты, носят в этом тесном объеме страсти, уже, думаем, столь же нам ясные, сколь и естественные. Догорает сигарета «Ява», занимается на коварном огоньке Людмилиных глаз и сам курильщик, вспоминает свой необъяснимый ночной шепот «Люся...», мучается от неправильных своих чувств. Легким движением оправляет Людмила Пирогова тоненькое свое, трогательного какого-то фасона платье, перекидывает на плече поудобней ремешок от косо висящей сумочки, готовится к выходу в мир — и понимает, что в конце концов с этим мужиком договориться можно будет. Продемонстрирует она Пирогову еще раз свои возможности...

А мы, любезнейший читатель, выйдя из этого прокуренного табаком и едва ли не прожженного страстями лифта, можем лишь посмотреть вслед нашим героям, разошедшимся, естественно, сразу в разные стороны, и подумать немного о превратностях любви.

6

Жаркий день покори́л город, собрал с горожан дань неутолимой жаждой и звоном в ушах да потихоньку стал сворачивать дела, полагая, что душная ночь достойно примет эстафету.

Игнатьев тоже отработал свое и стал собираться домой. Он сложил все орудия производства, а именно: здоровенные кривые ножницы; лопаты с черенками, частично обломанными и дотемна отполированными игнатьевскими ладонями; толстый шланг, разевающий в нескольких местах изломы и порезы, сквозь которые при поливе насаждений била острая водяная пыль; привязанный к длинной палке клинок для досягания высочайших точек дерева; и, конечно, вершину технической мысли, поставленной на службу озеленению, — мотокосилку для газонов, бензинодышащее чудовище с ручками, напоминающими известную картинку «Крестьянин Тульской губернии, идущий за сохой. 1902 год».

И все это Игнатьев спрятал в маленький и на вид очень уютный домик, возведенный именно для этих целей в начале бульвара. В домике пахло пылью, но Игнатьев этого уже давно не

замечал — притерпелся. Там же, в домике, до того, как запелеть его на тяжкий висячий замок, Игнатъев переоделся и сполоснул руки. Он сменил свой рабочий, оставшийся с прежней службы по благоустройству города оранжевый жилет на практичную клетчатую рубашку с сильно расплюснутыми в прачечной пуговицами, прочее же в гардеробе оставил без изменений, то есть: мохнатую не по сезону кепку с несколько потемневшим козырьком, джинсы подольского дивного шитья с клеенчатой этикеткой «Олимп» и сандалеты зеленой как бы кожи на розовой подошве из липкой резины.

После чего он вышел на свежеработанный им же бульвар и присел на скамью — перекурить, отдохнуть, подумать о следующих действиях.

По бульвару шли люди, но их Игнатъев практически не замечал. Он вообще большей частью не испытывал интереса к людям, так как их поступки, мысли и желания казались ему совершенно однообразными и, более того, полностью совпадающими с поступками, мыслями и желаниями самого Игнатъева, лишь с несущественными поправками на обстоятельства. А что может интересного быть в поступках, мыслях и желаниях самого Игнатъева? Так думал он, вернее, не то чтобы думал, но ощущал.

Закуривши привычный табак любимой фабрики «Ява», закрытой, говаривают, на ремонт, Игнатъев расслабился. Ему было приятно, что и во время ремонта популярного предприятия он имеет возможность наслаждаться его продукцией благодаря хорошим и прочным отношениям с киоскером, занимавшим угол бульвара. В этот момент к Игнатъеву можно было подойти и окликнуть его: «Боря!» — и он ответил бы, хотя обычно на свое имя почти не реагировал, более склоняясь к официальному обращению.

Тут к нему и подошли, но никак окликать не стали, да и подошли, собственно, не к нему, а к скамейке, им занимаемой. Подошла женщина, присела, открыла сумочку, порылась в ней, вытащила мятую пачку незнакомых Игнатъеву сигарет, заглянула в ее нутро и, еще более смяв, швырнула пустую заграничную тару в урну. Тогда Игнатъев...

Впрочем, хоть бы мы сейчас и стали говорить, что он — не суетясь, но быстро — вынул сигареты, выдвинул их из пачки

легким щелчком, предложил, корректно склонив голову, и мягко улыбнулся в ответ на благодарность, — так вы бы все равно не поверили. Поэтому расскажем все, как было.

Игнатъев, откинувшись на скамейке и далеко вытянув перед собой ноги в зеленой обуви римского фасона, а руки закинув за спинку скамьи, пускал дым в небо и не делал более ничего. Женщина же оглядывалась, хмурилась, явно страдая, но к соседу прямо тоже не адресовалась.

Женщина была вот такая: на взгляд Игнатъева — девчонка лет двадцати семи, из тех, что сдуру курево переводят, носят мужские штаны, покроем напоминающие те, что носил любимый артист игнатъевской юности, трикотажные неприличные майки на голое тело и прочую глупую и несамостоятельную ерунду, от которой главным образом и происходят все безобразия в современной жизни. Чем такие женщины занимаются и живут, Игнатъев не знал, но предполагал худшее.

А на самом деле женщина была вот такая: тридцатипятилетняя владелица собаки, незамужняя, с дочкой от одного мыслящего себя талантом негодяя и с постоянными огорчениями от одного приходящего — точнее, приезжающего — друга, живущая на скромную зарплату старшего преподавателя, однако непоколебимо и вовремя приобретающая с помощью разного рода ссуд и займов как джинсы свободного покроя в многочисленных молниях, так и ти-шорты, поскольку позволяет состояние фигуры. В общем, не сдающаяся.

Игнатъев был вот какой: на взгляд женщины — обычный алкаш из последних, магазинный стоялец, рвань и так далее. С такими людьми женщина если и разговаривала по хозяйственной надобности, то громко и подбирая простые слова.

А на самом деле Игнатъев был вот какой: из старинной московской семьи, арбатский уроженец, не поступивший, как мы уже неоднократно сообщали, в эпоху легендарных конкурсов в Институт стали и сплавов и с тех пор утративший ко всякой ерунде интерес. Больше всего Игнатъев любил зелень, то есть флору, грустную музыку и молчаливый отдых, а выпивал крайне умеренно, в последнее же время — в связи с уединенной службой — и вообще почти не выпивал. Так, от случая к случаю...

Все же женщина решилась и обернулась к нему с пока еще не высказанной, но очевидной просьбой. Курящих на бульваре вокруг, как назло, больше не было и даже в отдалении не появлялось. И Игнатьев тоже как бы заметил томление соседки, и сам, до слов ее, за «Явой» полез.

И произошло явление контакта.

Женщина увидела: у Игнатьева тонкое лицо, слегка опущенные наружные уголки глаз, что ей всегда нравилось, из-под кепки — удивительного пепельного цвета густые волосы, едва начавшие сесть, и резкий прямой рот, что ей когда-то, в давней юной жизни, нравилось особенно. А тряпки... А в конце концов что тряпки?! Чепуха...

Игнатьев же увидел: женщина не доска, как все эти, молодые, а вполне хорошая, и с фигурой под бессовестной кофтой, а глаза и вообще желто-зеленые, именно какие Игнатьев предпочитал. Более того, как раз в последнее время мучали его точно такие глаза, принадлежащие очаровательной соседке. Правда, в тех глазах имелся еще и дополнительный призыв, в этих же — ничего, кроме простого вопроса и начитанности, но все же...

Что же до тряпок ее безобразных... А, да леший с ними, с тряпками! «Это роли не имеет, тряпки все эти», — вот что мог бы в данный момент сказать Игнатьев.

Но он не это сказал, а, достав пачку и протягивая ее даме, сказал вот что:

— Дать в зубы, чтобы дым пошел?

И приветливо улыбнулся. Эту шутку он специально вспомнил, она ему давно была известна, еще с армии. Сейчас ему хотелось понравиться этой женщине, которая оказалась ничего, симпатичная, хоть курящая и одетая не по-людски, и он решил показаться ей веселым и добрым. И поэтому пошутил.

После чего явление контакта прекратилось.

Вот уходит по бульвару женщина в некультурных штанах и майке, уходит по бульвару симпатичная женщина с желто-зелеными глазами, уходит по бульвару женщина, тихо бормоча: «Ужас, какой ужас...» Вот сидит на скамейке Игнатьев, неожиданный ветер его обдувает, сидит себе Игнатьев и неизвестно почему расстраивается. Не знает он, что ему дальше предпринять. То ли с куревом решительно завязать, по примеру соседа Пиро-

гова — а мы кстати заметим, что и действительно неплохо бы. То ли... Нет, не знает Игнатъев, что ему предпринять.

В самом конце бульвара мелькает ее фигура и сворачивает куда-то. Наверное, туда, где она живет. И Игнатъев тоже идет домой.

7

Итак, тот жаркий день покори́л город, собрал с горожан дань неутолимой жаждой и звоном в ушах да потихоньку стал сворачивать дела, полагая, что душная ночь достойно примет эстафету.

И Пирогов решил закончить сегодня служебные занятия пораньше. Приведя в порядок манжеты слегка утратившей от жары свежесть полотняной рубашки популярного в последние сезоны стиля баттон-даун, подтянув узел тонкого галстука и разместив аккуратнейший этот узел — на ощупь — точно под хорошим чистым подбородком, он снял со спинки стула клубный синий пиджак — нетленная одежда серьезных людей, — подхватил окованный металлом чемоданчик и, доброжелательно попрощавшись с сослуживцами, покинул офис. Благо, что удачи последних лет и природное умение себя поставить дали ему заветную возможность не испрашивать позволения начальства на такую маленькую вольность, как сорокаминутное сокращение рабочих часов...

Отчаянно растущий год от года столичный трафик оставил Виталия Николаевича Пирогова вполне хладнокровным. Уверенной рукой направляя неприметный ноль одиннадцатый по кратчайшему маршруту к цели, Виталий Николаевич думал о своем. Он и вообще не имел привычки в медленно движущемся потоке часа «пик» глазеть по сторонам. Давно рассеялись иллюзии, и непростительным мальчишеством считал Пирогов тайные вздохи вслед «датсунам» и «саабам-турбо», робкое заглядыванье на словенью грацию доживающих свой век «континенталей» и «импал». А ведь есть еще такие поверхностные люди среди автолюбителей, есть! Но Пирогов давно уж предан волжской компактной машине, а ему видней — поездил...

Но о чем же думает водитель, стоя в длинной очереди перед разворотом? О чем может думать на исходе знойного послеобеденного времени Виталий Николаевич Пирогов, заведующий весьма значительным сектором одного из немаловажных и представительных учреждений, женатый человек доброкачественных средних лет? Где он сейчас мысленно пребывает, пока ухоженным ногтем постукивает по обтяжке руля?

Вряд ли мы могли бы когда-нибудь это точно узнать, поскольку в жизни Виталий Николаевич сдержан и неукоснительно следует давнему поэтическому совету — помните? молчи, скрывайся и таи все думы и мечты свои или что-то в этом роде... Но в данной ситуации есть у нас такая возможность: к счастью, Пирогов от начала до конца, как, впрочем, и все остальные в этой истории, выдуман автором. И потому мысли его и чувства нам совершенно открыты.

Думает он вот о чем.

Там, куда сейчас направляется автомобиль, в скромном одноконнатном невыплаченном кооперативном жилище ожидает его счастье. Счастье имеет любимый пироговский рост в сто шестьдесят семь сантиметров, размер сорок шесть (европейский — сорок два), светлую простую прическу без пошлых парикмахерских ухищрений, зеленоватые глаза и дивный характер. Такой характер вырабатывается к тридцати пяти годам по мере перемещения иллюзий из сферы личных отношений в область новых театральных событий и свежих публикаций в толстых журналах. Немало способствует формированию этого характера также умеренный заработок старшего преподавателя на языковой кафедре в сочетании с бассейном для десятилетней дочки, овсянкой для двухлетнего полуспаниеля и собственными принципами в отношении элегантности современной женщины.

Пирогов ценит как физический облик, так и нравственные достоинства человека, дочка же сегодня должна быть у бабушки. Так что полтора часа тихой радости Виталию Николаевичу гарантированы. Без предварительного звонка.

Следует ли прямо указывать, что Пирогов едет не домой? Думается, не следует. Тем более что дома жена Людмила еще и не ждет его, так как рабочий день не закончен.

И начались полтора часа, и прошли как одно мгновение.

Отрадная прохлада царилла в однокомнатном рау, ласково рокотал город за плотными шторами из недорогой, но со вкусом выбранной ткани, силы поддержал Пирогов салатом из отличного редиса, счастлив он был, и не было его счастьем конца, пока не кончились полтора часа, как миг. Грустно смотрел полуспа-ниель, как повязывает желанный гость галстук, как надевает пиджак, и еще грустнее смотрел на хозяйку...

Между тем Пирогов, уже стоя в прихожей, вдруг хлопнул себя по лбу, давая этим жестом понять, что главное-то он и за-был! Немедленно и в спешке — ведь время уже поджимает, ни-чего не поделаешь — был настежь распахнут плоский чемодан-чик в металлической оправе, непрременный спутник, чуть ли не альтер эго. И действительно, как же это Виталий Николаевич запамятовал! Именно сегодня утром, прибыв из неблизней, по интересной командировки, презентовал благодарный сослуживец товарищу Пирогову некую — совершеннейшие гроши, что вы, Виталий Николаевич, как не стыдно! — приятную мелочь, очень, говорят, сейчас там модную. Железную такую штучку, то ли для женских волос, то ли еще для чего... Увольте, не разбирается автор в этих приспособлениях, хоть убейте, и потому далее дета-лизировать не может. Ну, здесь защелкивается, а тут продевает-ся... Да знаете вы наверняка, небось, жена-то уже давно ищет такую!

— Это тебе, — сказал Пирогов, протягивая штучку подруге. Не станем утверждать, что при этом он ожидал изъявлений благо-дарности бурных или еще чего-нибудь эдакого. К чему? Интел-лигентные ведь люди, да и некогда уже... Но того, что последо-вало, он ожидать никак не мог!

А все проклятая спешка. Кабы не она, не стал бы бедняга полностью распахивать кейс, вспомнил бы, поди, что ни к чему это в данной ситуации. И не скользнул бы взгляд милой жен-щины на дно делового вместилища, и не обнаружил бы там еще одну точно такую штучку, только с иной пластиковой отдел-кой — не зеленоватой, а, скорее, табачного цвета...

Ну, а с другой стороны — виноват разве Пирогов, что и к глазам Людмилы идут цвета именно этой гаммы? Виноват разве в устойчивости своих вкусов? Виноват разве в том, что сослужи-вец фантазию не напряг?

И вообще — что тут такого? Жена ведь все-таки. Неужто ей сувенира не положено...

Да ведь в жизни как получается — виноват, не виноват, а попал судьбе и женскому чувству под руку — получай...

Вот и едет теперь В. Н. Пирогов домой, резко меняет рядность, чуть ли не вступая в конфликт с ПДД, чуть ли не создавая опасную ситуацию на дороге. И уж не барабанит он пальцами по рулю перед светофором, не торопит события, а просто мысленно клянет на чем свет стоит неудачный сегодняшний день и потирает медленно принимающую нормальный цвет щеку.

Однако постепенно он успокаивается и на подъезде к дому уже думает только о путях и методах перепланировки своей квартиры в соответствии с лучшими мировыми образцами. От этого важного для жизни дела Пирогова отвлечь ерундой нельзя. Характер у него твердый, можно сказать, железный. Он и сам это знает...

Тем временем хозяйка нечистопородного пса ликвидирует последствия давно уже лишних слез с помощью компак-пудры, быстро, но, по привычке, неотразимо одевается и выходит на бульвар уgomонить нервы. Полуспаниель остается дома и смотрит еще грустнее обычного.

На бульваре все скамейки заняты, только на одной есть место рядом с мужиком в зеленых сандалиях. Она решительно направляется туда. Покурить, что ли, подумать...

Однако хватит. Дальнейшее вам уже известно.

8

Жаркое — с первых дней — стояло то лето, и надоедливая тополиная вата липла к шее, лезла в рот, внедрялась в волосы и так далее, пока, успокоившись наконец, не превращалась в грязно-серую, валенкоподобную оторочку обочин. Дни, несмотря на увеличивающуюся, в соответствии с указаниями календаря, продолжительность, неслись все быстрее, дребезжа на поворотах плохо пригнанными минутами и часами. Рубашки прилипали к

спинам, и летнее безумие страстей овладевало взмысленными жителями мегаполиса.

В обед Игнатъев по обыкновению пошел в пельменное заведение «Галактика» с товарищами по работе — втроем. Взяли пельменей двойных, сметаны отдельно, в общем, нормально. Стали за угловой стол, за едой пошла беседа: Игнатъева слушали.

Вспомнить ему было что: прошлой осенью предпринял Игнатъев заграничное путешествие по путевке. Путевку предложили в местном треста, Игнатъев посоветовался с семьей и поехал.

Накануне вместе с женой съездил в магазин «Ратмир», купил хороший костюм румынского пошива и новую кепку-букле; запаса, как рекомендовали, напитками для общественного пользования и для сувениров зарубежным друзьям; положил в карман наряду с необходимыми документами список пластинок для дочери и цветов шерсти, желательных для жены; и отбыл в составе группы членов профсоюза.

В вагоне по дороге туда Игнатъев много курил, стоя в нерабочем тамбуре, и глядел в окно на чистые, но скучноватые поля и заграничных земледельцев, пашущих по-старому, на живой тяге, но в фетровых шляпах. Но бывал и в купе, помог трем симпатичным женщинам из города Владимира, с которыми оказался соседом, разместить поклажу, угостился курицей из фольги. Проехали мимо станции. На станционном здании была черная непонятная надпись, наверное, название, а под надписью прогуливался заграничный пассажир в пиджаке и шарфе. На улице было, судя по всему, прохладно, и Игнатъев подивился закаленности этого иностранца.

Потом-то он привык и к иностранным детям с голыми синими коленками, и к молодым ребятам в одних свитерах, идущим попережку с дамами в меховой одежде. Игнатъев привык к непрестанным автобусным переездам; ранним завтракам практически всухомятку, одна колбаса да повидло, если не считать чая в бумажных мешочках, нитки от которых торчали из толстых чашек, напоминая почему-то канцелярию; привык к посещениям различных музеев, мемориалов и храмов с вокзального типа скамьями, привык и к не особенно понятной речи местной экс-

курсоводши, объясняющей с первого автобусного сиденья через микрофон:

— С левой мы видим — да? — старинная центр маркт плятц — да? — обращайтесь внимание с правой тоже фабрикация тяжелый машинный прибор — да? — прямо не видно — да? — место, где стоял тоже дом знатного компониста — да? — Ехан Себастиан...

Игнатьев ходил вместе с симпатичными женщинами из Владимира в торговые центры, посещал специализированные магазины и все время вежливо помогал дамам носить их сумки. Дамы же за это поспособствовали ему в приобретении искомой шерсти отличного цвета беж, а пластинок для дочери не нашлось, и Игнатьев ограничился покупкой для нее молодежных брюк, которые примеряла одна из спутниц, худенькая. Себе же он нашел отличную вещь — очень красивый чемоданчик из двухцветной пластмассы, в котором можно носить завтрак на работу: два гнезда для вареных яиц, помещение для соли и одного куска хлеба, пластмассовые же вилка и ножик в гнездах. Вообще-то он никогда завтрака на работу не носил, питаясь в указанной пельменной, но вещь очень пришлось ему по сердцу, да и стоила недорого.

Впрочем, по воскресеньям, когда иностранная торговая сеть не работает, да и по субботам после обеда организованный туризм вливался в русло культуры. И вот так получилось, что однажды Игнатьев оказался в самом центре какого-то города внимательно слушающим экскурсоводшу относительно собора справа и завода химической фабрикации слева. Шел мелкий дождь, мимо по своим делам спешили иностранцы, не обращая внимания на небольшую, но плотную группу игнатьевских спутников, а он покуривал тихонько в кулак и слушал про исторические памятники и основные отрасли промышленности. Тут одна из женщин группы перебила экскурсоводшу вопросом, какого века этот храм — она всегда этим очень интересовалась, — и Игнатьев отвлекся.

Он огляделся по сторонам и рядом с храмом заметил одного человека. Одет был этот человек в странноватый, на взгляд Игнатьева, и очень маркий белый комбинезон. Впрочем, здесь в та-

ких комбинезонах можно было увидеть многих рабочих. В руках у человека в комбинезоне были большие кривые ножницы, с помощью которых он срезал негодные ветки с деревьев в скверике вокруг храма. Ветки падали на землю, человек тут же наклонялся и, подняв очередную ветку, относил ее в аккуратную кучку.

И Игнатьев не заметил, как группа его куда-то ушла, а он оказался один возле этого человека. Дождь продолжал моросить, а человек продолжал работать. Работал он вроде бы медленно, но дело продвигалось неплохо.

Игнатьев стоял, смотрел. Где-то очень далеко от этого храма и сквера росли деревья на бульваре, и Игнатьеву захотелось туда, хотя отпуска еще не прошло и половины, захотелось на этот бульвар, захотелось надеть старую кепку и приступить к обязанностям, то есть взять в руки кривые ножницы и начать срезать ненужные ветки с деревьев на том далеком бульваре, где провел он — если считать чистое время, как в хоккее, — больше половины своей жизни...

Игнатьев полез в карман, вынул пачку «Явы» и протянул ее человеку с ножницами. Одновременно он вспомнил многое из школьных времен, вспомнил, что когда-то на том самом бульваре он не обрезал ветки, а гулял в группе детишек, которую водила Эльза Гавриловна, вспомнил тут же почему-то отца еще в военной форме со стоячим воротом и мать в косо сидящем беретике на стриженных, сине-черных волосах, собрал все слова Эльзы Гавриловны и сказал:

— Битте... гут... сигарет гут... битте.

Человек улыбнулся, кивнул, но при этом одновременно покачал отрицательно головой и сказал что-то быстро и длинно. Игнатьев только три слова и понял:

— Найн... данке... арбайт...

— Вообще, что ли, завязал? — спросил Игнатьев. — Молодец тогда, есть, значит, сила воли. Ну, так постоим, поговорим вообще...

— Найн, — опять улыбнулся и покачал головой иностранный товарищ. — Найн вообще. В частности, мол, найн, во время работы. Арбайт, мол, нихт раухен. Извини, значит.

Так примерно и сказал. И что удивительно, Игнатъев его понял. Ему и самому хотелось бы в тот момент деревьями заниматься, а не с прохожими посторонними языком трепать — будь он, конечно, на бульваре своем, а не на заслуженном культурном повышении уровня...

И вот теперь, когда уже приехал Игнатъев давным-давно домой, и шерсть жене уже понравилась, и штаны дочери подошли, сам путешественник стоял в пельменной за высоким мраморным столом и делился с друзьями впечатлениями. И впервые с тех пор, как вернулся, вспомнил описанный эпизод. Раньше-то все больше приходилось рассказывать насчет цен, чтоб им...

Замолчал Игнатъев, задумался, потом махнул рукой и рассказа больше не продолжал, как ни просили.

— Да ладно, чего там, — говорил он неизвестно кому, уже на бульваре, ремонтируя проклятый карбюратор газонокосилки. Сослуживцы вдали рубали лозу, так что ни одного слова скорей всего не слышали. — Ну, живут и живут, нормально все. Храм там есть один... Большой, в общем. В высоту. А покурить, между прочим, на работе некогда! Вот вам и мохер — весь до копеечки.

И замолчал окончательно. Реанимированная малая механизация наконец взвыла и истерически захлопотала, Игнатъев вытер черные ладони травой и продолжил косьбу. Прохожие воротили носы от его бензинового помощника, и потому он, как правило, не видел их лиц. Но если бы он мог в них взглядеться; да если б к тому же он обладал даром угадывать по этим лицам внутреннее состояние, а он этим даром нисколько не обладал, кстати; и, кроме того, если бы он мог точно определить собственные чувства и сопоставить их с чувствами окружающего человечества — а он этого совершенно не мог, честно говоря; и если бы все открывшееся он мог выразить в словах!.. Странная прозвучала бы фраза.

Вот такая примерно: «Чудеса! Во дает народ... Одна любовь в голове, а вкалывать кто же будет? Там человеку покурить некогда, а тут давай им любовь — и все дела...»

Правда, для справедливости скажем, что это сетование он полностью отнес бы и к себе, хотя физическое его воплощение продолжало управляться с косилкой.

Сейчас нам, испытанный читатель, предстоит дело утомительное — описание грез. Хотя... Все зависит от того, какие грезы и чьи. Вот один человек как-то высказал соображение: мы так любим романы о путешествиях потому, что обязательно там имеется перечень взятых с собой припасов, либо описание счастливо выброшенного на берег набора необходимейших вещей. Ну, астролябия, конечно, серные спички, Библия в кожаном переплете, форма для отливания дробы...

Нечто подобное сейчас и последует, так что, может, и не разочаруетесь.

Виталий Николаевич Пирогов, нам уже неплохо знакомый, томился без сна. Супруга его Людмила, по женскому обыкновению умаявшись за световой день, сладчайшим образом заснула, а к мужчине сон не шел.

Он лежал на ставшей вдруг жесткой простыне, ощущая каждую складку спиной, смотрел прямо вверх, в потолок, угадывавшийся в сизом воздухе ночной комнаты, и мечтал. Ну, почему, думал он, все это так трудно, почти недостижимо? Разве чего-то сверхъестественного он жаждет? Нет, вполне обычного, даже стандартного. Виденного не только в дивном полиграфическом исполнении, но и в обольстительной натуре — например, во время последнего выезда был он по служебному делу в одном доме...

Значит, прежде всего холл. Плетеная корзина для зонтов... Может, слоновья нога? Нет, архаично, лучше корзинка. Итак, корзинка для зонтов, рядом зеркало в бамбуковой колониальной оправе. На вешалке ничего — лишь одинокая твидовая панама да рядом на полу косо прислонившиеся друг к другу охотничьи боты... Затем гостиная. Золотистая дымка гардин, за которыми просматривается близкий сад... Откуда сад-то взялся на девятом этаже? Не до этого Пирогову, грезит Пирогов. Видит он лампу на высокой резной — точнее, точеной — ножке, и абажур на лампе в мелкий цветок, и полужесткое кресло вблизи лампы, отливающее вишневой полировкой, и обширный диван с подушками, славно разбросанными по его рифленой поверхности, и репродукцию Поллака над диваном, и надкаминное зеркало, и уди-

вительный золоченый столик, отдающий римской колесницей из неудачного фильма, и сплошной шерсти покрытие пола, и горшки с цветами аспарегус, и в дальнем углу помещения крутая с разворотом лестница...

Доходит до этой лестницы Пирогов, и тут начинается в его уме неприятная и отталкивающая суета, с которой не то что за-снуть — жить невозможно. Куда лестница-то? Известно, на второй этаж, секунд, так сказать, фло. Там спальни, оттуда — если обратиться к традициям кинодурмана — тихо стекает загадочная струйка крови, там проводят ночные часы хозяева и гости порядочной жизни. Ах! Не помешал бы второй этаж жилью Виталия Пирогова! А где его взять? Конечно, если купить кооператив где-нибудь, да в этот кооператив тех самых... как их... Игнатьевых, что ли, да пробиться здесь через перекрытия, да воздвигнуть упомянутую лестницу с перилами на точеных столбиках... Эх, жизнь!

Кровать с обтянутой кожей спинкой. Низкая подсветка. В левом углу фотографии приоткрытая в ванную дверь, а там и он сам, в кимоно, совершающий вечерний туалет, а под одеялом, натянув его хитро до подбородка... Конечно, лучше бы... Ну, а хотя бы и Людмила! А что? Зато интерьер...

Вот лежит спиной на мнущихся простынях наш Пирогов. Вот упирается его взгляд в потолок со швом посередине, между двумя плитами. Вот мечтает он о двухуровневом житье-бытье — много повидавший в разъездах товарищ. Был он, кстати, и там, где сосед его, Игнатьев, встретил человека в белом комбинезоне, не курившего за работой и тем произведшего неизгладимое впечатление на простодушного служителя зеленых легких города. Бывал там Пирогов, как же, и неоднократно! И собор колючий видел, и человека в комбинезоне, не исключено, мог встречать...

А запомнился все же лишь интерьер жилища делового партнера.

Осудим ли мы его? Кто знает... Разве мы против двухэтажных квартир? Не против, хорошая вещь. Не против мы также и каминов вместе с надкамиинными зеркалами, и корзины для зонтов не вызывают у нас отвращения — правда, читатель?

У нас только одно «но»: насчет жизни и смерти. То есть если помирать настанет время, то как? Там ведь без этажей... Тогда

зачем же все это? Временно, значит? Стоит ли? А? Как вы считаете, Виталий Николаевич?...

Не спит Пирогов. Поднимается по лакированной лестнице, целует на ночь чайлдов в детской, входит в вожделенную спальню, откидывает крайне неудобную, но общепринятую перину... Эх его разбирает! Никак не заснет.

А и вы бы не заснули, если б приехали в свое время поступать в труднодоступный институт из эдакой тьмутаракани, где все местные власти в одном доме помещаются, и поступили бы, и закончили, и отъездили бы свое, и насмотрелись бы всякого, и получили бы, что положено, соответственно рангу, а жить продолжали бы в двухкомнатной, заурядной, полезной площадью тридцать два и шесть десятых. Посмотрел бы я на вас...

Плохо Пирогову. Сгинул бы в сей миг этот Игнатъев, не имеющий, по сути, и вкуса к правильной жизни, сгинул бы... Так нет, продолжает занимать верхнюю жилплощадь, по праву воображения принадлежащую Пирогову. А тот лежит без сна и мечтает. Такая, друзья мои, жизнь...

Короче, все ясно.

Он столько шел, и все вверх, и неотступно, и не сдаваясь, и платя по всем счетам, и тратя себя из расчета нынешнего курса жизни год за два — или сколько там? — и ничего не жалея, и в полном, хотя и нелегком, взаимопонимании с супругой Людмилой, и держа себя в руках, и опять не жалея ничего... Неужто не заслужил? Паршивенького, обыченького двухэтажного жилья? По ширпотребовскому журнальчику? Кто это — Игнатъев? Что это? Да ведь он троечник вечный, да ведь он здесь ни при чем!... Не на улицу, конечно, в другую приличенькую квартиру, но эта-то ему зачем?!

Плохо Пирогову. Может, и не так, как мы здесь изображаем, но примерно в этом роде. А точнее и глубже в мысли Пирогова не проникнешь. Никому это не под силу. Потому что Пирогов о своих мыслях не пишет. А те, кто пишет, — они на Пирогова не похожи. Принципиально. Иначе писать бы не могли.

В общем, пусть теперь Пирогов встанет, примет что-нибудь успокоительное, да и заснет — пора.

Однако Виталий Николаевич нашим советам не внимает, а решает по-своему: смотрит на часы и, обнаружив, что до запрет-

ного времени еще тридцать две минуты, решает задобрить нервы гармонией — музыкой успокоиться. Людмилу-то теперь и пушкой не добудишься...

10

Более всего, как известно, Игнатьев любит сидеть вечером в июне на балконе и молча отдыхать после рабочего дня.

Разные у людей бывают пристрастия. Некоторые год за годом ездят в отпуск на юг, и именно в одно и то же полюбившееся им место под названием Лазаревская; иные предпочитают дивную природу средней полосы, обозреваемую с байдарки, быстро несущейся в светлых струях лесной речки; третьи превыше всего ценят комфорт и сдержанность гостиниц на балтийском берегу... Игнатьеву же символом заслуженного очередного отдыха представляется только такое вот сидение на балконе, плывущем в теплом и темном воздухе, словно небесный корабль, приписанный к семнадцатому микрорайону. Зной, накопленный в стенах и асфальте, в людях и небе того огромного города, в котором Игнатьев прожил всю свою жизнь, не торопясь, смешивается с прохладным вечерним ветром и, облагороженный запахами разнообразной зелени, деликатно напоминает Игнатьеву о дневных трудах на солнцепеке. И, глядя перед собой в темноту, мягкую и слегка пыльную, как старая бархатная скатерть, Борис Семенович Игнатьев испытывает счастье.

Он думает и о неизбежно приближающейся поре очередной обрезки веток, и о необходимости завтра же укрыть под навесом затаренные в бумажные мешки и давно нуждающиеся в укрытии удобрения, и о том, что у газонокосилки к вечеру опять засорился карбюратор. Но эти служебные мысли не омрачают его духа, напротив, представляют приятный противовес теперешнему занятию Игнатьева, известному с давних времен под именем «дольче фар ниенте». Именно благодаря незначительному мысленному эху любимого труда Игнатьев и чувствует полноту отдыха.

Впрочем, это мы только так описываем — что он там чувствовал и о чем думал. А на самом деле он чувствовал вот что:

«Нормально сижу... так жить можно... тепло, и мухи не кусают... косилка накрылась... а так все путем... холодок и не пыльно...» И не надо спешить с иронией по поводу его не совсем складных, как обычно, формулировок. Ведь и вы тоже — вот читаете сейчас это сочинение, много вроде бы чего думаете, а если точно записать, получится: «Нормальное сочинение... в смысле, повесть... то есть рассказ... или роман?... не очень, конечно... но ничего... только непонятно, о чем... а вообще ничего...» Так что не будем удивляться мыслям Игнатьева.

В общем, сидит себе Игнатьев, значит, на балконе и наслаждается погодой. Вспоминает о разных смешных — в основном уже вам известных — эпизодах своей жизни. Вспоминает, конечно, как он жил еще на старом месте, в центре, и думал по окончании десяти классов получать высшее образование; как служил в строительных войсках, а потом огорчил родителей ранней женитьбой без профессии; как работал в различных организациях на небольших должностях, нередко связанных с переноской тяжестей... В общем, много всего было в его жизни до того, как он сел эдак на своем балконе, закурил сигарету «Ява» явского же изготовления и приступил к наслаждению.

Однако многообразие жизни проявляется и в этот краткий момент: в то время как Игнатьев сидит на балконе и наслаждается, в квартире этажом ниже сидит его сосед и страдает. Не на балконе, правда, но при распахнутой балконной двери. Соседа, конечно, фамилия Пирогов, и страдания его нам также известны. Такое уж, видно, это время — лето, что всех страсти терзают, распускаются в тепле махровым цветом неутоленные желания.

Ведь и Игнатьев тоже не в нирване находится, а, наоборот, несмотря на чудесную расслабленность, смутно жаждет. Не то возвращения в детство ищет его душа, не то сопереживания в желто-зеленых глазах. Да и глаза-то неясно, чьи: то ли соседской жены, то ли вовсе не знакомой курящей дамочки... В общем, страдает душа, хотя страдания эти почему-то не мешают Игнатьеву наслаждаться вечерней природой. Как говорится, печаль моя светла.

Иное дело сосед его снизу. Вот, казалось бы, чего не хватает человеку? Поступил, как мы докладывали давеча читателю, в

институт хороших отношений, закончил полный курс этого института, в аспирантуре обучился, диссертацию защитил, поездил туда-сюда, получил должность достойную и квартиру под Игнатьевым, жену — союзницу всех начинаний, привез в квартиру разные бытовые предметы, научился к темно-синему пиджаку носить только светло-серые брюки и вишневым галстук, купил музыкальный центр высокого качества воспроизведения звука... А терзается человек, горячей слюной наполняется рот, и не идет сон. Неподходящий вроде бы поздний вечерний час, но просит мятущийся дух красоты, и Пирогов ставит на мягко вращающийся диск пластинку. Может, рассеются видения двухэтажно-го пэрадайза, уйдет горечь...

На пластинке написано название произведения, автор и исполнители. Пирогов эту надпись отлично понимает, поскольку у него как раз немецкий язык был основной. Фамилия автора знакомая, у Пушкина еще о нем написано, Виталий Николаевич хорошо помнит, отравил его приятель, этого автора. Пирогов автору сочувствует, поскольку по своей работе хорошо знает, каково таких друзей иметь. Имя дирижера напоминает имя одного знакомого товарища. Дирижер, небось, тоже с Кавказа откуда-нибудь, только вот «фон» при чем?.. Название же произведения Пирогову кажется странным. Кляйне... все ясно. Нахт... Так, понятно. А вот все вместе никак не сочетается. Что значит — маленькая ночная музыка? Как это — маленькая музыка?.. Но пластинка записана на хорошей фирме, значит, стоящая вещь. И Пирогов опускает тон-арм.

На верхнем балконе Игнатьев слушает музыку, и кажется ему, что все дальше летит его балкон, улетает из семнадцатого микрорайона неведомо куда, и вспоминает Игнатьев еще и еще раз тот старый двор в центре, и себя в черных сатиновых трусах, белой тенниске из вискозы, в тапочках со шнурками, обернутыми вокруг щиколоток, и в тубетейке, вспоминает мать в креп-жоржетовом платье и отца в костюме из трико «ударник», и вспоминает почему-то стихи, которые читал, наверное, тогда же: «По небу полуночи...» А дальше не помнит точно. Дальше почему-то вспоминается засорившийся карбюратор косилки. И Игнатьев снова закуривает погасшую сигарету «Ява» и удивляется, что явская ведь сигарета, а сырая. «Откуда сырость?» — ду-

мает Игнатъев, чувствуя, как капли удивительной этой влаги текут по щекам. Желто-зеленые глаза появляются вдруг перед ним во тьме, а может, это просто цветные круги плавают — так бывает, когда плачешь в темноте... Он вытирает щеки и, слушая музыку, доносящуюся снизу, думает: «Ну, я даю...»

Пирогов же поднимает с помощью микролифта тон-арм и снимает пластинку: Скучная оказалась, хоть и фирма.

Будем ли мы удивляться, что, слушая одно, слышат разное наши соседи? Не будем, наверное. Они ведь и думают о разном, и, оказавшись в одних и тех же по случаю краях, видят и запоминают разное. У них только и есть общего — межэтажное перекрытие: как уже было сказано, потолок Пирогова для Игнатъева пол. Вот и все. Все ясно.

Мучающийся бессонницей Пирогов врубает, теперь уже через наушники, кассетник. Хоть побалдеть...

А Игнатъев идет спать.

11

Никто, в том числе и герой повествования, Борис Семенович Игнатъев, и даже сам автор не смог бы дать удовлетворительно и в достаточной степени логического объяснения многим маловероятным событиям из жизни упомянутого героя. Правда, впоследствии, когда само это сочинение благополучно придет к концу и минует еще какое-то время, в течение которого Игнатъев совершит целый ряд неожиданных и опрометчивых поступков, доказывающих в совокупности бесспорную жизненную силу и естественность человеческой сущности Б.С.Игнатъева, — впоследствии одна неглупая женщина выскажет интересное соображение относительно природы чудес, происходящих с ее Борей. Женщина эта, задумчиво наблюдая суету своего пса, тычущегося в каждое дерево на бульваре, скажет следующее (дословно): «Он, то есть Боря... может, он самый добрый человек... ну, предположим, в мире... а что для меня мир?... те, кого я знаю... он не зависит от внешних событий, и в этом смысле... в общем, с кем же еще и происходит чудесам, как не с ним?..»

И поднося огонь к ее сигарете, автор задумался: может, дей-

ствительно, в этом все и дело? Вот мы говорим о человеке — добрый, мол, и даже просто чудесный. Чудесный... Чудеса... Может, это уже теперь действительно связано между собой: редкие качества характера и сверхъестественные события, происходящие с тем, кто таким характером обладает?

Может быть.

Во всяком случае, еще об одном таком событии из жизни Игнатьева, видимо, стоит рассказать, прервав ради этого даже основную лирическую линию.

В предпраздничный день прошедшей зимы Игнатьевы всей семьей пошли гулять.

Влажный ветер, возвещавший раннюю оттепель, деликатно остужал измученную тщательным бритьем кожу игнатьевских щек. Жена Тамара шагала ровно и непреклонно, дочь пла хмуро, сам же Игнатьев давал волю мужским наклонностям, то есть: хватанул вовсе не нужного по погоде пива, причем семейство смиренно ожидало на расстоянии прямой видимости, пока он пребывал в специальном загончике; в подробностях рассмотрел несколько иностранных и одну отечественную новую автомобильную марку, положительно оценив дизайн последней и без комментариев пожимая плечами возле первых; некоторое время наблюдал тихий экстаз тех, кто увязывал счастливо добытые елки, — в общем, отдыхал.

Тем временем жена и дочь негромко и непрерывно делились впечатлениями по поводу встречающихся в толпе экстравагантностей, решительно не одобряя неумение некоторых находить соответствие между собственными внешними данными и предложениями моды. Особенно отрицательно отзывались они о модном покрое дамских брюк, уродующем даже и очень хорошую фигуру. Себе таких брюк они согласились не заводить ни под каким видом.

Таким образом, вся фамилия вышла на площадь.

По площади гуляли хозяева и гости города, а также зарубежные друзья, переговаривавшиеся между собой слишком громко — впрочем, все равно довольно неразборчиво.

А на самой середине площади работал среди штативов и стендов с образцами своего искусства фотограф. И в фотографии этом Игнатьев немедленно и с большим удивлением — хотя, ка-

залось бы, чему тут особенно удивляться? — признал своего одноклассника и даже друга детства Сережку Валована. Черт возьми, совершенно не изменился Сережка, хотя здорово облысел, отпустил загнутые книзу усы и стал носить несвойственные ему в те давние, небогатые времена фасонистые вещи — замшевую тужурку и молодежные истертые штаны...

После долгих и искренних приветствий, после того, как познакомил Игнатьев старинного приятеля со своими домочадцами, после того, как тот убрал в кожаный сундучок на длинном ремне все принадлежности профессии, свернув таким образом ранее обычного свой рабочий день, друзья отошли к металлическому барьерчику и закурили. Чтобы не мешать сентиментальным речам, женщины отправились на осмотр близлежащих витрин.

— Ну, — сказал Борька Игнатьев, — а ты как?! Как вообще, Серьга? Семья есть? Жизнь как, а? Пиво пьешь?

Они сильно затягивались, поэтому сигареты быстро догорали, и товарищи немедленно прикуривали новые, умело прикрывая огонь, пока собеседник осторожно тыкался сигаретой в сложенные ладони.

Говорить им было совершенно не о чем, потому что двадцать лет миновали, и дела у каждого шли все так же, как и все эти двадцать лет, что они не виделись. И прикуривая, а затем и затягиваясь, они только качали головами и вздыхали. «Да-а... подумать надо... идем, а он на площади, щелкает себе... ну, и как оно вообще-то? Жизнь?»

— Ты кем пашешь? — спросил фотограф. — Чего, говорю, ваяешь? Ты ведь в сталь и сплавы поступал, правильно я помню? Видал, память?!

— По озеленению я, — сказал рабочий цеха озеленения. — По подрезке деревьев и всякому уходу за зелеными легкими нашего города. Понял? Двести выходит, понял? И полный порядок. А ты, значит, щелкаешь? Исторический-то окончил или так?

— Щелкаю, — ответил фотограф. — Не кончил я исторический.

И друзья замолчали уже надолго, поняв, что обижаться друг на друга за эти вопросы им не стоит. Что ж тут поделаешь...

Тем временем прекрасная часть рода Игнатьевых завершила осмотр и присоединилась к беседующим.

А вот сейчас я вас всех, Игната моего родню, и запечатаю, — радостно сообразил фотограф и засуетился, распаковывая снова все камеры, штативы и объективы.

— Что ж вы беспокоитесь, — сказала было жена Тамара, но Игнатьев неожиданно для самого себя перебил супругу.

— Правильно решаешь вопрос, Серьга, — сказал он, сам даже удивляясь своим словам, поскольку совсем не собирался фотографироваться минуту назад. — Правильно, щелкни нас на память, чтобы остался сувенир от такой приятной встречи.

Сергей Валован уже все приготовил, взгляд его стал острым и даже неприятным, как у охотника. Этим взглядом он окинул группу, которую представляли собой Игнатьевы, быстро и грубовато переместил их в соответствии с каким-то своим внутренним планом и прижался на мгновение лицом к камере. «Так... левее... подбородок выше и на меня, на меня...» Он бормотал, и щелкал, и снова перемещал объекты съемки, и опять щелкал... Наконец он выпрямился, и Игнатьевы свободно задышали. Через минуту они уже прощались.

И тут только Игнатьев рассмотрел по-настоящему образцы, выставленные на вновь развернутом складном стенде — видно, фотограф решил все же еще немного поработать после ухода друга. Игнатьев рассматривал эти фотографии и удивлялся все больше и больше. Кого только он там не увидел! Здесь был весь их с Сережкой класс, и сосед Игнатьева с нижнего этажа Пирогов, ответственный товарищ, и жена Пирогова Людмила, исключительной привлекательности женщина, и множество других знакомых Игнатьеву людей — например, посетители ряда пивных загонов, постоянные троллейбусные спутники, товарищи по труду в коммунальном хозяйстве и еще, еще, еще — соседи, знакомые, земляки и соотечественники — все, все, все!

И все они улыбались. И не успел Игнатьев и слова сказать, как появилась тут же еще одна фотография — улыбающееся изо всех сил его собственное семейство.

— Чего это все у тебя улыбаются? — спросил Игнатьев старого товарища. — Я, может, не хочу улыбаться. Мне, может, и так хорошо.

Но ничего не отвечал фотограф, укладывая уже невесть ка-

ким образом проявленные, отпечатанные и отглянцованные снимки в конвертик из черной бумаги, вручая этот конверт Игнатъеву, — молчал, робко почему-то глядя другу своему в глаза.

А спустя некоторое время, уже возвращаясь в метро с прогулки, достал Игнатъев подарок приятеля, взглянул на улыбающееся лицо жены, на хмуро улыбающуюся дочь, перевел взгляд на них натуральных, дремлющих, и вдруг почувствовал, что не будет ему плохо житья на этом свете, коли есть, живут старые друзья, склонные снабжать улыбками человечество. И он сам улыбнулся ничуть не хуже, чем на неправдивой фотографии.

В то же время фотограф С. Валован, возвращаясь в свою пустоватую квартиру по другой линии, полез в сильно потертый кофр и достал свежую фотографию. Насупленно глядел с нее Игнатъев, сурово и устало смотрела жена Тамара, хмурилась еще более обычного дочь. Он мелко изорвал контрольный отпечаток и сунул клочки в глубину кофра, где уже скопилось немало такой рваной бумаги.

До самой своей конечной станции он мирно спал, и лицо у него было грустное и горькое. За окнами идущего по открытому участку вагона проносились прекрасно подстриженные Игнатъевым, голочерные сейчас деревья, и в щели дверей влетал уже очень прохладный ветер. Кофр стоял на полу, и на его дне перекатывался рулончик еще не бывшей в работе пленки, на котором рукой мастера было написано: «Для улыбок детских. Чувст. 65 ед.»...

Вот какие случаи время от времени происходили в жизни Игнатъева, подтверждая высказанную выше женскую мысль о чудесах, следующих за добрыми людьми. Может, поэтому в прежние времена, обращаясь с просьбой, так и начинали: «Люди добрые...» Постучат у порога — откройте, мол, люди добрые. Попросят материально помочь — то же самое обращение. Хорошая была манера. Сейчас не принято как-то.

12

Между тем жизнь себе шла, и к Игнатъеву, как положено, приехали родственники жены из Калужской области. Погостить, посмотреть большой город, приобрести кое-что. Без телеграммы приехали, по-родственному.

Приезжали они, правда, не особенно часто, да хоть бы и часто — Игнатьев ничего против не имел. Всякий их визит напоминал ему историю его женитьбы, в которой было много бурных страстей, особенно со стороны родителей Игнатьева, и много решимости с его собственной стороны. Вспоминать все это ему почему-то было приятно, хотя за минувшие с той уже неблизкой поры годы жена Игнатьева Тамара давала ему несколько поводов если не для сожаления о былой принципиальности, то для размышлений. Да и он ей... Впрочем, о прописке жены на жилплощадь родителей, а впоследствии на собственную он и до сих пор не жалел.

Однако сантименты сами по себе, а на работу идти надо. Так что Игнатьев надел любимую кепку в давно ушедшем футбольном стиле «эй, вратарь, готовься к бою» и отправился на очередные мероприятия по плану подготовки зеленых насаждений к зиме. Жена Тамара также убыла в свой пищеблок детского комбината. Поговорила с родней кратко, но содержательно — и бегом, только духами запахло. Дочь пожалала плечами и ушла в свой восьмой класс.

А родственники — тетка Зинаида и племянник Виктор — позавтракали на кухне взятыми в дорогу помидорами и крутым яйцом, купленным на вокзале в составе специального дорожного набора, да и также двинулись по своим приезжим делам. У Виктора имелся маленький план метро, удобно складывающийся в гармошку, тетка же более полагалась на помощь ближних.

Да, едва не забыл вам их официально представить и портреты обрисовать. Зинаида Ивановна с этого года находилась на заслуженном в сельхозартели отдыхе, однако продолжала трудиться в животноводстве. Глаза у нее голубые, лицо коричневое, куртка на ней нейлоновая, финская, зеленого цвета, на ногах байковые тапочки в клетку. Ну, сумки, конечно. А Виктор, будучи допризывного возраста, только что закончил курсы водителей и в ожидании судьбы так просто живет. Волосы у него светлые и длинные, как у звезды эпохи расцвета хард-рока, на руке уже имеется по глупости сделанная надпись «Витя», брюки он носит типа «тexas», только цвета очень синего и подбитые внизу «молниями» — так что несведущему наблюдателю может показаться, что под штанами у Вити еще одни, бронзовые.

Вот такие у Тамары Игнатъевой родственники — в общем, симпатичные. А теперь, познакомив читателя с ними подробно, мог бы автор так же подробно описать и день, который они провели, начав его завтраком в игнатъевской квартире. Но делать этого не станет за недостатком места и времени. Потому что иначе пришлось бы описывать и целый ряд чрезвычайно удачных приобретений, сделанных Зинаидой Ивановной, включая и купленный в Даниловском универмаге электрический фен, заказанный соседской дочкой Нинкой. Пришлось бы вспомнить и многих приятных людей, с которыми Зинаида Ивановна познакомилась, совершая покупки, и провела немало приятных минут у прилавков; на лестницах, ведущих с этажа на этаж огромных предприятий торговли; между металлическими барьерами, уставленными вежливыми земляками Зинаиды Ивановны, носящими аккуратную форму, и так далее. Пришлось бы также упомянуть о поездке Виктора, целью которой были зеркало и ветровое оргстекло для мотоцикла «Ява», поездке на дальнюю окраину города, не увенчавшейся, к сожалению, успехом. О его пребывании на выставке, где он не пропустил ни одного интересного павильона и даже пива выпил на свежем воздухе — и неплохого, надо сказать, пива...

Но опустим все это. Тем более что сейчас это уже все позади, и гости города отдыхают.

Зинаида Ивановна сидит на скамейке. Скамейка стоит вблизи выбрасывающего кристальную струю фонтана, в отдалении виден большой памятник, а вокруг тетки Зины ходят люди разных цветов кожи. Один из них — вполне, кстати, белый, молодой и с фотоаппаратами поверх несолидного жакетика — присаживается рядом и заводит с Зинаидой Ивановной разговор. «Комфортабль!» — говорит он радостно, показывая на теткинины тапки. Она бы и поддержала беседу из вежливости, да сил нет. Зинаида Ивановна придвигает поближе сумки и продолжает отдых.

Виктор тем временем присел на каменную ограду у подземного перехода. Рядом сменяются молодые люди, дожидаящиеся здесь своих избранниц, и девушки, беседующие между собой на разные тайные темы. Одна из них Виктору даже понравилась — худенькая, правда, но красивая. Хотел было Виктор с ней позна-

комиться, и вопрос для начала выбрал — насчет спортивной обуви, на ней надетой. Такое Виктор и сам бы охотно купил, если бы знал, где. Но постеснялся спросить — может, они в городе про это не говорят?... А девушка покурила и пошла себе.

...Вечером, проделав немалый путь в метро и на автобусе, гости возвращаются домой, к Игнатьеву. Семья в сборе. На кухне происходит ужин. По поводу приезда родственников Игнатьев выпивает с женой, теткой Зиной и племянником Виктором. Дочка ужинает быстро и идет в комнату смотреть передачу с популярной певицей. Игнатьев тем временем расспрашивает тетку и племянника о впечатлениях. Виктор рассказывает об успехах космической и транспортной техники, Зинаида Ивановна параллельно обсуждает с Тамарой проблемы, касающиеся товаров повышенного спроса.

— А скафандры ихние видел? — спрашивает Игнатьев.

— Видел, — говорит племянник, — сильные скафандры.

— А пиво возле пруда пил? — продолжает интересоваться Игнатьев.

— Пил, — говорит Виктор, — сильное пиво. А в пруду колос стоит. Во! И золотого цвета!

— Да, — соглашается хозяйин, — сильный колос.

Жена Тамара уже стелет гостям в маленькой комнате. Игнатьев выходит на балкон покурить.

Вокруг балкона темно, а напротив светятся окна длинного девятиэтажного дома. Дом этот похож на входящий в порт богатый корабль — не хватает только несущейся с палуб романтической музыки, пальм на набережной да белеющих одежд приморской публики. Но Игнатьев никогда не бывал в портах, и это сравнение ему в голову не приходит. Он почему-то вспоминает свой старый дом в центре, зеленый двор, глухие удары — футбол в сумерках, запах скорого ужина, призыв матери из резко распахивающегося окна: «Боря! Борис! Отец пришел...» Эй, вспоминает он, вратарь, готовься к бою... Я тоскую, вспоминает он, по соседству и на расстоянии... Барон, вспоминает Игнатьев, фон дер Пшик... Новый год, вспоминает он, затягиваясь, порядки новые...

— Виктор, — окликает он, — а ты по центру гулял?

— Гулял, — говорит Виктор, выходя на балкон и завистли-

во косясь на сигарету, при тетке курить он стесняется. — Сильный центр. Проспект там есть — вообще.

— Я там жил раньше, — говорит Игнатъев. — Маленький такой был дом. Представительство там теперь. А у нас вода во дворе была...

Виктор молчит. Ему не верится, что где-то там, рядом с невероятным проспектом, был дом с водой во дворе. Не особенно ему понятно и насчет представительства.

Постепенно все засыпают. Перед самым сном Игнатъеву чудится, что во дворе раздаются глухие удары самодельного мяча и кто-то окликает его по имени. И он не может понять, почему он засыпает со странной досадой на гостей. Хотя одно понимает хорошо — обидно: едут, и едут, и едут, и не знают, что это за город, в котором жил и живет Игнатъев. Город, который Игнатъев любил всю жизнь так, что в конце концов добился взаимности и стал любим — от имени, наверное, и по поручению всего этого дивного города — одной его гражданкой... Но об этом не здесь...

13

Настала, наконец, и ночь — блаженное время отдыха и видений. Сейчас, сейчас, нетерпеливый читатель, много чего произойдет в подсознании действующих лиц, выльется в быстро скользящие призраки снов...

Вот уже закончились телепередачи, и самые испытанные зрители отключили зарябившие голубые и разноцветные экраны. Вот уж и проживающие в квартале представители творческой интеллигенции — люди ночного склада, так называемые совы — устало откинулись от рабочих столов, потянулись и с завистью прислушались к сонному дыханию домочадцев. Вот уже и чей-то противоугогон завыл, и хозяин, как обычно, выскочил на улицу лишь через двадцать минут — то ли сон имея самый крепкий в районе, то ли слишком долго надевая тренировочные штаны и пижамную куртку. Вот уж и два, половина третьего... А Игнатъев все бодрствует, все скручивает простыню под своим беспокойным телом в мятую тряпку, все беспокоит супругу Тамару неосторожными движениями — к счастью, без

последствий, сильно устает бедная Тамара за день в пищеблоке. Знакомую фотографию улыбающихся близких видит в мутноватой тьме Игнатьев — то есть не в деталях, натурально, а так, прямоугольничком в металлической окантовке, на стене напротив тахты. И милый этот снимок, казалось бы, должен внести покой в его душу, утешить, как обычно бывает, сознанием, что и семья неплохая, и друзья есть старинные и способные ради дружбы на чудеса — но нет! Нет покоя, нет утешения...

Бессонница одолела Игнатьева, и неподалеку ее причина: сквозь пол, через мелкую паркетную доску, пронизывая бетонную плиту перекрытия, бьют невидимые молнии игнатьевских страстей. Ах, Люся-Людмила!.. Эх, взгляд, какой взгляд! Отлично понимает автор муки Игнатьева, и сам бы ночей не спал из-за такого взгляда, кабы не имел соответствующего опыта, причем чисто негативного. А у Игнатьева Бориса Семеновича такого опыта нет. Он как женился в двадцать два с половиной, едва отслужив срочную, на Тamarочке, так и вся его лирика локализовалась. И летят, летят невидимые молнии с десятого на девятый. И уже сам он не понимает, в кого они нацелены: то ли конкретно в соседку душевной внешности, но, увы, замужнего семейного положения, то ли так, вообще... с зеленоватыми глазами...

Но что еще интересней — навстречу игнатьевским взрываются разряды мощности и вовсе невиданной. То есть, если бы их в специальную установку, да пару физиков к ним — вполне бы желания и помыслы Пирогова могли производить плазму, а то и вызывать термоядерную реакцию, которая в естественных условиях идет, как известно, лишь на Солнце.

Не спит, не спит Пирогов, тоже страдает. И ничуть, я вам доложу, не меньше, хотя предмет страданий, на ваш взгляд, наверное, куда менее достойный. Черт-те что — квартира двухэтажная!... Да сравнишь ли это с чистым чувством?

А вы у Пирогова спросите.

Во всяком случае, по интенсивности его страсть куда как мощнее игнатьевской. В чем мы сейчас и убедимся. Вот уж смежают усталые веки соседи-растотерпцы, вот уж и забытье, как вдруг!..

Терпел-терпел бетон, держалась-держалась паркетная доска,

преграждала, сколько могла, водоземлюсионная краска, да и не выдержали. Неописуемым, неземным светом желаний осветились две квартиры, расположенные одна точно под другой, и страшные, противоречащие здравому смыслу вещи начали в них твориться. Трещит и выламывается у Игнатьевых пол, образуется в нем отверстие, озаренное той самой лампой под цветочно-ситцевым абажуром, а в отверстии уже видна лакированная лестница с резными перилами — вот она, мощь пироговских желаний, одолел-таки! Словно ветром сдувает Игнатьева и ничего не соображающую спросонок Тамару с их постели, да и не их это уже постель, а стильное чиппендейловское ложе, выбранное по каталогу известных Сирса и Робека, — ломит Пирогов, побеждает... Рвутся сквозь позорно сдавшийся пол вожделения могучего Пирогова и немедленно превращаются в белые туалетные столики, плетеные стулья и клетчатые покрывала в сельском голландском стиле — да, не устоять против Пирогова.

Ну, а с другой стороны? А с другой стороны вот что: тоже и Игнатьев не лыком шит. Приподнимается вдруг в воздух Людмила Пирогова — это несмотря на некоторый лишний вес, заметьте! — и парит все ближе к потолку, словно натура для нереалистической живописи, или будто в кадре из какого-то переусложненного фильма, парит и подтягивается все выше, хотя и сопротивляется отчаянно. На кой ей сдался Игнатьев этот с его любовью?! Может, ей и в шалаш прикажете с таким милым? Как бы не так... И рушится она на законное ложе, отчасти собственной волей пересилив Игнатьева. Другое дело глазками посмотреть, это всегда пожалуйста, особенно если бы садовник этот благодаря глазкам покладистей был бы в квартирном, Людмиле столь же, сколь и супругу, безразличном вопросе. А навеки?! Нет уж...

Рушится на законное место Людмила также и потому еще, что Игнатьев в это время ослаб — совестно стало. Замужем она все-таки, хоть и не нравится Игнатьеву этот Виталий, сонигрюндиг... И Тамарка тоже не чужая, дочке вот пятнадцать... Эх, беда... Ослаб Игнатьев.

А Пирогов все крушит. Дым, серой несет, воеет кто-то, тени мелькают — в общем, полный набор псевдолитературного пижонства, всей этой чертовщины, всего этого эпигонского как бы

мистицизма. И среди безобразия этого, среди полного торжества темных сил лезут и лезут снизу вверх пироговские шмотки, выстраиваются на отведенных местах и позируют уже для рекламной съемки. Плохо дело.

Правда, и Игнатъев снова на угрызения плюнул — любовь может на все толкнуть — опять плавает в воздухе прекрасная Людмила, а сквозь перекрытие прут тем временем троянские шкафы... Тяжко длится ночь, свет не то луны, не то прожектора с соседней стройки проникает в окна, и в льдистом этом свете клубятся кошмары, мучают бедных героев. Так что появляется у автора соблазн кашлянуть, что ли, либо за плечо потрогать — разбудить, вернуть к реальной, куда более спокойной действительности. Жалко их, не чужие все-таки. Открываются полные сонных ужасов глаза, бессмысленно смотрят секунду в комнатную сизую мглу, и постепенно возвращаются люди в естественные обстоятельства.

— Том... Тома! Ты спишь?

— А?! Что?... Фу, испугалась, даже сердце зашлось... Ну, чего ты? Спи, что ты не угомонишься никак...

— Ладно, сплю.

— Людка, а Люд... Не спишь?

— Сплю. Мне снится, что я летаю.

— А мне снится, что... Ну, да это чепуха. Надо им обмен предложить. Как ты думаешь, Люд?

— Я не думаю. Я сплю. Я летаю во сне...

Все. Спят. И мы довольны. Женщины должны летать во сне — от этого улучшается цвет лица. Пирогов хотя бы во сне должен наткнуться на стены — иначе он окончательно поверит, что нет ему преград. Пусть спят — утром все пойдет естественным путем.

14

Сияет над кварталом оптимистически голубое небо раннего нерабочего утра. Доброжелательно освещена дощатая хоккейная коробочка, украшенная как бы рекламными надписями, и внутри коробочки, по-летнему пыльной, сутуло бродит бело-рыжий

кот... Сияние льется также и на детскую площадку, застроенную типовыми избушками на курьих ножках, деревянными крокодилами и частоколами для культурных игр детского населения; и на ряд автомобилей личного пользования, робко выстроившихся в неприметном углу, причем особенно веселые блики сверкают на давно забытом судьбою и небрежным хозяином, вросшем спущенными шинами в землю «запорожце»; и на Игнатьева, вышедшего в неясном состоянии духа покурить на свежем воздухе.

Оккупируемая в более позднее время старушками скамейка сейчас полностью в распоряжении курильщика. Уже через какой-нибудь час здесь будут выноситься бескомпромиссные суждения об образе жизни и моральном облике проходящих мимо по субботним делам жителей, а пока Игнатьев использует скамейку для мирного занятия — подставляет лицо солнцу, выпускающая навстречу ласковой радиации вредный никотиновый дым. Ничего не поделаешь — дурная привычка...

Смутные и неопределенные мысли Борис Семеныча крутятся, конечно, вокруг странных сновидений. Неловко ему и перед женой Тамарой, и перед соседями, и перед гостящей родней, и перед самим собой, главное, поскольку больше-то никому, понятно, сны его не известны. Неловко — что он, мальчишка какой-нибудь, чтобы во сне такую несолидную ерунду видеть? Летящая пироговская Людмила снова появляется перед его мысленным взором, и он даже встряхивает головой — тьфу, безобразие! И затягивается еще старательней обычного.

С другой стороны — ему даже приятно вспоминать дурной свой сон. Что-то такое с ним делается в последнее время, что-то его поднимает в выходной день ни свет, ни заря, гонит из дому, заставляет быстрее обычного расходовать пачку привычной «Явы» — что-то, к его собственному удивлению, столь же и тревожное, сколь и сладостное — во как! И сны отсюда, и неожиданная резкость — правда, немедленно получившая достойный отпор — по отношению к жене Тамаре, и странное чувство в верхней части тела, слева, хотя никаких болезней, кроме обязательного радикулита, у Игнатьева не имеется...

С третьей же, если так можно выразиться, стороны, совсем даже и не в соседке дело — вот что интересно! То есть, нравится

ему соседка, чего мозги пудрить, и очень даже нравится, но... Как бы это сказать... Не совсем она...

И поскольку лично Борис Семеныч собственными силами не может сформулировать свое ощущение, как ни сдвигает морщины на, увы, немолодом уже лбу, придется ему помочь. Не может же автор его бросить в таком состоянии на произвол сюжета! Так вот: если бы речь шла о нежном юноше, склонном к чтению современных поэтов и размышлениям о своем значении для судеб человечества, мы могли бы сразу точно сказать: он томится в предчувствии любви. Любви, уже живущей в нем, но не получившей пока конкретного воплощения в доступном его взгляду внешнем мире.

Но ведь речь идет об Игнатьеве Борисе Семеновиче, чья жизнь подвигается к сорока, чья любовь к поэзии полностью исчерпывается наиболее популярными произведениями Сергея Есенина, а собственное значение для общества несомненно, поскольку проявляется в полезной работе по озеленению родного города. И, рассуждая о таком человеке, мы должны бы поостеречься с романтическими объяснениями. Тем не менее истина именно тут — Игнатьев вдруг, к сороковке, по неизвестным, но, вероятно, вполне закономерным причинам весь наполнился любовью! И она стала искать выход и, не найдя пока подходящего объекта, стала дергать и корезить своего носителя, как дергает и крутит вода толстый поливальный шланг, придавленный ногой невнимательного прохожего. И бросает бедного Игнатьева то к соседке, под внешним обаянием которой скрывается, на взгляд автора, не совсем достойная сильного чувства натура, то...

Впрочем, вот и она — легка на помине. Выходит из подъезда, вся в чем-то удивительном, сплошном и в то же время открытом, то есть ажурном, но глухом... А, черт, запутался автор в галантерейных описаниях, да ладно, в общем, — издали — точно, как игнатьевская дочка, хотя сама, между прочим, Борис Семенычу почти ровесница, послевоенного года. Выходит из подъезда, вежливо здоровается, улыбается милому соседу и — м-да, вот оно как поворачивается! — вступает в разговор.

Вот так. Бывают в жизни совпадения, совершенно недостоверные в искусстве — хорошо, что здесь мы жизнь описываем, а то никто не поверил бы.

Значит, сидит Игнатъев рядом со своим виденьем — он эпигтет «мимолетное» не помнит, да здесь и ни к чему, а то обязательно пришлось бы написать — «и слушает приятный голос». А поскольку голос действительно от природы приятен, да еще и наполнен специальным отношением, и поскольку Игнатъев от всего происходящего несколько забалдел, то слышит он не все слова, а только отдельные фразы, даже неоконченные — будто звук в телевизоре пропадает.

— ...полностью всю сумму внесем, а теперь двухкомнатные кооперативы, знаете, с какими кухнями — чудо!.. и даже удобней... муж не знает, он был бы обязательно против... знаете, сосед, то-се... а вы мне потом позвоните, встретимся как-нибудь, обсудим все... мороженого где-нибудь поедим, ладно?... угостите соседку мороженым?..

Ни черта не понимает Игнатъев! Слышит только, что вроде уговаривают его съехать с квартиры, которую каким-то неведомым образом собираются превратить в спальни, что ли... Какие еще спальни, ничего не поймешь! А он, значит, чтобы вступал в кооператив на чужие, вот сейчас обещанные ему деньги, и за это будет ему разрешено угостить соседку мороженым. Мороженого вдвоем поедим, вот как. Ну, дела. Ничего не понимает Игнатъев, затягивается покрепче и думает. И молчит.

А приятный голос становится еще приятнее, и с ужасом уже слышит Игнатъев вовсе какую-то несуразицу — откуда она-то знать может?!

— ...а тут сны всякие мучают, правильно?.. конечно, вы же еще совсем молодой мужчина, разве уснете, когда под вами, можно сказать... ой, извините, что это я говорю... между прочим, я тоже плохо спала, всю ночь летать — разве уснешь... вы понимаете?..

Нет, ничего он не понимает. А знает только одно — если уж и сны его известны дьявольской красавице, то не миновать ему съезжать с квартиры. Бросать жилплощадь, полученную в порядке очередности от треста озеленения, ехать в какой-то неведомый кооператив, и все только потому, что горят и мерцают желтым пламенем глаза, в которые когда-то, на свое несчастье, он по-соседски заглянул. И никак не определит Игнатъев, почему, но неуютно и даже страшно становится ему на скамейке ря-

дом с предметом еще недавних его мечтаний, жарко становится под нежным утренним солнышком и душит, будто ядовитый выхлоп газонокосилки, любимая сигарета. И вдруг чудится, что это она, красавица, держит его за горло ловкими своими руками с красивыми ногтями и кольцами.

Бедный Игнатьев! Ничего он не придумал лучше, чем ответить даме следующим образом:

— По мороженому-то я... не очень... не уважаю... но если что... заходи в получку с Виталиком своим, пойдем в кафе... по соседски сухаря можно взять, ага?

Опустим же окончание этой ужасной сцены — недоумение героя, бешеную бледность пораженной в своих надеждах женщины. Не будет у Пироговых двухэтажной квартиры — и ладно. Не созрел, значит, еще материальный уровень, нечего к нему и пробиваться через чужой пол, правильно?

Тут интереснее и симпатичней события называют.

Удивленный и расстроенный странной беседой, отбывает Игнатьев по домашним закупочным делам. Едет в центр, мостится, теснясь коленями, на высоком троллейбусном сиденье, поглядывает в окно, размышляет. «Вот тебе и на... ну, дают люди... да разве ж можно... эх, народ... ковры хорошо, а на кой они, ковры-то, если так... это самое... ну, дают люди угля — мелкого, но много...» Вот такие мысли. И если их читать внимательно, можно обнаружить определенное отношение ко всему случившемуся — и к разговору с соседкой, и к истинному смыслу ее действий, полностью дошедшему до Игнатьева к этому времени, и даже в целом к некоторым негативным явлениям жизни, проявившимся в инциденте. Но это все, конечно, если внимательно читать.

Сам же Борис Семеныч тем временем приезжает в центр и отправляется в заданный женою гастрономический магазин за некоторыми бывающими именно в этом магазине припасами.

Прелестный стоит день, и, поглощенный его прелестью, не сразу замечает Игнатьев, что путь его каким-то необъяснимым образом лежит через тот самый бульвар, где проводит он все свои рабочие дни — тот самый бульвар, где когда-то, давным-давно, гулял он в группе незабвенной Эльзы Гавриловны, высматривая, не идет ли уже за ним мать в пыльнике и берете,

или отец, по летнему времени без пиджака, в мелкополосатой рубашке с высоко подтянутыми с помощью резинок рукавами... Тот самый бульвар, где ежедневно чинит он проклятую косилку, холит родную зелень — где проходит день за днем его обычная, совсем даже неплохая, но какая-то вдруг задрожавшая изнутри жизнь.

Игнатьев думает, что это ж надо — и в выходной бульвара не минуешь, во бульвар! Навстречу ему идут нарядные отдыхающие москвичи и гости столицы, и он, глядя на их странные одежды, думает, что, наверное, скоро будут на всем иностранными буквами писать еще больше, чем сейчас. К примеру, на правом рукаве — «Правый рукав», на левом — «Левый», на штанах — «Штаны». Не по-нашему, конечно. А может, и уже пишут? Игнатьев точно не знает, потому что языками не владеет, и надписи на карманах, спинах, плечах и прочем точно перевести не может. Однако ничего особенно против не имеет. «Чего ж, пусть... мода... ничего, пусть...», — думает он.

Затем он видит одновременно два предмета. Первый представляет собой деревянное, вкопанное в газон сообщение о том, что выгул собак запрещен на основании того-то от такого-то. Второй предмет прислонен к первому и является сильно выпившим человеком, в котором трудно различить другие детали, кроме недопитой бутылки вина портвейн в кармане неаккуратных брюк. Игнатьев сам некогда принимал участие во вкапывании деревянного запрета, но теперь ему приходит в голову, что относительно собак допущена некоторая несправедливость.

«Может, этот-то хуже... вот стоит, и ничего... а собаки что ж, ну и гуляли бы... и ничего... а то нальют глаза и прислоняются...», — думает Игнатьев.

Все дальше и дальше идет он по короткому бульвару, которому сегодня почему-то нету конца. А навстречу ему уже выходит с противоположной стороны, от памятника, нарушительница собачьего запрета. Рвется к каждому дереву, обкручивая вокруг хозяйки поводок, полуспаниель. Солнце пробирается сквозь светлые легкие волосы женщины с собакой, поблескивая на металлической штучке — не выбросила пока все-таки!... И вот они уже узнают друг друга, и вспоминают случайный и неудач-

ный контакт, и продолжают сближаться, и... Вот и в таком виде может явиться судьба.

Автор предлагает читателю их оставить в этот очень важный момент жизни. Автор не станет рассказывать, как знакомился Игнатъев со своей, наконец воплотившейся в конкретного товарища любовью. Как молча курил, морщил лоб, сердился на себя и думал: «Вот тебе и пожалуйста... ну, я даю!... нехорошо, а что тут делать, когда вообще?...» Не станет он рассказывать и как долго смеялась над собой женщина с собакой, как швыряла в мусоропровод железную штучку и еще некоторые вещи, как снова смеялась над собой и плакала, представляя, что могут посмеяться другие. Не будет и ручаться, что в конце концов все совершенно уладится. Да вряд ли, действительно, может в этой ситуации все уладиться. Что было — то было, а как было — это в самом начале описано. Хорошо было, чего душой кривить! А за хорошее платить надо, этого только дети не знают. И заплатит Игнатъев, и подруга его заплатит тоже... Но хоть будет за что!

А пока автор решил скомкать промежуток между концом и началом этой истории. Скажем только так: они встретились, узнали друг друга и, после многих смешных и грустных происшествий, познакомились близко. Они полюбили друг друга, и, как всякая любовь, их принесла столько же счастья, сколько и горя, доказав всем персонажам сюжета, что они абсолютно живые люди. Игнатъеву и женщине его мечты было хорошо вместе, а полуспаниель нюхал прокуренные пальцы Игнатъева и смешно дергал несуразно мощным носом... Но однажды Борис Семеныч услышал, как на кухне подруга его любимой сказала: «А твой садовник — ничего, милый...» А потом она как-то нечаянно услышала, как у Игнатъева допытывались друзья-озеленители: «Слышь, а она очки снимает или так просто?» Месяц они не виделись, потом она опять пришла на бульвар...

И много еще всего было, и плакала Тамара в пищеблоке, и Пироговы собирались надолго в отъезд по важным и ответственным делам, опасаясь предстоящего им жаркого климата, и лил дождь, падал снег, и опять светило солнце, и миллионы земляков Игнатъева шли мимо него по бульвару, и во многих головах бродили фантазии большого города, и в фантазиях этих происхо-

дили вновь и вновь счастливые нечаянные встречи, как называл любовь один изумительный писатель...

Нет, все-таки не будем писать о любви — что о ней можно написать, ведь действительно все уже было написано когда-то — и о женщине с собакой, и о встрече...

В общем, Игнатъев еще продолжает идти по бульвару, а на встречу ему движется женщина со смешным псом на запутанном поводке. Автор, увы, даже имени для нее не успел придумать.

Вот они уже встречаются глазами и начинают узнавать друг друга.

1981—1990

РАССКАЗЫ

ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГЛУПЦА

МАЛЕНЬКИЙ НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН

Сначала был просто роман — с довольно занятной, казалось, историей. Причем вовсе не фантастической, как бывало у меня обычно, а жизненно-реалистической до последней, никому не нужной детали.

Начало романа я написал в общей сложности часов за десять — по утрам, до работы; по субботам, пока ждал... впрочем, неважно, чего я ждал; иногда среди дня, когда вдруг оказывалась минута без служебной беготни и что-то дергало: надо продолжать выдумывать, бредить... Потом я все это бросил — не пошло, прокисло, завяло, умерло. Бумага, тоненькая пачка, пожелтела в стопке других бумаг, завернулись края, я вообще раздумал заниматься сочинительством — тем более что тут как раз у приятелей стали выходить книга за книгой, причем неплохие и вполне успешные книги, чем-то похожие на ту, которую начал было я...

В общем, бросил я это дело и некоторое время жил без романа, то есть: много пил, ужасно много; ходил на службу; болел артритом; еще какая-то дрянь, которую ни один врач определить не мог, обнаружилась в горле; жутко немела правая нога; переживал личную драму middle age crisis (переживание выразалось в том, что я боролся с возрастом путем испытания организма на полный износ всеми возможными способами) — словом, жил без романа.

И, говоря всерьез и искренне, был довольно счастлив, если не считать трений с начальством. Что же касается полного счастья, то я к своим немалым годам уже научился не стремиться к нему.

Итак, роман я дальше начала (примерно в авторский лист) тащить тогда, полгода назад, не стал. Теперь же, в силу разных обстоятельств — в основном внутреннего характера, — я написанное перечитал и решил дать и вам возможность это самое начало прочесть, чтобы и вы могли судить, правильно ли я прежде поступил. И если кто-то из вас скажет, что правильно и что даже вообще не следовало мне все это затевать много лет назад, не мое это дело, — не обижусь, ей-Богу.

Все необходимые пояснения относительно обстоятельств, заставивших меня вернуться к работе, краткий пересказ содержания романа, которое должно было следовать за началом, а также то, что мне известно о происхождении его названия, я приведу потом.

* * *

К Троице Юрий Матвеевич Шацкий выправил наконец все бумаги и получил от Французской Республики пенсию.

А уже на Рождественский пост, чтобы Праздник светлый встретить на родине, — потратив немалые усилия на сборы и разные формалите — оказался в Москве.

Решение было давнее и хорошо обдуманное, как хорошо обдуманной была почти вся вторая половина шестидесятипятилетней жизни Юрия Матвеевича — при том, что первая пролетела весьма авантюрно. Или, точнее, именно поэтому.

Года за три до законного возраста он, читая «Русскую мысль» и с пяток неуклонно выписываемых московских газет, пришел к выводу: в России жизнь становится, коли не стала уже, нормальной. Будучи человеком исключительно реального ума, что с твердостью взглядов сочетается редко, но в нем сочеталось, Шацкий в понятие «нормальная жизнь» вкладывал строго определенный смысл. Он был далек от того, чтобы предполагать, будто в России, после почти века беснования и разора, в пару-другую лет установится постное благоденствие, вроде скандинавского, или пуританское ханжество в сочетании с хамской чрезмерностью во всем, как в Северо-Американских Штатах, или хотя бы непоколебимая буржуазность, к которой он сам вполне привык среди иностранцев (как упорно называл французов, проводя среди них всю жизнь).

Но так же далек он был и от того, чтобы брать на веру все

те ужасы, которые с наслаждением, свойственным, как он считал, самоедскому русскому характеру, расписывали московские журналисты, а следом и их парижские коллеги.

Юрий Матвеевич считал нормальной жизнью для нынешней России нечто похожее на жизнь послевоенного Парижа, ему очень памятную: полно спекулей, непрофессиональных шлюх, американских сигарет и джаза, левых философов в черных беретах и свитерах, нуворишей в дорогих авто и просто сомнительных молодых людей в мягких шляпах и полосатых костюмах, с оставшимися от бошей «Вальтерами» за поясами брюк сзади. Иногда возникали и другие ассоциации: например, с некоторыми африканскими странами, в которых архитектор Шацкий провел немало лет, строя православные храмы для малочисленных, но твердых в вере тамошних русских общин. Насмотрелся он там на бессовестность властей, наслушался ночной стрельбы, после которой иногда одни воры и душегубы изгонялись из президентских и министерских дворцов другими такими же, пожил в шикарных отелях, возвышавшихся среди мерзости и грязи. Но эту параллель, поскольку был хотя и трезвомыслящим, но патриотом, он сам и отвергал: все же Русь Святая — не Нигерия какая-нибудь.

Впоследствии почти все предположения Юрия Матвеевича подтвердились, чему он сам удивлялся.

Дело в том, что родился Шацкий на ферме в Бретани, в часе езды от Руана — ферму эту его отец купил в двадцать восьмом, десять лет отрубив в парижском такси, через год привез туда юную жену, русскую же, конечно, парижанку, там Юрий и родился весной тридцатого.

С семнадцати лет, как уехал в Эколь Политехник, жил молодой Шацкий в Париже, меняя только аррондисманы соответственно квартирам, более и более просторным по мере карьеры. Из квартир этих, именно ввиду карьеры, он отъезжал на очень долгие сроки, на годы, строить храмы по всему миру, от упомянутой Нигерии до Новой Зеландии, от Аргентины до Аляски...

Но в России, которую он, естественно, считал родиной, Шацкий ни разу до сего времени не побывал. Да и в голову ему не приходило ехать туда при большевиках. Увлечения коммунистическими идеями и вообще левой романтикой, повального

среди французских интеллектуалов его да и последующих поколений, он счастливо избежал. Может, потому что безумно любил своего отца, мичмана Императорского флота Матвея Георгиевича Шацкого, и мать, Елену Николаевну, в девичестве Энгельгардт. Люди эти, жизни и мысли которых навеки остались для него не подлежащими никаким оценкам, кроме восхищения, Россию любили, как и подобает русским, мечтали о ней, но при коммунистах мечты эти оставались необсуждаемо платоническими — как об утраченном рае.

Поэтому и не был Юрий Матвеевич в России, покуда оставалась она большевистской империей, ни разу. Ни туристом со своим безупречным французским паспортом, ни по делам каким-нибудь. Да и какие у строителя церкви могли быть там дела?

И вот теперь он, все обдумав, твердо решил и начал понемногу готовиться, а став наконец — в последние годы уже подгонял время, признаться, — полноправным ретрете, повел завершающие, быстрые, но несуетливые сборы.

Продал, давно уже отгустив по ней, родительскую ферму каким-то симпатичным англичанам за неплохие деньги; квартиру свою в Марэ, уже давно сделавшемся весьма модным кварталом, сдал под гарантию очень порядочной конторы и притом дорого — да и то сказать, сама квартира была хороша, в редком для этого места османовском доме, безукоризненно отремонтирована и декорирована по его собственным рисункам; все, что, по его мнению, могло понадобиться для пристойной жизни в России, купил, упаковал и приготовил к отправке; наконец, заказал на первое время через русское агентство комнату в хорошей, со старых времен известной — из книг, понятное дело — московской гостинице...

Да взяв авион «Эр Франса», и прилетел по морозцу.

Прошел после этого год.

В Москве Юрий Матвеевич вполне освоился, более того — настолько основательно, уютно и разумно обосновался, что удивлял этим не только многочисленных знакомых, появившихся у него чрезвычайно быстро, но и, бывало, самого себя.

Всего ничего поживши в гостинице, неприятно поразившей,

впрочем, несоответствием между ценами и качеством прислуги, он купил себе квартиру, точнее, студию, причем — все впоследствии изумлялись — его не обманули. Секрет удачи самому Юрию Матвеевичу был вполне известен. Это, собственно говоря, был общий секрет всех его удач в приобретениях: никогда он не выбирал долго, никогда не покупал вопреки принципам и вкусу, никогда не искал дешевого, но никогда и не платил дороже, чем решил заранее.

А в результате поселился он именно так, как хотел и, соответственно, как ему подобало, или, если угодно, шло, а именно: в самом центре, на Тверской улице (которую он мгновенно, будто старый москвич, стал называть Горького), в сталинском, тридцатых годов, безобразнейшем, на его профессиональный взгляд, но солидном доме, чем-то напоминавшем монстров с авеню Рапп. Более всего повлияла на его выбор необычность самой студии — это было огромное пустое (снабженное, правда, всем комфортом и телефоном) помещение над аркой, ведущей с улицы в узкий асфальтовый двор. Все было освещено двумя огромными итальянскими окнами, от пола до потолка, выходившими, естественно, на Тверскую и во двор. Попастъ в студию можно было с промежуточной, между вторым и третьим этажами, лестничной площадки — нужно было войти в маленькую дверь слева от арки во дворе, Впрочем, через парадные ни в один подъезд в доме не ходили, вероятно, с того дня, как он был построен.

Но дополнительное чудо квартиры Юрий Матвеевич обнаружил не сразу, во всяком случае, не при покупке. Чудо же было вот какое: вход имелся и с лестничной площадки другого, симметрично расположенного подъезда — от арки во дворе справа...

Словом, удивительнейшее нашлось в Москве для месящ Щацкого жилье.

И купил он его через первую же иммобилъе, в которую обратился, найдя ее адрес в первой же газете, развернутой за первым же гостиничным завтраком... Что в оплату ушло все, вырученное за ферму, и еще немного из сбережений, Юрия Матвеевича отнюдь не разорило, человек он уже давно был небедный. Так что нимало не стесняя себя средствами, он продолжил пос-

ле покупки студии устройство своей жизни на новом месте. По-ездил по бурно плодящимся в Москве антикварным лавкам — могло показаться, что все это старье, большею частью, конечно, не настоящий антик, а броканте, быстро понаделали после конца коммунизма — или где-то хранилось до времени? черт его знает; накупил не лучшего, но все же павловского красного дерева; каких-то сомнительных холстов, даже смешноватых, но ему понравившихся; старых, местами до основы вытертых, но настоящих ковров, афганских; почти полный кузнецовский сервиз и груды столового серебра (выбирал без монограмм: с чужими вензелями — это было бы уж совсем неприлично); затем от приятного перешел к насущному: к постельному белью и оборудованию для ванной и кухонного уголка; потакая привычкам, выбирал французскую фабрикацию — благо, в России теперь можно было выбирать, а ведь он помнил по чтению старых газет идиотическое слово «дефицит» — что была у большевиков за манера самые глупые слова то у французов, то у англичан заимствовать...

Все это — покупки, доставку их в постепенно заполнявшуюся студию, расстановку и прилаживание к месту — Юрий Матвеевич делал самолично и собственноручно, привлекая только шоферов для перевозки; грубую рабочую силу, чтобы внести тяжести (для гигантского платяного шкафа, еще более гулливерского письменного стола и уж совершенно непристойных размеров ложа с гнутыми спинками пришлось выставлять со двора окно и добывать лебедку); и, наконец, специалистов — установить всякие краны и плиты — без них нельзя.

Тут Юрий Матвеевич и познакомился с Виктором Ивановичем.

Устанавливать — как они выражались — «сантехнику» магазин «Евролюкс», в котором Шацкий все это — медь, хром, фаянс и мрамор — закупил, оставив там едва ли не месячный свой пенсион и рент за сданную квартиру, прислал троих мастеров. Мужички работали довольно сноровисто, хотя, как слесари этой специальности во всем мире, непрестанно сетовали хозяину на трудности. Юрий Матвеевич сидел на рояльном табурете — никакого рояля у него не было, а табурет он купил к письменному столу, поскольку имел привычку, прервав работу

и задумавшись, крутиться на таком табурете или деловом кресле, но лучше на табурете, поджав для свободы вращения ноги, закрыв глаза и закинув голову, — сидел, курил желтую проstonародную сигаретку Bayard, достаточный запас которых взял с родины, снабдившей привычками, на родину, одарившую характером. Сидел, курил, наблюдал...

И наблюдая таким образом работу российских пролетариев, выделил из них одного: средних лет, примерно сорока пяти, человека по имени Виктор — именно так, полностью, его другие два и называли. Когда все было часа за четыре, довольно быстро, закончено, Шацкий каждому стал давать на водку по двадцатке американскими, но, дойдя до Виктора, задержался, вынул лопатничек, дополнительно приложил оливковый червонец и, со словами «чрезвычайно были старательны и ловки, молодой человек», протянул премию — а в ответ услышал нечто неожиданное. «Если позволите, — сказал странный этот рабочий, используя совершенно не советские, а русские слова, — я бы побеседовал с вами, господин Шацкий. Если уделите десять минут, буду признателен...»

Шацкий проводил твердым взглядом других слесарей и указал удивительному гостю на кресла.

И вышло, что Юрий Матвеевич Шацкий, отставной французский архитектор, и Виктор Иванович Рожков, бывший советский кандидат технических наук (электромеханика), кандидат в мастера спорта (пятиборье) и кандидат в члены КПСС, — составили пару такого рода, в которой господин и слуга равно зависят друг от друга, постепенно делаются друзьями и даже почти родственниками.

Виктор Иванович умел все. В бывшей профессии он карьеры при коммунистах не сделал, поскольку очереди на вступление в партию в своем НИИ дождался слишком поздно, когда и партии-то не стало, да и профессия потеряла практический смысл. Но тут он вспомнил о спортивной подготовке, а также о многих других навыках, приобретенных из-за различных поворотов судьбы еще в молодости, — и без стенаний и проклятий, раздававшихся от бывших сослуживцев и просто приятелей со

всех сторон, пустился в новую жизнь, забыв про дипломы, зато заново обнаружив, откуда у мужика должны расти руки.

Прекрасно он разбирался в автомобиле и водил его профессионально, то есть: ехал медленно, а приезжал быстро; немногим хуже водил мотоцикл, трактор, мог управиться с экскаватором и даже поднять вертолет, и даже прыгнуть из него с парашютом — действительно отслужил в десанте; соответственно и стрелял — и как пятиборец, и как старший сержант вэдавэ; мог починить стиральную машину, расклеившийся стул и заевший замок, даже сейфовый — а также вскрыть его, прислушиваясь к щелчкам, но последнее умение, которое перенял у одного знакомого, не афишировал; без изысков, но прилично готовил; помещение любое, которое считал находящимся под своей опекой, прибирал быстро, до зеркального блеска всех поверхностей и казарменного порядка; каратэ и прочими модными фокусами не владел и овладеть не пытался, но в драке был спокоен (приходилось — и не только в армии) и целесообразно зол; кроме того, естественно для пятиборца, знал верховую езду и плавал профессионально; хотя давно уже ничем не занимался, форму поддерживал ежеутренними отжиманиями от сверкающего пола своей комнаты в одной из последних коммуналок в Староконюшенном и неуклонными передвижениями бегом до метро.

За все это Юрий Матвеевич платил ему четыреста долларов в месяц, которые тратить Рожкову было совершенно некуда: ели они вместе, необходимые покупки — кое-какую одежду и обувь — оплачивал Шацкий, именуя это «юниформ», а других потребностей у Виктора Ивановича вроде бы и не было.

Началась служба Рожкова с того, что, объездив все бесчисленные в новой Москве автосалоны, магазины и рынки, он выбрал и купил для Шацкого именно такую машину, которая Юрия Матвеевича вполне удовлетворила, чудесно вписавшись в весь стиль московской жизни старого парижанина, и к тому же оказалась в идеальном состоянии. Был это огромный синий Mercedes, выпущенный еще в самом начале семидесятых и тогда же привезенный в Москву выдворенным из свободного мира советским бойцом невидимого фронта. Бойца по возвращении на родину завистливые коллеги ушли на пенсию, автомобиль

был поставлен в бетонный гараж, занимавший угол неоглядного дачного участка в Баковке, а сам старый шпион почти немедленно отказался выносить условия социалистической жизни и скоропостижно отправился вечным резидентом — на этот раз в самый лучший из миров. Наследники ездили на привычных «Жигулях», приберегая батино имущество на всякий случай. Случай оказался серьезным: кончилась советская власть, начался русский капитализм, они со всем комсомольским задором ввязались в темную коммерцию, сильно задолжали, были поставлены на счетчик и резонно решили тихо слить как можно дальше — аж в Австралию, куда коптевские пацаны, надо надеяться, не доберутся, дороговато выйдет. Дача была продана эстрадному придурку, а пока он раздумывал, достаточное ли ретро этот мерс или стоит поискать розовый кадиллак пятьдесят седьмого года, чтобы совсем было круто, как у Элвиса, — машину купил для Юрия Матвеевича Рожков: за двадцать тысяч, хотя на приборе и пробега-то практически не было, да это и без прибора было видно.

К этому времени союз их был уже нерушим, взаимное доверие абсолютное, и по просьбе Шацкого Виктор Иванович оформил автомобиль на свое имя — так им показалось спокойнее.

Стоял же экипаж во дворе на Тверской, загораживая ту самую маленькую дверь слева от арки, через которую попадал Юрий Матвеевич в свое экзотическое жилье. Особого внимания в городе, густо заполненном ее более молодыми родственниками, машина не вызвала — разве что у ценителей автомобильной старины, но их пока в Москве было немного, до таких изысков здесь еще не дошли.

Приобретением друга-помощника и автомобиля период обживания французского пенсионера в русской столице завершился. И monsieur Chatzky стал уже просто жить.

Просыпался он, по выработавшейся за жизнь привычке и просто по-стариковски, очень рано: в половине шестого. Сквозь плотные шторы — дневного, а особенно рассветного серого света Юрий Матвеевич не любил, — полностью закрывавшие оба гигантских окна, то есть, по сути дела, две стены квартиры, не было видно ни центральной улицы, ни узкого, с хилыми дере-

вями и огромным асфальтовым холмом бомбоубежища, двора. Бомбоубежищами такими в пятидесятые украшались дворы всех домов, строившихся для сталинского дворянства, боялись товарищи американской атомной бомбы. Теперь же наглухо закрытые входы в них казались как бы сросшимися, и в голову вроде бы никому не приходило, что стальные эти двери можно распахнуть, спуститься в огромное пространство, включить яркий больничный свет... И даже никто из нуворишей — которых Юрий Матвеевич непреклонно называл «нэпманы», выудя это слово из каких-то недр родительских разговоров, причем с ударением в среднем слоге, — никто и из этих сообразительных людей не догадался дать взятку кому-нибудь в мэрии (Юрий Матвеевич говорил «в совдепе») или в каком-нибудь противоздушном ведомстве, да и открыть в прохладно-душноватом памятнике холодной войны ресторан, или казино, или ночной клуб, «Империял» какой-нибудь, или «Золотой орел»...

Старый господин поднимался с необозримой своей кровати, надевал поверх пестрой шелковой пижамы шелковый же пунцовый, «апоплексического цвета», по определению Юрия Матвеевича, шлафрок и, немного шаркая замшевыми ночными туфлями, — говоря по чести, ему нравилось чувствовать себя стариком, и он продолжал эту игру, даже будучи в одиночестве, — шел в противоположный кровати угол, где в устроенной по собственному Юрия Матвеевича проекту выгородке, изолирующей службы и от комнаты, и от тотального окна, находилась маленькая кухня и довольно просторная ванная со всем набором удобств — тех самых, французских, установленных Виктором Ивановичем с товарищами. На плиту ставилась итальянская кофеварка для домашнего espresso, а хозяин, пока прибор булькал и хрипел, наполняя все пространство квартиры сильным горячим запахом, совершал быстрый утренний туалет — энергично и сосредоточенно, по выработавшейся за годы странствий и непрерывной работы привычке, минут, самое большее, за десять.

Затем Юрий Матвеевич, по-прежнему в халате, слегка раздвигал штору на окне, выходящем в сторону Тверской, переносил к нему китайский столик, клал на инкрустированную столешницу, будучи педантично аккуратным, пробковые подстав-

ки, заряжал двумя ломтями ржаного тостер, из которого чуть подгоревший хлеб вскоре с легким щелчком выскакивал, присоединял к натюрморту банку любимого джема «Bon matan» с клетчатой крышкой, большую гарднеровскую чашку, чуть треснутый с краю севрский молочник, прихватывал — намеренно по-холостяцки, шелковой полой — горячий кофейник...

И садился завтракать, «завтрЕкать», как он произносил на свой старомодно-простонародный лад.

За окном понемногу оживала улица. Турки, реставрирующие дом напротив, вяло, как большие гуппии в аквариуме, двигались на лесах за зеленой противопопылевой сеткой; бездомный пьяница в женском пальто и развалившихся кроссовках методично инспектировал урны, одну за другой; проехал милицейский «форд»; пробежала пара сумасшедших американцев-джоггеров, завершающих большой круг: посольство — Новый Арбат — Моховая — Тверская — посольство; с грохотом въехал в арку разваливающийся на ходу мусоровоз...

Звонок раздавался с аккуратностью сигнала точного времени в семь. «Рожков беспокоит, — в трубке похрипывало и свистело, японские беспроводные телефоны в Москве работали отвратительно. — Как спалось, Юрий Матвеевич?»

«Бон матан, Виктор Иванович, — Шацкий сам не замечал, что ежеутренний звонок неизменно заставлял его улыбаться. — Гран мерси, вашими молитвами бодр. Как вы-то?»

«Выезжаю», — кратко хрипела трубка.

День начинал набирать темп.

Юрий Матвеевич завершал ежедневные хлопоты сборов: толстые мягкие ботинки, полотняная, постиранная до бахромы на манжетах и сгибе воротника рубаша, просторный костюм серой фланели, лиловый в темно-зеленый горох шелковый галстук бантом, тяжелое огромное твидовое пальто, мягкая, с давню обвисшими полями черная шляпа...

Тем временем Виктор Иванович со сноровкой дневального мыл посуду, прикрывал пледом постель, что-то протирал, что-то быстренько чистил выдернутым из шкафа пылесосом — и мужчины выходили во двор.

Синий лак сверкал на свежемывтой машине, стеганые сиденья кремовой кожи внушали даже самому Юрию Матвеевичу

почтение к достойному экипажу. Хлопали мягко дверцы, Виктор Иванович чисто вписывался в проем арки — они отправлялись на утреннюю прогулку.

Часов до трех-четырех пополудни катались. Так объехали все дачное Подмосковье, рассматривая прелестные старые срубы с черными проваленными крышами и остатками резьбы по рамам, изумляясь безобразию строящихся кирпичных дворцов. Однажды, при виде незаконченного трехэтажного краснокирпичного уродства где-то в районе Краскова, архитектурное сердце Шацкого едва не остановилось, ему сделалось действительно плохо, Рожков выволок его под мышки из машины, усадил прямо на землю под деревом — еле бедняга отдышался. «Россия всегда была вне материальной культуры, — хрипел старик, пока Виктор Иванович наливал из термоса чай, — либо курная изба, либо Покрова на Нерли, либо хоромы по итальянскому проекту, середины нет...» С того раза стали возить с собою набор сердечных средств и транквилизаторов.

Поездили и по самой Москве, вместе дивясь темпам стройки, безобразию новых памятников, обилию торговли. Юрий Матвеевич особо изумлялся предугаданному им сходству с Африкой, не уставал объяснять свое удивление внимательно молчавшему Рожкову, иногда отвлекался от окружающего и сбивался просто на воспоминания...

В два-три обедали, выбрав для этого не ресторан — ежедневно это было бы в Москве дороговато и для французского пенсионера, — а какую-нибудь преображенную, сильно улучшенную пельменную, пирожковую, закусочную. Собственно, пельмени были те же, что подавались здесь и при коммунистах, из пачки, но тарелки стали почище, столики пофасонистей, без перерыва заиграла жуткая музыка (ее Юрий Матвеевич, послевоенный парижский интеллектуал, поклонник французского экзистенциализма и американского бопа, неукоснительно приказывал заглушить и, что удивительно, его слушались) и появился огромный выбор напитков, от обычно поддельного армянского коньяка до настоящей мексиканской водки, и набор этот уже всем стал привычен, и забредающая иногда молодежь как раз непременно брала текилу и пила ее по всем мексиканско-техасским правилам — слизывая перед глотком соль, насы-

панную между большим и указательным пальцем, и высасывая лимон...

Брали полный обед, Виктор Иванович пил любимую обоими русскую родниковую воду, продающуюся в пользу Церкви, Юрий Матвеевич обязательно выпивал пару рюмок смирновской, русской же, — не из патриотизма, а потому, что была лучше любых немецких и даже шведской, — а еду запивал недорогим итальянским красным.

Затем возвращались домой.

Садилась в кресла у телевизора, молча, не делясь впечатлениями, смотрели все подряд, только переключая каналы, — старые советские фильмы, жутковатые новости, чудовищные шоу, устраиваемые малограмотными, косноязычными и сверхъестественно наглыми кретинами для таких же, видимо... Иногда по дороге покупали кассету, чаще всего с каким-нибудь американским action, оба очень любили. Устраивали себе праздник: к фильму Юрий Матвеевич покупал еще и флажечку scotch, относительно которого у него с Виктором Ивановичем, оказалось, вкусы тоже сходились. К концу боевика, среди финальных нокаутов, выстрелов и взрывов, салютовавших торжеству добра, делали по последнему глотку Bell's или Johnnie Walker, приканчивая емкость. В этом случае Рожков отправлялся домой позже обычного, Шацкий немного провожал его по Тверской, покуда тот не сворачивал в переулок, намереваясь пешком, короткой дорогой, дойти к себе на Арбат, а Шацкий после этого еще гулял...

Но нередко, отдохнув полчаса-час у телевизора, мужчины начинали снова собираться — к вечеру. Юрий Матвеевич надевал свежую рубашку, стирала их преотлично одна милая женщина из ближайшей прачечной, которой два раза в месяц Рожков привозил большой пластиковый мешок, сначала официально, с квитанцией, но постепенно перейдя на private отношения: утром привезет тридцать-сорок рубак, Юрия Матвеевича и своих, а на завтра заберет переглаженные и разложенные стопками... Вместо дневного серого надевал старый парижский худи и фронт синий костюм, но тоже фланелевый и широкий, мешком. Бант повязывал теперь неожиданно лимонный или, напротив, серебристо-серый в вишневый ромб. В теплую

погоду вместо пальто носил Юрий Матвеевич столь же огромный пыльник, в сильные же морозы — увы, в Москве все более редкие — гигантский муттон, да еще завязывал горло длиннейшим английским шарфом. Шляпа с опущенными полями оставалась неизменно черной, в память, видимо, о романтической молодости, разве что в самый разгар лета ее сменяла кремовая, из манилы, но столь же обвислая. И костюм при этом бывал кремовый или беж, полотняный, еще шире, чем зимний...

Пока Юрий Матвеевич одевался в свет, Виктор Иванович грел во дворе мотор, протирал стекла и наводил еще больший порядок в багажнике — впрочем, абсолютно пустом, необходимое любому шоферу барахло, в отличие от нормальных российских водил, набивающих им багажники, держал он у себя дома, прямо в комнате. Ходил Виктор Иванович по сезону в темном пальто и всегда в темном же костюме, в белой рубашке с гладким черным галстуком — летом с короткими рукавами и без пиджака, но галстука не снимал. А голову Рожков, по спортивной еще привычке, покрывал объемистой серой кепкой-букле, и это была единственная вольность в его костюме — кстати, весьма уместная, чтобы не совсем иметь вид хозяйского шофера.

Собравшись таким образом, они отправлялись в театр — пару раз в неделю уж обязательно; или на вернисаж — на которые Юрия Матвеевича, быстро признав его как безусловного знатока и надеясь как на возможного покупателя, галеристы приглашали постоянно; либо просто в ресторан — из недорогих, но и не из самых дорогих, особенно Шацкий полюбил один небольшой на Сивцевом Вражке. Кухня там была разнообразная и доброкачественная, прислуга, по русским меркам, приличная, музыка из динамиков тихая, в основном издавна обожаемая Шацким боса нова и полюбившееся в последнее время фламенко, обстановка не слишком пошлая, даже некоторый амбьянс имелся. И у подъезда вроде бы не стреляли, во всяком случае, Виктор Иванович место считал более или менее безопасным... В ресторане с Шацким уже здоровались и примерно знали вкус.

По дороге они беседовали, это всегда были серьезные разговоры о вещах основополагающих.

«И не в том дело, — продолжал Виктор Иванович развивать свою мысль, плавно и тяжело вписывая в переулки тускло сверкающее тело монстра со старомодными, вертикально поставленными фарами, бросавшими желтый свет на пустые, изувеченные снежными наростами и провалами тротуары, — не в том дело, что у власти те же коммуняки и ворье, а в том, что мы сами такие. Разве я не прав, Юрий Матвеевич? Что, их с Луны к нам спустили или цэрэу внедрило? Не в том дело (он очень любил этот оборот), что каждый народ заслуживает своего правительства, а в том, что правительство, хоть оно из аристократов, хоть из быдла, оно и есть народ, те же самые люди. Вы ж знаете, я был невыездной, только в Турцию и вырвался, когда комиссии райкомовские уже отменили, а деньги еще не поменялись, но читал, следил за всем, думаю, кое-что понял... Ну, американский президент от любого их адвоката ничем не отличается, по той же моде живет: сейчас положено по утрам бегать, негров любить и от баб шарахаться, чтобы не засудили, — он бегаёт, любит и шарахается, да еще с курением борется... Америка вообще все больше, как мне отсюда кажется, становится похожа на совок, только богатый очень... Но ведь и в Европе то же самое. Ваш-то, французский начальник — такой же жлоб и тайный бабник, как любой булочник, немец на всех его земляков-пивоглотов похож, англичанин такой же отмороженный, как все их джентльмены, которых в школе пороли... Ну, и наши: что мой сосед — лентяй, пьяница, мыслитель самодельный и мелкий вор, что депутат, за которого он голосует, — один черт...»

«Однако строги вы к человечеству, голубчик, — вздыхал Юрий Матвеевич, слушавший терпеливо, никогда не перебивая. — Относительно соотечественников согласиться, хотя бы отчасти, могу, не мы с вами первые это заметили, еще классики наши не жаловали ни простую чернь русскую, ни чернь властительную. Хотя, конечно, не забывайте, что житейскому и душевному нашему разгильдяйству соответствует душевная же отзывчивость, «вселенская», как гений выразился. Да и по-житейски народец наш российский бывает иногда и приятен, не так ли? Как потащит все на стол нежданному гостю, да еще за водкой побежит на последний грош... Но уж европейцев вы зря

так честите, там к власти народ приходит серьезный, дельный, из толпы выделяющийся, там-то как раз выделяться не зазорно, а наоборот. А вот американцы — тут вы правы, как есть дурно воспитанные дети, и президенты их такие же...»

Иногда, уже доехав до места, Шацкий еще минут десять не вылезал из машины, договаривали разговор — было им друг с другом интересно, у них и банальности были общие.

Пока Юрий Матвеевич проводил вечер, Рожков парковался где-нибудь поблизости, но не у самого подъезда — чтобы внимание к машине не привлекать, но выход видеть и подать сразу, как покажется громоздкая фигура, подсвеченная из двери, будто на сцене, — и полудремал чутко, заперев все дверцы, подняв все стекла, а правую руку свесив в узкое пространство между сиденьем и панелью: там держал кое-что на всякий случай, город становился все опасней.

Шацкий ужинал, или смотрел спектакль, или бродил по галерее — в одиночестве — часто, впрочем, кланяясь все прибавлявшимся светским знакомым, но ни с кем в долгие разговоры не вступая, как человеку истинно светскому и подобает. За едой, вином и кофе, который пил на ночь, не смущаясь возможностью бессонницы, сон все одно был из рук вон, хоть что хочешь делай, Юрий Матвеевич предавался воспоминаниям, что для пожилого и одинокого мужчины естественно. Воспоминания иногда отвлекали его даже в театре от происходящего на сцене, или на выставке он вдруг обнаруживал себя бессмысленно стоящим перед абсолютно неинтересным полотном...

Вспоминал же Юрий Матвеевич все чаще не сизые парижские закаты; не замкнутое каре своей любимой площади де Вож, с парочками в недвусмысленных позах на траве; не жаркие и диковатые страны, турок и сербов-артельщиков, так и норовивших, только отвернись, либо кладку на авось сварганить, в чертежи и носа не сунув, либо своих же земляков-рабочих обобрать; не родительскую ферму и бродившее по ней семейство ослов, Жана, Мари и Жана-пети, содержавшихся без практической цели, по душевной к ним привязанности семейства Шацких; не пейзажи Альп или Великих Озер, не Катманду и не Манчестер; и даже родителей своих и своих друзей,

тоже большею частью переселившихся в иной мир, вспоминал он нечасто...

Главными в его воспоминаниях были женщины.

Удивлялся он даже не самим воспоминаниям такого рода, а тому, что посещали они его в Москве гораздо регулярнее, становились все ярче и навязчивей — ничего подобного в Париже в последние годы не бывало, и Юрий Матвеевич начал было уж думать, что с этим вовсе покончено, и, если по чести, радовался освобождению.

Потому что лет до пятидесяти пяти женщины в жизни успешного и известного архитектора Шацкого занимали неестественно огромное место, жизнь эту ломали, как могли, изуродовали, в конце концов, насколько сумели, да и когда понемногу отстали, уплыли в прошлое, след оставили неприятный: еще и в молодости, будучи человеком верующим, он постоянно казнил себя за беспутную жизнь, а уж в старости, когда к встрече с Всевышним начинают готовиться и самые отпетые вольнодумцы, он остался вовсе только с раскаянием, сожалениями и стыдом — хотя уже причины стыда стали прошлым.

В Москве же, хотя здесь он так же обязательно ходил к воскресным службам и на все праздники в известный храм Воскресения на Успенском Вражке, как в Париже в собор Александра Невского, — почему-то в Москве как-то отошел, стал дальним и бледным фоном стыд, потом и раскаяние словно отстоялось, осело как бы осадком в стакане налитой из московского крана воды, остались лишь сожаления, да и те стали скорее практическими: тогда, мол, не так себя вел и вот тогда — тоже, все могло обойтись без сокрушительных последствий, если бы...

Изменения эти иногда пугали его, он будто спохватывался — да что же это со мною, старым дураком, происходит, мало, что ли, хлебнул и других заставил нахлебаться, забыл разве, сколько горя и поздних слез было, как мучился, — но ничего поделать не мог, через небольшое время мысли эти уплывали, растворялись, и лишь много спустя замечал, что уже давно думает снова о том же, всплывают проклятые картины.

Женат он был давно.

После войны, в студенческом неустройстве, в пьяноватой атмосфере рив гош сошелся с некрасивой, но, как водится, от это-

го только более прелестной, юной — моложе его на два года — полькой. В Париже оказалась она, как многие того времени беглецы из Восточной Европы: в сумятице, пока советские энкавэдешники и местные коммунисты не огляделись и не принялись наводить свой порядок всерьез, родители ее, небедные по лодзинским меркам люди, прихватили все ценное, что могли увезти, и по еще не перегороженным дорогам вырвались на свободу. Когда же Юрий Матвеевич познакомился с Басей в забегаловке на рю Монж, она уже была настоящей парижанкой, то есть: носила берет, короткие и узкие черные брючки и мужской, туго подпоясанный плащ, много курила «Голуаз», работала непонятно кем в какой-то маленькой экспортно-импортной конторе на Републик (скорее всего, жульнической) и вечером ходила на лекции по театру.

Они жили, как положено, в плохо переделанном под квартиру чердачном чулане, в дряхлом доме позади Инвалидов, на ящиках и рваном тюфяке, питались кофе, рогаликами и самым дешевым розовым из Прованса, и жизнь их, за исключением часов семи-восьми в сутки, на помянутом тюфяке и проходила.

Ему шло к двадцати, ей было только-только восемнадцать, они прожили вместе год.

А на исходе того года, совершенно невменяемый от непрерывного, до черно-зеленых кругов под глазами испытания своих и ее сил, — оба оказались одержимыми, бешеными, — он брел с занятий в своей архитектурной школе за нею, чтобы забрать из конторы и снова по безденежью пешком отправиться домой, на чердак, прихватив по дороге багет, немного сыру и литровую бутылку кот де Прованс...

В конторе — кажется, перед каким-то праздником — было пусто, консьерж наверняка пил уже какую-нибудь дрянь в брасри напротив, деревянная лестница с узкими ступенями скрипела, когда он поднимался...

Но, оказалось, скрипела недостаточно громко...

* * *

Вот до этого места я и дописал уже почти полгода назад роман. И тут как-то пошло-повалилось: заболел, рассорился с близкими, работы прибавилось — забыл сообщить, что я вовсе не профессиональный романист. Я служу в большой, но на ла-

дан дышащей, как, впрочем, и все вокруг, фирме, по образованию я инженер, но работаю уже лет восемь непонятно кем, так, общее руководство, суета, то, что называется в моей нынешней стране бизнес, зарабатываю на неголодную жизнь, а романы пишу давно, но толку нет... Так вот, работы прибавилось, потому что хозяева фирмы напугались, видимо ощутив, что именно на ладан дышим, и совсем не осталось ни сил, ни времени сочинять чужую жизнь, дай Бог со своей справиться, а тут еще пришла в голову спяну одна мысль...

Лежал я поздней ночью на мятой и мокрой по летнему жаркому времени простыне, начинал падать в обморочный, но — по опыту известно — недолгий пьяный сон и вдруг дошел: а зачем его писать-то и дописывать? Мне и так все известно, что дальше будет; читателю — если таковой даже и найдется — можно по-быстрому все короткими словами пересказать, чтобы и он время не тратил, а употребил бы его с пользой — в Эмираты челноком съездил или с коллегой разобрался по понятиям; что же до издателя, то, во-первых, его не предвидится, во-вторых, и он таким оборотом будет доволен, поскольку при равной стоимости бумаги и полиграфии мой художественный прием позволит выпустить на рынок гораздо больше увлекательности (если таковая вообще в замысле присутствует).

Я протрезвел, непрочный мой сон улетучился совершенно, и начал в быстро проясняющемся (до возможных пределов) уме складываться этот самый пересказ.

Получилось вот что.

Мой герой, потомок первой волны эмигрантов, французский архитектор на пенсии, решил прожить остаток дней на освобожденной от большевизма родине предков. В Москве он купил весьма странную, но стильную — как парижскому архитектору, даже и на пенсии, подобает — квартиру: над аркой дома сталинских лет постройки помещение, ограниченное с двух сторон гигантскими итальянскими (полукруглыми) окнами, а с двух других — выходами, ведущими в два, по обе стороны от арки, подъезда. Окна же выходили — одно на Тверскую, в

нижней ее, самой престижной части, а другое во двор, на возвышающийся там плоский холм бомбоубежища.

Оборудуя и обставляя эту свою квартиру, герой познакомился с работой новых времен: кандидатом наук, мастером-пятиборцем, тяжело выживающим в экономической свободе. Архитектор нанял его шофером, постепенно хозяин и слуга подружились...

И вот таким образом я было стал тянуть повествование, но опомнился: зачем? Ну расскажу, как герой мой, к величайшему удивлению для самого себя, прогуливаясь почти ежевечерне вблизи своего жилья по Тверской, познакомился, потом ближе сошелся, а после и подружился с московскими проститутками, как постепенно сделались они его старческой манией, уже жить не мог он без почти постоянного общения с ними. Стыдась, пользовался и профессиональными их услугами — притом, что никогда не позволял себе такого прежде, ни в Париже, где уж, казалось бы, пожалуйста, первый сорт, ни в экзотических местах, где и необходимость бывала, и все условия... Но чаще просто общался — что называется, по-человечески.

В общем, стали они называть его «французским дедушкой», и он этим даже немного гордился, а одну из них выделял, и постепенно...

Дальше сюжет был тоже ясен, но я опять остановился.

Ну, подумал я, и что из этого? Предположим, получится хорошо сваренный триллер: эта самая девка, которую он предпочитал всем другим, маленькое, складно сложенное существо с плохо выкрашенными желтыми волосами, работающее не только за деньги, но, по темпераменту своему, и для удовольствия, окажется подосланной. И однажды втривит моего героя в дурную историю, в которой окажутся замешанными очень большие денежные и государственные люди, — ну вроде бы простая разборка с какими-то уличными бандитами из-за шлюхи, вроде бы она бабки с них сняла и продинамила, вроде бы в его квартире спасается, вроде бы другие девки им подсказали, но на самом деле не такая простая история, а попытка подставить в поганое дело одного не то банкира, не то политика, не то всё вместе, — но герой с его шофером-дворецким-другом выкрутятся, уйдут через второй выход-вход странной квартиры, а менты по-

вяжут тех, кто сунулся в квартиру, и разразится очередной гигантский политический скандал в стране, а герой будет в ужасе и даст себе зарок никогда и ни в каких обстоятельствах с продажными женщинами не иметь дела, но тут вспомнит то удивительное чувство перехватывающей дух свободы, с которым вынимал оливковые сотенные бумажки и смотрел, как они исчезают в сумочке, а она уже раздевается, вдавленные полоски остаются от снятых лифчика и трусов, освобожденная, падает и расходится в стороны грудь, едва уловимый запах возникает в комнате...

И отказаться от переживания этого вновь и вновь — нет сил.

Словом, вечером он снова выходит на Тверскую и, к своему удивлению, встречает ту самую, с желтыми волосами, она пугается насмерть: и за меньшую вину девчонок мочат только так, — но он даже и не упрекает ее, он ее уже обожает, он уже понимает, что жить не может без этого мелкого животного, без этих ужимок женщины-клоуна, без этой московской Кабирии, и сам представляется себе Матроянни, что ли, и посмеивается над собой, и ужасается, и все крутится в полной Достоевской жути, в стыде, потому что он, кроме нее, водит время от времени к себе и других, доплачивая им, чтобы с нею не болтали об этом, он чувствует себя постепенно сходящим с ума, потому что он тайно! изменяет! проститутке! это действительно безумие, но он уже полностью утратил волю, чему способствует все увеличивающаяся дневная доза скотча, и уже вовсе какое-то дикое свинство затягивает его, и он специально приводит других девок либо сразу после нее, либо перед, чтобы еще было гаже, и чтобы совсем от себя самого тошнило.

Его шофер все видит и даже пытается остановить, образумить старика, которого очень любит, но слова его звучат уже в пустоте — поздно, покатила так вроде бы достойно завершавшаяся жизнь в грязную, липкую яму, в смрадный погреб, в подполье. И остается только присутствовать при этом и заботиться хотя бы о безопасности старого безумца, то исчезающего куда-то и являющегося невменяемо пьяным — тюкнут такого в темном дворе слегка, только чтобы обобрать явного иностранца, а ему окажется достаточно; то наводящего полную квартиру де-

вок — а им что стоит этого казанову, без малого семидесяти-летнего, клофелинчиком угостить и все, что в сумки поместится, прибрать, он наутро — если проснется, конечно, у девок-то дозы на молодых рассчитаны — и не вспомнит, кто был, а хоть и вспомнит, так к ментам не пойдет — стыдно...

И так все и движется, приближается с нарастающей скоростью естественный такого безобразия паршивый конец.

Она уже почти переехала к нему, и на жизнь он ей давал вполне достаточно, так что работу могла бы бросить, но ни она, ни он об этом разговора не начинали, и оба понимали, почему не начинают, но она это понимание не могла даже для себя сформулировать, а он-то мог, но не хотел — боялся.

И вот однажды, набравшись сверх обычного в компании своего все быстрее стареющего — и, соответственно, все быстрее пьянеющего — содержателя, желтоволосая заговорила, без истерики, нормальным своим, невыразительно нежным голоском, так же, как иногда рассказывала по просьбе совсем одуревшего от похоти старика о других клиентах и своих с ними развлечениях.

«Тогда ведь они могли тебя замочить, — сказала она, — только я с ними договорилась, что вторую дверь снаружи закрою, я им и про нее сказала, а сама не закрыла, так они мне не поверили и сами проволокой замотали, а я пошла и раскрутила, все пальцы изломала, а потом хотела своим ключом все-таки закрыть, надоел ты мне тогда с твоими ухаживаниями, а потом все-таки не закрыла, так что я тебя не только подставила, а спасла, а подставила их, потому что мне одни пацаны две штуки дали, чтобы я их подставила, а что те тебя замочат, этих пацанов даже устраивало, потому что тогда тем по пятнашке, минимум по десятке светило, а так они меньше получили, но я тебя пожалела, а потом и тебя боялась, тебе же не расскажешь все, и пацанов особенно боялась, но они меня не тронули, потому что тут все началось, в газетах и по ящику, и пацанам этого в принципе было достаточно, а я им сказала, что те сами дверь не закрыли, и пацаны мне, не знаю почему, поверили, а потом...»

* * *

В то же время, пока я все это излагаю, додумывая на ходу сюжет, в моей собственной жизни продолжает идти реальное

(так я думаю) время, и жизнь происходит сама по себе, независимо от моего сюжета.

В этой жизни существует город, ставший за последние годы не просто неузнаваемым, а поменявший даже климат, не то Сочи, не то New York, дикая влажность, все с непривычки ходят потные, липкие, жалуются на давление, а вокруг каждый день меняется картинка, уходят тени знакомой Москвы, случайно свернув в переулок, обнаруживаешь заканчивающуюся стройку, особнячок реконструированный или шикарный гостиничный билдинг в стиле фальшивого русского модерна, понимаешь, что, когда эта новая жизнь устоится окончательно, тебя уже не будет, и не знаешь — радоваться, что не доживешь, или плакать, но скорей все же радоваться, черт с ними, с комфортом и чистотой, которые неизбежно наступят, но та, единственно понятная и находившаяся внутри тебя, как печень или желудок, жизнь исчезла, и правильно будет исчезнуть вслед за нею только краем глаза посмотрев на новую, уже не твою.

Это фон.

А на переднем плане все своим чередом: служба, неприятности со здоровьем, вызванные как естественными возрастными причинами, так и — в большей степени — совершенно неумеренной жизнью... И однажды я заметил, что становлюсь все больше похож на своего недописанного, но скороговоркой обозначенного героя.

Открытие это меня несколько изумило. Общее место относительно Эммы, которая — я, в предыдущих моих литературных затеях никогда не опровергалось и даже наоборот: я ему следовал более, чем многие другие сочинители. Во-первых, потому, что по части выдумывания жизнеподобных ситуаций и характеров был слаб и сам знал об этом, так что приходилось заменять реальность всякими сказочными поворотами; во-вторых, потому, что по собственным читательским вкусам предпочитал угадывать за персонажами живых людей и, конечно, прежде всего автора, а писал всегда то и только то, что сам хотел бы прочитать.

Но тут все пошло наоборот: персонаж начал оказывать на автора такое влияние, что не только образ жизни и многие события стали совпадать: я заметил, что и стиль речи, выбран-

ный мною для характеристики престарелого французского русского, упорно называющего самолет авионом и говорящего «взять метро до Измайлова», все больше становится и моим собственным стилем. В разговоре это было манерно, а на письме возникли проблемы, потому что не получалась моя излюбленная косвенно-прямая речь, когда повествование идет то словами одного героя, то другого, а то просто авторскими, — а теперь стало все сливаться. Кстати, именно последнее меня и огорчило больше прочего, хотя, казалось бы, имелись обстоятельства и более серьезные: беспутство Юрия Матвеевича Шацкого, доходящее уже до натурального безумия, и безумия в московских условиях опасного, все сильнее забирало и меня.

Ночами совершенно не мог спать и, следовательно, опять пил. Причем добро бы только печень многострадальную тихонько добивал в ее собственном логове — неудержимо тянуло меня из дому, совсем не мог быть один. Придумывал себе любой повод, чтобы одеться, хоть бы и в третьем часу ночи, по-пьяному старательно проверить, все ли выключил, хорошо ли закрыл дверь, и выйти из рушащегося и, как следует, загаженного подъезда в городскую жуткую ночь. Ведь живу у вокзала, стоит ли по этой свалке ночью болтаться, здесь и днем-то противно... Но нет: то вода минеральная кончилась, то сигареты, а то и родимую прикончил раньше, чем в постель свалился, — словом, надо идти.

Благо, и город бесноватый не спал.

Тени бродяг, к которым прилипло удивительной выразительности советское сокращение «бомж», расплывались у дворовых помоек, возникали в сиянии ночных ларьков, одуряющий запах, казалось, распространялся от них на весь квартал. Проститутки пугали, когда проходил близко, совершенно мертво раскрашенными лицами, будто не в парикмахерской они побывали недавно и до работы не в своей, снятой на двоих, квартире трудились перед мутным зеркалом в ванной, а специалист в морге готовил их к встрече с клиентами. Впрочем, и клиенты были не лучше: бледные, большие, круглоголовые — черви. Тормозила машина, похожая на гигантский обмылок, девка склонялась, просовывала в окно голову, договаривалась... По двое-трое шли милиционеры, в безобразной серой сатиновой

одежде, в еще более безобразных картузах, нелепо торчали стволы автоматов — больше всего менты были похожи на статистов, изображавших полицаев в советских фильмах о войне. Вокзальные люди с клетчатыми гигантскими сумками в ожидании утра ели сосиски у вагончика-буфета. Бродили сумасшедшие; старухи-торговки, перебегая с места на место, играли с милиционерами в бесконечную игру; калека в камуфляже сидел, прислонясь к стене у входа в метро, и пил пиво из мятой банки...

Я шел к центру, возвращался с половины дороги, кружил по площади, с отвращением, страхом и непреодолимым удовольствием вглядываясь в эти тени, лица, фигуры и сцены, заходил наконец в забегаловку поприличней, такая на площади из круглосуточных одна, в ней меня уже узнавали, даже здоровались, охранник — все из тех же, конечно: круглая бритая голова, толстое большое тело, лицо чудовищного младенца — не просто кивал, а даже пододвигал к стойке табуретку для меня.

Однажды разговорились с ним о музыке фламенко — безумный, безумный город!...

То, что в других странах называется «двойной виски», здесь называлось «соточка». Я долго сидел, разглядывал все входящих и выходящих в четвертом часу ночи посетителей — тех же девок, забежавших перекурить и куривших быстро, как работяги, часто затягиваясь; провинциального скоробогатея в невыносимо уродливом костюме с его толстоногой спутницей в больших локонах, которую он угощал столичным шиком в единственном знакомом ему месте; двоих совершенно пролетарского вида, чуть ли не в спецовках, не то азербайджанцев, не то югославов или турок, заказавших по полному ужину и по маленькой кружке пива; солдата, после одной рюмки водки уронившего голову на голубой берет и с ненавистью бормочущего в полусне что-то о пацанах, которые там с чурками за вас, а вы тут их девчонок...

Иногда я брал здесь вторую выпивку, но обычно сидел не больше часа, вроде бы сон начинал забирать, однако стоило выйти на площадь, как все проходило, и уже по дороге домой — все же заставлял себя возвращаться, пора — брал в ларьке и иногда прямо в лифте скручивал бутылке голову...

День же проходил в полусне, с кем-то говорил, встречался, делал что-то, а назавтра, проведя очередную такую ночь, почти ничего не помнил из предыдущей дневной жизни, зато из ночной все помнил прекрасно — лучше б не помнить... Какие-то страшные люди здоровались со мною, когда, всякими ухищрениями приведя себя в относительный порядок, я шел на службу. Однажды прямо у подъезда моей конторы окликнула меня некая украинская дама, с нею, кажется, выпивали неделю назад под утро возле памятника в центре площади — чуть сквозь землю не провалился, поймав изумленный взгляд проходившего сослуживца...

Словом, беда: полностью меня подчинил и погрузил в свою дикую жизнь придуманный мною старик.

Вдруг сообразил, что писать что-нибудь все же лучше, чем не писать.

Оказалось, что сумасшествие только и ждет, когда брошу писать, чтобы тут же наброситься со всем своим традиционным и тайным оружием, от пьянства до боязни одиночества, и прорвать оборону, углубиться в дальний тыл и все там разворотить, порушить, установить свои оккупационные порядки. Причем, как и следует агрессору, до начала боевых действий ведет подрывную работу, главной успешной акцией которой, понял наконец я, и было то ночное прозрение, когда, замороженный разведкой противника, уже проникшей на мою территорию, я вдруг додумался до того, что ненаписанное сочинение ничем не хуже написанного. Кто бы додумался до такого, не будь сумасшествие рядом, не работай его агенты тонко и точно?

Тем не менее дописывать историю Юрия Матвеевича совершенно не хотелось. Ну, допустим, изображу я ту желтоволосую во всей ее жизненной неистребимости и связанной именно с жизнеспособностью прелести; ну, предположим, и отношения их, почти противоестественные, опишу точно и с пониманием, а кульминационную сцену, action с бандитами, ворвавшимися в квартиру в то время, как герой одышливо спускался по второй лестнице, а слуга его спешил следом, оглядываясь на покинутое жилье и сжимая бесполезное в темноте оружие, — захватывающее: проверено, это я умею... И что же из этого последует? А ничего, ноль. Кончилось все это. Никому это не нужно, чита-

тели хотят одного, издатели другого, критики третьего, но никто не хочет того, что единственно умею делать я: этого дурацкого сочетания бесконечных подробностей быта, застревающих в глазу, как черная городская пыль, — с боевиком в духе средней руки американского кино, которое всем осточертело, тошнит от видео...

И тут же, продолжая рассуждать таким образом, снова ловлю себя: да ведь это безумие мое работает, его пропаганда!

Словом, запутался и знаю одно — писать не хочу и даже не могу.

А что же могу? Пить, бесконечных приключений искать, которые рано или поздно кончатся, чем положено. Уже ведь было, легко отделался, хотя изуродованный ходил с месяц. В следующий раз или девки ночные кого следует наведут, или сам подохну с перепоя — и все.

Нет, писать надо, одно спасение, хотя бы и без практического или литературного смысла, а просто ради выживания, с психотерапевтической целью.

И тут же замечаю, что ведь я, собственно, и сейчас пишу! Разве все это, и насчет бессмысленности писания, и насчет безумия неписания, не мною только что написано? Да вот же они, строчки.

Однако и это рассуждение, стоило задуматься, показалось мне полностью сумасшедшим, я сбился окончательно...

И вот один момент этих размышлений идиота пришелся на такой момент жизни, вполне, впрочем, обычный: я сидел в очередном заведении, которых в городе стало несчетно и становилось все больше. Заведение называлось «кафе-бар» и представляло собой зауряднейшее место своего времени: дешевые, откуда-нибудь из Восточной Европы, ресторанный мебель и стойка, довольно полный международный выбор напитков, совершенно советского вида тетка за стойкой и странные официантки — не то учительницы бывшие, не то мелкие чиновницы из накрывшихся главков, вежливые, но непрофессионально, по-домашнему. Посетителей, опять же по причине обилия нового общепита, мало: приезжая пара с пластиковыми пакетами, трое охранников в форме из соседнего банка, плотно перекусывающих с

«фантой», да один такой же, как я, одинокий пьяница с большими, видно, но деньгами — пил «Смирновъ» под грибочки.

Я же взял, как обычно, виски, утвердительно ответив златозубой за стойкой на два вопроса: «рэд лэйбола?» и «сто?», закурил без охоты, чтобы порция кончалась помедленнее, вяло и сбивчиво думая о том, о чем уже сказано...

И не заметил, как она вошла, подождала у стойки — обнаружил, только когда села напротив меня, с кофе и маленькой рюмкой, — видимо, коньяку, — глазами спросив, не занято ли.

Внешности она была самой что ни на есть милой, то есть такой, которую описать крайне трудно, поскольку ничего не то что особенного нет, но даже просто примечательного, а в то же время глаз ничто не царапает и даже наоборот — к какой детали ни присмотришься, каждая радуется. Такая красота — как действительно хорошая, английская, к примеру, одежда: незаметна, потому никогда не раздражает и не надоедает, и чем сильнее поношена, тем элегантней и дороже тому, кто к ней привык.

Вот и севшая напротив меня женщина, никак не менее тридцати пяти лет от роду, была, если присмотреться, очень хороша именно так, что хотя и возраст виден со всеми морщинками, легкими обвислостями и общим выражением; и яркого ничего нет, включая какую-либо косметику, кроме желтоватой помады; и причесана никак, просто пострижена «под горшок» — а решительно прелесть.

Все эти впечатления и соображения, конечно, отразились на моем лице, тем более что я их и не скрывал, а, наоборот, привычно продемонстрировал, почти автоматически.

Она очень ловко, почти в один глоток, выпила коньяк и медленно, сосредоточенно, не глядя по сторонам, допивала кофе. Закуривая вторую сигарету, я как бы с вопросом, но без слов протянул пачку и ей — это, как и подчеркнуто прямой, но теплый взгляд, следовало одно за другим абсолютно помимо моего сознания, так опытный водитель, не замечая, переключает скорости, перестраивается, держит дистанцию...

«Спасибо, — улыбка у нее была немного обезьянья, с гри-маской-оскалом, впрочем, приветливая, — а очень крепкие?..»

В прежние времена события стали бы развиваться таким образом: я бы сообщил, что именно очень крепкие, намекая таким образом на удивительные мужественность и силу, позволяющие курить французские «Gauloises» (а еще раньше — кубинские «Partagas»), затем, выслушав ужасания, пошел бы, несмотря на ее протесты, к стойке, взял бы пачку чего подороже для нее... И так далее. Но теперь я стал умнее, а здоровье — слабей, поэтому курил обыкновенные сигареты средней крепости и не суетился — уже знал, что обычно хватает взгляда и минимальной любезности.

«Не очень, — ответил я, щелкая зажигалкой и двигая к ней по столу пепельницу. И вдруг не удержался: — Еще коньяку?»

Ей-Богу, последовавшие за этим ее слова я сначала воспринял как плохо расслышанные.

«С удовольствием, — сказала она, — только спать с вами я не буду. По крайней мере, сегодня, ладно?»

...Мы просидели до закрытия, выпили поряточно, она не отставала, разве что каждая порция была вдвое меньше моей. Мы разговаривали, на несколько минут замолкали, молча делали несколько глотков, время от времени закуривали, опять бесконечно говорили. Вдруг оба почувствовали, что дико проголодались, я взял каких-то салатов, еще чего-то, ели молча. Поев, молча же закурили, выпили по последней.

Когда вышли, я остановил первую же проезжавшую машину — она жила в очень дальнем спальном районе, в машине сели на заднее сиденье оба, но не близко друг к другу, и продолжали молчать, сказать уже больше было нечего. У ее подъезда попросили шофера зажечь свет, она накарябала свой телефон на пустой странице моей записной книжки, я дал ей свой, прикоснулся к ее плечу — и дверь подъезда стукнула. «Поехали назад, в центр», — сказал я и, откинувшись, закрыл глаза...

«Самое ужасное в вашей жизни, — говорила она, — что вы совершенно не ощущаете собственного существования. Как бы (она очень любила вдруг ставшие модными в том сезоне обороты «как бы» и «на самом деле») вы не чувствуете себя, потому и не можете ни одной минуты в одиночестве пробыть, потому и

пъете, потому и романы ваши письменные (так и сказала: «письменные романы») либо получаются как бы... ну, игрушечными, не всерьез, либо вот сейчас и вовсе ничего не получается. И в жизни романы такие же: вроде бы горячо, как огонь, а руку поднесешь — не жжет...»

«Вы ведь пытались прислушаться к себе, правда? Но не получилось, я знаю. — В разговоре она делала длинные паузы и смотрела мне за плечо, будто читала там по телесуфлеру, я даже пару раз оглянулся, там не было ничего, уже почти никого и не осталось в баре. — И вы уже давно сдались, ведь и так можно жить, убедились, а временами даже и неплохо жили, правда? На самом деле...»

«Я уже давно знаю вас, читала кое-что, а одна моя подруга рассказывала, она встречалась с вами недолго, — тут я, к собственному изумлению, почувствовал, что краснею, она засмеялась, — но впечатления у нее остались хорошие, хотя и странные, поэтому я и предупредила вас как бы с самого начала... Поэтому я и решила к вам подсесть, мне кажется, что я многое про вас поняла, и мне вдруг захотелось вам это рассказать, лицо у вас было очень грустное, прямо трагическое...»

«Хватит обо мне, — сказал я, — конечно, как всякому человеку, кроме следователя, мне интереснее всего не о других, а обо мне, но все же...»

«И кроме писателя, я думала раньше», — перебила она.

«Кроме настоящего писателя, — с обидой согласился я, она улынулась и положила ладонь на мою, прикрыла ее, но я освободил, взял стакан, сделал глоток. — Так ведь я не настоящий, я и пишу не романы, а нечто вроде беллетризованных дневников, получается, что и для дела мне необходимо именно с собой в первую очередь разобраться. Поэтому я вам очень благодарен, несмотря на то, что, не успев познакомиться, вы уже бесчисленно меня наобижали, начиная с вашего дурацкого предупреждения и кончая последней вставочкой насчет писателя, но все равно мне так интересно, что я готов выслушать от вас все что угодно, и слушать это бесконечно...»

«Смотрите, — сказала она очень серьезно, — это может кончиться куда хуже, чем просто постелью пару-другую раз...»

«Или куда лучше, — галантно ответил я, она не обратила

внимания на мои слова даже для порядка. — Что ж, вы правы, абсолютно правы, — продолжал я, — только кто вам сказал, что именно неумение ощущать себя в каждый отдельный миг есть самая большая проблема моей психологической жизни? Возможно, действительно из-за этого не так, как хотелось бы, идут мои литературные дела, возможно, поэтому застопорилась последняя работа... Но почему вы думаете, что это и есть в моей жизни самое главное? Вот я, например, в последнее время — и когда вы подошли, тоже — решал для себя вопрос о смысле сочинительства в принципе. И чем дальше, тем больше склонялся к тому, что смысла этого не существует, а существует совсем другой смысл, о котором у нас, у как бы культурных людей, принято говорить только иронически, — смысл жизни. Понимаете? Именно жизни, то есть: сна и просыпания, еды, физической близости, ходьбы, добывания средств для всего этого, дыхания, наконец...»

«Выдумываете вы все. — Она допила очередную рюмку и с очевидным сожалением посмотрела на опустевшее стекло. Пока я ходил к стойке и возвращался к столу с новыми порциями, она влезла в мою пачку, взяла сигарету и теперь вертела в руках зажигалку, пытаясь понять, как она работает. Я отобрал у нее Zippo, щелкнул, она, почти не затянувшись, выпустила огромное количество дыма и долго молчала, снова высматривая что-то за моей спиной, потом заговорила едва слышно. — Выдумываете, потому что боитесь себе признаться: не литература кончилась, а ваша литература, и кончилась потому, что не можете вы больше ничем заниматься, пока не научитесь себя слушать, пока будете, как только остаетесь один, чувствовать себя пустым местом... Не обижайтесь...»

Поскольку к этому времени выпили мы очень порядочно, на последних ее словах я почти заплакал, вернее, просто заплакал, только слезы не пролились, удержал я их на нижних веках, а может, и не удержал — уже был очень хорош. Причем, хотя она была тоже не совсем трезва, но, насколько помню, куда нормальней меня. Конечно, и выпила вдвое меньше, но ведь и весу в ней по сравнению с моим, небось, половина, к тому же дама...

Словом, назавтра сидел я сразу после службы там же, за

тем же столиком, ждал, хотя договориться не удалось — она не позвонила и к телефону не подходила, не отвечал ее номер.

Просидел я минут двадцать, не больше, еще и первый стакан не допил, когда она вошла, из дверей кивнула без улыбки, протиснулась между столами, села.

«Вот еще что я забыла вчера сказать, — заговорила, глядя в стол, я сделал движение встать, пойти к стойке, она удержала меня за руку, отрицательно покачала головой, — зря вы это все записываете, я знаю, записываете, но литература о литературе, роман о романе — это последнее дело, вы же сами всегда так считали и даже говорили. Бросьте это, придумайте что-нибудь другое, если не получится, вообще бросьте все, измените жизнь. На самом деле...»

«На самом деле, — передразнил я, — никак я в себя со вчерашнего вечера не приду, не опомнюсь никак от этой мистики. Или мне все это с перепою мерещится? Не похоже, да и почему я раньше никогда до такого не допивался? Кто вы? Откуда все про меня знаете и, как графоманы пишут, читаете в моей душе, как в открытой книге? Что за чертовщина? Ну, чем вы, например, занимаетесь в остающееся от разговоров в забегах со случайными знакомыми время?»

«Что ж вы все паясничаете...»

Она вздохнула, глянула на мой стакан, я, не дожидаясь ее возражений или согласия, пошел к бару, быстро принес ей кофеек. Она тихонько поблагодарила, глотнула.

«На самом деле ничего особенного рассказать о себе я не могу. Обычная служба, как у всех сейчас, не по профессии. Чтобы существовать и время занять. А про вас я действительно все знаю, поэтому и подошла, я ж вам уже говорила. Откуда знаю? А...»

Она не нашла слова, только пожала плечами.

«Знаю — и все. И знала, что встречу вас, даже не искала специально. Зачем, если все равно встречу... Поменяйте все, слышите, поменяйте, поменяйте! И не выдумывайте себе про литературу, какое вам дело до литературы вообще, вы о себе подумайте, бросьте все это, если уж действительно больше не можете, бросьте все это, всю теперешнюю вашу жизнь, и не терзайтесь...»

Она замолчала, молчала целую минуту, наверное, и я молчал тоже... Наконец она закончила еле слышно: «И если вам будет трудно все ломать одному, совсем трудно, я помогу вам... Хотя из этого ничего не следует...»

И, не дожидаясь моего ответа, встала, быстро протиснулась к дверям, исчезла.

По всем канонам романтического жанра я приходил туда каждый вечер в течение примерно двух недель, но она не появлялась.

В эти две недели я не мог не то что писать, но даже и думать перестал о сочинении. Да и на службе стал невнимателен, что сразу же заметили, потому что был известен мелкой аккуратностью и абсолютной исполнительностью, чему все удивлялись, «надо же, творческий человек, а не опаздывает и долги отдает», не понимая, что именно так я освобождаюсь.

Однако, день за днем, я начал отвлекаться, сначала один вечер пропустил по какой-то причине, потом два просто так, за был — и все вернулось на старую дорогу. Пьянство, бессонница, безнадежные размышления о полной своей неспособности еще хоть когда-нибудь что-нибудь сделать — в общем, знакомый кошмар. Время от времени только всплывало откуда-то «поменяйте все, слышите, поменяйте, поменяйте», но всплывало неярко, как цитата из прочитанного, и о том, чтобы последовать этому призыву, с неожиданной исступленностью прозвучавшему еще так недавно, не возникало и мысли.

И еще не то две, не то три недели исчезли, провалились в забытое.

И однажды, случайно проходя мимо, я снова забрел туда — трудно поверить, но почти без мысли о ней, просто выпить, пора было возобновить состояние, плывущий туман, в котором находился постоянно.

Со стаканом, примерно на треть наполненным соломенно-желтой, едва ощутимо отдающей дымом жидкостью, я сел за столик в самом углу — и только тогда вдруг все наехало, возникло, проявилось, будто на болтающейся и всплывающей в кювете фотобумаге: за этим столом мы сидели в последний раз. Я выпил залпом — надо было перебить, отогнать видение — и двинулся к стойке повторять...

Когда я шел обратно, некто — он уже сидел в баре, когда я вошел, но я не обратил на него внимания — встал и деликатно, не полностью, преградил мне дорогу. Я молча, но с выражением вполне недоброжелательного недоумения посмотрел ему в глаза, а потом смерил взглядом с головы до ног — давно, еще во времена советских пивных, усвоенный мною прием отшивания ханыг, набивающихся на беседу и угощение.

Человек был ростом не мал, почти с меня, но крайне незначителен общим сложением, узкоплеч, с маленькой, сплюсненной с боков головой на тонкой шее. Нельзя сказать, чтобы он был лыс, просто сероватые волосы росли удивительно редко, нос был довольно длинен, тонок и извилист, губ, можно сказать, не было вовсе, а цвет глаз — возможно, из-за недостатка света в забегаловке — не просматривался. Одет он был соответствующим образом: кажется, серый, кажется, костюм, кажется, серая, кажется, рубаха...

Однако стоял он, препятствуя моему движению, твердо, не реагируя на мои красноречивые знаки глазами.

«Да?» — Я вложил максимум неприязни в этот полувопрос, поскольку с кем бы то ни было общаться сейчас мне не хотелось даже больше обыкновенного.

«Извиняюсь, не такой-то будете?» — говорил он с каким-то не совсем мне внятным провинциальным акцентом, но робкими были только слова, а интонация вполне независимая.

«Допустим, — все так же недоброжелательно и даже грубо ответил я, — а откуда, собственно, вы меня знаете, и какое у вас ко мне дело?»

«Да вы присаживайтесь, — пригласил он, как будто я к нему на прием пришел, — присаживайтесь, два слова, буквально, чисто одна минута...»

Он отступил в сторону, я прошел к своему столику и сел, он тут же пристроился напротив. Стало понятно, что это тот случай, когда проще послушать минут десять и только потом прогнать, чем продолжать настаивать на своем праве непрерываемого одиночества.

«Только, пожалуйста, недолго, у меня совсем нет времени. — Я заметил, что уже оправдываюсь, так всегда бывало,

когда я сталкивался не с грубым напором, а вот с таким канючением. — И вообще я сегодня устал, хочу один побыть...»

«Буквально пять минут, важное дело, понимаешь...»

И не успел я продохнуть от этого внезапного перехода «на ты», как он уже брякнул:

«Вот, понял, девушка тут с тобой недавно была, я о ней предупредить хочу, что она это... нечестная... в общем, по жизни конкретно... ну, сам знаешь... по-мужски говоря, блядь в смысле...»

Кто бы мне объяснил, что случилось тогда в моей голове? Но почему-то вместо того, чтобы послать его или даже обозначить — хотя бы — движение кулака к его упырьей роже, я спросил:

«А почему я раньше... тебя здесь не видел?»

Неожиданно этот идиотский вопрос произвел на него впечатление, он засуетился, вскочил из-за моего столика:

«Да я вон там, вот здесь, понял, тебе не видно было, а я там сидел, чисто выпить пива зашел, и тут, прикинь, вижу ее, я по жизни ее вот так знаю, ты понял, мы в школе вместе учились, а потом она пошла и стала ходить, и столько пацанов подставила, ты вообще упадешь, а кто ей тебя велел сделать, я знаю, но это такой крутяк, я даже тебе не скажу, пусть мы с тобой братья, но тут все отдыхают...»

В этот момент пародийной его речи до меня дошел наконец ее смысл, и с легким щелчком — так становятся на место детали оружия, собираемого «без отвертки», — стало на место все, что происходило со мною с того вечера, как она под села ко мне...

«Пошел отсюда! — прошипел я, приподнимаясь, и он тут же оказался стоящим у выхода. Я оглянулся — дело, видимо, и на этот раз шло к закрытию, в заведении было пусто, только буфетчица испуганно пялилась на меня из-за стойки. Он сделал было движение вернуться, объясниться, видимо, хотел, гадина, но я уже заорал, как не орал давно, с молодых времен, с качанья прав, предшествовавшего дракам: — Пошел, гнида, еще рот откроешь — удавлю на хер!»

Он исчез. Со стороны стойки раздался негромкий звук, я оглянулся — буфетчица прокашлялась и уже почти слышно прошептала:

«С пацанами вернется, он с пацанами вернется, ой, молодой человек, он же с пацанами вернется, вернется...»

Да, все встало на место.

Вот почему она показалась мне с самого начала отчасти знакомой, я-то подумал, потому, что у нее внешность такая... среднеарифметически симпатичная, — ничего подобного, просто она абсолютно совпадает с описанием той, желтоволосой, только выкрашена получше, все же не уличная...

Она проститутка.

Она пришла, чтобы меня подставить.

Следом за нею идут бандиты.

И уже начинаются неприятности, но есть ли вторая дверь, чтобы уйти из этой ситуации?

И оставит ли она ее открытой?

А ведь я уже привязался к ней не меньше, чем несчастный мой герой к той шалавке.

Неужто же я должен повторить за ним все, весь сюжет, а не только бессоницу и пьянство? Что это за новые тайны литературы?

Литература... Она советовала, почти требовала — бросить все. Тут отличие... Та, в романе, ничего старику не советовала, та была попроще...

Ну, так и я не престарелый архитектор, не русскоязычный француз, полного отождествления не бывает.

Нельзя писать роман о романе, напомнила мне она, нельзя писать о своем писательстве, надо менять жизнь.

Она была права, надо менять жизнь.

Я додумался до этого, сидя за тем же столиком через пару дней. Дни эти прошли самым заурядным образом.

Просыпался, как многие известные мне сильно пьющие люди, в каноническое время — в половине пятого. Нельзя сказать, что это была знакомая всем картина похмелья, с головной болью, тошнотой и каким-то сверхъестественно ужасным вкусом во рту — нет. Впрочем, возможно, она стала бы такой, помедли я некоторое время, но я не давал синдрому разгуляться, а немедленно, не глядя, протягивал руку и нащупывал стоящую с вечера, точнее, с ночи, на полу в пределах досягаемости недо-

битую емкость — чаще всего ноль семь White & Mackay, самого дешевого в городе, но настоящего scotch. Движение — отвинтить пробку, следующее движение — чуть приподняться на локте, следующее — другой рукой горлышко ко рту... Как говорил один мой приятель: «Горнист, играй подъем!»

При совершенном моем неприятии в определенного рода контексте определенного рода подробностей — здесь упомяну: в этом случае подъем, как правило, можно было трактовать в двух смыслах, из которых один был вполне игривым. Так уж устроен мой организм, что утром с перепою он чрезвычайно активизирует деятельность гормонов...

Глотнуть надо было ровно столько, чтобы почувствовать самое легкое движение в мозгах — не опьянение, а именно едва заметный сдвиг, маленькое смещение мира, как бывает, когда трогается тяжелый дальний поезд и за окном начинает медленно перемещаться оставленное пространство. Ни в коем случае нельзя тут же продолжать — и оглянуться не успеешь, как уратишь контроль, и результат может быть ужасным: например, однажды явился на службу совершенно невменяемым, что было замечено, серьезных неприятностей не последовало, но недоумение на следующий день было высказано, а главное, сам, пока не очухался часам к двенадцати, успел много глупостей натворить...

Запив любимой водой из пластиковой бутылки — «Святой источник», на этикетке много православных слов, питьевая дань патриотизму, — начинал готовиться к жизни: бритье, долгий душ, еще более долгое и тщательное одевание. В результате примерно через сорок минут был довольно бодр, хотя одутловат и темен лицом, но в общем благообразен — и уже, как ни странно, очень хотелось есть. Иногда энергии хватало даже на изготовление яичницы с попавшимися под руку наполнителями и добавками — помидорами, ветчиной, давно сваренной картошкой, чаще же обходился самими этими продуктами в изначальном виде, с хлебом, если был.

Одно оставалось обязательным: перед завтраком совершался второй глоток такого же объема, что и первый. После него возникали довольно ясные и даже любопытные мысли, беда только, что их никогда не удавалось запомнить.

Тем временем на плите начинала булькать и бормотать кофеварка, предварительное мытье и снаряжение которой составляло самую неприятную, но необходимую часть подготовки к завтраку. Я, в свою очередь, уже был способен пить кофе — будто и не накачивался виски до середины ночи. Клянусь, никакого давления, никаких желудочных спазмов не чувствовал, с удовольствием закуривал, сидел за кофе не торопясь, сделав, конечно, перед тем третий и последний за утро глоток.

Настроение, естественно, было ужасное, но физическое самочувствие, честное слово, отличное. Никто не верил, да и я сам удивлялся, но факт оставался фактом, более того — в самые беспробудные времена однажды даже прошел небольшое обследование, и знакомый, знающий мой образ жизни врач только плечами пожал: «В прежние времена говорили, в космонавты годен. Черт тебя знает, может, тебе показано пить...»

Потом двигался на работу. Выход из дому сопровождался строго определенной последовательностью действий, о чем уже упоминал.

Во-первых, кошкам оставлялась в достаточном количестве еда — забыл сообщить, что я фанатический, болезненный кошатник, у меня их одновременно бывает не меньше двух плюс сменный контингент, спасенные котята, которых пристраивает в хорошие руки жена... Как, и про жену не сказал?! Есть, есть и жена, только как-то отсутствует она все время...

Ну, ладно. Во-вторых, проверялось выключение газа на кухне, воды в ванной, телевизора в комнате, света везде.

В-третьих, осторожно, чтобы близкие мои не выбежали на лестницу и не пришлось их ловить по всему подъезду, приоткрывалась дверь, я просачивался на площадку и, фиксируя про себя каждый оборот, а то придется возвращаться с подороги проверять, запирали все замки — все-таки вокзал рядом, брать-то особенно нечего, но кошки пострадают.

Затем преодолевалась короткая дорога на службу. Иногда, почему-то опаздывая, — умудрялся за утренними сборами, точнее реанимацией, провести больше двух часов — ловил машину, но чаще ехал в метро, разглядывал утренний народ, оставался им недоволен, хотя признавал, что в среднем вид за последние годы улучшился.

Из темного стекла дверей глядела на меня еще одна мало-симпатичная рожа — пожилой господин, одетый слишком тщательно для интеллигентного человека, с нелепо напряженным выражением...

На службе с утра начиналась суэта: первое оперативное со-вещание. В воздухе стояло сумрачное утреннее раздражение, складывавшееся из отдельных маленьких раздражений всех участников и перекрывавшееся мощным и совсем черным раз-дражением начальника.

Это относительно молодой еще, но быстро стареющий чело-век. Основной его пунктик — склонность за любой ерундой ви-деть второй и третий план, различать чью-то интригу, улавли-вать подводные течения, борьбу интересов... А поскольку жизнь — по крайней мере, в нашей стране — в основном идет без всякой интриги, складываясь как равнодействующая мно-гих миллионов идиотических поступков, каждый из которых не имеет ни ясной причины, ни желаемого кем-либо смысла (я в этом совершенно убежден и имел сотни подтверждений своей правоты), то начальник наш весьма часто совершает глупости, как любой так называемый здравомыслящий человек, имею-щий дело с так называемыми сумасшедшими. Возможно, он был бы очень хорошим начальником в другое время или в дру-гом месте, при мерном и устойчивом течении жизни, среди уравновешенных, целесообразно действующих людей, имеющих достаточно рассудка и просто времени, чтобы разыгрывать жи-тейские партии по законам шахматных... Но наша жизнь идет, дергаясь, раскачиваясь и бестолково кружась на месте, как пья-ный, вылезший в одурении на середину мостовой. И начальник раз за разом попадает пальцем в небо. Все его расчеты оказыва-ются ошибочными, люди, которым он верил, обманывают его чудовищно и обкрадывают фирму, проекты, как только их на-чинают осуществлять, обнаруживают абсолютную бесперспек-тивность и ввергают компанию в очередные убытки, и все идет хуже и хуже...

Он, понятное дело, нервничал, убивался, вероятно, — впро-чем, я это знал точно, — не спал по ночам... На его счастье, он был человеком непьющим. Единственное, что он мог себе позво-лить, это иногда сорвать зло на том из нас, кто был наименее

ответствен за происходящее и относительно кого он никогда не заблуждался, не возлагал все надежды, но и не разочаровывался — словом, нас, таких, было человека три.

От этой ситуации я бы давно ушел, да некуда было, а в наши времена с работы, которая дает пристойно существовать, просто так на улицу не уходят — собственно, так никогда и нигде не уходили. И приходилось терпеть раздраженный, брюзгливый тон, хмурый взгляд не в лицо...

Всю первую половину дня суэта продолжалась — неожиданные появления в комнате совершенно не нужных мне людей с дурацкими вопросами, ответы на которые они знали сами, но почему-то считали возможным и даже должным идти за ними ко мне; попытки урывками поработать с бумагами, в чем-то разобратся, но попытки оставались безрезультатными, потому что стоило сосредоточиться на чтении, как дверь открывалась, и я опять должен был отвечать, почему шеф к нему так несправедлив, ну, это же невозможно, вы же видите, что он придирается к каждому моему шагу... Не вижу, ответил я как-то одному такому искателю сочувствия, я бы вел себя на его месте гораздо хуже, а хоть бы и видел сейчас несправедливость, так обсуждать с вами не стал бы... Почему, изумился он, ведь я же никогда никому... Это еще неизвестно, сказал я, но в любом случае сплетничать про начальство глупо. Завтра я вам чем-нибудь не угожу, и вы к нему пойдете сочувствия искать...

К середине дня поток трудящихся, осточертевших до зеленых кругов в глазах, ослабевал. Тогда я запираю дверь и делаю то, что до тех пор делал второпях и тайком: наливал полстакана из купленной утром, по дороге, бутылки и с наслаждением выпивал. Дальше день катился к концу уже незаметно, вместе с понижением уровня в квадратном сосуде. Мне казалось, что поведение мое не меняется, но, вероятно, это только казалось, потому что все чаще заходили не те сослуживцы, у которых разнообразные проблемы, а те, у которых только одна, но вечная — выпить. Тем не менее дело как-то шло, я выполнял все необходимые процедуры. Что-то контролировал, что-то делал сам, участвовал в каких-то очередных совещаниях, коротких и длинных, обсуждал чужие предложения и выдвигал свои, которые кто-то даже считал здоровыми... Потом, часов в восемь, шел домой.

И все повторялось — тяжкое, постепенное пьянение, ночная тоска, блуждания, риск.

Так вот, через два дня я сидел в том самом кафе. Был относительно трезв, то есть выпил не больше обычного к этому часу. Думал о ней, о том мужике, о жизни, которую надо менять. Нисколько не удивился бы, если б сейчас вошла она или он, — тем более что буфетчица предупреждала о его вероятном возвращении «с пацанами», — но никто не входил.

Как же менять жизнь, думал я, что же она имела в виду? Совсем бросить писать, перестать мучиться, забыть? Интересно, был ли прецедент в отечественной истории, чтобы писатель ушел на покой, в отставку? Американец один — да, и поселился где-то на отшибе, и не встречается ни с кем... Только он до этого сделал мировой бестселлер, и мы на нем росли, да еще десятка два рассказов, и все это было действительно суперкласс, и к тому же потрясающе продавалось... А ведь логичнее было бы как раз нашим-то на пенсию уходить, государственным чиновникам... Они, собственно, и уходили — в переделкинские классики, на переиздания, премии, всяческие редсоветы и комиссии, но у меня другой случай и время другое, да ведь и они продолжали числиться...

Нет, надо просто бросить и забыть.

И службу бросить, подсказал сам себе. Интересно... А жить-то на какие шиши? Тем более что привычки завел... Один виски чего стоит.

И виски бросить. Уехать куда-нибудь в провинцию, где не то что в лицо не будут узнавать — и фамилию никто никогда не слышал, поискать работу полегче...

Идиот романтический, — опять сам себе. Там сейчас вообще никакой работы нет, здоровые, с профессией местные мужики найти ничего не могут, а ты с неба свалишься и тут же на легкую работу, да чтобы не голодать — ишь ты! Ты не один, — продолжал корить себя, — как же ты забыл, скотина! Все забыл... Жена... Надо устраивать кошек... А потом? С каких доходов будешь их всех кормить, из зарплаты сторожа в райцентре? Да, идиот ты, идиот...

И кого слушаешь? Даже неважно, что тот поганец ска-

зал, — а ты разве сам не видишь? Ну, пусть не проститутка, это чепуха, не выглядят так никакие проститутки. Но ведь явно неуравновешенная дамочка, с большой придурью, истеричная, к тому же все-таки слишком легко к незнакомому мужику подсаживается... Почему нужно следовать ее напыщенным советам?

А потому, — продолжал я диалог, — что ты и сам к этому же пришел, только сформулировать боялся. Давно додумался, но не решался. Бежать надо, иначе не выживу. Близкие... Что ж близкие, кое-что я им оставляю. Если продать машину, которую и так давно продать надо, третий год в гараже на даче гниет, ждет, пока хозяин протрезвеет, да ту же дачу продать — или, наоборот, квартиру сдать? — вполне жить можно...

А сам-то, сам все же что собираешься делать? — не отставал зануда. — Никто тебя никем и нигде не возьмет. Только здесь у тебя есть какой-никакой выбор, здесь тебя знают, в крайнем случае сменишь службу на другую такую же, побрятишь-побрятишь — и напишешь чего-нибудь, не сейчас, так позже, и издашь... Вот и все твое будущее, и никуда ты из него не выпрыгнешь, не выдумывай.

Да и зачем выпрыгивать? Не получается сочинение? Авань... Не первое, слава Богу, а последнее ли — видно будет. Потерпеть, потянуть, а там, глядишь, подступит... Вот-вот прорвется, уже течет холодный пот по хребту — есть, попал. Разве раньше не так бывало? Тупые, однообразные усилия, наработанная техника, холодный взгляд на себя со стороны — и вдруг начинает забирать, появляется чувствительность кожи — значит, вот-вот... Два главных в моей жизни процесса, как известно, благодаря старому венскому доктору, здорово похожи, и, соответственно, и в том, и в другом случае самое опасное — боязнь неудачи. Значит, нечего паниковать и черт его знает кого слушать, а вот с пьянкой притормозить — это действительно было бы неплохо...

Давно замечено: нет ничего опаснее, чем решение начать борьбу со слабостями или, если угодно, с пороками. Сколько раз решал не пить — столько раз немедленно после этого чудовищно напивался; сколько было твердых сроков расставания с какой-нибудь совсем уж непотребной дамой — тем круче все

заворачивалось именно после срока; каких только не было твердых намерений вообще с беспутством покончить — после того, как намерения эти возникали, самое безобразие и начиналось...

Вот и сейчас: стоило только мелькнуть мысли о борьбе с пьянством, как я, будто лунатик, встал и отправился к стойке...

Чем больше времени проходит с того вечера, тем труднее вспомнить последовательность происходившего. То ли сказывается выпитое тогда, а выпито уже было немало, то ли вообще память ослабела за последнее время — опять же из-за пьянства... Не знаю. Знаю только, что теперь могу описать все лишь весьма приблизительно. Будто вспышками высвечиваются отдельные картинки, а их очередность приходится восстанавливать по логике.

Но кто знает, по логике ли они выстраивались одна за другой в действительности? Логика ли управляет нами, когда жизнь ломается, летит в тартарары, поворачивается резко и вдруг? Логикой ли руководствуется Создатель и Господин наш?

Она появилась из кухни, отодвинула оцепеневшую за стойкой буфетчицу, без звука, губами, сказала: «Сюда, иди сюда!»

Я помедлил секунду, оглянулся на треск распахивающихся дверей и увидел входящих.

Это и были пацаны.

В тренировочных жутких костюмах, бритоголовые, тяжелые, без лиц, они протискивались в узкий вход.

Того, серого, я заметить не успел.

Но и они не успели заметить меня — они глядели прямо, им не хватало нервных клеток и возбуждения, чтобы улавливать все окружающее.

Не профессионалы они были, просто много мяса.

Я уже оказался за стойкой — не помню, как я туда попал, кажется, обошел справа.

В кухне было пусто и мертво, все выключено, повара, видимо, ушли.

В проеме черного хода небо светилось ярко-синим, уже почти стемнело.

Во дворе громоздились пластмассовые ящики из-под бутылок, в арке стоял пикап, перекрывая вид на улицу.

«Пойдем», — она взяла меня за руку.

Из кафе донесся грохот, голосов слышно не было — только рушилась мебель.

Мы прошли в глубь двора, там оказалась еще одна арка, и в ней тоже стояла машина, кажется, черная или темно-синяя, кажется, «Волга», а может, какая-то неновая иностранная, темно было, да и не до разглядывания, мотор тихо ныл, за рулем сидел человек, которого я не запомнил абсолютно.

Мы, с трудом приоткрыв в арке дверцы, протиснулись.

Машина задним ходом выехала в смежный двор, развернулась и, проскочив в промежуток между домами, попала на улицу, перпендикулярную той, на которой был вход в проклятую забегаловку.

О чем мы говорили в машине, я не помню, кажется, вообще молчали.

Остановились в квартале от моего дома, я написал на листке из записной книжки: «Не волнуйся, пожалуйста, прости, я дам знать о себе», приложил к этому все деньги, остававшиеся в бумажнике, дал ей и ключи, объяснил, как открыть и закрыть замки, кажется, сказал: «Не выпусти кошек».

Она исчезла, только после этого я сообразил, что с таким же успехом мог бы сходить и сам, впрочем, жена должна появиться только завтра утром, а прощаться с кошками я не хотел — и без того жутковато было...

Может, вернусь еще, подумал я тогда — точно помню, что мелькнула эта мысль и не до конца растворилась, только будто притаилась.

Водитель сидел, не оглядываясь.

«На вокзал, Виктор Иванович», — сказала она, влезая и с силой захлопывая дверцу.

Я молчал.

Молчал я до тех пор, пока перрон Казанского вокзала не уехал назад, в желтый свет фонарей, пока не перестали вспыхивать огненные пригоршни пригородов и за окнами не налилась тьмой пустота дорожного пространства. Только тогда я спросил: «Денег-то у тебя на сколько хватит?»

«Посмотрим», — ответила она так же коротко, будто и у нее горло перехватывало спазмами.

И мы уехали.

Собственно, мы и до сих пор молчим.

Да, совсем забыл: я ведь обещал объяснить, откуда взялось название романа о Юрии Матвеевиче Шацком и его странных приключениях в Москве.

Есть такая классическая джазовая тема с латиноамериканским привкусом, называется *Manha de carnaval*, написал ее *Luiz Bonfá*. Но есть у нее и другое название, английское — *A Day in The Life Of A Fool*. Между прочим, точно ложится на мелодию. По-русски — «День из жизни глупца». Хотя, конечно, резоннее было бы переводить нам с испанского: у них — день карнавала, у англо-саксов — день из жизни глупца... Пожалуй, наше соответствие — стакан с утра, и весь день свободен...

Да вы этот стандарт наверняка знаете, только название не помните. А Юрий Матвеевич название помнил и знал множество исполнений, потому что еще со студенческих времен, как я уж упоминал, очень любил джаз, сначала, конечно, боп, а потом увлекся боса новой, пластинки всю жизнь собирал...

И всякий раз, как ставил знаменитый концерт трио Питерсона в Париже, пятого октября семьдесят восьмого года, с Джо Пассом на гитаре и Нильсом Педерсеном на басае, и доходило до этой медленной и очень грустной темы, так глаза у него оказывались на мокром месте.

Потому что все, что происходит с нами, от рождения и до смерти, с нами со всеми — не день ли это из жизни глупца? Один лишь день из жизни глупца, вот и все.

Я тоже эту музыку люблю и тоже так считаю.

Поезд стучит, припадает к рельсам на сильной доле, пробрасывает брэйки... Та-та, та-та-та, та-та-та... Та-та, та-та-та, та-та-та... Ту-да, да-ту-да... Туда, да-ту-да...

Туда, да-да-да, да, туда.

Именно туда, да, туда. Пора, день кончается.
День из жизни глупца.

Прощайте.

Прощайте, выдуманные люди и выдумавший их автор, выдуманный мною.

Зеркала, поставленные друг против друга, ничего не отражают, кроме своей пустоты.

Можно было бы и дальше заглядывать в эту бесконечную перспективу, и кто-нибудь мог бы написать обо мне, придумавшем героев и их создателя, и я тоже оказался бы придуманным, а потом еще кто-то придумал бы того, кто придумал меня.

И все продолжалось бы.

Но стоит ли? Вопрос остается.

Москва, декабрь 1996 — январь 1998

ЗАЛ ПРИЛЕТА

Юрию Валентиновичу Трифонову

Первый кондратий хватил Петра Михайловича осенью. Конечно, П.М., человек, по современным меркам, вполне культурный, знал, что архаическое «кондратий» на медицинском есть не что иное, как инсульт, а инсульта у него мимолетный врач даже не заподозрил, да и действительно, вроде бы никаких общеизвестных признаков инсульта, или, что то же самое, апоплексического удара, или, опять же, кондратия, кондрашки — не было. Встал и пошел, только ноги слабые, и вдруг, уже в такси и гостинице, напала неудержимая дрожь, руки и все тело тряслись с жуткой силой, бросало в разные стороны. Но ведь не паралич, не потеря речи, даже голова не кружилась, так что ни о каком кондратии нечего было говорить, но П.М. нравилось так называть то, что с ним случилось в ноябре в Лондоне.

Попал П.М. в Лондон той осенью в результате последовательности всех наиболее важных событий своей пятидесятипятiletней жизни.

До поры до времени он жил обычно, в меру и неудачно, и удачно, не слишком сильно отклоняясь в поступках от нормы для своего происхождения и круга, однако отклоняясь в мыслях, что дало бы человеку умному и опытному основания предсказать вулканический выброс, который случился в судьбе П.М.

Но он сам не предсказывал, а только надеялся.

Образование получил соответствующее семейной традиции: все мужчины, родственники и по отцу, и с материнской стороны, были экономистами в широком диапазоне от карикатурно робкого дядьки-бухгалтера до карикатурно вальяжного дядьки-профессора, заведующего кафедрой и членкора. Отец занимал карьеру

ерное место где-то посередине, дослужился к пенсии до главбуха большого завода. Он и внешне был неприметен, терялся в потоке работяг у проходной — но, когда перевалило ему уже за семьдесят, услышал однажды П. М. от довольно молодой и красивой женщины — «Ну, отец-то у тебя красавец». С оттенком сожаления.

Сам же П.М. оказался к фамильному делу малопригоден, хотя в институте учился хорошо и по окончании пошел в науку. Но тут-то и выяснилось, что сессию сдать на повышенную это одно, а нечто новое самому обнаружить или придумать — другое, тут одной памяти мало. И спустя недолгое время, не желая оставаться обычным придурком-мэнээсом, которых в академическом институте и так было полно, на всех никакого кавээна и общественных нагрузок не хватало. П.М. занялся историей экономики. Пристроился при бюллетене, стал пописывать популяраторские статьи, собрал из них даже книжечку — словом, жил прилично и не без удовольствия, полагая, что так и доживет до пенсии: умение довольно ловко складывать слова, сообразительность, помогающая компилировать осмысленно, маленькая зарплата, зато какие-никакие гонорары, раз в два года двадцать один день в международном доме ученых в Варне и некоторый артистизм одежды, выражавшийся в чешском твиде и польском вельвете... Женился на приличной интеллигентной ровеснице, развелся и женился снова на такой же точно, родил сына, который как-то удивительно быстро вырос, выучился на отличного программиста и существовал вполне самостоятельно... Все было терпимо.

Только безнадежно.

Мечтал, конечно, но не ждал ничего.

Как вдруг захохотали перемены.

П.М., которого к этому времени молодые коллеги уже называли только так, полностью, хотя под конец служебной пьянки могли назвать и Петюней, но уважительно и с любовью — перемены сразу и естественно очень понравились. Во-первых, воспитавшись в семье абсолютно лояльной и даже в какой-то степени правоверной, он сам необъяснимым образом оказался с ранней юности не то что бы инакомыслящим, протестантом, но недо-

вольным каким-то, раздраженным. Не нравилось ему все: и слова, и дела, в особенности дела прошлые, — о которых он слышался много такого, во что почему-то сразу поверил, — той власти, при которой он родился и всю жизнь прожил. Может, просто слишком много прочитал в детстве книг... Ну, и перемены поэтому, конечно, понравились. А во-вторых, перемены эти принесли П.М. мгновенный и совершенно оглушивший его личный успех. В самый их разгар опубликовал он в скромном своем бюллетенишке маленькую статью, в которой абсолютно популярно, как ему было свойственно, отнюдь не на серьезном научном уровне изложил некоторые известные любому третьекурснику экономического факультета идеи классической науки — но применительно к текущему времени. И оказалось, что идеи эти совершенно революционные, невероятно смелые, актуальные и притягательные.

Как если бы кто-нибудь сообщил в сумасшедшем доме, что никаких наполеонов в одиннадцатой палате не водится, настоящий Наполеон давно помер, что дважды два четыре, огонь жжет, а голоса инопланетян, слышимые многими — лишь симптом болезни.

П.М. прославился, попал в избранную компанию застрельщиков перемен и скоропостижных любимцев меняющейся публики, огреб кучу (по его понятиям) денег в отечестве и особенно от заграничных сочувствующих. Жизнь его дернулась, как автомобиль, управляемый неумелым водителем, подпрыгнула и рванулась с места, рыча и захлебываясь. Абсолютно незнакомый ему до этого недостаток свел его с по-настоящему хорошими одеждой, едой, напитками и прочей роскошью, о существовании которой он только читал — но читал, признаем, всегда очень внимательно. Известность протащила его по странам, в которых он никогда бы не побывал даже при полностью открывшихся границах — просто в голову бы не пришли, даже если бы и было на что ездить, Норвегия, к примеру, или Австрия. А в Париже так и вообще долго пожил, освоился... В родном городе его начали узнавать на улицах, и, в сочетании с природным добродушием и быстро появившейся манерой расплачиваться за всех и не считая, слава вызвала растущую любовь населения вообще и женщин в особенности.

Словом, П.М. победил.

И за это перемены-то полюбил всем сердцем: раньше было плохо всем и ему в частности, теперь же всем будет лучше, а ему гораздо лучше уже.

И прошли, причем очень быстро, с нарастающим ускорением, годы новой жизни. То, что они неслись со все большей скоростью, объяснялось и причинами общими человеческими — с возрастом время у всех сокращается, и индивидуальными — накачивались одно на другое новые впечатления, сбивая, тесня друг друга, уплотняя дни и месяцы...

И однажды П.М. обнаружил, что жизнь новая уже стала довольно старой, привычной и гораздо более невыносимой, чем предыдущая, старая жизнь, когда он еще не знал, что бывает новая и приятная. Собственно, предыдущая жизнь вообще не была невыносимой, просто скучноватой, а вот состарившаяся новая оказалась какой-то надрывной, треснутой, с сильным оттенком безумия, мыслями о смерти и тому подобными серьезными гадостями. Как-то так выходило, что первая жизнь была не совсем всерьез, была заполнена затянувшейся игрой воображения, безобидно буйствовавшего на фоне неизменной, как белый задник в фотоателье, реальности; и все огорчения, как и радости, проживались не на самом деле, а в фантазиях; вторая же вместе с настоящими, реальными радостями и приятными переживаниями наполнилась такими же настоящими бедами, огорчениями по стоящим того поводам, весьма мучительными страстями.

П.М. испытал сильно покорежившую его любовь; отношения с близкими превратились в одну непроходящую горечь; он узнал, что такое быть объектом зависти, и — смешно сказать, при его-то успехе — впервые сам почувствовал, что такое завидовать отчаянно. Оказавшись среди людей, сделавших карьеру давно и теперь, на ходу приспособливаясь к новым требованиям, только развивавших успех, он ощутил жгучую неприязнь к ним: догнать-то догнал, но об обгоне нечего было и мечтать, более того — хорошо тренированные, они снова набирали скорость. И не было никакого справедливого обновления, вечные генералы сохраняли свои звезды, вечные гауптвахтники сохраняли свои репутации и ловко ими пользовались, а он — прорвавшийся, перелезший че-

рез стену в заветный сад! — слонялся по нему один-одинешенек, старые и постоянные обитатели посматривали в лучшем случае снисходительно, а долбящие стену снаружи и пишущие на ней всякие ругательства с презрением плевали вслед.

Однако, будучи послушным скорее долгу, чем своим желаниям, П.М. не уменьшал усилий, которые требовались, чтобы просто удерживаться на достигнутом уровне. Сочинял регулярно новые статьи, не вызывавшие уже, конечно, такого шума, но все же напоминавшие о существовании автора; появлялся всюду, где появление людей комичного нового высшего света предполагалось; общался с журналистами, которых ненавидел за их модную манеру все хаять, но терпел и их... Словом, жил, как было в его статусе положено.

И это миновало тоже. Настал день, когда П.М. огляделся с последним отращиванием и решил, что пора жить третьей жизнью.

Под слезы машинисток, недоуменные и отчасти обиженные задушевные беседы коллег и неуверенные отговаривания начальства он уволился из бюллетеня. Его еще не до конца забытое имя героя славного десятилетия помогло найти службу в богатой конторе из современных — деньги неведомо откуда, предмет деятельности неведомо какой, хозяин неведомо где, зато очевидны мраморные полы, картины бывших бульдозерников в кабинетах и толпа дорогих машин у подъезда. Стал получать деньги, соизмеримые с теми, что сыпались в разгар славы. Попытался исполнять обязанности «главного консультанта», но почти мгновенно понял, что, во-первых, этих обязанностей просто нет, во-вторых, даже если бы они и существовали, никто с его макроэкономическими поучениями здесь считаться не стал бы, поскольку выколачивать из очумевшей страны бабки и так умеют, и, в-третьих, он для такой реальной современной деятельности вообще непригоден. Почувствовал вдруг жуткую усталость, и сразу отращивание к третьей жизни сделалось еще сильнее, чем испытанное ко второй.

Вскоре стало ясно, что нынешние сослуживцы если и готовы его терпеть, то с трудом и недолго.

Между тем, из прежней среды он выпал сразу и бесповоротно — как и не было П.М., непременно приглашаемого и упоми-

навшегося, регулярно получавшего хорошие профессиональные предложения. Исчез, канул.

Страдаю ли я от всего этого, спрашивал себя П.М., просыпаясь перед рассветом совершенно больным, как у него теперь повелось в силу определенных причин, о которых позже, действительно ли я хотел бы вернуться в ту, вторую жизнь? Неплохо бы... Нет, перебивал сам себя решительно, не хочу. Даже из нынешней, унижительной и полностью бесперспективной не хочу. Уж если возвращаться, так в первую, вовсе тихую, без этого непристойного шума в прошлом — просто тихую, никакую.

И был почти искренен с собой.

Тем более что кривить душой мешало ужасное физическое состояние, о причинах которого все же надо сказать — рано или поздно придется.

В течение десяти лет деньги, известность и прочие испытания, связанные с поздним успехом, проявили в П.М. быстро развившуюся до неудержимой склонность к алкоголю и патологическое женолюбие. Опуская описание промежуточных этапов, сразу можно нарисовать картину финальную.

Ежедневно П.М. выпивал очень много водки, коньяку и виски, начиная нередко прямо с утра дома, продолжая по разным, недорогим сравнительно, заведениям и заканчивая вечером, в одиночестве, дома же. Мог и ночью, в бессонницу, глотнуть... Чувствовал себя не то чтобы ужасно, но и не хорошо, причем не похмельем мучился, а как бы просто недомоганиями понемногу стареющего мужчины — то сердце прихватит, то почки занюют, то печень заворочается... При этом исправно ходил на службу, все, что требовалось, вполне удовлетворительно исполнял и даже выглядел не слишком плохо.

Жена смирилась и с этим, как смирялась со многим до этого, молча вытаскивала бутылки из-под его дивана, а знакомые мужчины фальшиво восхищались выносливостью.

Что же до женщин, то, испытав почти все, что мог вообразить и когда-то только воображал, П.М. завершил с ними таким образом: последняя любовница понемногу превратилась в последнего и, в сущности, единственного друга.

Прочих друзей он постепенно распугал портящимся сначала от успеха, а потом от его утраты характером и, надобно отме-

тить, не сильно о них жалел. Стали раздражать не замечавшиеся прежде, когда не был еще таким окостенелым в своих представлениях, некорректность, пошлость, корыстность и глупость.

С нею же возникало чувство необъяснимого комфорта, желчь успокаивалась, постоянная обида на существующее положение вещей расплывалась. Встречи, становясь все невиннее, делались все необходимее. Совершенно так же, как без выпивки, он не мог обходиться без свидания хотя бы на улице, в кафе, на четверть часа ни дня.

Она была женщина добрая, миловидная, неглупая, то, что называется «легкий человек».

Большого ему и не требовалось. Иногда раздражало ее легкомыслие, каким-то странным образом сочетавшееся с практичностью, но тут же одергивал себя — да это ведь и есть то самое женское в ней, за что люблю.

Так и шло, становясь все однообразней, быстро сжимавшееся его время. Он сильно раздался и стал замечать в себе небрежность, чего раньше за ним не водилось. Теперь педантичность, которая всегда в нем как-то сосуществовала с артистическими наклонностями, распространялась только на самые необходимые вещи: с вечера запастись выпивкой и минеральной водой, уходя утром, все выключить и как следует закрыть дверь — жена уезжала по своим делам раньше. А уж тщательно выбирать рубашку и галстук никакого желания не было, да и душ заставлял себя принимать иногда через силу. Дальше все сливалось в ежедневное незапоминающееся мелькание — рабочий день, какая-то деятельность, вечерние встречи и снова ночь... Вдруг изумлялся: да ведь я уж полгода ни одной строчки не прочел, кроме необходимого по службе минимума, в театре не был четыре года, музыку слышу только в машине! Удивлялся — и тут же забывал свое удивление.

В августе неожиданно пришло приглашение — ему предлагали выступить в британских университетах. Раньше-то такого рода приглашений бывало по шесть-семь в год, теперь же П.М., распечатав длинный конверт со своим именем в прозрачном окошечке, даже не сразу понял смысл письма — отвык уже. Вышел

из моды вместе со своей страной, превратившейся из источника оптимистических сенсаций в надоедливую просительницу, представляющую скандалы и рутинные ужасы.

П.М. искренне обрадовался и засуетился. Огорчало только, что подругу взять с собой на недельку никак не получалось из-за визовых сложностей, но что ж поделаешь...

Он начал готовиться быстро и по всем направлениям. Написал, сам перевел и попросил подредактировать ребят из пиаровской группы текст «Отложенная катастрофа: некоторые проблемы экономики в эсхатологическом освещении» — тема была беспрюирышная, давно испытанная, только кое-какие факты пришлось освежить. Хватит на все пять лекций, а с вопросами как-нибудь по ходу разберется, отшутится, там это всегда хорошо встречают. Тут подспела и виза, и одновременно второй конверт передали через посольство, с билетами, небольшими суточными деньгами, запиской — дорогой сэръ, имеем удовольствие сообщить также, что гонорар в обычном для приглашенных лекторов размере будет выплачен сразу по прибытии в Лондон — и программой пребывания. Встреча в аэропорту Хитроу (мисс Л., ассистент), прибытие в Лондон, обед с мистером Д., координатором визита, отъезд с вокзала Виктории, прибытие в... обед с мистером... встреча на кафедре... отъезд... миссис и мистер... прибытие... лекция в колледже Святого... отъезд... свободный день в Лондоне (мисс Л. может сопровождать...), вылет из аэропорта Хитроу.

И прошло как по писаному.

Всунутый в руку сразу же, в аэропорту, конвертик с гонораром. Идиотские вопросы очаровательных студентов. Нуднейшие обеды в компании милейших профессоров. Остроумие и необычайная доброжелательность мистера Д., с которым, сразу было понятно, в жизни больше не увидишься, хотя ведет себя, как друг навсегда. Мисс Л., прелестная, старательная и толковая, предусмотревшая все. Трехсотлетние, серые, скалоподобные дворцы колледжей. Трава, непонятным образом зеленеющая под холодным дождем, и яркие цветы на клумбах. Физиологически отторгаемое движение по противоестественной стороне улицы. Пабы и бесконечные в них повторения даббл скотч но айс, до

закрытия в одиннадцать — если удавалось вечером остаться одному. Ледяные спальни в аспирантских общежитиях.

Прошло и кончилось.

Улетать предстояло через сутки. Переночевав после возвращения из турне в маленькой гостинице в районе Бэйсуотер, полном разноцветных людей, дешевых забегаловок и подвальных борделей на одну девушку, — район этот, милый московскому, привыкшему к безобразию взгляду, знал по прошлым приездам и попросил мисс Л. заказать комнату на две лондонские ночи именно здесь, — П.М. пошел гулять.

Выйдя из отеля на совершенно пустую, особенно по контрасту с развеселой вечерней, улицу, на мгновение почувствовал жуткую тоску, какая подступает на перроне, когда, проводив кого-нибудь, даже и не очень близкого человека, остаешься один и бредешь, унылый, в вокзал и дальше, к метро.

Но вскоре о тоске забыл.

Дождь шел несильный, а минут через двадцать и вообще прекратился. Никак не предполагавшееся в такое время солнце засияло над Мраморной аркой, до которой он дошлепал, почти не сверяясь с картой, довольно быстро. Даже пар под солнышком поднимался от неглубоких и быстро просыхающих луж, будто не ноябрь в Лондоне, а июль в Москве. По Оксфорд стрит, вливаясь в магазины и выдавливаясь из них, шла густая толпа. Толстая чернокожая женщина толкала животом коляску с близнецами, обе руки у нее были заняты огромными пластиковыми сумками из «Селфриджа», и, удерживая плечом возле уха телефонную трубку, она хохотала в нее на всю улицу. Японцы фотографировали друг друга на фоне привезшего их даббл дэка. Из черного ящика такси выдвинулась необыкновенной красоты и длины женская нога в полупрозрачном черном чулке и тонком туфле на высоченном каблуке, а следом за ногой и ее хозяйка, двухметровая красавица в золотистом, плотно прилегающем шлеме прически, в черной лакированной коже плаща, модель или кинозвезда. П.М. засмотрелся, красавица с улыбкой ответила ему взглядом прямо в глаза, и он понял, что это красавец Лондон демонстрировал себя и во всей прелести своей, и в своем безумии.

Тут П.М. вдруг стало очень хорошо, весело и спокойно. Чтобы пережить это ощущение сосредоточенно, он сунулся в ближайшее заведение.

Это оказалось итальянское кафе с пиццами, лазаньей, сильнейшим запахом кофе и весьма высокими, по лондонским меркам, ценами.

П.М. уже было собрался уйти и заглянуть в паб напротив, но неожиданно почувствовал сильнейшую усталость, ноги сделались ватными, в желудке образовалась тошнотворная пустота, а в голове как будто застрял и даже стал усиливаться отсеченный тяжелыми полированными дверями уличный шум. П. М. решил, что просто находился, и быстро съел континентальный гостиничный завтрак, и официанту с идеальной внешностью латинского любовника, приблизившемуся лениво, заказал, кроме обычного двойного шотландского без льда, еще омлет с сыром и эспрессо. Выпивка была принесена не сразу — видимо, апеннинец осмысливал варварский заказ, — а вместе с едой, кофе и мельхиоровым молочничком. П.М. привычным рывком проглотил горьковато-жгучее счастье, ковырнул вилкой пухлую яичницу, отхлебнул прекрасный кофе — и понял, что либо сейчас его немедленно вырвет, либо, что более вероятно, так как не рвало его чуть ли не со студенческих неопытных времен, он просто потеряет сознание и свалится на жемчужно-серое мягкое покрытие пола, подтвердив тем самым уверенность официанта, что двойной виски до полудня смертелен. Голова уплывала в самостоятельное и бессмысленное путешествие, в желудке была уже не просто пустота, а вакуум, будто втягивавший все остальные органы, ноги мелко дрожали, как когда-то на военных сборах после трехкилометрового кросса...

Из последних сил он умудрился прикинуть по меню общую сумму, выгреб из бумажника деньги с полуторным запасом, сунул их под блюдце и, цепляясь за спинки стульев, вывалился на воздух.

Под ветерком понемногу отлегло. Не попадая сигаретой в бесцветный огонек зажигалки, закурил, побрел, не думая куда, — и обнаружил себя через некоторое время на Риджент стрит вполне в нормальном состоянии, будто ничего и не было. Шел, поглядывая на витрины давно знакомых и любимых магазинов, в неко-

торые заходил... А часа через полтора, когда П.М., совершенно бодрый, достиг наконец Пикадилли сёркус, в его дорожной сумке, висящей на плече, уже тесно лежали пластиковые пакеты со всеми необходимыми подарками — свитерами, блузками и козынками, а в руке он нес большой зеленый мешок с пиджаком от «Данна» — использовал каждый приезд в Англию, чтобы пополнить свой гардероб в этом очень британском и не слишком дорогом магазине.

Остановившись взглянуть на Эроса, осеняющего площадь своими недавно отреставрированными крылами, и таким образом зафиксировать очередное свидание с одним из любимых родов, он ощутил некоторое беспокойство в том, что принято называть телесным низом, и направился в «Бургер квин» — давно привык посещать для удовлетворения известных нужд заведения быстрой еды, в которых туалеты всегда чистые и искать просто. Протиснулся, цепляясь сумками, в узкую и жаркую, пропахшую дезодорантами, облицованную пестрым искусственным мрамором кабинку, справился кое-как с застежкой...

И тут поплыл снова.

Уже почти без памяти, почти падая, выбрался из сортира, сделал несколько шагов до стены и в последнем усилии не брякнулся, а медленно сполз по гладкой этой стене, по проклятому искусственному мрамору, к которому испытал мгновенную необъяснимую ненависть, сел, вытянув перед собой длинные ноги в задравшихся джинсах, словно пьяный бомж — да и вырубился.

Сэр, услышал он, ар ю о'кей?

П.М. открыл глаза. Перед глазами был стоящий на кафельном полу, словно перевернутый горшок, полицейский шлем. Его хозяин, плотный блондин с чубом, спадающим на лоб, сидел на корточках рядом и держал П.М. за пульс. Увидев, что глаза П.М. открылись, бобби — выплыло из памяти книжное слово — улыбнулся и повторил вопрос.

Помираю я, веря в это и действительно почти помирая от страха и неловкости, сказал П.М., застыдился, потом обрадовался, сообразив, что ответил по-русски, тоже улыбнулся, насколько мог, и ответил уже понятно, нот со гуд эс ай вонт. Би квайет, сэр, успокоил полисмен, ай джаст коллд... И действительно, раздвинув нескольких зевак, метров с двух наблюдавших эксидент,

появился человек в докторском халате, молодой и чернобородый пакистанец или индус. Наклонился, мгновенно распустил пояс и, расстегнув на П.М. брюки, быстро помял живот; приподняв веко, близко глянул в левый глаз; спросил с сильным акцентом и потому понятно, не кружится ли голова. Голова не кружилась, и П.М. отрицательно ею покачал. Тогда врач крепко взял его под локоть с одной стороны, полисмен с другой — успев прихватить и его сумки, и свой шлем — и вывели его на улицу, где у тротуара стоял маленький автобус «эмбулэнс» с распахнутыми задними дверями.

Потом П.М. лежал в этом автобусе на носилках, врач рассматривал выползающую из серо-голубого ящика серо-голубую ленту, задумчиво убирал в футляр прибор для измерения давления, в третий раз интересовался, увэа ар ю фром, и смотрел на удивительного больного фром Раша еще более задумчиво. Пожав плечами, что-то пробормотал — П.М. понял, что «спазм», и догадался, что «сосудов». Вдруг доктор улыбнулся, смуглое лицо симпатично сморщилось, и стало видно, что совсем мальчишка, что-то очень быстро сказал, интернационально щелкнув себя под бородой, и повторил разборчивей, заметив удивление П. М.: да, в таком случае лучше всего выпить маленькую рюмку бренди. Знал бы пацан, подумал П.М., кому рекомендует...

В автобус заглянул полицейский и сообщил, что блэк кэб уже ждет и, поскольку мистер такой-то — успел, профессионал, заглянуть в паспорт виновника происшествия — категорически отказывается от больницы, его отвезут в отель за счет города Лондона. П.М. махнул рукой, мол, еще чего, заплачу... В таких случаях в нем всегда просыпалась национальная гордость велико-россов.

Вечером он лежал в номере, прислушивался к себе — организм снова был в полном порядке, но П.М. уже ему не доверял — и думал. Телевизор невнятно бормотал, мерцая, за окном грохотали электрички ближнего вокзала Паддингтон, а он думал о том, как жил до этого и как теперь, после возвращения, будет жить дальше.

Самое ужасное, думал он, в том, что последние лет пять совершенно слились в какой-то грязноватый ком, детали неразли-

чимы, только вдруг выплывает какая-нибудь картинка, но вспомнить все обстоятельства и, тем более, хотя бы приблизительные даты никак не удается, лишь общее ощущение валящегося в пропасть, исчезающего времени остается от попыток восстановить последовательность дней. П. М. лежал на спине, следил за происходящим в нем — не кружится ли голова, не подступает ли снова пустота в животе и говорил себе, что дальше все так и будет, смазанные подробности ускользающего существования и ожидание конца в любой момент. Было не столько страшно, сколько обидно и как-то не вовремя — такое чувство бывает, когда грипп парализует головной болью и неудержимым насморком посередине работы, важной и хорошо идущей к сроку сдачи.

Правда, сейчас, если честно признать, никакого важного дела у П.М. не было и не ожидалось. Наоборот, все зашло в тупик, казавшийся — по крайней мере, пока — окончательным, так что более удобного момента, чтобы завязать с этим процессом, с жизнью, до сих пор не представлялось и, возможно, потом не представится. Все исчерпано, однако состояние исчерпанности еще не стало привычно безнадежным для самого П.М. и полностью очевидным для окружающих. Так что ушел бы от нас — то есть от них в расцвете творческих сил...

Помер бы сегодня днем на Пикадилли — и очень даже стильно вышло бы. Из полиции сообщили бы в посольство, там, конечно, раздуть насчет содержания алкоголя в крови, на что упирали бы англичане, не стали б, тем более что с первым советником отношения почти приятельские.

Домой за казенный счет (*a живой* билет посольские сдали бы).

Приличная церемония где-нибудь на Востряково, а то и на Ваганьково, если контора расстарается — под ледяным, как положено, ветром и мелким острым снежком. Несмешивающиеся группы родственников, старых сослуживцев, новых сослуживцев — три жизни, три смерти.

И поминки врозь — родню жена позовет домой, приятели же соберутся в отдельных компаниях, поскольку многие друг друга недолюбливают, а потом, продолжая допоздна, может, и встретятся в какой-нибудь популярной забегаловке.

Она, вероятно, нечаянно перепьет, ей станет совсем плохо, и общая знакомая, терпя жалающий сквозь колготки мороз, будет ее прогуливать по воздуху вокруг метро, чтобы не явилась домой заревавшая, — вовсе уж неприлично... Ночью она пойдет в ванную курить, хотя бросила уже года три назад, и плакать, зажимаясь полотенцем, а знакомая тоже будет маяться без сна и думать о ней: да, ухватила счастье, пожила в радость, а теперь расплачиваться приходится, лучше уж не надо ни того, ни другого.

А жене оставшаяся присмотреть родственница под утро зовет скорую.

Тут П.М. заметил, что сам давно плачет, стряхивая пальцами слезы со щек и носа, и даже на подушке темнеет мокрое пятно. Вот идиот, с досадой подумал он, как будто впервые узнал, что смертен, недоросль.

Но от этой мысли не только легче не сделалось, но почему-то стало уже совершенно невыносимо.

Ладно, брошу пить, во всяком случае, так по-черному, как пил в последнее время... Схожу к врачу, кардиограмма там, сосуды мозга пусть посмотрят, есть, слышал, такая процедура... Ладно как помрешь, а если действительно кондратий хватит, и парализованным будешь валяться лет пять?.. Жуть, и где тогда деньги брать?... Нет, надо наладить хотя бы немного быт, еду... И главное — высыпаться... Можно даже гимнастику по утрам — до совсем уж несусветного дошел он, но оборвал дурацкие мысли.

Ну и что? Ну, добавишь десять лет, или год, или месяц — а потом один черт, как все, туда же. Не обманешь.

Конечность и безусловность этой конечности — ужас номер один, подумал он.

А ужас номер два, добавил — это самое проклятое ускорение, полет с горы.

С первым-то ничего не сделаешь.

Но вот замедлить бы... Как?

Так и лежал, не выключая быстро и непонятно шепчущий телевизор и свет у кровати, вдруг обливаясь потом от ужаса: вот сейчас снова прихватит — и все, утром найдут не раньше две-

надцати, чек тайм, и начнутся хлопоты, неловкость... Не тебе, дурак, хлопоты, напоминал всхлипывающему трусу внутри, и неловко тебе уже не будет. Пот высыхал, проходила дрожь, уст-раивался на подушке поудобнее, пытался вслушаться в ночную сводку сизнэн — вдруг что-нибудь про Россию... И один раз, вроде бы, промелькнуло: знакомая толпа в кожаных куртках и меховых ушанках, стекающая в подземный переход, знакомая площадь в грязном снегу, поток заляпанных по самые стекла машин... Что-то, как всегда, о кризисе, о фашистах и коммунистах — будто ничего и никого больше не было в той стране, оказаться в которой немедленно, любой ценой, отчаянно захотелось. Рано или поздно понимаешь абсолютную справедливость только банальностей, подумал он. Вот и дошел: помереть надо дома.

И тут же, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, встал, быстро и обдуманно оделся — джинсы, свитер, даффл-кот, все остальные вещи ловко запихнул в чемодан и сумку, так что оказался полностью готов к отъезду. Поставил багаж рядом, поближе к двери, вышел в пустой теплый коридор, спустился, чтобы не шуметь лифтом, по лестнице, улыбнулся темнокожему в рецепции, джаст гоуинг фо э волк, джаст слиплесснесс, брадэ — и, отодвинув защелку на стеклянной двери, ступил под мелкую морось и плотный, напористый ветер.

Темно-синее небо, как всегда, очень заметное в чужом городе — будто здесь его больше, чем в Москве, — все исколото звездами, безоблачно, так что непонятно, откуда моросит. Ряды белых и розовых двух- и трехэтажных домов, каждый с тонкими колоннами на крыльце и оградами, за которыми спускаются лестницы к подвальным дверям, уходят по обеим сторонам улицы к перекрестку. Там сияют витрины местного торгового центра, бессмысленно переключается над пустой мостовой светофор, постукивает неплотно прикрытая дверь будки автомата, сплошь оклеенной бумажками с подростково простодушными изображениями девушек и номерами телефонов. Уютно привалившись к стене под металлическими ставнями, закрывшими на ночь окна тайского ресторанчика, на развернутой в плоскую выкройку картонной коробке спит бродяга — малый лет тридцати, весь в коже, блондин с раскрашенным в боевые индейские цвета лицом.

Можно зайти в будку, найти подходящее объявление — главное, с номером, начинающимся на 071, то есть в этой части города, а больше все равно ничего не определишь... Позвонить, запомнить адрес и объяснения, как пройти, раза три переспросив сонно и быстро бормочущую бандершу... Найти подвал... Раньше это стоило сорок фунтов... Будет юная, но дрябловатая немка, или темнокожая из Вест-Индии, все лицо в мелких бугорках и шрамах, или разбитная и со старого похмелья местная, валлийка или даже ирландка...

А можно в будку и не заходить, просто пойти по улице, свернуть за угол, еще раз свернуть, еще раз — только запоминая, а то заблудиться ничего не стоит, хотя все углы прямые... Заглядывать в каждое подвальное окно, пока не увидишь недвусмысленно понятную картину...

И минут через десять, обходя по периметру небольшую площадь со сквером и пустыми лотками уличного рынка, увидел.

Окно подвала светится канонически оранжевым. Чуть перегнувшись через ограду, даже не спускаясь к аккуратной двери со стеклянным квадратиком, завешенным изнутри голубой тряпкой с оборочками, легко разглядеть все в комнате за окном.

Собственно, там и разглядывать было нечего, кроме огромной кровати, застеленной пухлым стеганым одеялом с голубыми же оборками да кресла, на котором лежала большая мягкая игрушка, не то собака, не то какой-то другой зверь.

Немедленно в комнате появилась девушка.

В красном белье и красных же туфлях, смуглая и, насколько можно рассмотреть, с восточными чертами лица — немного висячий, больше подходящий немолодому мужчине нос, мясистые губы, густые брови. Глаз не видно, просто близко к переносице поставленные темные пятна.

Подошла к окну, приблизила к стеклу лицо, и, как делает всякий человек, глядящий из света во тьму, приложила ко лбу ладонь козырьком.

Другой, повернув ее тыльной стороной к себе, покачала, словно притягивая П.М., — так помогают водителю въехать в

узкие ворота или припарковаться между двумя тесно стоящими машинами.

Ничего особенно привлекательного или отталкивающего, ничего более возбуждающего, чем в любой некрасивой девушке, раздевшейся до белья. А белье, даже на таком расстоянии и за стеклом заметно, с дешевым синтетическим блеском.

Жалеть буду, очень просто и точно, словами, подумал Петр Михайлович. В любом случае буду жалеть. Буду помирать дома или в Боткинской и жалеть, вспоминая упущенный последний случай. Или начну жалеть сразу, через двадцать минут. Потом буду бояться, придумывать любые отговорки — что-то устал, чувствую себя плохо и, наконец, дрожа от ожидания, поплетусь к врачу... И даже о потраченных сорока фунтах буду жалеть.

Но, пока он размышлял таким трезвым образом, будто сидел за своим компьютером, а не стоял перед дешевым блюдешником где-то вблизи Квинсвэй, все, как это часто бывает, стоит повременить с решением, — поэтому П.М. в последние годы и старался решать помедленнее, — определилось помимо него.

Девушка протянула приглашавшую руку вбок, что-то сделала, и поперечно-сборчатая, так называемая французская занавеска, какие прежде были обязательными в московских официальных помещениях, упала за стеклом, отделив от П.М. оранжевый свет и женский темный контур. А через секунду погас и свет.

В ночном минимаркете П.М. за четыре фунта купил плоскую бутылочку Белл'с, триста семьдесят пять граммов, и в легком ознобе — дождь и ветер усилились, но еще пару часов назад П.М. связал бы озноб с приближением обморока, вроде дневного, а сейчас просто не обратил на дрожь внимания — вернулся в отель. Дверь оказалась открыта, портье не запер, дожидаясь его возвращения. Тем не менее П.М. положил на стойку тяжелый полтинничек и благодарно улыбнулся темнокожему брату.

Войдя в лифт, он сразу сунул руку в коричневый бумажный пакет, крутанул с легким треском металлическую крышку и до своего этажа уже сделал первый глоток...

Заснул в самолете, едва дождавшись, чтобы стюард убрал поднос после завтрака, который съел с огромным аппетитом и

запил, почти прикончив уже третью с ночи бутылку Белл'с — пластиковую, полулитровую, купленную по дешевке в дьюти-фри.

Проснулся уже после посадки. В проходе, вытаскивая сумки из ящиков над сиденьями и неловко продеваясь в рукава пальто, теснились попутчики. Почему-то пассажиры обычно устраивают жуткую спешку и суету в это время, как будто за три-четыре часа их терпение иссякает полностью, и на последние пятнадцать минут не остается ничего.

Но английский паренек в кресле рядом не спешил, засмотревшись в прорезаемый разноцветным техническим светом мрак — было уже около семи вечера — неведомого мира за окном.

П.М. через его плечо тоже глянул в окошко.

Он увидел стоящую близко к самолету группу: человек пятнадцать в гражданских пальто и шубах — шел мелкий снег, белые струи змеями ползли по бетону — и еще четверо пограничников в зимних куртках.

Справа в поле зрения П.М., ограниченное квадратной, со скругленными углами рамой окна, всплыл погрузчик. Он приблизился к встречающим, и одновременно его платформа опускалась на складывающейся коленчатой гармошке опор.

Погрузчик повернул и поехал к зданию аэропорта, люди пошли за ним.

Одна фигура покачнулась, будто женщина в черном платке оступилась или поскользнулась, ее поддержали, повели дальше под руки.

Кто-то шел, чуть отставая, пограничник оглянулся, махнул рукой, отставшая сделала два торопливых шага, оказалась под светом задней фары погрузчика, снег сверкнул на непокрытых волосах.

Вот и прилетел, подумал П.М.

А вскоре он шел по коридору между людьми, выстроившимися по обе стороны от выхода из таможенной зоны и внимательно вглядывавшимися в прилетевших, волоча за собой чемодан на грохочущих по полу колесах и поправляя сползающую с плеча сумку.

В зале прилета было полно народу, пахло сыростью от стайвавшего с одежды и обуви снега, никому не нужный телевизор у колонны сообщал новости о взрывах и курсе.

П. М. остановился, поставил сумку на чемодан, найдя с третьей попытки для нее устойчивое положение, вытащил из заднего кармана брюк легкую емкость, не обращая ни на что внимания, допил виски и бросил пустой пластик в урну. Закурил, огляделся... И вынул из сумки предусмотрительно положенный сверху телефон, включил — батарея, к счастью, не совсем села.

Я уже в зале прилета, сказал он.

И повторил, набрав другой номер.

Зимой ему еще дважды становилось плохо, но он уже не терял сознания, не садился где попало — успевал взять себя в руки, хлебнуть из постоянно лежащей теперь в заднем кармане стальной, обтянутой кожей фляжки. Ходить стал медленно, от машины вообще отказался, вдруг в дороге подступит... На людей смотрел с ровным неприязненным безразличием, а общался, кроме как с сослуживцами — с ними, увы, приходилось лично — все больше по телефону. Я уже на работе, позвоню попозже... Я уже дома...

Лицо его приобрело выражение постоянной болезненной озачеченности, как у человека, пытающегося что-то понять или вспомнить.

Он и действительно часто вспоминал, старался вспомнить ощущения, испытанные в начале минувшей осени, когда сидел на чистом кафельном полу, привалившись спиной к отвратительному искусственному мрамору, и думал, что умирает.

Теперь-то он уже не думал, что обязательно умрет от следующего обморока, и даже как будто хотел, чтобы дурнота пришла и он наконец вспомнил то, что никак вспомнить не удавалось.

Почему-то казалось, что если вспомнит и поймет нечто ускользнувшее из памяти, то уже никогда больше этого не испытает, и все будет хорошо навсегда. Наступят мир и спокойствие, вернется та самая, первая, не оскверненная жизнь, хотя, если считать по порядку, это будет четвертая. Как-то решится то, что уже давно и не пытался решать. Пойдет сильный дождь, осенью

такой смывает с деревьев черные листья, а весной с асфальта черный снег. Под этим дождем они снова отправятся гулять, тесно сдвинувшись, чтобы укрыться общим зонтом, с трудом обходя лужи, потому что невозможно разъединиться. Спустя какое-то время они откроют дверь и войдут, чтобы немного обсохнуть и выпить чаю. От их ботинок останутся мокрые рисунчатые следы, от рукавов — пятна на столешнице, но другие люди не обратят внимания на невидимых среди живых и счастливых, среди завидующих друг другу. Все уладится, будет лить бесконечный дождь, прекратится эта проклятая спешка, пожирающая остаток времени, и время опять окажется бесконечным, только на этот раз он уж вообще не станет его тратить, а просто будет гулять под дождем, стараясь, чтобы зонта хватало на двоих, потому что если время не кончается, то какая еще может быть забота, кроме как о том, чтобы она не промокла? Просто давно не гуляли вместе, вот в чем дело, думал он, давно не гуляли вместе под сильным дождем.

Но дожди все не шли. Месяца через четыре он совсем бросил пить. Чувствовал себя вполне прилично, и хотя тосковал оттого, что так и не выбрались толком погулять, но тосковал умеренно, не в полную силу.

Ноябрь. 1998

АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ КАБАКОВ

Зал прилета

*Выпускающий редактор Е.Г.Таран.
Художественный редактор С.А.Виноградова.
Технолог М.С.Белоусова.
Оператор компьютерной верстки А.В.Волков.
П. корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.
Подписано в печать 30.06.99. Формат 60 × 90/16. Гарнитура Академическая.
Печать офсетная. Объем 26 печ. л. Тираж 5000 экз. Изд. № 1022. Заказ № 2525.
Издательство «ВАГРИУС». 129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1.
Интернет/Home page — <http://www.vagrius.com>
Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:
Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Тел.: 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги «Издательской группы АСТ»
можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140,
АСТ — «Книги по почте»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском
предприятии «Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской Федерации
по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

ISBN 5-264-00069-7



9 785264 000690 >

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВАГРИУС"

ВЫПУСКАЕТ
СОБРАНИЯ ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

БОРИСА ВАСИЛЬЕВА

В ПЯТИ ТОМАХ

ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА

В ТРЕХ ТОМАХ

ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ

ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ

НАТАЛИИ МЕДВЕДЕВОЙ

АЛЕКСАНДРА КАБАКОВА

ВЛАДИМИРА МАКАНИНА

АНДРЕЯ БИТОВА

ЮРИЯ ОЛЕШИ

В ДВУХ ТОМАХ

А ТАКЖЕ

ДВУХТОМНИК

ЗНАМЕНИТОГО АНГЛИЙСКОГО ПРОЗАИКА

ДЖОНА ФАУЛЗА

